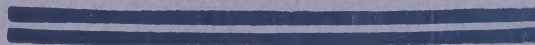


И О В Ы Т Ы  
М И Р

И И

И О В Ы Т Ы  
М И Р

И И



1955

1955

# НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXI

№ 11

Ноябрь, 1955 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
<b>ОЧЕРКИ ПАМЯТНЫХ ДНЕЙ. ОКТЯБРЬ 1917 ГОДА...</b>	
А. БЕЛЫШЕВ — Исторический выстрел. Литературная запись А. Садовского	3
ПАВЕЛ АРСКИЙ — Штурм Зимнего	
В. СТРИГИН, А. КУРАКОВ, П. ПРУССАК — Товарищ Андрей (Из воспоминаний арсенальцев). Литературная запись Александра Борщаговского	
А. БЛОХИН — Рассказ солдата революции. Литературная запись Евг. Босняцкого	
МИКОЛА БАЖАН — Из цикла «Мицкевич в Одессе». Переводы с украинского М. Матусовского, Н. Заболоцкого	25
РЫТХЭУ — Пять писем Вали Крамаренковой	29
ПАВЕЛ НИЛИН — Жучка, рассказ	53
АВЕТИК ИСААКЯН — Два стихотворения. Перевод с армянского Владимира Державина. Медведь и Змея, басня. Перевод с армянского Сергея Михалкова	74
ПЕРВЫЕ СТИХИ. Сергей Давыдов. Я к ним приполз под вечер... Николай Егоров. Памятник. После дождя. ★ Людмила Зубкова. Солдат. ★ Фёдор Исаев. Дуб. Деревце. Перевод с украинского Веры Потаповой. ★ Владимир Лазарев. Открытие. Тает снег. Прозрачен воздух вешний... ★ Геннадий Могилевцев. В электричке. ★ Булат Окуджава. Зависть. Сидишь, одета в платье ситцевое... ★ Александр Романов. Домашняя хозяйка. ★ Агван Хачатрян. Огни Севана. Перевод с армянского Евг. Евтушенко. Ты волосы мои ласкаешь нежно... Перевод с армянского Б. Ахмадулиной. ★ Л. Шерешевский. Где пепельно-бурый, как соболь... Ай-Петри. ★ Геннадий Юшков. Кукушка. Перевод с коми М. Светлова	76
ЮРИЙ ПИЛЯР — Всё это было. Окончание	85
АДАМ МИЦКЕВИЧ (К 100-летию со дня смерти) — Баллада и стихотворения. Перевод с польского Семёна Кирсанова	133
<b>ИНОСТРАННАЯ НОВЕЛЛА</b>	
ВИЛЬЯМ САРОЯН — Четыре рассказа. Перевод с английского Е. Голышевой и Б. Изакова	138
<b>ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ</b>	
НОВОЕ ОБ АЛЕКСАНДРЕ БЛОКЕ. Публикация Вл. Орлова	150

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
Л. РОЗАНОВА, Э. ДУБРОВСКИЙ — Ленинские горы — Алтай. Дневник студенческой бригады. Е. Успенская — Вместо предисловия	163
ВЛ. НЕМЦОВ — Интересно об интересном	190
<b>ИЗ ПИСАТЕЛЬСКОГО АРХИВА</b>	
РАЗГОВОР О МАСТЕРСТВЕ. Из писем В. В. Вишневого. Из стенограммы выступления Б. Л. Горбатова на совещании писателей в Иркутске. Из писем П. А. Павленко	196
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
М. КУЗНЕЦОВ — Великий принцип	212
Н. ТОЛЧЕНОВА — В борьбе за нового человека	219
П. АНТОКОЛЬСКИЙ — Александр Блок (К 75-летию со дня рождения)	240
<b>КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
Евгений Воробьев. Ветви зимнего дуба. — Константин Финн. Правдивая повесть. — А. Ложечко. Быть впереди! — Нат. Соколова. Портрет современника. — Б. Эйхенбаум. Сборник воспоминаний или хрестоматия? — Н. Дьяконова. Книга о прогрессивной зарубежной литературе. — Л. Коцлев. Проза Эриха Вайнерта.	247
<i>Политика и наука</i>	
Кандидат исторических наук Н. Ерошкин. Начало первой русской революции. — А. Ивиц. Сегодня и завтра. — И. Иноземцев. «Химик Земли». — Кандидат исторических наук А. Байкова, И. Кремер. Выборник мира и справедливости. — А. Тимашев. География Югославии.	266
<b>РЕПЛИКИ</b>	
Заслуженный деятель искусств В. Дулова. Полюс и музыка. — Народный художник РСФСР Сергей Герасимов. Сокровища русской древней живописи. — <b>А. Дикий.</b> О Музее нового западного искусства. — Читатели о репликах (Обзор писем)	276
КОРОТКО О КНИГАХ	284
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

# ОЧЕРКИ ПАМЯТНЫХ ДНЕЙ

## Октябрь 1917 года...

А. БЕЛЫШЕВ

### ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫСТРЕЛ

25 октября 1917 года крейсер «Аврора» громом своих пушек, направленных на Зимний дворец, возвестил начало новой эры — эры Великой социалистической революции.

А за десять дней до этого двое «авроровцев» в бушлатах и бескозырках отправились в Смольный по вызову Военно-революционного комитета. Двое — это я, председатель судового комитета на «Авроре», и коренастый, смуглый Лукичёв — член судкома. У обоих за плечами винтовки — не лишняя ноша по тому времени. Итти приходится через весь город, а после июльских дней уже были случаи расправы с балтийцами на Литейном, Невском и других «буржуйских» улицах.

Двое выходят по Морской на Невский. Здесь нарочно идут в ногу, по-строевому чётко отбивают шаг. Звенят переполненные трамваи. По мокрым торцам бесшумно несутся легковые автомобили и коляски на дутых шинах. Взад и вперёд курсируют броневики с юнкерами. У Городской думы через улицу перекинут громадный транспарант кадетской партии: просит голосовать за неё на выборах в Учредительное собрание.

— Ага, вот так-таки и проголосуем, как же! — зло смеётся Лукичёв.

Невский богат господами в котелках. Встречаться с ними противно. Каждый норовит испепелить взглядом матроса с ленточкой «Аврора» на бескозырке, в каждом взгляде — и злость и страх.

Моему спутнику весело:

— А недавно булочками угощали. Помнишь сладкие булочки, Белышев?

Помню! Только не для таких, как мы с Лукичёвым, предназначались те сладкие булочки. Тогда, в первые дни после Февральской революции, питерские господа и барыни заигрывали с «матросиками». Зазывали в гости и потчевали, иных — на кухне, а иных — даже за хозяйским столом! Приручали.

«Авроровцы» почти сплошь оказались нелюбезными. В судовой комитет избрали большевиков. В Центробалт послали большевика. На митингах сгоняли с трибун кадетов, меньшевиков, эсеров. Спорили с ними до хрипоты в горле, до кулаков. Кричали дружно: «Долой войну! Долой буржуазию! Долой министров-соглашателей! Даёшь Ленина!»

И сразу — конец булочкам. «Аврора» особенно стала ненавистна буржуазии. Не вспоминалось даже её славное прошлое, хотя бы, например, подвиг в Цусимском бою, когда «Аврора» и «Олег» попали в «клещи» девяти японских крейсеров и всё же сумели отбить смертоносную атаку, прорваться через строй неприятельских кораблей и избежать позорного плена. Хотели бы предать забвению и мужество «авроровцев» в итальянском портовом городе Мессина, охваченном пожарами, когда русские моряки, рискуя жизнью, спасали из огня детей и женщин. И уж, конечно, постарались «позабыть» героев, наших старших товарищей, замученных

на царской каторге, повешенных на клотиках, расстрелянных «за попытки» к бунту. Порождённая тоской неудавшихся восстаний, матросская песня рассказывала:

Трупы блуждают в морской ширине,  
Волны несут их зелёные,  
Связаны руки локтями к спине,  
Лица покрыты мешками смолёными.  
В сером тумане кайма берегов  
Низкой грядою рисуется.  
Там над водою красуется  
Царский дворец Петергоф.  
Где же ты, царь? Покажись, выходи  
К нам из-под крепкой охраны!  
Видишь, какие кровавые раны  
В каждой зияют груди?

Об этом стараются не вспоминать. Зато не скупятся на клевету в кадетских и меньшевистских газетах. Называют нас «распущенными», хотя весь экипаж, по требованию судового комитета, службу несёт так дисциплинированно и чётко, что это даже тревожит некоторых офицеров. И не зря тревожит. Революционный характер нашей дисциплины хорошо известен и в Зимнем дворце, где жил тогда первый министр Временного правительства «главноуговаривающий» Керенский.

Но вот двое из экипажа «Авроры» подходят к штабу революции — Смольному. Его охраняет цепочка вооружённых солдат и рабочих. У нас пропуска не спрашивают. Пропуском служат ленточки на наших бескозырках. Часовой у входной двери направляет нас в комнату в конце длинного коридора: «Проходи, флотские!» Идём туда. В комнате по стенам развешаны карты всех фронтов и всех районов Петрограда. В дальнем углу за столом работает человек в кожанке.

— Вам кого, товарищи «авроровцы»?

— Получили через связного приказание прибыть в Смольный лично к товарищу Свердлову.

Человек в кожанке поднимается, идёт навстречу.

— Я Свердлов.

Всматриваемся в худое лицо с бородкой. Знаем, что это один из самых близких к Ленину людей. Выглядит он плохо, болезненно. «Недосыпает», — догадываюсь я.

Мне Свердлова не приходилось слушать, а мы тогда оценивали политических деятелей по их выступлениям на митингах. Ленина я слушал дважды — на митинге в большом зале Кадетского корпуса и на митинге в цирке «Модерн». Помню волнение матросов после этого. Помню их настроение и подъём. Вели нам Владимир Ильич пойти и умереть за дело революции — пошли бы. Теперь мы видим человека, большевика, который действует по указаниям Ленина, и ожидаем его распоряжений, как закона.

Свердлов тоже какое-то время молча и пристально изучает безусые лица молодых моряков. Должно быть, хочет понять: на что они годны? В тёмных глазах под пенсне мелькает усмешка.

— Вот мы и познакомились. Присаживайтесь, товарищи!

Поспешно относим винтовки в угол. Садимся у стола. Я. М. Свердлов просит рассказать о политических взглядах всей команды, в частности лично наших.

Лукичёв опять веселее:

— Хотели нас некоторые купить за булочки...

— Но не купили?

— Как видите, мы здесь,— гордо отвечает «авроровец».

Всё-таки Свердлов требует обстоятельной информации. Докладываю. Сейчас в большевистской ячейке тридцать два человека. Трое из экипажа — я, Лукичёв и ещё матрос Тимофей Липатов — члены партии с марта семнадцатого года. Все трое — из рабочих. В военное время в команду попало много рабочих. Отсюда революционность команды. Отсюда и ненависть к ней со стороны буржуазии. Всех моряков на корабле 567 человек, и большинство — за нас. Показываю резолюцию команды, принятую на последнем митинге: «Рабочий класс всегда может рассчитывать на поддержку революционного флота в борьбе с врагами внутри и извне».

— Как себя чувствуют на корабле меньшевики, эсеры и анархисты?

— За них — горстка, примерно десятая часть экипажа. И те колеблются.

— Офицеры?

— Находятся под строгим доглядом. Ходят по кораблю как потерянные и никак себя найти не могут. От контрреволюции открещиваются, к революции не пристают...

Свердлов снимает пенсне, тщательно протирает стёкла платком. Выжидательно роняет:

— Соглашательские газеты пишут, что матросы «Авроры» чинят самосуды над офицерами...

Кровь бросается в лицо при этих словах.

— И вы им поверили? Товарищ Свердлов! — укоризненно качает головой Лукичёв.

— Я вам верю. Вас спрашиваю, а не их.

— Всё — подлая ложь! — кричу я. И долго не могу успокоиться.— Прежде описывали грязь на корабле, хотя «Аврора», как перед адмиральским смотром, блистает чистотой. Я носил опровержение в меньшевистскую газету «Новая жизнь», предложил сотрудникам сходить на корабль и показать, где неурядицы. Обещали, что придут, но не пришли, конечно. Теперь завели про самосуды. Ничего подобного нет и не было. Как председатель большевистского судового комитета я могу заверить: выдержка экипажа «Авроры» — образцовая.

Яков Михайлович чуть заметно улыбается. Потом спрашивает:

— Кто сейчас командир на корабле?

— Старший лейтенант Эриксон, по должности.

Подчёркиваю — только по должности, так как старлейт и другие офицеры не смеют шагу ступить без судового комитета.

— Следовательно, фактически командиром корабля является судовый комитет? Я правильно вас понял, товарищ Бельшев?

— Так оно и есть.

Свердлов встаёт. Начинает говорить, чеканя каждое слово:

— Центральный Комитет партии поручил Военно-революционному комитету практическое руководство вооружённым восстанием петроградских рабочих и гарнизона. Большевики берут государственную власть в свои руки. Мы обязаны взять власть, иначе Временное правительство штыками юнкеров нанесёт смертельный удар революции. Такова точка зрения ЦК партии.

Из-под пенсне на нас в упор смотрят тёмные, посуровевшие глаза Свердлова. Он многое сейчас доверил двум матросам с «Авроры». И ждёт, что они скажут. Они отвечают попросту:

— Правильно! — говорит Лукичёв.— Надо начинать. Не начнём мы — начнут юнкера.

— Матросы «Авроры» готовы! — дополняет Бельшев.

— Верю, — говорит Свердлов. — Военно-революционный комитет уполномочил меня назначить комиссара «Авроры». Назначаю Бельшева,

большевика, облечённого доверием моряков, избранного командой на пост председателя судового комитета и в Центробалт.

И после короткой паузы:

— Принимаете назначение?

На миг в мыслях мелькает опаска: как-то ветретят «комиссара Бельшева» офицеры корабля? Они тихие-тихие, а тоже до поры. Но тотчас же на смену приходит чувство огромной уверенности: за плечами у меня сила — боевой, сплочённый экипаж из пятисот с лишком человек.

— Смелее, Саша! — подбадривает меня Лукичёв. И за меня же отвечает: — Он согласен.

Яков Михайлович достаёт из ящика стола бланк. Заполняет и подписывает мандат, уполномочивающий комиссара Бельшева распоряжаться крейсером и действовать только по указаниям Военно-революционного комитета.

После этого все склоняются над картой Петрограда, пришпиленной к столу. Голубой лентой город пересекает Нева — участок действия «Авроры» в дни вооружённого восстания. Свердлов отдаёт приказания. На прощание крепко пожимает нам руки.

— Помните, товарищи! На «Аврору» крепко надеются Центральный Комитет партии и Владимир Ильич Ленин.

Уходим из Смольного ночью...

Запомнилась и ещё одна ночь. Октябрьская, тёмная, глухая. В гавани чуть виднеются на чёрной воде силуэты трёхтрубного корабля и буксиров. Изредка тьму полосует длинный луч прожектора. На капитанском мостике под дождём мокнут комиссар «Авроры» и члены судового комитета. Не спит весь экипаж. В первый раз после долгой стоянки на корабле подняты пары и прогреты машины. Командоры, электрики, машинисты, радисты — все, кроме офицеров, заняли места по боевому расписанию. Катера с пулемётами высланы к Смольному. Связные на берегу.

«Аврора» несёт революционную службу...

Но вот получаем тревожные донесения. Контрреволюция перешла в наступление. Мосты — Николаевский, Дворцовый, Троицкий, Литейный — в руках юнкеров. От центра отрезаны крупные боевые силы Васильевского острова, Петроградской и Выборгской сторон. В тот же час связной доставляет важную депешу из Смольного. Прикрываю её от дождя полой бушлата, освещаю карманным фонарём и громко читаю, чтобы каждый на мостике слышал:

«Комиссару крейсера «Аврора». Военно-революционный комитет Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов постановил: поручить вам всеми имеющимися в вашем распоряжении средствами восстановить движение на Николаевском мосту».

Молча смотрим друг на друга. Кто же поведёт крейсер? Сами? Без штурманского опыта? Трудное дело, неверное дело. А вести надо!

На палубе негодующие крики:

— Офицеры поведут! Слышишь, комиссар? Довольно им отсиживаться в кают-компани. Гони их наверх!

В кают-компани идёт позднее чаепитие. У офицеров вид, как будто они сидят за поминальным столом. Скука. Хотя бы на рояле кто побренчал. Войдя, стараюсь держаться вежливо и спокойно. Сажусь на диван и закуриваю — с разрешения командира.

— Между прочим, через час снимаемся, — говорю тихо.

Поглядываю искоса на офицеров. Интересуюсь впечатлением от этих слов. Старлейт Эриксон молча думает о чём-то над пустым стаканом. Старший артиллерист Розенталь, самый задиристый из офицеров, спрашивает, глядя в потолок:

— Куда снимаемся?

— К Николаевскому мосту.

— Цель?

— Приказано восстановить движение на мосту.

— Кем приказано?

— Военно-революционным комитетом.

— Не знал, что у нас есть такой адмирал. Какого года производства?

Подхожу к офицерскому столу.

— Нет времени шутки шутить... И прошу помолчать, когда комиссар обращается к командиру... Товарищ старший лейтенант Эриксон! Поведёте корабль?

— Ночью? Не могу,— отвечает Эриксон, не поднимая головы от стакана.

— Причина?

— Незнакомый фарватер... Можно пропороть днище корабля. Нет, не могу.

— На дне вашего стакана нашли такую причину?

— Послушайте, Бельшев! — Лицо офицера покрылось красными пятнами.— Вы моряк. Должны понять ответственность командира. Расчистка Невы в пределах города не производилась с начала войны.

Причина выглядит убедительно. Командира расстреляют, если крейсер сядет на мель с пропоротым дном. Меня тоже расстреляют. Но я должен, обязан перевести корабль — таков боевой приказ партии.

— Фарватер промерим и установим вехи.

— Какими средствами? Катера вы сами отослали куда-то.

— Сделаем.

Легко сказано, а вот как действительно сделать?..

Часа через два я снова спускаюсь в кают-компанию. Кладу на стол перед Эриксоном мокрый от сырости лист с неровной линией проверенного и обвехованного фарватера. Это сделали пять наших смельчаков, пройдя в шлюпке к мосту и обратно, поминутно рискуя упасть на дно реки с простреленной головой. Матросы свой долг выполнили. Теперь очередь за офицерами.

— Смотрите, старлейт: глубина фарватера от 20 до 23 футов. При осадке «Авроры» этого вполне хватит.

— Позвольте мне быть откровенным, Бельшев... Идёт борьба за власть.

— Да, между народом и контрреволюцией.

— Но офицеры решили сохранить нейтралитет в этой борьбе.

— Так-так!.. Нейтральные, значит. Ни за попу, ни за попадью...

Схватываю лист и скатываю в трубку. Старший лейтенант ещё пытается в чём-то меня уверить:

— Против большевиков мы тоже не выступим.

— Попробуйте. Стопчем... Часовые!

В дверях показываются вооружённые матросы.

— Из кают-компания никого не выпускать. Задраить иллюминаторы на броневую крышку.

Офицеры встают из-за стола. Этого они не ожидали. В последний раз обращаюсь к ним:

— С кем вы? С народом или против?.. Молчите? Бойтесь правду сказать. Эх, вы!.. Ладно! Не господа, а матросы несут рулевую вахту. Доведём крейсер сами.

Резко иду к выходу. Сзади растерянный голос:

— Не могу, Бельшев. Увольте.

Но через полчаса, услышав рокот якорной цепи, Эриксон просит через часового свидания с комиссаром. Разрешаю подняться с конвоиром. Сгорбившись, он проходит в свою рубку и склоняется над штурманским сто-



ликом с картой. Мне объясняет, что не может допустить, чтобы корабль сел на мель. И с привычной властью командует:

— Лево руля! Так держать!

Сразу бы так... Медленно «Аврора» продвигается по извилистому фарватеру. На середине реки налетает ветер с дождём. Береговые огни потухли. Идём к мосту, ничего перед собой не видя. Смотрю на часы. По времени пора быть на месте. Вскоре слышу отчаянный голос сигнальщика.

— Впереди мост!

— Впереди мост! — передаю в рубку.

Звонит машинный телеграф. «Малый назад!» «Полный назад!» Тяжёлый всплеск якоря... «Аврора» вздрагивает и останавливается.

Приказываю осветить мост прожектором. Вдавливаю глаза в бинокль. При ослепительном свете луча прожектора оглядываю мостовые фермы. Один пролёт пуст. Вижу на мосту броневик, фигурки в шинелях. Напористо кричу в мегафон:

— Эй, юнкера! Марш по домам — к маменькам! От имени Военно-революционного комитета приказываю: немедленно покиньте мост. Через пять минут открываю огонь.

Для острости добавляю ещё словцо — посолонее.

Но крепче всех слов действуют тяжёлые орудия «Авроры». Они медленно поворачиваются и чуть ли не упираются стволами в мост. Юнкеров как ветром сдувает. Наперегонки несутся к берегу и скрываются в перелуках. Броневик даёт задний ход.

И в ту же минуту с боевого поста дезертирует наш командир. Схватившись за голову, убегает в кают-компанию.

«Ладно,— думаю,— катись вниз, нейтральный! Теперь управимся без тебя».

Поворачиваюсь к секретарю судового комитета — старшине Сергею Захарову. Это его, братка, друга, я посылал ночью на смерть! Это он с четырьмя гребцами промерил и обвеховал фарватер.

— Серёга! Принимай новое задание.

— Слушаю, комиссар!

— Вон там — видишь? — один пролёт пустой. Высаживай на берег вторую роту. Наводить мост будешь силами электриков. Действуй быстро. Дорога минута!

— Есть, товарищ комиссар!

На берегу поёт горн. Свистят дудки старшин. Захаров выполняет боевое приказание. Тем временем машинист Бабин ведёт другой отряд к Дворцовому мосту.

Проходит долгая ночь. Свежий ветер разгоняет плотный туман. И вот ранним утром Нева от моста и до Балтийского завода уже запружена миноносцами, тральщиками, буксирами, грузовыми транспортом, паровыми и парусными вооружёнными яхтами. Набережные черны от бушлатов десяти тысячного сводного отряда балтийцев, прибывших из Кронштадта.

Всё заметнее растут силы революции. Нескончаемым потоком идут через мосты к центру рабочие красногвардейские отряды. Связные разведотрядов «Авроры», сражающихся вместе со всеми на берегу, доносят на корабль о нарастающих в Петрограде событиях. «Авроровцы» охотятся за самым мощным в городе броневиком «Ахтырец», скосившим много рабочих, солдат и матросов. Настигли у гостиницы «Астория». Добежали к броневику под пулемётным огнём, уничтожили пулемётчиков, просунув наганы в амбразуры. «Ахтырец» наш. Сейчас он уже поддерживает красногвардейцев у «Астории». Военный порт в наших руках. С боем заняты Адмиралтейство, Мариинский дворец и штаб Петроградского военного округа.

Спускаюсь в радиорубку. Нет ли новостей? Радист Алонцев принимает радиogramму. Лево́й руко́й прижал к уху наушник. Право́й записы́вает текст.

— Кому, Алонцев? Нам?

— Всем, — отвечает радист, не поворачивая головы.

Торопливые буквы вкривь и вкось разбегаются по бумаге. С трудом разбираю их.

«К ГРАЖДДАНАМ РОССИИ! Временное правительство низложено... Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства, это дело обеспечено...»

Алонцев кончает приём. С силой, ломая карандаш, ставит последнюю точку.

— Всем! Слышишь, комиссар? Всем!.. Шура! Бельше́в! Да́й обни́му на ра́достях!

Это обращение было написано В. И. Лениным.

И ещё вечер... Опять спустилась тьма над городом. Опять над Невой стелется серый туман. Стволы орудий нацелены на Зимний дворец — последний оплот контрреволюции в Петрограде, — плотно охваченный красногвардейскими, солдатскими и матросскими отрядами. Штурм должен начаться по сигналу с «Авроры»: холостой выстрел из шестидюймового орудия после того, как будет дан световой знак в Петропавловской крепости. Долго ждём его. Долго сотни глаз вглядываются в туманную мглу за мостом, где не видна уже, а только угадывается крепость.

— Огонь, огонь! — кричат остроглазые сигнальщики.

Теперь видно всем: медленно ползёт ввышину, к шпилю, красная точка. Поспешно бегу на полубак. В памяти оживает встреча в Смольном. Поднимаю руку.

— Расчёты, к орудиям! Слушай мою команду!.. Носовое — пли!

Отблеск огня освещает полубак, чёрные силуэты комендоров. Эхо выстрела слышится далеко в городе.

И сразу в ответ — глухое, раскатистое «ура-а!», стук пулемётов и треск ружейных залпов. Отряды начали штурм.

Ленинград.

*Литературная запись  
А. Садовского.*

---

## ПАВЕЛ АРСКИЙ

### ШТУРМ ЗИМНЕГО

Я стою на берегу широкой Невы, смотрю на громаду Зимнего дворца и на бессмертный корабль революции «Аврора», ставший на вечный якорь, и в памяти моей возникают события великих, грозных дней 1917 года...

#### Павловцы

Во время первой мировой войны, в 1915 году, меня мобилизовали в армию и направили рядовым в лейб-гвардии Павловский полк, стоявший в Петрограде. Это был старый царский полк с вековыми традициями офицеров-дворян, жестоко и дико издевавшихся над людьми, одетыми в солдатские шинели.

Уже год как шла империалистическая война. Она пожирала все ресурсы страны. В то же время армия не была обеспечена самым необходи-

мым — вооружением, обмундированием и продовольствием. Во главе её стояли бездарные военачальники. Русские войска терпели поражение за поражением. С каждым днём росло число жертв войны, с каждым часом увеличивались нищета, голод, разорение трудящихся масс.

Событие, о котором мне хочется сейчас рассказать, произошло в Павловском полку 26 февраля (11 марта) 1917 года. В этот день я был в четвёртой роте. Мы собрались на обед, как вдруг прибежал один из солдат, невероятно взволнованный.

— Братцы! — крикнул он. — На Центральном рынке, на Петроградской стороне, конная полиция стреляет в женщин.

Оказалось, что работницы требовали хлеба, которого не было в продаже ни в булочных, ни на рынке. Их поддержали другие рабочие, завялась перестрелка.

— Мерзавцы, палачи, они стреляют в голодных людей! — возмущались солдаты, обсуждая это известие, и грозили кулаками в окна.

Я увидел на их лицах твёрдую, железную решимость. Вот сейчас они готовы пойти в огонь и воду, лишь бы расправиться с ненавистным царизмом.

— За винтовки, товарищи! Надо проучить полицию... Смерть палачам! Смерть убийцам!

Солдаты быстро схватили ружья. Рота двинулась вперёд, перешла Троицкий мост, прошагала мимо Петропавловской крепости. Скорым маршем, почти бегом, прибыли мы к месту расправы и в штывы пошли на конную полицию.

— Сдавай оружие! — кричали павловцы.

С нашей стороны грянул залп. Городовые стали бросать оружие, а тех, кто оказывал сопротивление, солдаты стаскивали с лошадей. Деятельное участие в этом приняли и женщины. Отряд конной полиции быстро умчался.

Со слезами на глазах рабочие и работницы обнимали и целовали солдат, крепко пожимали им руки.

— Долой царя! Долой войну!

— Хлеба и свободы!

Громкие возгласы далеко разносились в весеннем воздухе. Нас провожали, как победителей.

С песней мы возвращались в казарму:

Ура! Ура! Ура!  
 Павловцы идут!  
 Пред собой знамёна  
 Павловцы несут!

Мы весело пели песню нашего полка, а царские жандармы уже готовили нам петлю. Ночью полк окружили броневики. Около двадцати солдат-павловцев было арестовано и заключено в Петропавловскую крепость.

Но революция огнём охватывала весь Петроград. На другой день восставшие рабочие и солдаты освободили наших товарищей.

Войска стали переходить на сторону революционных масс. Ещё утром 27 февраля (12 марта) было только десять тысяч восставших солдат, а вечером их было свыше шестидесяти тысяч.

Начались аресты царских министров и генералов. Трудящиеся восторженно встречали освобождённых из тюрем революционеров...

Вскоре у нас состоялись выборы полкового солдатского комитета. Я был избран заместителем председателя комитета. Мы начали свою сложную и трудную работу.

## Солдатская баллада.

В массах всё больше росло недовольство политикой буржуазного Временного правительства. Солдаты стремились домой, тосковали по родным и близким, каждый хотел засеять свою полоску в надежде снять урожай собственными руками.

Как-то ночью, лёжа на нарах, я написал стихотворение под названием «За честь России-матушки». Потом прочитал его на одном из полковых митингов. Солдатам понравилось.

Спустя некоторое время ко мне подошли двое товарищей.

— Где твоя солдатская баллада? — спросил один из них.

— Вот здесь, в кармане, — ответил я.

— Ну, тогда пошли!

— Куда?

— Прямым рейсом в редакцию «Правды».

Мы пришли в самый разгар редакционной работы. Вокруг секретаря толпилось много людей — кто с письмом, кто с заметкой. Дошла очередь и до меня. Я показал свой листок. Мельком взглянув на него, секретарь кивнул на дверь:

— Пройдите, там покажете...

Он что-то хотел добавить, но его прервали нетерпеливые рабкоры, солдаты с фронта и заводские ребята.

Я вошёл в кабинет. За письменным столом, заваленным бумагами, сидел человек и что-то писал, склонив набок голову.

— Что у вас? — приветливо спросил он.

— Стихи... Солдатская баллада, — робко сказал я, положив на стол листок.

— Садитесь, пожалуйста! — Товарищ указал на кресло и стал внимательно читать мои стихи. Потом встал из-за стола. — Это мы напечатаем! А скажите, как у вас дела в полку?

Я начал рассказывать.

— Как называется ваш полк?

— Павловский.

— А-а! Четвёртая рота вашего полка первая встала с оружием в руках против самодержавия!

Когда я сказал, что солдаты против войны, он заговорил, быстро шагая по комнате:

— Войну надо кончать, и как можно скорей! Армия смертельно устала, ей противна эта бойня... Вы на фронте были? — спросил он, положив руку на моё плечо.

— Да! — ответил я. — На фронте предают солдат. Нет снарядов, довольствия. Люди нередко едят одни сухари.

— Вот-вот! Об этом говорится и в ваших стихах. — Он снова заглянул в мой листок. — Нет! Война нам не нужна... Армия может и должна обратиться оружием против своих угнетателей — помещиков и капиталистов! Павловский полк и теперь должен быть в первых рядах наших революционных войск.

Я вышел, глубоко потрясённый словами этого человека, который очень задушевно, с большим дружеским участием говорил о наших заветных солдатских делах. Причём говорил именно то, о чём мы, солдаты, рассуждали не раз.

Секретарь, увидев меня, спросил:

— Ну, как ваши стихи?

— Да вот товарищ одобрил, обещал, что будут напечатаны.

Секретарь улыбнулся:

— Если Владимир Ильич сказал, значит стихи пойдут.

— Ленин?! — с радостным волнением воскликнул я.

— Он самый!

На улице меня с нетерпением ждали друзья. Я торопливо поведал обо всём, что со мной произошло в редакции.

Солдаты долго смеялись, потом начали меня упрекать:

— Ах ты, чудак! Надо было побольше рассказать о нашей солдатской жизни. Он всё должен знать!

— Он и так хорошо знает всё,— заметил я.

Дня через три моя «Солдатская баллада» появилась в газете «Правда».

### Июльские дни

Лето 1917 года. Верное своей империалистической политике, в угоду союзникам — англо-французским империалистам, Временное правительство решило начать наступление на фронте.

Буржуазия рассчитывала, что, если будет успех на военной арене, значит удастся взять всю власть в свои руки, отодвинуть Советы на задний план, покончить с большевиками; если же наступление окажется неудачным, то тогда всю вину можно будет свалить на коммунистов, объявив, что они разложили войска.

Как и следовало ожидать, наступление провалилось. Причиной тому явилось нежелание солдат продолжать ненавистную им войну, непонимание ими цели наступления, необеспеченность боевыми средствами. Всё это не преминуло сказаться на настроении народных масс. Чаша терпения переполнилась.

Развитие событий привело к тому, что 3 (16) июля в столице стихийно возникли демонстрации. Петроград был охвачен величайшим революционным подъёмом. У солдат и рабочих была непреклонная воля: передать всю власть в руки Советов.

С утра пришёл в движение и наш запасный Павловский полк. На бурном митинге солдаты выдвинули требование о немедленном вооружённом выступлении против Временного правительства.

Выполняя поручение полкового комитета, я срочно, по телефону, обратился в ЦК партии. Мне подробно разъяснили, что Коммунистическая партия в данное время против вооружённого выступления, так как армия на фронте и рабоче-крестьянские массы по всей стране пока ещё не вполне готовы поддержать восстание в центре, а буржуазии будет выгодно спровоцировать такое выступление, с тем чтобы потом разгромить авангард революции.

Однако, когда стало очевидным, что сдержать порыв трудящихся невозможно, Центральный Комитет принял решение участвовать в демонстрации с целью придать ей мирный и организованный характер.

Павловский полк в полном составе вышел на улицу и направился к дворцу Кшесинской. Там мы увидели В. И. Ленина. Он приветствовал демонстрантов и призывал к выдержке, стойкости и бдительности. Вождь революции выразил твёрдую уверенность, что лозунг «Вся власть Советам!» победит.

Павловцы отправились дальше, к Таврическому дворцу, где помещались ВЦИК и Петроградский Совет. Мы следовали за Гренадерским полком, миновали Театральную площадь, прошли через Марининскую площадь. Вот и Невский проспект.

И вдруг загремели выстрелы. Против мирной демонстрации были выдвинуты отряды юнкеров и офицерства. Снова улицы и площади Петрограда обгарились кровью революционных рабочих, солдат и матросов.

Ночью 5 июля я был арестован и направлен в помещение особой следственной комиссии Временного правительства.

Особая следственная комиссия постановила привлечь меня и моих товарищей в качестве обвиняемых в преступном деянии, предусмотренном 51-й и 100-й статьями Уголовного Уложения.

«Смертная казнь!» — думал каждый из нас, сидя в тюрьме. Но кровавой расправе над нами помешал стихийный протест солдат и рабочих Петрограда. Нам удалось вырваться из тюремного застенка.

А в это время на петроградских фабриках и заводах, в солдатских казармах и учреждениях состоялись митинги и собрания, прошедшие под лозунгом «Вся власть Советам!».

Этот боевой лозунг зазвучал в октябре семнадцатого года как призыв к вооружённому восстанию. Он овладел умами и сердцами миллионов рабочих, солдат и крестьян, превратился в величайшую силу, поднимающую революционные массы на решительную борьбу за победу социалистической революции.

### 25 октября...

В стране с каждым днём всё выше и выше поднималась волна революционного движения.

Коммунистическая партия приступила к усиленной подготовке вооружённого восстания. По указанию ЦК партии 12 (25) октября при Петроградском Совете был создан Военно-революционный комитет (ВРК) — боевой орган подготовки и проведения вооружённого восстания. Руководящим ядром ВРК был Партийный центр, избранный на расширенном заседании Центрального Комитета 16 октября. В него вошли И. В. Сталин, Я. М. Свердлов, Ф. Э. Дзержинский, М. С. Урицкий.

24 октября (6 ноября) Главный штаб Красной гвардии получил приказ Военно-революционного комитета привести все силы в боевую готовность... В тот же день в Смольный прибыл Владимир Ильич Ленин и взял непосредственно в свои руки руководство восстанием.

На следующий день в Смольный вызвали начальников революционных отрядов.

Нас встретил И. В. Сталин. Он приветливо здоровался, внимательно всматривался в лицо каждого пришедшего, как бы стараясь распознать, что он сейчас думает, полон ли решимости или, наоборот, не уверен в своих силах.

Когда все собрались, Иосиф Виссарионович сказал:

— Дорогие товарищи! Военно-революционный комитет приветствует вас и поздравляет с первыми победами.

— Спасибо, товарищ Сталин!

— Жизнь отдадим за революцию!..

Сталин улыбался, его глаза светло и радостно блестели. Он подошёл к карте Петрограда, висевшей на стене, и начал рассказывать обстановку. Красной гвардией и революционными войсками заняты вокзалы, почта, телеграф, государственный банк, важные правительственные учреждения.

Сталин не спускал глаз с карты. Казалось, мысленно он всё ещё там, в гуще атакующих рабочих и солдат.

— Центр города уже в наших руках. Теперь мы должны выполнить последнее указание товарища Ленина — взять Зимний дворец и арестовать Временное правительство.

Немного помолчав, Сталин продолжал:

— Зимний взять будет нелегко! Юнкера решили превратить его в неприступную крепость.

— Ничего! Возьмём, товарищ Сталин! — послышалось в ответ.

— Я тоже так думаю, — чуть улыбнулся Иосиф Виссарионович.

...Никогда не забыть мне этого вечера. Зимний дворец, где укрылось Временное правительство, окружён со всех сторон. В холодном воздухе

звонят голоса красногвардейцев, солдат, матросов. Их шинели мокры от дождя и снега. На Марсовом поле люди развели костры, греют над огнём руки.

Наш Павловский полк готов к бою. Солдаты полны нетерпения, но мы ждём указаний Военно-революционного комитета.

Во избежание кровопролития ВРК предъявил Временному правительству ультиматум — капитулировать в течение двадцати минут.

Но вот прошёл назначенный срок. Буквально в последние секунды узнаём ответ противника. Он просит ещё десять минут. ВРК даёт согласие. Снова ожидание. Все смотрят на часы. Зимний дворец молчит. Ясно, Временное правительство хитрит и обманывает восставших, старается выиграть время. Оно всё ещё надеется, что с часу на час сюда подоспеют на помощь войска с фронта.

Военно-революционный комитет приказывает: начать штурм Зимнего.

Сигнал к началу боя был известен всем нам, командирам революционных отрядов: над Петропавловской крепостью загорится красный фонарик. Напряжение достигло предела. Скорее бы!..

И вот высоко на шпиль Петропавловки вспыхивает красная звёздочка. 21 час 45 минут. Грянул выстрел с крейсера «Аврора».

Смело, решительно, дружно красногвардейцы, солдаты и матросы начинают бой. Громкие крики людей перемешались с пулемётным треском, тонким, певучим свистом пуль. Вечерняя темнота то там, то здесь прорезывается вспышками частых выстрелов.

Павловский полк наступал с Миллионной улицы вместе с красногвардейцами Петроградской стороны, пришедшими к нам ещё днём. Короткими перебежками мы понемногу продвигались вперёд, всё ближе к громаде Зимнего дворца.

Самое трудное — перейти через площадь, находящуюся под обстрелом. Пулемётный огонь был так силен, что казалось невозможным проскочить через него.

В двенадцатом часу ночи ударили орудия из Петропавловской крепости. Мы почувствовали как бы новый прилив сил. Уверенность в близкой победе охватила всех нас... Вперёд, вперёд! Теперь-то «Временщикам» уж не устоять!..

Это была решающая схватка — не на живот, а на смерть. Вокруг ничего не видно, нельзя даже различить ни зданий, ни людей. Зимний дворец вдруг выступал из тьмы, освещаемый лучами прожекторов «Авроры» и военных кораблей, стоявших на Неве, потом — снова ночная чернота.

Грозный гул, подобно морскому шторму, грохотал над площадью; в нём слились человеческие голоса, ружейные выстрелы, разрывы снарядов. С трёх сторон — с Морской, с Миллионной, от Александровского сада — устремились к дворцу революционные войска.

Ещё мгновение — и громкое победное «ура!» раздалось по ту сторону наваленных брёвен. Юнкера были смяты.

Огромные железные ворота дрогнули, обе их половины стали медленно и плавно расходиться. Мы, точно бурная лавина, устремились во дворец... Сверкающая белозной широкая лестница. Просторный коридор, ряды статуй, на стенах — картины...

Сверху, справа, слева жужжали пули. Защищавшие дворец прятались за перилами лестницы; они притаились за колоннами и статуями и оттуда стреляли в нас. С боем, то и дело переходившим в рукопашную схватку, очищается от юнкеров одна комната за другой. Нелегко было овладеть дворцом, имеющим более тысячи комнат.

Почти полтора часа длилась эта схватка внутри Зимнего.

Но вот наконец и наша конечная цель — помещение, где спрятались министры Временного правительства. У дверей — отряд юнкеров с ружьями на изготовку.

Красногвардейцы и солдаты вырвали у них из рук винтовки и шагнули в комнату...

Славный день 25 октября 1917 года вошёл в историю нашей Родины и в историю человечества как день победы Великой Октябрьской социалистической революции.

В. СТРИГИН, А. КУРАКОВ, П. ПРУССАК

## ТОВАРИЩ АНДРЕЙ

(Из воспоминаний арсенальцев)

### 1

На высотах киевского Печерска, обратившись к городу мощной крепостной стеной, стоит Арсенал. Завод хорошо виден с крутого Кловского спуска, с извилистой Собачьей тропы. Огромный овраг рассекает надвое этот район города. На тротуаре у трамвайной остановки — высокий, сложенный из гранитных глыб постамент. На нём установлена маленькая горная пушка. И пушка эта и мраморная доска на стальных шурупах, привинченная неподалёку к стене одного из заводских корпусов, неотделимы от жизни каждого из нас.

Стены Арсенала изгрызены пулями и орудийными снарядами. Это шрамы, нанесённые в революционных битвах. Кое-где они редкими осипками темнеют на округлой башне или глухой стене, но случается, что кирпич елошь исхлестан металлом, исклѣван артиллерией юнкеров, гайдамаков, петлюровцев — всех, кому в те годы уж очень не по душе пришлась молодая Советская власть. В этих местах бой были особенно упорными. Здесь контрреволюция с неистовой яростью штурмовала Арсенал.

Мы, арсенальцы, не зовѣм каменщиков и маляров, чтобы заделать эти повреждения. Иссеченные в боях стены — гордость наша и всех трудящихся Советской Украины, символ непобедимости рабочего класса, живое свидетельство его славной истории.

...Прекрасен сегодняшний день Киева. Он встаѣт в гудках заводов и фабрик, в шири привольно раскинувшегося на холмах Крещатика, в стройных линиях новых днепровских мостов, в весѣлом гомоне киевлян.

Мы, люди пожилого возраста, по-своему, по-особенному любим слушать молодые голоса Киева, угадывать в многоголосии гудков басы «Ленинской кузни» или завода «Большевик», радуемся напору новостроек, их рабочему ритму. Но мы всегда слышим и другие голоса. С наступлением осени они всё более явственно доносятся из прошлого, напоминая нам о тех днях, когда по всей России шли бой за власть Советов. Это редкие выстрелы горной пушки, орудийный гул за Днепром, на Слободке, стрекотание аэроплана. Это тревожный гудок котельной, пулѣмѣтная скороговорка и — два слова, которые шепчет упавший с прострѣленной грудью старый рабочий Аистов: «Вперѣд, товарищи!..»

И ещё — это страстный, вызывавший ненависть врагов голос товарища Андрея.

### 2

Он появился в Арсенале 30 августа (12 сентября) 1916 года, в поношенной солдатской шинели, с группой товарищей, солдат юго-западного фронта. Все они — Андрей Иванов, Косяков, Коковочкин, Стригин и другие — были взяты из армии и в теплушках переброшены в Киев: на Арсенале не хватало квалифицированных рабочих.



Токарь Андрей Иванов — москвич, полный энергии и боевого задора. В двадцать семь лет у него за плечами было уже одиннадцать лет политической борьбы — сначала на железной дороге, затем на ряде московских заводов и среди солдат юго-западного фронта. В первые годы московской жизни Иванов познакомился с М. И. Калининым, служившим тогда монтером на Лубянской электростанции, и жадно учился у него мастерству массовой пропаганды и навыкам большевистского подполья.

Очень скоро Андрей Иванов стал душой и организатором революционной работы в Арсенале. В короткой бекеше из грубого шинельного сукна, в заломленной назад папаче, он появлялся в цехах, на рабочих собраниях, всегда горячившийся, буквально одержимый желанием склонить каждого слушающего его рабочего к настоящей, не знающей идейных компромиссов революционности. В этом он был страстен и неистощим; несмотря на тяжёлую лёгочную болезнь, уже тогда резко проступавшую румянцем на его запавших щеках.

А работать ему было нелегко. Арсенал — испокон веков казённый, государственный оружейноремонтный завод, и администрация старалась подбирать рабочих, далёких от революционных настроений. Всякий протест беспощадно подавлялся военной силой. Тем не менее в борьбе за свои права и свободу у рабочих Арсенала всё более крепились и развивались боевые традиции. После Февральской революции 1917 года здесь возникла и оформилась большевистская организация. Она была поначалу невелика, но жизнеспособна и сильна благодаря связи с цеховыми комитетами, с заводским людом.

Шли грозные дни весны и лета семнадцатого года. Правительство Керенского всё больше расшатывалось. Трагические июльские события — расстрел войсками Керенского рабочей демонстрации в Петрограде — нашли отзвук в сердце каждого сознательного пролетария России. В короткое время большевистская ячейка Арсенала выросла почти в четыре раза. Днём и ночью не затихала жизнь в заводском клубе, созданном большевиками. Здесь на деньги, собранные арсенальцами, поили даровым чаем солдат, прибывших с фронта, распространяли большевистскую газету «Голос социал-демократа». И здесь часто выступал товарищ Андрей.

Он с жаром говорил о близящейся социалистической революции, раскрывал подлинные цели империалистической войны и гневно спорил с «оборонцами», эсерами и меньшевиками. Андрей умел находить простые, доходчивые слова и, хотя был хорошо подготовлен теоретически, не забирался в научные дебри, а захватывал своей убеждёностью, прямой, здравым смыслом. Не раз, бывало, он брал «в оборот» кого-нибудь из рабочих, обманутых красноречием меньшевиков, убеждал, заглядывая ему в самое сердце своими честными, блестящими от возбуждения глазами, похаживал вокруг него и успокаивался, только увидев, что по крайней мере посеял сомнение в уме собеседника. «Теперь сам дойдёт», — говаривал он, устало улыбаясь. Эти маленькие бои за душу каждого рабочего Андрей Иванов вёл неустанно и повсюду: в цехе, в заводской раздевалке, где ещё до Февральской революции он раздавал, бывало, листовки, в рабочем клубе и дома — в сыром и тёмном подвале, всегда полном людей.

Придавая большое значение Киеву, Временное правительство перебрасывало сюда отдельные фронтовые части. По городу группами и в одиночку шныряли курсанты, на погонах которых стояли три буквы: «ШПР» — школа прапорщиков. Таких школ в Киеве было одиннадцать. Но более того наводнили город, и особенно район Печерска, юнкера, щеголявшие лихой выправкой и хорошим покроем светлосерых шинелей. Казалось, Киев полон ими — в трёх крупных юнкерских училищах их действительно обучалось немало.

Была в городе ещё и третья сила — националистическая Центральная Рада, рядившаяся в революционные одежды. Она обманывала народ и терпеливо ждала случая нанести удар в спину революции. И в ожидании этого часа Рада стягивала в Киев свои, так называемые «украинские части», готовя злодейское предательство интересов трудового народа.

В Киев продолжали прибывать войска, верные Керенскому. Ранней осенью на станции Киев-товарная выгрузился «батальон смерти». Молча продвигался он через весь город. Конские подковы высекали искры о булыжник старого Крещатика, на вьючных сёдлах покачивались пулемёты. Солдаты шли в несвежих светлозелёных шинелях, в металлических касках с гребешком посередине. Кто-то из толпы рабочих, стоявших на тротуаре, крикнул:

— На кого идёте с пулемётами, братцы?!

В сумрачном молчании шагали солдаты. Офицер дёрнул поводья своего коня и сверху медленно оглядел толпу. Батальон повернул в направлении Арсенала. Там, на Банковой улице, в десяти минутах ходьбы от нашего завода, размещался штаб Киевского военного округа.

### 3

Уже днём 25 октября радостная весть достигла Киева. Победа большевистских Советов в Петрограде диктовала нам необходимость решительных действий. Нужно было немедленно поддержать вооружённым восстанием революционный Петроград, поднявшийся на борьбу за мир, за хлеб и за свободу.

В два дня свершились события, на которые в иных условиях потребовались бы длительные сроки: объединённое заседание Советов рабочих и солдатских депутатов 27 октября покончило с засилием меньшевиков и эсеров, приветствовало Октябрьское восстание в Петрограде и избрало большевистский Военно-революционный комитет, поручив ему установить в Киеве власть Советов.

Но едва Ревком разместился в высоких залах бывшего царского Мариинского дворца и приступил к работе, как отборные отряды юнкерья и казаков окружили дворец и арестовали всех находившихся в здании членов Ревкома. На свободе остался только товарищ Андрей — в это время он был у рабочих Арсенала.

На Печерске создался свой Ревком во главе с товарищем Андреем. Несмотря на воскресный день, к Арсеналу потянулись рабочие, члены красногвардейских отрядов. Они не обращали никакого внимания на вражеские патрули, безбоязненно проходили мимо парка, за оградой которого юнкера уже рыли окопы и устанавливали нацеленные на Арсенал пулемёты.

Ревком постановил начать восстание в тот же день, 29 октября, в пять часов вечера. Сигнал к выступлению должен был подать аэроплан 3-го авиапарка, описав три круга над Печерском.

Наши винтовки лежали в токарном цехе. Их было немало, но на каждую винтовку приходилось только пять патронов, а артиллерийских снарядов и того меньше — всего несколько штук, предназначенных для пробных выстрелов из отремонтированных орудий.

Ровно в пять часов послышался гул самолёта. Над Печерском появилась «этажерка» — двухплоскостной аэроплан, пилотируемый лётчиком Егоровым. Раздались тревожные гудки Арсенала. Восстание началось.

### 4

Утро 30 октября началось совсем по-обычному. В положенное время загудел Арсенал, призывая на работу. Отовсюду как ни в чём не бывало собирались к заводу сотни рабочих. Теперь мы знаем, что беспрепят-

ственный пропуск их в Арсенал был связан с определённым тактическим замыслом. «Если эти рабочие идут, как положено, к станкам — тем лучше,— рассуждали офицеры,— а если они всё же намерены участвовать в вооружённом восстании, мы окружим Арсенал и всех их там перебьём».

Нельзя было не восторгаться спокойствием и выдержкой рабочих. Люди в тёмной рабочей одежде шли буквально сквозь строй юнкеров, дерзких, вызывающих, рисующихся в своих ладных шинелях с яркими синими погонами; шли, ощущая всем телом, кожей лица ненависть врагов, видя, как сжимаются их пальцы на рукоятках револьверов в судорожном желании выстрелить, убить; шли спокойно, не опуская головы, ничем не выдавая своего волнения.

Вскоре цехи заполнились гулом голосов. Кое-кто из кузнецов развёл огонь в горнах, заработало машинное отделение, зашумели моторы. На какое-то время юнкера были обмануты и притихли, поглядывая на заводские корпуса. «Неужто рабочие смирились,— думали они,— и ныне покорный Арсенал станет ковать оружие для фронтовых частей Керенского? Значит, арест партийного комитета и Ревкома сломил сопротивление киевского пролетариата?»

Напрасная надежда! В цехах и на заводском дворе под руководством товарища Андрея шли последние приготовления к бою. К составшим примкнули сотни рабочих, в том числе и те, кто прежде не помышлял о вооружённой борьбе.

Хочется особо подчеркнуть ту высокую организованность и находчивость, которые показали тогда рабочие Арсенала. Незаметные до того люди буквально преображались на глазах, открывались с новой, порой неожиданной стороны, обнаруживали настоящий талант революционных бойцов. Артиллерийский приёмщик Лебедев сам изготовил несколько боевых снарядов для горной пушки, используя пустые гильзы. Кто-то предложил для устрашения врага выкатить на позиции также и негодные, ещё не прошедшие ремонта, орудия. Этот манёвр сыграл известную роль в борьбе против юнкеров: ведь артиллерия была их самым уязвимым местом, так как почти все технические воинские части примкнули к большевистским Советам.

Замешательство юнкеров длилось немногим больше часа. Вскоре стало ясно, что арсенальцы пришли на завод вовсе не для работы. Молчали двухтонные паровые молоты, от действия которых всегда подрагивала земля на сотню сажень в окружности, молчали слесарный и другие цехи, обычно наполнявшие близлежащие улицы скрежетом и шумом. Выкатились на позиции орудия, из окна углового корпуса выглянул пулемёт.

И тогда юнкера, казаки, головорезы из ударных батальонов устремились на штурм Арсенала. Надо думать, что они недооценили силы составших — столь отчаянными и открытыми были их первые броски. Под прикрытием пулемётного огня и залпов двух лёгких батарей орущая полупьяная лавина приближалась к заводским корпусам. Спокойный, расчётливый огонь арсенальцев, сберегавших патроны, встретил атакующих на близком расстоянии, и они отступили.

Орудийный огонь юнкеров почти не причинял вреда Арсеналу. Снаряды не пробивали его массивных стен, входивших некогда в систему старинной Киевской крепости. Но во дворе, на баррикадах, сооружённых из угля, пролилась первая кровь. Арсенальцы отразили попытку юнкеров пробраться сюда через невысокий забор. Рабочий Аистов поднялся в ответную атаку, увлекая за собой товарищей. Он пал с простреленной грудью и, умирая, шёпотом повторил слова боевого призыва: «Вперёд, товарищи!»

Бой разгорался. Теперь вылазки юнкеров стали более осторожными. Тесно сомкнулось блокадное кольцо вокруг Арсенала. Положение становилось опасным для нас.

И вот тогда проявился во всей своей значительности военный и организаторский талант большевика Андрея Иванова. Трудно было не пойти за ним, не откликнуться на его призыв. Каждый хотел держаться так же мужественно и бесстрашно, как держался товарищ Андрей. Он руководил всеми военными действиями, поддерживал связь с командованием красногвардейских отрядов, с восставшими воинскими частями. Он сражался на баррикадах, водил арсенальцев в атаки.

## 5

...Ночь. Сеет мелкий, неприметный в темноте дождик. Промозглый осенний холод заставляет коченеть всё тело. Хрустит под чьей-то ногой тонкий, как бумага, ледок, затянувший лужи.

Сжимая стынущими руками винтовки, лежат и сидят вдоль угольной гряды люди. Большинство арсенальцев — в худых рабочих костюмчиках. Скучный завтрак, принесённый с утра, давно съеден.

В городе бастуют пекари, электрики, трамвайные рабочие, печатники, водопроводчики. Всё как будто замерло, и грозное молчание рабочего Киева тоже немало пугает юнкеров, равно как и меньшевистско-эсеровских «деятели», засевших в Городской думе. Но для рабочих Арсенала хлеб есть — ради этого не прекращает работу одна из пекарен на Печерске. Накануне на завод привезли несколько подвод хлеба. А когда начался бой, большие круглые караваи приносили под полой женщины и девушки из союза пекарей, из городской молодёжной организации, пробираясь к нам окольными тропами. Союз колбасников доставил восставшим колбасы. Кое-что нашлось в заводской продовольственной лавке. Потом обнаружилось, что неподалёку, в заводском тупике, стоят вагоны с картофелем, в своё время привезённым для столовой.

И вот радостное оживление; весёлый шумок пронёсся по нашей цепи. Картошка! Горячая, испечённая в калориферных печах и в плитах для подогрева пищи, обжигаящая руки картошка! Её днём и ночью раздают нам Варя Гончарова и другие девушки из союза пекарей, заводские подруги из учеников. «Рябчиков на закуску! Хорошие рябчики!» — предлагают они. Согреешь, бывало, до боли, до ожога руки, сунешь картофель на минуту-другую ещё и за пазуху для обогрева, а там и за еду. Незабываемо вкусны были эти «октябрьские рябчики», до сих пор хорошо помнится даже запах — немного терпкий, с дымком.

Восставший Арсенал жил одной жизнью с рабочими Киева, и, несмотря на блокаду, город находил возможность помочь нам в нужде.

Арсенал был силен не только выдержкой и мужеством. Сила наша и в том, что нас поддерживали воинские части.

В Арсенале плечом к плечу боролись за победу Октябрьской революции русские, украинцы, белорусы и представители многих других народов, населяющих Россию. Никогда не забыть нам славных дел Коковочкина и Косякова, Костюка, Ивана Шумова и Ольшанского, Вари Гончаровой и уборщицы заводоуправления Бондаренко, с первых же дней боя ставшей сестрой милосердия, отважного белоруса Ломако и Павла Рыжкова, грузина молотобойца, весельчака Мацокана, Слабко и многих арсенальцев-красногвардейцев — Михаила Пиорко, Сергея Струтинского, Николая Шеляженко, Василия Скринского, Василия Шумова и других...

Уже к вечеру 30 октября, когда мы провели ряд наступательных операций, многое предвещало победу. Главные, решающие бои шли именно здесь, на Печерске. Но наши боеприпасы подходили к концу. Умолкли пулемёты, да и винтовочные выстрелы всё реже раздавались со стороны завода. Отрезанные юнкерами от поитонного батальона, мы не могли и в малой мере пополнить свой запасы.

И всё-таки утро следующего дня Арсенал встретил боями, смелыми ударами по юнкерам. Несколько раз арсенальцы выбивали юнкеров из окопов, вырытых по другую сторону оврага. Артиллерийские батареи, в особенности пушки тяжёлого артдивизиона из-под Броваров, довершили дело. В одиннадцать часов дня юнкерские парламентарии с белыми флагами явились в Арсенал и попросили перемирия на три часа для переговоров в Городской думе.

Едва перемирие вступило в силу, автомашины направились на Зверинец, к артиллерийскому складу, за снарядами.

В Городской думе товарищ Андрей один вёл трудную борьбу против предательской клики всяческих «депутатов» — представителей, парламентариев и «наблюдателей», горевших злобной ненавистью к восставшим рабочим и солдатам. Рассказы сопровождавших его связных, отчасти и воспоминания самого А. Иванова, позволяют воссоздать картину этих переговоров — важного звена октябрьского восстания в Киеве.

Товарищ Андрей потребовал прежде всего немедленного освобождения арестованных большевиков, угрожая в противном случае открыть артиллерийский огонь. Тогда он сам ещё не знал, удалось ли нам доставить патроны и снаряды на завод, но, видя трусость меньшевиков, действовал стремительно. Расчёт был правильным: арестованных освободили из-под стражи.

Вскоре арестованные прибыли на Арсенал. С какой радостью встретили мы освобождённых товарищей!.. А в это время товарищ Андрей продолжал действовать в том же духе. «Я попросил слово для внеочередного заявления и сказал, что по постановлению Революционного комитета мы дали полчаса сроку на размышления, после чего штаб должен сдать или будет дан приказ бить по штабу из всех орудий... Все вскочили с мест с криками, что это — предательство, что мы ждали только освобождения арестованных, что все объединятся и сотрут нас в порошок. То же самое заявили и представители Центральной Рады. Я им ответил, что угрозы мы не боимся и померяемся силой оружия...»

Заговорили пушки. Мощный луч прожектора, присланного нам в часы перемирия 3-м авиапарком, освещал позиции юнкеров. Стихла пулёмётная стрельба с их стороны, и вскоре полная тишина охватила парк и прилегавшие к нему улицы.

Под прикрытием темноты штаб и войска противника бежали из Киева...

Много святой крови было пролито за то, чтобы отстоять Советскую власть на Украине. Но никогда не забыть нам первой открытой схватки 1917 года — октябрьского восстания рабочих Арсенала и солдат Киева.

Киев.

*Литературная запись*  
Александра Борщаговского.

## А. БЛОХИН

### РАССКАЗ СОЛДАТА РЕВОЛЮЦИИ

В то время — в семнадцатом году — меня уже называли старым большевиком (в партии я с 1903 года). Так и говорили: «Старый революционер, большевик Федя». Это партийная кличка — «Федя». Зовут меня Александром.

В 1905 году довелось участвовать в вооружённых схватках с полицией. Когда хоронили Баумана, меня около университета подкосила пуля. Лечили студенты. Революционные, конечно, студенты.

После поражения первой русской революции пришлось туго. В 1909 году вылетел с завода, с полгода кружился без работы. И полиция по ночам лезла с обысками. Потом вроде пристроился. Смешно сказать: церковный сторож и водопроводчик. Семь рублей в месяц. Жена и четверо детей.

Задумал было подработать по вечерам у Доброва-Набгольца — завод мельничного оборудования. Тут приходит товарищ Михайлов из Московского комитета, даёт взбучку: «У тебя явка. Ты понимаешь, что делаешь? Ты организацию можешь провалить».

В девятьсот пятнадцатом меня мобилизовали. Отправили в Тамбов. Там, конечно, наша большевистская явка тоже была. В первое же воскресенье доложился... Начал агитировать против войны. Пока потихоньку — среди крестьянской бедноты и в рабочих рядах. Но через три месяца меня перевели обратно в Москву, во 2-ю автороту. Это была особая рота. Тысяч пять человек. Гаражи, мастерские огромные — вроде заводов.

Вот и вышло, что я опять токарь.

Как бы это лучше объяснить, что я тогда чувствовал... Я солдат, по тому времени вроде как бы безответный раб. В то же время — и это самое главное — я революционер-большевик. После 1905 года полностью, до мозга костей, партийный: всё для партии, включая и жизнь. Я выполняю партийные поручения. Веду среди солдат агитацию против царя, против буржуев, против войны, за неповиновение офицерам. Понемногу, вместе с другими, разжигаю революционные настроения, готовлю бунт. И всё-таки у станка — я токарь. Я дело своё люблю. Мечтаю: когда же, когда так будет, чтобы вот такой же коленчатый вал точить не для ненавистной царской военной машины, а для нас самих, для народа!..

Стружка вьётся, и думы, как стружка, тоже вьются. Вьются горячие мысли. И ломаются тоже, как стальная синяя стружка, с одного на другое перескакивают.

...После Февральской революции солдаты избрали меня председателем комитета Преображенских военных автомастерских. У нас много было рабочих. Часть наша почти насквозь большевистская. Могла подняться по первому зову Московского комитета.

Жили в казармах. Когда наступал вечер, ляжем, шепчемся. И тогда уж говорим всё, что душе пожелается. Мы особо не скрывались. Мы уже чувствовали силу. Все были связаны с заводами. Кто из провинции — те письменно, а москвичи нет-нет да и встретятся с приятелями, работающими на Гужоне или у того же Доброва-Набгольца; много было знакомых и на нашем особо революционном заводе, на котором раньше работал я, — «Густав Лист с сыновьями». Недаром этот завод после революции назвали «Красный факел». Гордое и правильное название, ничего не скажешь! Связь солдат с рабочими в Москве была налажена крепко.

После того как Ленин дал Апрельские тезисы, партия взяла курс на подготовку социалистической революции. Шестой партийный съезд нацелил на вооружённое восстание против буржуазии и её Временного правительства. «Вся власть Советам!»

25 октября в Петрограде началось восстание. В Москве ещё не было ни одного выстрела. Но массы уже готовились, на заводах бастовали. Забастовка ширилась, превращалась во всеобщую. Районные комитеты нашей партии вооружали рабочих. Революционные воинские части тоже были наготове.

Вечером 26 октября большевики назначили гарнизонное собрание в Политехническом музее. Решили обсудить деятельность Московского Совета солдатских депутатов, где верховодили меньшевики, — разоблачить его соглашательскую политику, потребовать переизбрания.

Зал был переполнен. Крик стоял невообразимый, никому из ораторов говорить не давали. Стоило подняться на трибуну большевику — меньшевики орали, свистели, стучали ногами. Хотел взять слово меньшевик или эсер — того хуже: большинство было всё-таки нашим.

Шумели безрезультатно часа полтора. Приехал Емельян Ярославский. Он был членом Московского ревкома, солдаты революционных частей хорошо знали и любили его. Но и Ярославскому не удалось утихомирить разбушевавшихся меньшевиков и эсеров. Тогда на трибуну взошёл Григорий Усиевич. Мы в президиуме к этому времени подготовили неожиданный ход.

— Предлагаю избрать десятку! — выкрикнул Усиевич.

Зал притих. Какая «десятка»? Что-то непонятное.

— Предлагаю, — продолжал оратор, — выбрать временно десятку. Десять наших представителей, солдат. Пусть действуют со всеми полномочиями до переизбрания Московского Совета солдатских депутатов.

Предложение прошло. Усиевич тут же огласил список, и десятка была избрана почти единогласно. Я тоже вошёл в эту десятку.

Меньшевики поняли, что их обвели вокруг пальца. Они пытались протестовать. Но собрание уже решило: Московский гарнизон не должен никому подчиняться, кроме десятки.

Тут же, после собрания, мы отправились в Ревком. Уже темнело, на улицах было пустынно и холодновато. Не ходили трамвай, исчезли куда-то извозчики.

Как только пришли — доложили о решении гарнизонного собрания.

И вот новое поручение: отправиться в составе делегации Ревкома в Кремль к командующему Московским военным округом полковнику Рябцеву для переговоров.

К тому времени сложилось такое положение. Рябцеву удалось собрать в Манеже юнкеров и офицеров. Он намеревался ввести их в Кремль, чтобы заменить находившиеся там революционные части. Меньшевицкий Совет солдатских депутатов дал на это согласие. Солдаты были очень возбуждены. Они понимали, что готовится предательство, и наотрез отказались уйти из Кремля.

Для переговоров с Рябцевым Ревком выделил шесть человек: двух представителей от рабочих, двух — от солдат (я и Малявко) и по одному — от меньшевиков и эсеров.

Впервые в жизни я поехал в легковом автомобиле. Рядом со мной возвышался огромный, мрачный, чтобы не сказать злой, Малявко. Впереди меня Ногин — представитель от рабочих. С ним ещё кто-то, я его не запомнил. Эсер с меньшевиком уехали минутой раньше в другой машине. Они хоть и звались революционерами, но садиться рядом с нами не захотели.

С Малявко мы сразу договорились: ни за что, ни под каким видом не соглашаться на вывод из Кремля наших большевистских частей. Вплоть до вооружённого сопротивления! Представители рабочих придерживались того же мнения.

В Кремле нас встретили солдаты. В их взглядах были заметны настоятельность, недоверие.

— Никуда мы отсюда не пойдём! Кремль не оставим!.. Куда идёте? Хватит болтовни, долой Рябцева! — слышались возгласы.

Ногин остановился, попробовал было говорить. Но его прервали:

— Солдата давай, пусть солдат скажет!

Остальные наши делегаты прошли во дворец, а я остался с солдатами.

— Ребята! Да ведь мы для того и пришли, — стал я объяснять. — Никаких уступок! Знайте: меньшевиков из нашего солдатского Совета мы выгнали. Выбрали десятку. Слушайте только её распоряжений. Держитесь, товарищи, твёрдо!..

Посыпались вопросы: «Что в Питере? Верно ли, что Керенский сбежал? Почему у нас не начинается?..»

Не хотелось уходить от солдат. Но там, во дворце, ждут.

— Эй, паря! — крикнул мне вслед звонкий молодой голос. — Ты там бери его за жабры, прямо за жабры!

Конечно, будь другое время, я шёл бы по Кремлёвскому дворцу более медленно. Но сейчас некогда было разглядывать... Вот и сам командующий Московским военным округом полковник Рябцев. Надутый, важный, седой. Поднялся мне навстречу и даже улыбнулся, но в холодных его глазах была ненависть. В большом зале стоял один только огромный письменный стол, на котором лежала карта Москвы, расчерченная синими кружочками и овалами. Заметив мой взгляд, Рябцев небрежно отбросил карту, протянул мне два пальца:

— Здравствуйте, товарищ!

Меня передёрнуло: «Какой я тебе, к чёрту, товарищ!» Но сдержался, даже его руку тронул. Он продолжал:

— Мы вот тут как раз говорим: надо успокоить солдат, надо объяснить им...

Что-то прокричал меньшевик. Его перебил Малявко и потянулся к нему. Казалось, он хочет заткнуть ему рот огромной толстой своей ладонью. Я не дослушал полковника...

Кто-то потом рассказывал и даже писал, что «маленький солдат с восточным темпераментом стукнул по столу кулаком...» Нет, конечно, я по столу не стучал. Но темперамент, хоть и не восточный, у меня проявился. Это было. Меня только что так подзадорила задушевная беседа на площади перед дворцом, так пришлось громко там разговаривать, что и здесь я говорил, наверное, не тише:

— Я сейчас только от солдат. Солдаты не уйдут! У них оружие, народ горячий, смотрите!

— А вы уговорите, уговорите! — воскликнул Рябцев.

— Брось, пойдём, что с ним толковать, — пробурчал за моей спиной Малявко.

— Никуда солдаты из Кремля не уйдут! — повторял я.

Потом опять заговорил бархатным голосом меньшевик, пытаюсь доказать, что нельзя отменять решение Совета солдатских депутатов о замене частей в Кремле, что это подрывает авторитет Совета. Рябцев ему поддакивал. Мы стояли на своём. Минут двадцать тянулась эта канитель. Ни та, ни другая сторона сдаваться не собиралась...

Когда делегация вышла из дворца, нас окружили солдаты.

— Ну что, что?

Малявко поднял свой кулачище, потряс им в воздухе:

— Вот им! Никуда не ходите, братцы! Никого не слушайте, будьте наготове. Мы идём сейчас в Ревком.

— Ждём ваших указаний, товарищи!

Мы покинули Кремль. И опять меньшевик с эсером укатили первыми. Мы сели в машину. Ногин подтолкнул в бок шофёра:

— Скорей, скорей!

Только свернули на Тверскую (теперь улица Горького), как раздались выстрелы. Прожужжало несколько пуль. И по верху нашей машины — щёлк-щёлк. Стреляли определённо в нас.

Вскоре послышались беспорядочные залпы со стороны Красной площади. Как выяснилось потом, произошло столкновение между солдатами Двинского полка и юнкерами. Первый октябрьский бой в Москве.

Временное правительство стягивало к Москве надёжные, как ему казалось, воинские части. Но «верными» Керенскому они были лишь до тех пор, пока солдаты этих частей не узнали о победе революции в Пи-



тере, не узнали, что рабочие и солдаты Московского гарнизона действуют единым фронтом. Наши большевистские лозунги были понятны, близки и дороги всем рабочим, солдатам, трудовому крестьянству. Они доходили до сердца каждого трудящегося. Вся власть Советам! Мир без аннексий и контрибуций! Раздел помещичьих и монастырских земель!..

Под утро меня вызвали в Ревком. Предложили отправиться в Лефортово, в мастерские, где я работал, где был председателем солдатского комитета. Надо узнать, что там сейчас происходит.

До Лефортова — далековато. Но шёл резво, как говорится, ног под собой не чуял. Откуда только взялись силы!.. Думал, приду в мастерские, свалюсь от усталости. Какое там! Друзья встретили радушно, стали рассказывать и расспрашивать. Оказалось, что лефортовцы побывали в Кремле, прорвались через Спасские ворота, привезли из Арсенала две машины винтовок навалом. Вооружили сотни четыре человек. Начальник мастерских сбежал. Избрали начальником своего — члена солдатского комитета товарища Девяткина.

— Доложи Ревкому: мастерские работают во всю силу. Ждём распоряжений!

Я всё-таки не удержался, подошёл к своему станку, погладил его рукой, вроде как попрощался. Токарем я сейчас уже не был. Появилось новое чувство — стремление целиком и полностью отдаться тому огромному, что началось в Москве. А работа на токарном — это уж потом... Я принёс сюда своим товарищам по роте весть о начале восстания, радостные и горячие новости. А из мастерских передал Ревкому: здесь люди тоже не растерялись, взяли управление в свои рабоче-солдатские руки; нет разброда, нет анархии; все на своих местах, все в боевой готовности.

Весь день пробыл в мастерских, выступал на митингах. Только ночью двинулся обратно. По пути решил заглянуть домой — уже скоро месяц, как не виделся с женой и детьми. Надо бы показаться. Пусть хоть знают, что жив.

И опять — по улицам и площадям, через бульвары, парки, мосты. Софийская набережная, где жила семья, занята офицерскими отрядами. Еле пробрался. Вот и знакомая комнатка. Дёрнул дверь. Жена зажгла ночник.

— Ой, Саша!.. Куда же ты пропал? Забыл про нас совсем. Уж хоть бы детей пожалел.

— Забыл, не жалею?! Эх, Аня, дорогая моя, да ведь для детей, всё это для детей делается!..

А следующей ночью мне поручили переправить пушки из Лефортова в Замоскворечье. Те самые, которые стреляли потом с Воробьёвых гор по штабу Рябцева.

Две из этих пушек стоят теперь у Дома Советской Армии, а третья — на улице Горького, у Музея Революции.

*Литературная запись Евг. Босняцкого.*



---

---

МИКОЛА БАЖАН

★

## ИЗ ЦИКЛА „МИЦКЕВИЧ В ОДЕССЕ“

### ПЕСНЯ О ТРЕХ НОЖАХ

И снег и дождь...  
Чужбины невесёлая печать.  
Лишь только тополь, гол и тощ,  
Ветвями мёрзлыми не устаёт стучать.  
Обрыв степей  
Над чёрно-белым, над морским простором,  
Где ржавый камень, да сухой репей,  
Да перекрестья тонких мачт под Хаджибейским  
косогором.

Куда его судьбина завела,  
Что делать здесь изгнаннику-поэту?  
Неужто, покорясь, итти своей дорогой,  
Или внимать речам красавицы нестрогой,  
Иль в кабаке скучать под звон стекла,  
Под шум компании, напившейся к рассвету?  
Встречать шпиона острый взгляд  
Иль взоры млеющих красоток  
И слушать пьяный крик солдат,  
Орущих песню в сотню глоток?..  
Тяжёлый год,  
Невероятный год,  
Год двадцать пятый нового столетья.  
Как он, бездомный странник, всё снесёт —  
И этот гнёт, и испытанья эти,  
И самодуров тупоумный бред,  
И самодержцев, правящих народом?..  
О нет, не то предсказывал поэт  
В часы прощанья с старым годом!

Он вспомнил полночь ту —  
Приют их дружный над Невою,  
И пунш, взлетевший тенью голубою,  
И лиц знакомых каждую черту.  
Припомнил он слова надежд святые,  
Рылеева горячий гост  
И всех друзей, что встали в полный рост  
Во имя славы Польши и России.

И вспомнил он, как, замечтавшись вдруг,  
Забывший роль хозяина Бестужев,  
Внезапное волнение обнаружив,  
Подыскивал слова для песни вслух.

Откуда, из каких глубин,  
Будя сердца,  
Как тайное оружие, вынес он  
Ту песнь про кузнеца?  
Как сталь, упругие слова,—  
То кровь на них иль просто ржавь?  
Бестужев пел о трёх ножах,  
Которые кузнец сковал.  
И первого ножа удар —  
В живот вельмож и в жир бояр.  
И был второй отточен нож  
На всех ханжей, на всех святощ.  
Удара третьего ножа  
Царь-батюшка пусть ждёт, дрожа.  
— Ну что ж, дай бог! — так за столом  
С Бестужевым Рылеев пел вдвоём,  
И все, кто слышал звуки этой песни,  
Что пел бунтарь, весь устремясь вперёд,  
Встречали их, как слово доброй вести.

Так начинался двадцать пятый год.

Седые русские равнины,  
Где выть ветрам, снегам мести.  
Молчанье снежной Украины.  
Степей пустынные пути.  
Холодный край, одетый в лёд,  
И море, вмёрзшее недвижно в небосвод.  
Так, значит, здесь он тоже не чужак,—  
Пусть нет его скитаниям конца,—  
Но здесь поётся песня о ножах,  
Здесь тоже ждут прихода кузнеца...

В дорогу! Дождь не кончился ещё.  
К лицу путь далёк, не скоро быть рассвету,—  
И он с собой уносит песню эту,  
Укрыв её плащом

*Перевод с украинского  
М. Матусовского.*

## НАД МОРЕМ

Земля, осыпавшись над шумною водою,  
Ползёт и крошится туда, где целый день  
Играет волнами под самую скалою  
Бескрайний блеск огней, морская светотень.  
Она приходит в стих тревожным, буйным шумом  
Забывших образов, предчувствий и примет,  
И вот уж нет конца твоим тревожным думам,  
И в одиночестве тебе покоя нет.  
Тут море лишь и ты, тут только ритм и тени,  
Живой гексаметр волн, молчанье берегов.  
А всё вокруг кричит, всё ищет воплощений,

Всё жаждет образов, всё просит форм и слов.  
 Ты ждёшь внимательно, когда, бушуя снова,  
 Внезапный шквал стиха на душу налетит  
 И принесёт с собой чудесный запах слова,  
 И непокорства пыл, и соль былых обид.  
 Ты не удержишь стих, когда он рвётся с гневом,  
 Как не излечат боль пылающей души  
 Ни острословие, ни клятвы юным девам,  
 Ни вздохи страстные гаремного паши.  
 Пускай когда-нибудь из шёпота «Ekskuzy»<sup>1</sup>  
 Поймут твои друзья, что, посланы судьбой,  
 Одни эриннии, а не подружки-музы  
 В час одиночества владели здесь тобой,  
 Владели здесь тобой над морем вод свинцовым,  
 Над шумом чёрных бездн, в тот одинокий час,  
 Когда ты был таким, каким ты был,— суровым  
 Предтечей вещей дел, прославленных не раз.

### БУРЯ

Нависли низко туч глухие своды,  
 И, задевая крыльями о них,  
 Несутся чайки. Ропот непогоды  
 Таится в тихих шорохах морских —  
 Зловещий призрак предостереженья...  
 Пора молчанья, сумрака, томленья.

Ветрило то спадает вяло с рей,  
 То зло и резко тянет судно к цели.  
 Угрюмы, хрипы выкрики людей,  
 Как выдохи астматика в постели.  
 Будь зорек, кормчий! Ветер кружит тут  
 И поднимает волны Тарханкут.

Черна, как смоль, и, словно кровь, багряна,  
 Ложится на востоке полоса  
 На плиты волн. Шальная трамонтана<sup>2</sup>,  
 Прорезав даль, нагрянет в полчаса  
 И над залитым пеною баркасом  
 Пойдёт плясать своим безумным плясом.

И всё своё откроет существо  
 Перед тобою наше Черноморье,  
 И ты его увидишь торжество,  
 Когда оно, бушуя на просторе,  
 Разверзнет недра, яростно трубя,  
 Чтоб испытать над бездною тебя.

Закутан в плащ, ты высишься над нею,  
 Прижавшись к мачте, с волн не сводишь глаз.  
 Ветрило рвёт и выгибает рею,  
 Свист, словно бич, сечёт и бьёт баркас.

<sup>1</sup> Ekskuza — извинение, название одного из сонетов Мицкевича, написанных в то время.

<sup>2</sup> Трамонтана — северо-восточный ветер.

Все вниз спешат, в спокойную каюту,  
Лишь смелые на вахте в ту минуту.

Седой моряк, отважный рулевой,  
Кричит сквозь ветер: «Сударь, осторожней!»  
Так вой же, море, яростнее вой!  
Своё ль, чужое ль, вой ещё тревожней!  
Твоих ветров неумолимый рёв  
Напоминает шум иных боёв:  
Скиталец видит, взявшись за перила  
И проиная тьму твою до дна,  
Как из куска простого полотна  
Рождает вихрь мятежное ветрило.

*Перевод с украинского*

**Н. Заблоцкого.**



---

---

РЫТХЭУ

★

## ПЯТЬ ПИСЕМ ВАЛИ КРАМАРЕНКОВОЙ

Анадырь, 20 августа.

**З**дравствуй, Танечка! Привет с далёкой Чукотки, с самого «края земли»!

Вот наконец я и добралась. Вернее, почти добралась. Сегодня утром приехала сюда на теплоходе, сразу пошла в окрисполком, к заведующему отделом народного образования. Он меня принял очень хорошо, предложил на выбор три места. Я выбрала Эргырон. Это — стойбище на побережье Чукотского моря, охотничий колхоз. Отсюда ещё километров восемьсот. Там, говорят, одна из лучших в округе школ, и там как раз очень нужен биолог. Так что завтра я снова отправляюсь в дорогу, в последний этап моего путешествия.

Если хочешь, Танечка, пояснее представить себе, куда занесло твою Вальку, раскрой атлас и на карте Советского Союза отыщи Анадырь, центр Чукотского национального округа. Нашла? Это, как видишь, на крайнем северо-востоке страны, у самого Берингова моря. Теперь мне предстоит ещё проехать по проливу, соединяющему Берингово море с Чукотским, обогнуть мыс Дежнёва, и вскоре после этого я буду у цели, в Эргыроне. На карте его не ищи, на общесоюзной карте его, конечно, нет. Там есть Уэлен и Ванкарем, а это где-то между ними. Поставь крохотную точку на берегу Чукотского моря, где-нибудь между Уэленом и Ванкаремом, и знай, что в этой точке живёт и работает преподавательница биологии Валентина Алексеевна Крамаренкова.

Эргырон — это даже не название населённого пункта, а только название колхоза. По-чукотски это, кажется, означает «Рассвет», или «Утро», или «Заря». Что-то в этом роде. А как стойбище на самом деле называется, я ещё даже не знаю. Здесь все его называют Эргыроном, по имени колхоза.

Танечка, мне здесь всё-всё нравится — и люди, и язык, и море, и собаки, и олени, и горы... А знаешь, оказывается, на нартах ездят не только зимой, но и летом! Только зимой полозья деревянные, и в пути их время от времени обливают водой, чтобы образовалась тонкая ледяная корочка, — они тогда лучше скользят. А летом полозья железные. Конечно, ездят на них не везде, а по мхам, по так называемой «мокрой тундре». Это я ещё с теплохода увидела — какие-то чукчи ехали по прибрежной тундре на нартах. Я, конечно, очень удивилась, я раньше думала, что на нартах ездят только зимой, как у нас на санях. А помощник капитана объяснил мне насчёт полозьев.

Ты знаешь, Танечка, здесь, оказывается, совсем не холодно. Я сижу перед открытым окном в платье с короткими рукавами. Правда, говорят, что через две-три недели здесь сразу похолодает, начнутся осенние штормы... Но пока что тут погода несколько не хуже, чем в Москве.

Наоборот, когда я уезжала -- помнишь? — весь день шёл дождь. А тут солнышко. Правда, уже не летнее, но всё-таки солнышко.

Прости меня, родная, что я пишу так сбивчиво — то о нартах, то о погоде. Уж очень много разных впечатлений. Сейчас напишу обо всём по порядку, как обещала. Моих соседей по купе ты, наверно, помнишь. На всякий случай напоминаю. Это были двое мужчин (на которых мама косилась с нескрываемой опаской) и одна крашенная блондинка (которую мама трогательно просила «приглядеть в дороге за Валенькой»).

Прежде всего я познакомилась с тем худощавым, невысоким, остроглазым человеком, которого провожала красивая, нарядная женщина. Он оказался очень интересным. У него и в голосе и в глазах всё время смешинка — даже когда он говорит серьёзно. О лесах, мимо которых мы проезжали, он рассказывал так увлекательно, что я сначала приняла его за ботаника, за учёного-лесоведа. Я от него узнала такие вещи, которых ни в одной лекции по дендрологии не слыхала, ни в одном учебнике не читала. Но он как-то сказал: «Если бы я был ботаником...» Я поняла, что у него, значит, другая специальность. Потом мне показалось, что он писатель, — он иногда вынимал записную книжку и делал какие-то заметки. Но спросить я постеснялась. Зовут его Константин Георгиевич, а спрашивать фамилию мне было неловко. Ты не знаешь, среди наших современных писателей нет никого с таким именем и отчеством? Если нет, тогда он, наверно, моряк: к концу пути он разговорился с другим пассажиром о морях, о ветрах, о старинных кораблях и говорил обо всём этом с таким знанием дела, что мысленно я уже произвела его в «старые морские волки».

Второй мой сосед по купе — тот пожилой, в очках, которого никто не провожал, — оказался инженером одного дальневосточного судостроительного завода. С этим я разговорилась только на четвёртые сутки, потому что трое суток он спал почти беспробудно. Слезал он со своей полки только для того, чтобы поесть и спросить у проводника или у кого-нибудь из нас: «Где мы, собственно, находимся?» После этого, ни к кому не обращаясь, он смущённо произносил: «Вы уж меня извините, я, пожалуй, ещё немного сосну» — и снова забирался на полку, где немедленно приводил своё намерение в исполнение. Но на четвёртые сутки вместо обычного «я, пожалуй, ещё немного...» он весело сказал: «Ну, кажется, выспался». Побрился, переделался, стал разговорчив. Оказалось, что он возвращается из командировки, в которой был занят какой-то очень срочной работой, целый месяц спал только урывками, по три-четыре часа в сутки. Словом, выспавшись, он совершенно преобразился, оказался очень славным дяденькой. В чемодане у него было столько книг и журналов, что скоро наше купе превратилось в библиотечку для всего вагона.

Блондинка была единственной из нас четверых, которая непрерывно ругала дорогу. Для неё дорога была «невероятно утомительной», «невыносимо скучной», «убийственной». Сначала я думала, что она скучает по мужу (её муж — тот офицер, который её провожал, помнишь?). Но она заявила, что «полезно иногда отдохнуть друг от друга». Детей у неё нет, по работе она тоже не могла скучать, так как нигде не работает домохозяйка. Скучала она просто потому, что ничего не знает, ничего не хочет узнать, ничем не интересуется. Её не интересовали ни люди, с которыми мы ехали (потому, наверно, что никто из них не пытался ухаживать за ней), ни книги (потому что это были хорошие книги), ни замечательные места, по которым мы проезжали...

Четвёртым обитателем купе была, как ты знаешь, я — существо, вообще не умеющее скучать, а тем более в дороге, где всё — новое, неизвестное, неизведанное. Мы проезжали по таким местам, что несколько раз я ловила себя на мысли о том, как хорошо было бы сойти на ближайшей станции, поселиться здесь, поступить на работу... Ты понимаешь меня,

Татьянка? Каждый день видеть эти могучие реки, эти горные хребты, познакомиться с этими лиственницами и столетними кедрами! Но решение давно уже было принято, назначение давно уже лежало в портфеле, и это было назначение на Чукотку...

После поезда — теплоход. В Охотском море нас немного покачало. Некоторых пассажиров так укачало, что они ни обедать, ни ужинать не стали, целые сутки не поднимались со своих коек. А я, оказывается, совсем не подвержена морской болезни! Как видишь, мне и тут повезло. Ты ведь всегда говорила, что я везучая.

На теплоходе я познакомилась с одним педагогом, возвращавшимся в Анадырь из отпуска. Он уже три года работает на Чукотке, называет себя старожилом этих мест. Если бы ты знала, Танька, какой это неприятный тип! Всё ему тут не нравится, всех он ругает. Откровенно заявляет, что привлекли его сюда только высокие заработки. Считает, что каждый, кто едет сюда, руководствуется этим же, только не все, дескать, решаются в этом признаться. Фамилия у него какая-то актёрская — Дальский.

Вообще-то, конечно, я сама виновата: обрадовалась, что встретила «старожила», «товарища по профессии», и прилипла к нему. А потом уж не знала, как отвязаться, когда увидела, какое это гнидьё. К счастью, тут как раз и началась качка. Дальский стал глотать какие-то пилюли, а потом и вовсе убрался в свою каюту. Наивно было бы предполагать, что сюда едут одни только энтузиасты. Да я этого и не предполагала, конечно. И всё-таки встреча с этим «коллегой» оставила у меня неприятный осадок.

Зато помощник капитана и два ленинградских гидрографа, с которыми я тоже познакомилась на теплоходе, — это настоящие энтузиасты Севера. А особенно мне понравилась Мария Феокистовна Лесникова — местный педагог. Я от неё и пишу тебе, меня к ней устроил заведующий окроно. Она тоже биолог. Сейчас она ушла по своим делам, а я тут одна у неё хозяйничаю. Из окна виден Анадырский залив, на рейде стоит теплоход, на котором я приехала. Завтра он уйдёт обратно и повезёт это письмо. А если бы я тебе написала только с места, из Эргырона, ты бы, наверно, получила письмо через месяц, не раньше. Вот я и решила отсюда послать.

Я отсюда выеду завтра рано утром — как раз есть okazия, моторный вельбот пойдёт в Эргырон. Ты представляешь себе, Танька, что это значит? Из одного моря в другое, через весь Берингов пролив — и не на парохоме, а на моторке! Около восьмисот километров на колхозном рыбацком судёнышке! Как подумаю, у меня даже душа замирает. Не от страха, честное слово, не от страха, а — как бы это точнее сказать? — от непривычки, что ли. От ожидания чего-то очень интересного. Ты только не подумай, пожалуйста, маме об этом рассказать. Я ей писала ещё с дороги, из Хабаровска, а теперь уж с места напишу, когда всё моё путешествие будет позади. Здесь относятся к восьмисоткилометровой поездке на моторном вельботе по Берингову и Чукотскому морям, как к чему-то совсем обычному. Я, как ты понимаешь, делаю вид, что отношусь к этому тонно так же.

Пора кончать письмо, оно и так получилось ужасно длинное. А я ещё о столько интересных вещах не успела тебе написать! Ни слова не написала о море. Море, Татьяна, произвело на меня такое впечатление, что теперь мне трудно себе представить, как это я жила до двадцати четырёх лет и даже не видела его ни разу. За всё время, что я ехала на теплоходе, оно ни разу не было одинаковым. У моря столько различных обликов, сколько выражений на человеческом лице. То оно доброе, ласковое, то мрачное, разгневанное, то по-детски весёлое, играющее, то грустное, задумчивое... Словом, любое чувство, любое настроение, какое



можно прочесть на лице человека, можно увидеть и на море. Я не знаю, сама ли я придумала это сравнение. Может быть, я когда-то прочла это где-нибудь. Если и прочла, я тогда не могла, конечно, понять, до чего это верно.

Не написала я тебе и о тех, с кем отправлюсь завтра в Эргырон. Меня с ними уже познакомили, завтра утром они обещали зайти за мной по дороге на пристань. Это председатель колхоза Вамче и ещё два колхозника — чукотские охотники, зверобои, родители моих будущих учеников.

До свидания, родная моя! Крепко обнимаю тебя и целую!

Твоя Валька.

Пиши мне, Танечка, по следующему адресу: «Чукотский национальный округ, посёлок колхоза «Эргырон», школа, учительнице В. А. Крамаренковой». Пиши мне обо всём и обо всех — о себе, о маме, о Васе, о Серёжке. Только сразу же напиши, не откладывая, помни о том, как далеко нужно добираться письму.

Колхоз «Эргырон», 31 августа.

Здравствуй, Таня!

Пишу тебе уже второй раз, а ты, наверно, и первого моего письма ещё не получила. Что же касается твоего ответа... до тех пор, когда я его получу, пройдёт столько времени, что и подумать страшно.

Ох, Танька, Танька! До чего же мне тоскливо, если бы ты только знала! До чего мне нужно было бы побыть с тобой, рассказать тебе обо всех своих печалях, пореветь как следует...

Ты не думай, ничего особенного у меня не случилось. Просто очень мне тут одиноко. Уж очень далеко я себя зашвырнула.

Винить некого: сама я выбрала себе это назначение, никто меня не уговаривал. Наоборот, мама, как ты знаешь, даже старалась отговорить. И сама всякие ужасы выдумывала и через тебя, и через Серёжку пыталась на меня повлиять. Всю её нехитрую дипломатию я прекрасно понимала... Я никого не хотела слушать, размахнулась изо всех сил и к чёрту на кулички зашвырнула свою собственную судьбу — так далеко, что никому, пожалуй, и не найти. Да никто и не станет искать!

Посмотрела сейчас на дату своего письма и вспомнила, что завтра начинается учебный год. Как я мечтала когда-то об этом дне, о первом дне своей педагогической работы в далёкой чукотской школе! И не «когда-то», а всего лишь неделю назад. Мне это казалось таким интересным, таким значительным событием... А теперь мне это совершенно безразлично. Ну, что из того, что начнётся новый учебный год? Начнётся и будет продолжаться всю долгую чукотскую зиму. И молодая учительница, затерянная в одной из бесчисленного множества школ, будет всю эту долгую зиму рассказывать ребятам о тычинках и пестиках — ребятам, с трудом понимающим русский язык и никогда в жизни не видевшим не только пестиков и тычинок, но и вообще ни одного порядочного цветка. В общем, Танечка, тундра — это, как известно, не сад, не субтропики. И даже совсем наоборот, как любит говорить Вася.

Ты можешь, конечно, спросить меня, что же, собственно, изменилось за одну неделю. Уверю тебя, что ничего не произошло, ничего не изменилось. Кроме меня самой разве что. Просто я немного повзрослела за это время, увидела собственными глазами то, что издалика выглядело гораздо привлекательнее.

Мама почему-то больше всего боялась всего путешествия. То ей казалось, что у меня обязательно украдут в дороге чемодан и сумочку, то, что я сама попаду под поезд. Что же касается морского путешествия, то кораблекрушение представлялось маме одной из его неотъемлемых частей.

Если бы она знала, насколько здесь, на месте, хуже, чем в пути! Я готова была бы всё то время, что мне предстоит здесь пробыть, непрерывно скитаться, терпеть любые неудобства, подвергаться любым опасностям, только бы не торчать в этой унылой дыре, где и словом перемолвиться не с кем, где некому даже пожаловаться, когда очень уж паршиво на душе.

В бытовом отношении тут вполне прилично, гораздо лучше, чем я предполагала. Мне дали хорошую комнатку в школьном доме. Есть электричество. В поселковом магазине полно всяких продуктов (правда, консервированных). Довольно большой выбор тканей. Но к чему мне всё это?

Только умоляю тебя, Танечка, не утешай меня, не пиши мне о том, что «жизнь — везде и во всём», что «надо в любой обстановке найти своё место», и прочее и прочее. Не надо ни утешать меня, ни стыдить, ни ругать. Всё это я могу сделать сама и, уверяю тебя, делаю это преусердно. Милая, что ты можешь мне написать об этом? Можешь, наверно, написать что-нибудь в таком роде: «Что с тобой, Валька?! Это так на тебя не похоже! Это просто малодушие! Ты ведь ехала работать, а не развлекаться! Разве можно так поддаваться плохому настроению? Разве можно так падать духом после первых же трудностей, ещё даже не приступив по существу к работе?!»

Видишь, поскольку твой ответ придёт ещё не скоро, я сама отвечаю себе за тебя. Вот до чего дошла — сама себе письма пишу! Может, я уже спятила с тоски! Нет, Танечка, не беспокойся, я ещё не спятила. Просто хотела освободить тебя от обязанности утешать затосковавшую подругу. А если ты всё-таки сочтёшь это необходимым, так уж придумай, пожалуйста, что-нибудь более убедительное, не повторяй того, что я сама написала себе от твоего имени.

Ну вот я и не выдержала, разревелась. Всю страницу слезами закаркала. Ты не сердись на меня, Танечка, что чернила расплозились, постарайся разобрать. А если чего-нибудь и не разберёшь — не беда: чем меньше дойдёт до тебя моего скулежа, тем лучше.

Погода здесь совершенно под стать моему настроению: серая, хмурая. Перед моим окном — спортивная площадка. Волейбольную сетку уже сняли: холодно, мокро, кругом лужи. На улице посёлка никого нет, разве что собака изредка пробежит.

Правда, у собак здесь вид довольно весёлый. Может быть, такое впечатление создаётся потому, что это всё лайки, а у лаек хвосты задраны кверху. Но люди, Танька, люди — до чего это всё мрачные типы!

Вот тебе несколько примеров. Директор школы Эйнес. Местный парень, чукча. Угрюмый, неприветливый — за десять дней я не слыхала от него и десяти слов. В Анадыре, в окрестности, мне говорили, что он кончил Хабаровский пединститут. Когда видишь его, очень трудно в это поверить: внешне он ничем не отличается от любого из здешних колхозников. Такая же одежда из оленьих шкур, такой же охотничий нож болтается у пояса. Даже в самые последние дни перед началом учебного года, когда надо готовить школу к зиме, наш директор в школе почти не появлялся. Иногда только зайдёт вечером, походит по классам, посидит полчаса у школьного сторожа, попьёт чайку и уйдёт. А целые дни он на охоте, «на промысле», как здесь говорят. Словом, он со всех точек зрения рядовой колхозник, рядовой член охотничьей бригады. Ничуть, может быть, не хуже, по, видимо, и не лучше. А всё-таки хотелось бы, чтобы директор школы был хоть немного покультурнее рядового чукотского колхозника.

Характерная деталь: в посёлке среди дедовских яранг стоит уже несколько домов; некоторые передовые колхозники живут уже в домах, по-культурному, а директор школы живёт в яранге! В его распоряжении

довольно просторный школьный дом и рядом — два отдельных жилых домика для учителей. Словом, для директора, я думаю, комнатка нашлась бы. Даже сторож и тот живёт в школьном доме. Я слыхала о старых чукчах, предпочитающих непривычному дому тёмную, тесную, грязную, но привычную ярангу. А тут молодой парень, член партии! Я не знаю, много ли стоит его высшее образование, но уж одно то, что он четыре года прожил в Хабаровске, казалось бы, должно было как-то отразиться на нём. Нет, оказывается, в некоторых людях бескультурье сидит так глубоко, прошлое так крепко держит их в своих цепких лапах, что тут и высшее образование не помогает. Возвращается такой человек в своё стойбище после четырёх лет жизни в Хабаровске, и оказывается, что «каким он был, таким он и остался»...

Весь школьный коллектив вполне под стать своему руководителю. Есть тут и «европейцы»: хромой завуч (он же учитель математики) и школьный сторож. Первый, Всеволод Ильич Вербин, может быть, и был когда-то культурным человеком. Он очень опустился, но по некоторым признакам чувствуется, что не всегда он был таким, как теперь. По-моему, он из «бывших людей», из аристократов, бежавших от революции. Может быть, даже из белых офицеров. Знаешь, они ведь не все за границу эмигрировали, кое-кто забрался в такие медвежьи углы, как этот Эргырон, и сидит здесь.

Второй — поляк Кабицкий. Мрачный, рыжебородый. Типичный убийца. Кажется, за убийство он и попал когда-то в Сибирь. Видимо, такие чёрные дела на совести этого человека, что, даже отбыв свой срок, он не захотел возвращаться в родные места. Его комната рядом с моей. Соседство, как ты понимаешь, не из приятных.

К тому же и тот и другой — старики. Вербину под шестьдесят, а Кабицкому, наверно, ещё больше. Оба «очукотились» полностью — и по одежде и по языку. Вербина называют здесь «Севалот». Кабицкий женат на чукчанке.

Знать чукотский язык — это, конечно, очень хорошо. В этом отношении я искренне завидую Вербину. Представляешь себе, как мне трудно будет со школьниками, — я совсем не знаю чукотского, они почти не знают русского... Изучить язык было бы, конечно, хорошо, но во всём остальном я не хотела бы уподобиться Вербину. Но кто знает, какой я стану через три года? Три года! Боюсь, что я вообще не выдержу такого срока. Одна неделя прошла, а я уж по горло сыта этой Чукоткой...

До свидания, Танечка.

В. К.

Эргырон, 3 сентября.

Очень глупо, Татянка, получилось: на днях я отправила тебе письмо, которое, конечно, не следовало отправлять. Но его уже увезли в бухту Провидения, ничего теперь не поделаешь. Пишу вдогонку другое. В обычных условиях ты получила бы это моё письмо вскоре после того письма — дня через три или четыре. Но здесь условия далеко не обычные. Может оказаться, что ты их получишь одновременно (если последний парод ещё не ушёл из бухты Провидения). А в противном случае это письмо отстанет на месяц или даже на два, так как морская навигация заканчивается. Ищи потом оказию...

Видишь ли, Татянка, когда я писала тебе прошлый раз, на душе у меня было так скверно, так скверно! Непосредственный повод этого отвратного настроения был ещё так близок, что даже упоминать о нём не хотелось. А с другой стороны, обязательно нужно было поделиться с тобой, пожаловаться тебе... Вот и получилась ерунда: наревела с целый бочонок, а толком ничего не объяснила.

Сейчас я уже немного успокоилась, хотя настроение у меня попрежнему преунылое и нет никаких надежд на то, что оно изменится к лучшему. Нет, в этом отношении всё, о чём я тебе писала, остаётся таким же неутешительным, таким же безрадостным. Но острота отчаяния, которое меня охватило, кажется, проходит. Что ж, перетерплю как-нибудь три года.

Здесь, в посёлке, до вчерашнего дня находился один уполномоченный из райисполкома. Какой-то работник районного центра, чукча. Лет ему около двадцати пяти, не больше. Хорошо говорит по-русски и вообще довольно развитой парень. Но бездельник, пропойца, словом — полнейшая мразь. Прислали его сюда для проверки готовности к зимнему охотничьему сезону или для помощи в проведении осеннего забоя моржей — точно не знаю. Во всяком случае, по каким-то охотничьим делам. Для зверобоев здесь сейчас самая страдная пора — вроде того, как у нас во время уборочной кампании. А он в оружии ничего не понимает, поехать с бригадой на лежбище моржей побоялся, лез к опытным охотникам с нелепыми совстами. К тому же почти всё время он был пьян.

Кончилось тем, что вчера колхозники подобрали его, мертвецки пьяного, посреди посёлка, уложили в моторку и отвезли обратно в райцентр, домой.

Ты, наверно, не понимаешь, зачем я описываю тебе этого горе-уполномоченного, какое мне дело до всей этой истории. Да?

Дело в том, что я с ним познакомилась ещё в дороге: по пути из Анадыря в Эргырон мы заехали в райцентр, и там он к нам присоединился. В вельботе мы оказались рядом.

Он и тогда был не совсем трезв. Шутил насчёт того, что «выпил в дороге, чтобы не замёрзнуть, а погода, как назло, оказалась тёплая». Погода действительно была очень хорошая, спокойная. Мы с ним всё время болтали, и — представляешь себе? — он даже показался мне довольно интересным, приятным собеседником. Учти, Танюша, что к этому времени я уже трое суток находилась в вельботе, почти целые сутки штормовала (не думай, что я хочу щегольнуть морским словечком, которое только недавно узнала, — оно само как-то написалось; «штормовать» — значит быть в море во время шторма). Учти, что спутниками моими были пожилые чукотские колхозники, настолько молчаливые, что временами их можно было принять за глухонемых. Меня они ни о чём не спрашивали, на мои вопросы отвечали двумя-тремя словами, между собой тоже говорили мало, да и то по-чукотски. А тут появляется молодой парень, весёлый, разговорчивый. И главное — местный работник, готовый удовлетворить моё ненасытное любопытство. Я ведь не знала, что он собой представляет, не понимала, что все его разговоры — ерунда, расчитанная на таких восторженных дур, как я.

Через несколько дней мы встретились неподалёку от школы. Я несла воду. Вообще-то сторож (тот самый старик, о котором я тебе уже писала) принёс по утрам два ведра, но я в тот день стирала и всё израсходовала. А тут, перед вечером, захотела чаю себе согреть, решила сама принести и на обратном пути встретилась с этим самым уполномоченным. Он любезно взял у меня ведро, дотащил до крыльца, стал спрашивать, как я устроилась на новом месте, довольна ли я. Против обыкновения он был совершенно трезвым. Впрочем, я ведь видела его только второй раз в жизни, почти ничего о нём не знала и понятия не имела о том, какие у него обыкновения. Мы посидели на крыльце, я откровенно призналась ему, что многое меня тут разочаровало, что друзей я тут не нашла и, по всей видимости, не найду, что временами меня одолевает такая дикая тоска, что хоть воем вой...

Он слушал меня очень сочувственно, говорил, что и сам переживает нечто подобное: его недавно перебросили в район из Анадыря. «Если

мне,— говорит,— в районном центре тошно, так представляю себе, каково вам тут, в этом посёлке. Да ещё после Москвы!»

Мне пришло в голову позвать его к себе, попить вместе чаю. Знаешь, Танька, для одинокого человека самое тягостное — это еда. Я уже привыкла, почти привыкла проводить вечера одна, сама с собой. Но садиться одной к столу никак не могу привыкнуть — просто кусок в горло не лезет... Ну так вот, я его пригласила зайти ко мне, если вечер у него ничем не занят. Только у меня ещё было не убрано после стирки, и я его пригласила зайти через часок. Он охотно согласился.

Вечером он пришёл, успев за какой-нибудь час или полтора так нализаться, что от него через всю комнату несло водкой. Но держался он поначалу прилично — только ещё оживлённее, чем во время пути, в вельботе. Я отошла от стола, чтобы выключить закипевший чайник, а когда вернулась, увидела, что на столе стоит нераспечатанная бутылка вина.

Конечно, пужно было сразу же вытурить его, но я, Танечка, не сделала этого. Я подумала, что обижаться было бы глупо, что он, наверно, и сам не понимает оскорбительности своего поведения. Правда, я решительно заявила, что пить вино не собираюсь, и положила бутылку обратно в его портфель. А потсм я стала разливать чай и говорить о том, что являться к девушке в таком состоянии, да ещё с таким подарком — недостойно, неуважительно; что напиваться, да ещё так часто, как это, видимо, делает он, вообще нехорошо, какое бы ни было у человека настроение... Словом, я завела такую душевную беседу, от которой хмель, по моим расчётам, должен был улетучиться у него из головы. Он выпил несколько стаканов чаю, но хмелел всё больше и больше, будто бы пил не чай, а водку.

Вначале я думала, что у него, может быть, какая-нибудь беда, что он пьёт, как говорится, с горя. Но постепенно я стала догадываться, что единственное его горе в том и состоит, что он почти всегда пьян.

Мою откровенность, моё доброе отношение и дружеский интерес к его судьбе он понял по-своему. Стал целовать мне руки и заплетаящимся языком объясняться в любви. Я отняла руки, поднялась, попыталась урезонить его. Сказала, что объясняться в любви полагается в трезвом состоянии, а путать любовь со скотством вообще не полагается. Но он уже ничего не слушал, лез ко мне, пытался облапить. Я вырвалась, убежала из комнаты. Он бросился вслед за мной..

Куда тут побежишь? К сторожу Кабицкому стучать? Он со своей старухой давно уже спит, наверно. Вся остальная школа пуста, классы заперты. Ломиться к сторожу, просить у него защиты я постеснялась, бросилась к выходу. Стала дёргать дверь на себя, забыла с перепугу, что она открывается наружу, а не внутрь,— он в это время подбежал, схватил меня сзади. Мне спять удалось вырваться, выскочить на улицу, но у него в руке остался воротничок от моей блузки (кружевной воротничок, помнишь?).

Тут мне повезло: сбегаю за мной с крыльца, он споткнулся и упал. Это дало мне возможность немного отбежать, пока он поднимался,— шагов на двадцать, если не больше. Услышав, что он опять гонится за мной, я пустилась вокруг школы, успела вернуться в свою комнату и запереть дверь. В ту же секунду слышу: он подбегает к двери, дёргает её раз, другой.

Некоторое время мы стояли молча. Потом, немного отдышавшись, он говорит: «Откройте». Я молчу. Он говорит: «Откройте, у вас мой портфель остался. Я только возьму портфель и сразу уйду».

Я тихонько отошла от двери, открыла форточку, выбросила портфель (в нём, по-моему, ничего, кроме этой бутылки, и не было) и говорю: «Ваш портфель на улице лежит, под моим окном». Он немного постоял, потом пошёл. Тогда я скоренько погасила свет в комнате, схватила та-

буретку и притаилась, жду. «Гю, — думаю, — если он высадит окно и попытается лезть в комнату, так и двину его табуреткой по башке». Честное слово, Танька, я бы его оглушила. Знал бы тогда! Табуретка у меня тяжёлая, дубовая, а зла я была, как дикая кошка. Но он, к счастью, только подобрал свой портфель, посмотрел на моё тёмное окно и, пошатываясь, удалился. Я подождала ещё немного, потом легла на кровать и дала слезам волю — всю подушку залила.

Представляешь себе? Ночь, весь посёлок спит, никому здесь до меня дела нет. Мама, ты, друзья — все, кому я хоть немного дорога, кому я хоть сколько-нибудь нужна, — за тридевять земель, всё равно что на другой планете. Заступиться за меня некому, со мной здесь могут сделать всё что угодно. Этот подлец может наговорить на меня всё, что ему заблагорассудится, и поверят, разумеется, ему — местному работнику, представителю районного центра, а не какой-то молодой «учительке», чужой, приезжей девчонке. Так мне по крайней мере казалось тогда. Могут, я думала, узнать и не от него: если Кабицкий что-нибудь слышал, если он проснулся от нашей беготни, то завтра же всему посёлку будет известно и то, что было, и то, чего не было. И люди будут, конечно, винить в первую очередь меня. Почему, скажут, он пошёл именно к ней, а не к кому-нибудь другому? Танечка, ведь я его действительно сама пригласила! Хороша, скажут, новая учительница, у которой сразу же после её приезда затеваются какие-то пьяные ночные скандалы...

Лежала я, плакала, думала эту невесёлую думу — не знаю, сколько времени так прошло. Вдруг слышу, кто-то стучит в окно. Оказывается, вернулся. Дубасит кулаками по раме, стёкла дребезжат. Кричит, ругается, обзывает меня самыми отвратительными словами.

Я-то думала, что он совсем ушёл, а он, оказывается, напился где-то до полного свинства и обратно пришёл покуражиться надо мной. Пришлось снова вооружиться табуреткой и занять свой пост сбоку от окна.

Наслушалась я тогда! Не только по собственному адресу, но и вообще-то мне такой грязной ругани никогда раньше слышать не приходилось. И не только я наслушалась — он орал так, что наверняка во всех соседних ярангах проснулись. Теперь уж мне не приходилось сомневаться в том, что по всему посёлку пойдёт обо мне дурная слава.

Он кривлялся под моим окном, кричал, перемешивая русские ругательства с чукотскими, старался как можно грубее оскорбить меня, вызвать меня на перебранку. Я, конечно, молчала, я дала себе слово не отзываться, что бы он ни говорил.

Не знаю, сколько это продолжалось. Я устала, меня мучило ощущение своего бессилия, своей беззащитности. В полном изнеможении я опустилась на пол и снова разревелась. А он всё кричал и кричал за окном. Он выдумал, будто я «чукчей за людей не считаю». Дескать, если бы он не был чукчей, так я бы с ним поласковее обошлась, не считала бы его скотиной. Понимаешь, как повернул?

Кому-кому, а тебе, Танька, хорошо известно, что я комсомолка не только по документам. Для меня интернационализм — это не какое-то отвлечённое понятие, а твёрдое моё убеждение, жизненный принцип, частичка моей душевной сущности. Национализм я считаю самой гнусной несправедливостью, просто-напросто контрреволюцией, и всё. Для меня все люди равны, совершенно независимо от нации. А он всё наоборот повернул. Но я и тут смолчала.

Он ещё какие-то гадости орал — я уже старалась не слушать. Нервное напряжение так меня утомило, что я впала в забытьё. Его голос доносился до моего сознания, то словно затихал. Потом он громко вскрикнул и совсем замолк. Наверно, свалился и сразу же заснул мертвецким сном, как это бывает с пьяными.

Больше я его, к счастью, не видела. Вчера, как я уже упоминала, после того, как он снова перепился, его уложили в моторную байдарку и отвезли обратно в райцентр. Этим и закончилась его «работа» в Эргыроне.

Дописываю 4 сентября, вчера не успела. Сегодня воскресенье. Это ещё хуже, чем будни. Те три дня, что я занималась с ребятами, были хоть работой заполнены. Хоть во время уроков удавалось забыть о своей тоске. Заниматься, Танечка, так невероятно трудно, что обо всём позабудешь!.. А сегодня я опять одна со своими невесёлыми думами.

Вчера я подробно описала тебе эту неприятную историю. Но не думай, пожалуйста, что только она вышибла меня из колеи. Она была только последней каплей, ядовитой каплей, переполнившей чашу. Не потому я затосковала, что какой-то пропойца поднял ночью шум под моим окном, а скорее наоборот — вся эта история только потому и произошла, что очень уж паршиво у меня на душе: ведь если бы тоска меня не одолела, так разве я позвала бы к себе чаёвничать человека, которого почти не знала?

Никто мне по поводу этой истории ничего не говорил пока. Даже директор не вызывал. Впрочем, что представляет собой наш директор Эйнес, я уже писала тебе. Угрюмый недалёкий парень. Может быть, он хороший зверобой, но на педагога он так же похож, как я на японского императора. Правда, 1 сентября он пришёл в школу в европейском костюме, при галстукe, без охотничьего ножа. Но приветливости это ему не прибавило. Может, именно из-за того ночного скандала он так неприветлив со мной? Не думаю. По-моему, он с самого начала был со мной ничуть не любезнее.

К началу учебного года все приоделись — и учительницы, и математик Вербин, и школьный сторож. Учительницы здесь все местные, чукчанки. Образование у них — Анадырское педучилище, только одна окончила двухгодичный учительский институт в Хабаровске.

Вербин, оказывается, тоже без настоящего высшего образования. Хорош завуч! Он мне сам сказал, что «в восемнадцатом году пришлось уйти с третьего курса» (о причинах, по которым «пришлось уйти», как и о происхождении хромоты своей, он умалчивает). Ни старость, ни многие годы педагогической работы не вытравили из него какого-то дворянского духа. По всем манерам видно, что он из «бывших». Когда он пришёл в школу приодевшись, выбритым, наодеколонившимся, это стало ещё заметнее, чем обычно. Здороваясь, он так пристукивает пяткой о пятку, будто на ногах у него до сих пор не мягкие оленьи торбасы, а офицерские сапоги и шпоры.

Я начинаю думать, что фрукт, с которым я встретилась на теплоходе, был прав. Кажется, я писала тебе о нём ещё в первом письме, из Анадыря. Забыла сейчас его фамилию, помню, что актёрская какая-то. Долинский или что-то в этом роде. Рисуюсь своим цинизмом, он говорил, что работает на Чукотке только из-за «неизлечимого пристрастия к длинному рублю». И утверждал, что «все здесь такие». Да, сюда едут, видимо, либо «охотники за длинным рублём», либо те, кто по каким-нибудь причинам на лучшие места не рассчитывает. Одним не приходится надеяться на лучшее вследствие полной своей бездарности, другим — потому, что прошлое у них темноватое (как, например, у нашего сторожа и у нашего математика).

Как же меня сюда занесло? Биография у меня ещё совсем небольшая и ничем, кажется, не запятнанная; бездарностью, как ты знаешь, в университете меня не считали; за «длинным рублём» я не гонюсь, мне и «короткого» хватило бы... Значит, попадают сюда и такие экземпляры — дурочки, начитавшиеся романтических книжек и возомнившие, что могут принести здесь какую-то пользу.

В этом-то, Танечка, и заключается моя ошибка, в этом-то всё дело. Какую пользу я смогу тут принести? Я даже с самыми элементарными своими обязанностями не справлюсь, это мне уже совершенно ясно. И никто на моём месте не справился бы! Посуди сама. Во-первых, мне придётся, кроме ботаники, преподавать географию. Географа в здешнюю школу не прислали, предложили «обходиться собственными силами». То, что я в географии ничего не смыслю, — это нашего директора нисколько не интересует. Такие вещи здесь — самое обычное явление: математик, кроме алгебры и геометрии, преподаёт физику; преподавательница русского и литературы тянет ещё и немецкий (в котором она смыслит, кажется, не больше, чем я в географии). Представляешь себе — уже несколько лет здесь существует семилетка, а до сих пор нет ни географа, ни физика, ни преподавателя языка!

Вторая беда заключается в том, что некоторые школьники плохо говорят по-русски. В седьмом классе ещё кое-как я с ними сговариваюсь, в шестом тоже, а в пятом есть ребята, с которыми совсем невозможно. Как мне их учить, если мы друг друга не понимаем?

Хорошо ещё, что я не преподаю в младших классах. Там в этом году сложилось такое положение, что и местным учительницам, чукчанкам по национальности, никак не объясниться с некоторыми учениками: в младшие классы пришло семеро эскимосских ребят, не знающих ни русского, ни чукотского. А учебников на эскимосском языке в нашей школе нет. Это какое-то дикое головоплетство! Дело в том, что раньше колхоз был только чукотским, а в этом году, в связи с укрупнением, в него влилось и несколько эскимосских семей. Словом, из-за того, что райзо и роно не договорились во-время, ребята остались без учебников.

Вот какие печальные дела, дорогая моя Танечка. Как видишь, унылое моё настроение — это не девичьи капризы. Есть от чего взвыть!

До свидания. До свидания, которое состоится ещё, к сожалению, очень не скоро. Я даже не уверена, Танечка, что оно состоится когда-нибудь, что мне удастся когда-нибудь вырваться отсюда, вернуться домой, к родным, к друзьям.

Твоя Валя.

5 января.

Танька, Танечка, Татьяна моя дорогая! Какая же ты умница! Ай да я — как я здорово умею выбирать себе подруг! По сколько нам было, когда мы подружались? По восемь? Или по семь? И как это я уже тогда догадалась, что из тебя вырастет такая умница?!

Четыре месяца прошло с тех пор, как я послала тебе первые письма. Я часто, очень часто думала о тебе, Танечка, с большим нетерпением ждала твоего письма. И каждый раз я представляла себе, как ты меня изругаешь, сколько резких слов мне придётся прочесть. Мне было при этом и смешно (потому что я не могу теперь без улыбки вспоминать о том ужасном ребячьем отчаянии, которое охватило меня в первые дни) и в то же время было, признаюсь, немного боязно, стыдновато.

И вот я получаю твоё письмо, читаю страницу за страницей, наслаждаюсь. Где-то на середине вспоминаю: «А где же ругань?» Читаю ещё страничку или две, становится даже немного обидно: «Я-то, дескать, изливалась перед ней, всю бумагу слезами закапала, а она ноль внимания». И наконец, на предпоследней странице читаю: «Ни утешать тебя, Валька, ни ругать за те твои письма не буду. Уверена, что к тому времени, когда моё письмо дойдёт до тебя, твоя «безысходная тоска» улетучится до капельки».

Умница ты моя, умница-разумница! В одном только ты ошиблась: это произошло не к тому времени, когда я получила твой ответ, а гораздо раньше. Тогда, когда ты читала мои отчаянные вопли, от самого-то отчая-



ния не оставалось уже ничего, кроме воспоминания и чувства некоторого смущения. Какой глупой, какой слепой я была! Ничего, совершенно ничего не понимала.

Буду отвечать тебе по порядку. Прежде всего относительно работы. Дел здесь тьма-тьмушная, залезла я в них по уши. Можешь судить хотя бы по тому, что я четыре месяца — целых четыре месяца! — не писала тебе. И даже получив твой ответ, села писать только через десять дней, благо новогодние каникулы подоспели. Кстати, поздравляю тебя, Танечка, с Новым годом! Чуть не забыла.

С географией я справляюсь, как прирождённый географ. Да я и есть прирождённый географ — удивительно, как это я раньше об этом не догадывалась. Как моя любовь к путешествиям могла сочетаться с полным равнодушием к этому интереснейшему предмету?

Вначале было трудновато. В моём распоряжении был только старый, потёртый глобус и школьные учебники. В поселковой библиотеке, когда я попросила что-нибудь о зарубежных странах, о путешествиях, мне смогли предложить только... «Путешествие Гулливера». Как-то в седьмом классе меня спросили, что такое «колония». Я попыталась ответить, привела несколько примеров, сказала, в частности, что Англия до сих пор имеет на территории Китая свою колонию — «город Гонконг». Один семиклассник спрашивает: «А разве Гонконг — это город?» — «Да, — говорю, — конечно, город. Крупный портовый город».

Я почему-то была в этом совершенно уверена. А он говорит: «Нет, Валентина Алексеевна, это остров. Я в одной книжке читал. Город на том острове есть, только он как-то иначе называется». Я готова была сквозь землю провалиться!

После занятий я рассказываю об этом директору, заявляю ему, что не могу преподавать предмет, которого не знаю. «Тем более, — говорю, — что литературы нет, проконсультироваться не у кого». А он вдруг спрашивает: «Вы на лыжах умеете ходить?» — «Умею». — «Возьмите у меня лыжи и сбегайте на Полярную станцию. Там чуть не каждый сотрудник — профессор географии».

Так я и сделала. Здесь, совсем неподалёку от посёлка, расположена одна из полярных станций Главсевморпути. Почему я сама не сообразила пойти к ним? Не знаю! Правда, профессоров там не нашлось, но начальник станции оказался кандидатом географических наук и очень славным дяденькой. У них прекрасно подобранная, хотя и небольшая, библиотека, которой я теперь пользуюсь, как собственной. Если что не ясно, всегда есть возможность спросить, посоветоваться. В первый же визит я выяснила, что насчёт Гонконга была не права. Но это уже не очень меня опечалило — настолько я была обрадована соседством дружной семьи полярников, их приветливым отношением, их готовностью помочь.

Я уже провела три экскурсии на Полярную станцию (с каждым из старших классов). Начальник станции был у нас на пионерском сборе, посвящённом великим русским исследователям Севера, подарил школе очень хороший атлас. Ребята заинтересовались географией, вошли во вкус предмета — это главное! Да я и сама вошла во вкус, что не менее важно. Признаюсь, что будущей осенью, когда нам пришлют географа (наверно, пришлют наконец), мне будет даже немного жаль расставаться с этим предметом.

С биологией дело было, конечно, проще, чем с географией. Тут я с самого начала чувствовала себя увереннее, знала, как пробудить у ребят интерес. К тому же мне очень помог Эйнес — директор нашей школы. Он ещё в конце сентября ездил в Анадырь, в окроне, добыл много нужных для школы вещей и, в частности, привёз мне такой биологический кабинет! Три огромных ящика со всякими наглядными пособиями! Кроме

того, я со своими юннатами сделала уже двадцать пять чучел здешних птиц и зверей. Даже в Москве не во всякой школе имеется такой биологический кабинет.

Ты спрашиваешь о ребятах, плохо владеющих русским. Это, Танечка, до сих пор самый сложный для меня вопрос. Это очень, конечно, затрудняет работу. И всё-таки мне удаётся объясняться с любым из учеников — неуспевающих у меня нет. Видишь ли, таких, которые совсем не знают русского, в старших классах уже не встретишь. В младших классах имеются такие, но там преподают местные учительницы, чукчанки.

На моих уроках ребята рассаживаются так, чтобы на каждой парте был мальчик или девочка, хорошо владеющие русским. Пришлось пойти на такую систему «уроков с переводчиками». Кроме того, стараюсь уж, конечно, шире пользоваться наглядными пособиями и говорить попроще, позднее.

Даже с эскимосскими ребятами (помнишь, я писала тебе о них), и то не провалили дела, хотя тут положение казалось мне совсем безнадёжным. Из той же поездки Эйнес привёз учебники на эскимосском языке, но только по одному экземпляру каждого учебника. Еле добился, пришлось действовать через окружающих партия, а то бы и этого не получил. А эскимосских малышей у нас семеро!

А тут ещё в октябре вернулась из тундры, с отдалённых пастбищ, оленеводческая бригада. И с оленеводами пришли трое семиклассников, которые раньше учились в другой школе (это всё связано с укрупнением: раньше эти оленеводы составляли отдельный колхоз и жили в другом месте). В той школе знали, что эти ребята от них ушли, и не стали получать на их долю учебники, а нас никто не поставил в известность о пополнении, и учебниками для седьмого класса обеспечили в обрез, только по весенней заявке. Так что же, ты думаешь, сделали эти четырнадцатилетние оленеводы? Они переписали себе от руки все учебники! И одновременно с ними шестеро наших комсомольцев — два мальчика и четыре девочки — переписали от руки учебники для эскимосских малышей. Специально оставались после занятий, один диктовал, другие писали. И хоть бы один попытался увильнуть от этого кропотливого, утомительного дела! Думаю, что в наших больших городах многие школьники, привыкшие ко всему отсвенькому, постарались бы увильнуть — терпения не хватило бы. А у этих маленьких чукчей и чукчанок такая тяга к знаниям, такая дисциплина, такое упорство и трудолюбие, что я сразу прониклась к ним не только нежностью, но и самым серьёзным уважением.

Танечка, почти всё, о чём я писала тебе в таких мрачных тонах, на самом деле выглядит совсем иначе. И прежде всего это относится к людям. Мой ближайший сосед — Степан Андреевич Кабицкий, школьный сторож. Я тогда услышала краем уха, что он был осуждён за убийство, взглянула на его спутанную бороду — и готово, определила его в закоренелые преступники. Даже побаивалась такого соседства. А это, оказывается, добрейший старик. В школьниках, особенно в малышах, он души не чаёт. И старуха у него такая же. Малыши так и льнут к ним. Своих детей у них нет, но в их комнате почти всегда слышен детский гомон.

Насчёт убийства — всё чистейшая правда. Было это в 1906 году. Кабицкий действительно был послан царским судом на каторгу за убийство, но убил он, оказывается, одного из карателей, которые зверствовали в его родной деревне. Этот каратель зарубил шашкой старшего брата Кабицкого — тогда Кабицкий и бросился на него с топором... А я-то считала его «тёмной личностью», уголовником!

Эйнес его очень ценит. Кабицкий хотя и числится всего лишь сторожем, но на нём всё школьное хозяйство держится; Эйнес называет его своим «заместителем по хозяйственной части». Он и плотник прекрасный,

и сапожник, и стекольщик, и печник. Ко мне и он и жена его очень внимательны, как родные.

Вначале, например, он каждое утро приносил мне два ведра воды. Я думала, что это «так и полагается», что это входит в его обязанности. Даже, точнее сказать, ничего не думала, а просто приняла это, как должное. Ещё и недозвольна бывала, как последняя нахалка, если он приносил воду немного позже, чем обычно. И только месяца через полтора или два я случайно увидела в окно нашего директора с ведрами. На следующее утро установила наблюдение и, к своему большому смущению, обнаружила, что Степан Андреевич никому воду не носит — ни другим учителям, ни директору. Только себе и мне. Я, конечно, воспротивилась, ношу с тех пор сама. Но если посплю утром подольше, не успею принести, то, придя с уроков, всегда нахожу ведра полными. Вот какие бывают на свете чудеса!

Мало того. Форточка у меня в комнате плохо закрывалась — перекосилась немного. Я ещё только собиралась сказать об этом Степану Андреевичу, смотрю — форточка уже исправлена. Другой случай. В начале зимы я как-то положила свои валенки в печку, хотела получше просушить. А там, под золой, был ещё, видимо, непогасший уголёк. Один валенок прогорел, пришлось утром туфли надевать. Днём-то не страшно: я ведь в самой школе живу, мне на улицу выходить не надо. Но вечером я собиралась в клуб пойти, а туда уж в туфельках не дойдёшь, пожалуй. Возвращаюсь печальная с уроков, смотрю — стоят возле кровати мои валенки, и на одном из них красуется аккуратная латочка. Очень меня тогда растрогала эта забота.

Кстати, Танька, теперь я щеголяю не в туфлях и не в латаных валенках, а в самых настоящих чукотских торбасах, в чудесных торбасиках, расшитых лучшей из здешних мастериц. Обязательно привезу тебе отсюда такие торбасы! Ты знаешь, что это такое? Это мягкие сапожки из оленёнковой шкуры. Шьются они шерстью наружу, а на них нашивается узор из маленьких кусочков шкуры другой масти. Получается очень красиво. Они удобные, тёплые и при этом нарядные.

Я отвлеклась. Возвращаюсь к характеристике моих новых друзей. О «Старом Севалоте» — нашем завуче и учителе математики Всеволоде Ильиче — я тебе уже писала. И писала, надо сказать, дикую чушь. Я почему-то решила тогда, что Всеволод Ильич — это какое-то старорежимное ископаемое, укрывшееся здесь от революционных бурь. Почему мне взбрело это в голову? Не знаю! Мне всё представлялось тогда в самом худшем свете. Кажется, ещё по дороге сюда тот самый уполномоченный (помнишь?) намекал мне на «тёмное прошлое» здешнего математика. А я и уши развесила. Он вообще, пока мы ехали вместе в вельботе, плёл мне всякое про моих будущих сослуживцев, которых, оказывается, почти и не знает вовсе.

Когда я в первый раз увидела Всеволода Ильича, он был в таком обтрёпанном, грязном костюме, что произвёл на меня впечатление вконец опустившегося человека. В сочетании с этим обтрёпанным, измазанным глиной костюмом его манеры (какие мне приходилось видеть только на сцене, в пьесах из великосветской жизни), его старомодные пенсне, его изысканные выражения выглядели особенно жалкими.

Скажу тебе сразу, Таня, что сейчас это один из самых лучших моих друзей, хотя он мне буквально в дедушки годится. Редко приходилось мне встречать людей такой душевной чистоты, такой преданности своему делу, такой цельности.

В те дни, перед началом учебного года, он помогал Кабицкому ремонтировать печи в школе. Потому он и был так одет, а вовсе не потому, что «опустился».

Это прекрасный педагог, простой, душевный человек. Для любого колхозника он просто старый сосед, «дядя Севалот», человек образованный, уважаемый, но такой же привычный, «свой», как дядя Мэмыль, Атык, Гэмалькот и другие старики нашего посёлка. И держится он с ними совершенно обыкновенно, как все люди. А изысканные манеры и выражения, которыми он меня встретил, были, как я теперь понимаю, рассчитаны специально на меня: чудной старик решил, что со мной нужно особое, «столичное обхождение», пока я не попривыкну к здешней обстановке.

И он действительно очень помог мне, помог справиться с отчаянием, охватившим меня в первые дни. Конечно, не расшаркивания его мне помогли, не старомодные любезности, а его пример. (Я даже хотела сейчас написать «героический пример», да почему-то постеснялась. А между тем здесь это слово не было бы слишком громким, потому что жизнь Всеволода Ильича — это действительно героический пример для всякого педагога.) Его жизнь здесь даже легендой окружена.

Рассказал мне эту легенду Мэмыль. Впрочем, ты ведь ещё не знаешь, кто такой этот Мэмыль.

Во время летних каникул здесь жила одна местная девушка — дочь охотника Мэмыля, студентка Хабаровского пединститута. Она тоже на биологическом учится, очень славная девушка. Я с ней познакомилась перед самым её отъездом. У нас даже общие знакомые нашлись: она десятилетку кончала в Анадыре, была юннаткой у той самой Лесниковой, у которой я ночевала по дороге сюда. Так вот эта девушка, уезжая, попросила меня позаниматься с её отцом — он решил на старости лет овладеть грамотой. Ученик оказался на редкость способный, заниматься с ним было одно удовольствие. Из всех жителей Эргыропа дядя Мэмыль был первым, к которому я почувствовала полное доверие. Успевал он отлично, но думаю, что мне эти занятия принесли ещё больше пользы, чем ему. Он понял, видимо, что на душе у меня было тогда скверно, и старался развлечь меня, почти каждый вечер рассказывал какую-нибудь историю.

Иногда это были очень смешные истории, иногда вполне серьёзные. До сих пор не могу без улыбки вспомнить рассказ о том, как один здешний охотник — большой сластёна — стрелял в белого медведя конфетой. У него в патронташе вместе с патронами лежали конфеты, вот он и спутал второпях, когда повстречался с «хозяином льдов». Попал будто бы в самую пасть, а Мишке это дело понравилось — медведи тоже ведь сластёны. Мишка стал ещё просить, а охотник решил, что это заколдованный зверь, которого никакая пуля не возьмёт... Ты бы слышала, Танька, как Мэмыль рассказывает эту сказку, как он изображает и медведя и незадачливого охотника! Не знаю, где тут кончается правда и начинается выдумка. Во всяком случае, охотник, стрелявший в медведя конфетой, — это не вымышленное лицо, я с ним лично знакома (только всё не решаюсь порасспросить его о том, как он медведя угощал).

Однажды Мэмыль рассказал мне другую сказку — «О том, как на Чукотку свет пришёл». Я в тот же вечер записала её в свой дневник.

Незадолго до смерти позвал будто бы Ленин товарищей своих и спросил: «Сколько в Советской стране народов живёт?» «Много, — отвечают. — Если с маленькими народами считать, так, пожалуй, и шестьдесят наберётся». «Правильно, — говорит, — шестьдесят народов. А какой из них в самом тёмном краю живёт?» «В самых, — отвечают, — тёмных краях живут ненцы да чукчи. У них всю зиму — одна сплошная ночь. А зима у них долгая, северная». «Тоже, — говорит, — правильно. Полярная ночь — это дело нелёгкое, невесёлое. А скажите ещё, товарищи, какой из всех наших советских народов — из всех, значит, шестидесяти — дальше всех от Москвы проживает?»

Спросил, а сам на карту смотрит. По карте каждому сразу видно, что самый далёкий край — Чукотка. Тогда Ленин говорит: «Мы из Москвы много хороших дел начинали, да бывало иной раз, что эти дела где-нибудь на полпути останавливались, не до всякого уголка доходили. А нам надо каждое дело до конца доводить. Вот и доложите мне, товарищи, как у нас обстоят дела на Чукотке. Что Советская власть чукотскому народу дала? Уж если что в самом дальнем краю нами сделано, так оно, значит, по всей нашей земле прошло, не застряло на полдороге».

Тогда товарищи Ленину отвечают. «Немало, — отвечают, — сделано всё-таки на Чукотке. Чукчей, эскимосов, юкагиров от окончательной смерти спасли. Эти народы совсем погибли, а Советская власть настоящую жизнь им дала. Немало всё-таки». «Хорошо, — Ленин им говорит. — Очень хорошо». И просит рассказать в подробностях — как и что. Докладывают ему и про то, и про другое, и про третье. И про хорошее и про плохое. Ленин спрашивает: «А как там насчёт света?» «На этот счёт, — отвечают, — тоже стараемся. Ещё в нашей республике керосинцу мало, а всё-таки отправляем туда, выделяем сколько возможно для чукотских людей. Электрификация туда ещё не дошла, но в дальнейшем обязательно доведём и электрификацию. Чтобы в каждой яранге лампочка Ильича горела».

Прищурился Ильич, покачал головой. «Надо, — говорит, — дальше смотреть. Не только о том надо думать, как бы яранги осветить. Не вечно будут чукчи в грязных ярангах ютиться, скоро захотят в домах жить, как все люди. Надо думать, как им помочь в этом деле. И насчёт света тоже больше заботы требуется. Не только насчёт того, от которого кругом нас виднее становится. Надо о том свете побольше заботиться, от которого в мыслях яснее, в голове. Называется он Светом науки. Без него человеку плохо: видит много, а понять как следует не может. Позовите ко мне учёных людей».

Позвали. Пришли к Ленину учёные русские люди. И Севалот наш пришёл. Он тогда совсем ещё молодой был, а всё равно учёный. Ленин и говорит им: «Вот какое дело, товарищи. Должны мы чукотским людям помочь. Плохо они жили, совсем плохо — не жили, а, просто сказать, помирали. Их четыре гнёта давили: американский скупщик да царский чиновник, байдарный хозяин да ещё шаман. Американские хищники хозяйничали на Чукотке свободнее, чем у себя дома, царские чиновники им во всём потакали и тоже, конечно, наживались на горьком чукотском горюшке. И байдарный хозяин мало не брал, так что простому охотнику оставалось только кости глотать да лёд сосать. А чтобы легче было охотников обманывать — обирать, — для этого шаманы их в тёмной дикости держали, в беспросветной слепоте. Хищники крепко за этот край цеплялись, нелегко нам было вызволить чукотских людей. Первых наших ревкомовцев на Чукотке поубивали, геройски погибли они за свободу, за Советскую власть. Но теперь Чукотка уже наша, советская. Американских скупщиков и царских чиновников там теперь нет. Байдарным хозяевам тоже спеси поубавили. Посылаем чукчам, по возможности, продукты, охотничий припас. Будем в охотничьих посёлках ставить ветродвигатели и проводить электричество».

Налил себе Ленин воды из графина, отпил малость и спрашивает учёных людей: «Что теперь требуется, чтобы в полном смысле вывести чукчей к новой жизни?» И сам на эти слова отвечает: «Для этого должны мы рассеять вековую темноту и всякие дикие шаманские страхи. Одним словом, вызволить чукотских людей из-под последнего гнёта: одолеть шаманов, ликвидировать безграмотность, школы поставить. Дело это трудное. Грамотных среди чукчей ни одного нет. И даже самой грамоты чукотской ещё нет — ни одной буковки. Надо для чукотских людей гра-

моту составить и вообще принести в этот далёкий и тёмный край свет новой жизни. Должен вас, товарищи, предупредить, что условия там тяжёлые, а отчасти даже опасные. Кому-нибудь, может, придётся не легче, чем нашим героям-ревкомовцам. Но которые из вас захотят всё-таки поехать, те пускай помнят, что Советская власть окажет им поддержку и ждёт от них полной победы. Неволить никого не будем. У кого из вас, товарищи учёные люди, есть на это благородное дело сердечное желание, у кого хватит силы-смелости, те пускай сами скажут. Тех и пошлём».

Сидят учёные люди, думают. Одни робеют, другие с мыслями собираются. Первым наш Севалот поднялся. «Есть, — гозорит, — у меня такое сердечное желание. И силы-смелости тоже, пожалуй, хватит. Посылайте меня, товарищ Ленин». Ну, за Севалотом ещё сколько-то человек поднялось. Которые посмелее да сердцем пошире...

Танечка, милая, вчера не успела дописать тебе письмо — ко мне вечером гости пришли. И с Полярной станции были ребята и здешние. Дописываю шестого. Хорошо, что каникулы, — можно писать письмо хоть три дня подряд. Ты не сердись, Танечка, что оно такое длинное получается. Если находишься так далеко от самой близкой своей подруги и пишешь ей после четырёхмесячного перерыва, то уж хочется «наговориться» как следует, за всё время.

Остановилась я вчера на сказке. Она большая, в ней потом рассказывается, как «Севалот» организовал здесь школу, как шаман насылал на него злых духов — «кэле», как учитель не испугался злых кэле, одолел и их и самого шамана.

За этой сказкой — сущая правда. Я теперь знаю, как создавалась наша школа, каких трудов, какого мужества это требовало. Помещения не было, небольшая группа учеников (среди которых был и наш теперешний директор Эйнес) занималась в яранге, при свете жирника. Всеволод Ильич жил в этой же яранге — тёмной, душной, грязной, обгоревшей и кое-как, по-бедняцки, залатанной после пожара (шаман дважды поджигал её в отместку за то, что хозяева пустили к себе учителя). Влияние шамана было тогда очень сильным. Он запрещал охотникам посылать детей в школу. Один школьник погиб при каких-то подозрительных обстоятельствах, а шаман объявил, что разгневанные кэле забрали мальчика и заберут всех, кто ходит учиться у «чужака». Гибель мальчика была, скорее всего, подстроена самим шаманом.

Один раз учителя избили до полусмерти. В другой раз камнем угодили ему в колено, так что началось какое-то заболевание и чуть не пришлось ампутировать ногу. Он до сих пор немного прихрамывает. Но, подружившись с простыми охотниками, действуя вместе с маленьким, тогда ещё только формировавшимся колхозным активом, Всеволод Ильич выдержал всё это. Выдержал, одолел все препятствия, отстоял школу.

Вот как создавалась школа в Эргыроне. Вот какой человек наш «Старый Севалот»!

Я его как-то спросила: «Всеволод Ильич, вы действительно слышали Ленина?» «Нет, — говорит, — не привелось, к сожалению. Это всё здешние старики выдумали. Атык или Мэмыль — теперь даже трудно установить, от кого из них это пошло. Пробовал разубедить — ничего не выходит». Он помолчал немного, а потом очень сердито спрашивает: «Вам, наверно, рассказывали и про то, как я сражался с кэле? Вы понимаете, какая нелепица получается? Рассказывают о том, как я одолел шамана. Хорошо. Я ведь действительно долгие годы трудился над тем, чтобы очистить их головы от шаманизма, от суеверий. Результаты, казалось бы, наличие, не зря трудился. И вот, рассказывая о моей борьбе, они вдруг начинают прилетать всяческих кэле и прочую шаманскую чушь, столь же

дикую, сколь и живучую, к сожалению. Как же это так? Выходит, что кэле оказались по существу сильнее меня, хотя в сказке и говорится о моей победе над ними. Так, что ли? Выходит, что моя беда над шаманом носит, так сказать, только формальный характер? Дичь какая-то, явная дичь!»

Так и не удалось мне тогда убедить старика, что в устах Мэмыля кэле являются уже не «шаманской чушью», а сказочными персонажами, поэтическими образами. Он печально ответил мне, что «подобные утешения годятся только для людей, неспособных к ясному, математическому мышлению».

Между прочим, Танька, если бы ты знала, как такой суровый и даже на первый взгляд грубый народ, как чукчи, ощущает поэзию, красоту! Вот посмотри хотя бы на их имена. Одного из лучших охотников здешнего колхоза зовут Унпэнэр, что в переводе на русский означает «Полярная звезда». Его братишка Йорэлё учится у нас в школе (очень смыслённый паренёк, мечтающий стать агрономом); Йорэлё—это «Повелитель ветров». Месяца три назад у этого самого Унпэнэра родился мальчик, которого назвали Эвыквын — «Стойкий». Дочку Мэмыля, о которой я тебе уже писала, зовут Тэгрынэ; Тэгрынэ — это значит «Летающая стрелой».

Правда, красиво? Есть у них, конечно, и другие имена, в том числе совсем не поэтические (а по нашим понятиям, даже неприличные). Но должна тебе, Танька, сказать, что настоящая поэзия, настоящая романтика заключается вовсе не в том, в чём я искала её раньше. Она гораздо труднее, грубее и жизненнее.

Опять я отвлеклась! Через несколько дней после того разговора с Всеволодом Ильичём я убедилась, что при всём своём «математическом мышлении» он вовсе не чужд романтики и прекрасно понимает суть сказки, рассказанной мне Мэмылем. Он как-то зашёл ко мне вечером попросить чернил и заметил, что глаза у меня зарёванные (что бывало со мной тогда довольно часто). Минутку он постоял, рассматривая свою пустую чернильницу, потом строго посмотрел на меня и сказал: «Вы хорошо помните, что вам рассказывал Мэмыль? Не забывайте, Валя, что мы с вами присланы сюда товарищем Лениным. Никогда не забывайте об этом!» Налил себе чернил, перелил, огорчённо поглядел на измазанные чернилами руки и ушёл...

Танечка, самое важное я оставила напоследок. Я хочу написать тебе о нашем директоре, об Эйнесе. Я, видишь ли, оказалась по отношению к нему в глупейшем положении... Ох, если б ты была сейчас тут, рядом! Ты бы, наверно, придумала, как поступить, а я без твоего совета ничего не могу придумать.

Ты уже догадалась, конечно, что мои первые впечатления от знакомства с Эйнесом не имели ничего общего с истиной. Единственное, о чём они свидетельствовали, это о том, как мало я знаю жизнь, как плохо разбираюсь в людях. По отношению к Эйнесу я была, пожалуй, ещё более несправедлива, чем к Вербину и Кабицкому.

Прежде всего, если помнишь, я возмущалась тем, что перед началом учебного года Эйнес почти не заглядывал в школу, целые дни проводил на охоте. А зачем ему было торчать в школе? Ремонт в основном уже был закончен, оставалось только привести в порядок печи, заменить кое-где стёкла. В этом Эйнес мог спокойно положиться на Вербина и Кабицкого.

Кроме того, колхоз, оказывается, крепко выручил летом Эйнеса, помог в ремонте школы и учительских домиков. Перекрыли крыши, дали краски для полов и для парт. Зато осенью, в разгар охоты на моржей, и Эйнес и все старшекласники отплатили добром за добро, поработали как следуют в охотничьих бригадах.

Но дело тут не только во «взаимной выручке». Дело ещё и в том, что Эйнес — настоящий чукча, настоящий охотник, плоть от плоти своего маленького народа. Я-то сначала подумала, что он по культурному уровню немногим отличается от любого из здешних охотников, а он, оказывается, человек большой культуры, глубоких и разносторонних знаний. Таким директором и учителем истории самая лучшая школа могла бы гордиться. Но он сознательно не хочет отрываться от жизни своих односельчан, от интересов рядовых колхозников-зверобоев. И кроме того, морская охота — это его страсть, это для него то же, что для Васи его радиоприёмники, что для Серёжки шахматы, а для тебя театр. Он не только влюблён в морскую охоту, но, видимо, и знает её во всех тонкостях: я слышала, как даже Вамче — председатель колхоза, опытный охотник — советовался с Эйнесом относительно какого-то спорного случая, происшедшего во время выезда на лежбище моржей.

Наш директор, как говорит Севалот, — «это сложный и чрезвычайно интересный характер». Он невероятно застенчив. Для этого энергичного директора, эрудированного историка и мужественного охотника каждый новый, малознакомый человек — страшнее любого зверя. К счастью для него, в Эргыроне новые люди появляются очень редко. Пока Эйнес не привыкнет к человеку как следует, для него разговор с этим человеком — просто пытка. Особенно, я думаю, если незнакомец оказывается незнакомкой, да ещё и молодой. Как я теперь понимаю, это было одной из причин, по которым Эйнес так редко бывал в школе в первые дни моего пребывания здесь. Он явно избегал меня тогда, а если уж должен был что-нибудь мне сказать, то делал это с неохотой, стараясь как можно скорее закончить разговор. Но то, что казалось мне угрюмостью, невежливостью, даже признаком некультурности, было в действительности результатом мучительной, непреодолимой застенчивости.

Это такой знающий, такой способный парень, что я не перестаю поражаться. В любой области, не говоря уж, конечно, об истории, он знает по крайней мере вдесятеро больше меня. Может быть, только в биологии я сильнее (и то подозреваю, что он просто по скромности не касается при мне вопросов, связанных с моим предметом).

Пять лет назад он кончил пединститут, получил диплом с отличием. Оставляли в аспирантуре — не остался, сказал, что хочет сначала немного поработать. Добился назначения в родной посёлок. Здесь тогда была только начальная школа, четырёхлетка, та самая, в которой Эйнес когда-то учился. Под его руководством она выросла в семилетку и стала одной из лучших школ округа. В Анадыре говорят, что по истории, математике и литературе «эргыронская четвёрка стоит подороже иной пятёрки» (надеюсь, что с будущего года к этому перечислению будут добавлять и биологию).

На все предложения (а ему уже несколько раз предлагали разные высокие должности и в районном центре и в окружном) Эйнес отвечает, что уедет отсюда только тогда, когда здесь будет создана десятилетка. И добьётся, уверена, что добьётся! Но в конце концов ему придётся, конечно, поехать в аспирантуру либо в Хабаровск, либо в Ленинград, в Герценовский институт. Ему и самому-то охота поступить в аспирантуру, и в окружном ему советуют. Да и грешно, в самом деле, с такой светлой головой не взяться за научную работу.

Ты помнишь, Танька, историю с тем пьяницей — уполномоченным из района? Я тогда думала, что он куражился под окном до тех пор, пока хмель не свалил его с ног. А на самом деле всё произошло совсем не так. Кабицкий проснулся от его криков, вышел, чтобы прогнать хулигана, но, увидев, что это приезжий, постеснялся, решил разбудить Эйнеса. Тот вышел из яранги, не стал осведомляться о чинах приезжего, а, не говоря ни



слова, хорошенько тряхнул его, заткнул ему рот своей кожаной рукавицей и в одну минуту связал ему ремешком руки. Затем вместе с Кабицким они отнесли этого сразу присмирившего буяна к правлению, развязали. Эйнес вынул у него изо рта рукавицу, тщательно обтёр её полый его пиджака и молча ушёл. Кабицкий так же молча поднял свой увесистый кулачище, многозначительно повертел им и последовал за Эйнессом.

Они проделали всё это в такой полной тишине для того, чтобы никто ничего не услышал, чтобы не было никаких разговоров на эту тему, чтобы не трепали моё имя. И в то время, как они старались, чтобы я не узнала об их вмешательстве, я думала, будто и они ничего не слышали. Только недавно, справедливо считая, что теперь меня это уже не встревожит, Кабицкий рассказал мне, как было дело. Да и то под большим секретом от Эйнеса.

Рассказ Кабицкого позабавил меня и обрадовал: значит, уже и тогда я была здесь совсем не такой одинокой и беззащитной, как мне казалось! Но некоторое время назад я узнала о другом поступке Эйнеса, и эта новость, признаюсь, не только обрадовала меня, но и порядком озадачила.

Иду я как-то на лыжах с Полярной станции, догоняет меня один семиклассник. Через плечо у него висит ружьё, а у пояса болтаются несколько белых куропаток. Смотрю — среди куропаток темнеет какая-то другая птица. Головка, спина и хвост — чёрные, блестящие, животик — белый, клюв — прямой, довольно длинный, красный. Трёхпалые ноги тоже красного цвета. Словом, типичный *Haematopus ostralegus*, славная такая пичуга из отряда куликов. А по орнитологическому справочнику северная граница распространения этих птиц находится на Камчатке, зимой же им вообще полагается улетать далеко на юг. Меня это очень заинтересовало. Почему эта пичуга залетела так далеко на север? Почему она осталась тут на зиму? Я договорилась со школьником, что вечером он занесёт мне эту птицу и мы сделаем чучело для нашего биологического кабинета. На всякий случай спрашиваю: «Ты знаешь, где я живу?» «Да, — говорит, — конечно, знаю. В той комнате, где раньше директор жил».

Вот так, совершенно случайно, я узнала, что Эйнес жил в школьном доме, в комнате, которую занимаю теперь я. Вернувшись, зашла к Кабицким, его, к счастью, не оказалось дома. Пристала к его жене и убедилась в том, что школьник сказал правду.

Эйнес жил в этой комнатке до самого моего приезда. Если бы его мать согласилась расстаться с ярангой, он давно уже мог бы переехать в большую комнату, в один из жилых домов. Но для одного ему было вполне достаточно и этой, а старая Рутьынэ категорически отказывалась оставить ярангу, говорила, что в доме ей непривычно, неудобно.

В августе прошлого года в школе уже и не надеялись получить биолога, когда вдруг из Анадыря радиовали, что биолог едет. Да не какой-нибудь, а «выпускница Московского университета!» Я сама потом видела эту радиограмму из окроно: «Согласно вашей заявке направляем вам биолога. Фамилия направляемой — Крамаренкова, Валентина Алексеевна. Выпускница Московского университета, комсомолка. Обеспечьте комнату и прочие бытовые условия».

Свободной комнаты, конечно, не было. Правда, можно было поселить меня с преподавательницей литературы (остальные учительницы живут по двос, а она одна). Но, во-первых, Эйнесу не хотелось стеснять её, а во-вторых, они с Севалотом почему-то решили, что мне обязательно требуется отдельная комната. И Эйнес освободил для меня свою: накануне моего приезда перебрался в ярангу матери. Рутьынэ была очень рада: пять лет сын уговаривал её переехать в дом, а кончилось тем, что сам к ней в ярангу вернулся.

Вернулся он, правда, не насовсем. В навигацию сюда привезут ещё несколько домишек, в том числе один для школы, для учителей. Но пусть это будет один только год, всё равно. На целый год поселиться в яранге, уступив свою комнату приезжей девушке, это, знаешь ли, больше, чем простая любезность. Что же это? Гостеприимство? Настоящая забота о подчинённых? Исключительное, прямо-таки рыцарское благородство? Не знаю. Но уверена, что не всякий мог бы так поступить, далеко не всякий!

А я-то какова! Сперва я считала Эйнеса человеком некультурным, отсталым и в «привязанности к яранге» видела одно из доказательств этой самой отсталости. Вскоре я убедилась, что Эйнес — культурный, очень начитанный, передовой человек, настоящий представитель молодой чукотской интеллигенции, а «привязанность к яранге» я стала рассматривать как психологическую загадку, как признак удивительной живучести традиций.

Мало того, что я сама предавалась этим глубокомысленным рассуждениям, так я ведь и вслух их высказывала! Стыдно вспомнить! Всего лишь дня за три или за четыре до того, как я узнала, в чьей комнате живу, я говорила Севалоту, что меня удивляет пристрастие Эйнеса к некоторым отжившим традициям. «Не понимаю, — говорю, — почему такой культурный человек, как Эйнес, цепляется за жильё, оставшееся в наследство от старого, нищего быта, чуть не от самой первобытной дикости!» А Севалот только улыбнулся в ответ, поиграл своим пенсне и перевёл разговор на другую тему. Да, здесь умеют молчать! Представляю себе, как старик в душе смеялся тогда надо мной.

Как мне теперь быть? Посоветуй, Танечка, ты ведь умница, ты всё понимаешь. Делать вид, что я попрежнему не знаю, кто жил до меня в этой комнате? Просто, дескать, не задумываюсь над тем, каким образом она вдруг оказалась свободной? Вообще-то говоря, так оно и было... И всё-таки теперь, когда я уже знаю, что свободная комната не с неба свалилась, я не смогу притворяться. Да и свинством это было бы с моей стороны, самой элементарной неблагодарностью.

Или поблагодарить, сказать Эйнесу, как я тронута его поступком, и... принять эту жертву? Но ведь это никуда не годится! Почему он должен жить из-за меня в яранге? Он ничуть не хуже меня ощущает преимущество комнаты! Он больше пятнадцати лет назад распрощался с ярангой: когда учился в старших классах, жил в интернате анадырской десятилетки, потом жил в Хабаровске, в студенческом общежитии, а последние годы здесь, в этой комнатке. Больше пятнадцати лет! Он был, конечно, совершенно уверен, что никогда уже не придётся ему возвращаться к прежнему образу жизни. Почему же он должен жертвовать из-за меня всеми удобствами, лишать себя минимум на год таких вещей, как стол и кровать, электричество, печка, окно... Ведь ничего этого в яранге нет!

Не могу я допустить, чтобы из-за меня человек целый год дышал отвратительным запахом жирника и при свете этого жирника должен был работать, готовиться к урокам. Скорее, уж я должна была бы уступить ему, а не он мне: он старше и по возрасту и по своему положению. У него уже пятилетний педагогический стаж, он директор школы, а я девчонка, только что с вузовской скамьи. Словом, со всех точек зрения пользоваться такой жертвой мне просто-напросто неудобно.

С другой стороны, жить в яранге мне, конечно, тоже не хотелось бы. Лучше всего, если б удалось снять угол у кого-нибудь из колхозников, живущих в домах (здесь уже с десятков таких домов, не считая школы, клуба, правления колхоза и других поселковых учреждений). Скорее всего, я так и попытаюсь сделать. Думаю, что мне сладут. Буду платить рублей пятьдесят в месяц. А Эйнеса постараюсь убедить, что в семье мне

даже удобнее: во-первых, печку не надо топить, во-вторых, быстрее пойдёт изучение чукотского языка. Правильно?

Наверно, Танечка, и ты мне так посоветовала бы. Во всяком случае, ничего лучшего я не смогла придумать. Поживу немного в чукотской семье (теперь уж месяцев семь осталось — в августе можно будет, наверно, перебраться в новый домик). По крайней мере поближе узнаю обстановку, в которой живут мои ученики.

Ну всё, Танечка, пора кончать. Весь день сегодня писала это письмо. Собиралась пойти в магазин — и то не пошла. Пойду завтра, с утра. Решила купить себе на платье, там есть голубой шёлк очень приятного тона. Одна наша учительница взяла себе и уверяет, что мне к лицу этот цвет.

До свидания, Татьяна! Крепко обнимаю и целую тебя, подруженька! Жду от тебя писем не менее подробных, чем мои.

Твоя Валька.

(Дорогой читатель! Пришло время хотя бы вкратце объяснить, как эти письма оказались у меня в руках. Это произошло совершенно случайно. Далеко от родного посёлка, за тысячи километров от Чукотки, я познакомился однажды с девушкой, сестрой моего товарища по студенческому общежитию. Да, это была Таня! Узнав о том, что я родом с Чукотки, Таня рассказала мне, что там работает её лучшая подруга — Валя Крамаренкова. Потом Таня прочла мне как-то несколько отрывков из присланного подругой письма. Она сделала это потому, что хорошо понимала, как интересна мне каждая весточка из родных краёв. При этом она выбирала для прочтения только такие места, в которых не было ничего сугубо личного, ничего такого, что предназначалось Валею лишь для глаз близкой подруги. Я слушал эти отрывки, радовался упоминанию дорогих мне имён, и хотя во впечатлениях Вали многое было неточным, меня трогала непосредственность её впечатлений, её искренность и горячность. И я подумал тогда, что и читателю было бы, наверно, интересно увидеть колхоз «Утро» не только таким, каким описываю его я, но и таким, каким он представляется приезжему человеку. По моей просьбе Таня написала об этом своей подруге, и впоследствии я получил в своё полное распоряжение четыре письма. Что же касается пятого письма... Дело в том, что из всего пятого письма мне были переданы только два последних листочка, четыре странички: на предыдущих было написано, видимо, то, чего не надлежит знать никому, кроме Тани. Может быть, самое интересное, самое важное содержится именно в тех листках, которых я так и не увидел? Возможно. Но тут уж ничего не поделаешь. Я могу привести здесь только конец пятого письма, четыре странички, начинающиеся с середины фразы.)

...опять я посвятила почти всё письмо своим переживаниям и всяким делам, связанным с моей собственной персоной. А я хотела написать тебе, Татьяна, о здешней жизни, о необыкновенной заполярной весне... Но я не писала тебе с января — около пяти месяцев, — и поэтому мне прежде всего хотелось поделиться с тобой тем, что так волновало меня всё это время.

Между тем в нашем посёлке происходят десятки событий, каждое из которых заслуживало бы целого письма. Вот, к примеру, хоть одно из этих событий. Недавно от берегового припая оторвалась большая льдина, и на ней унесло в Чукотское море одного здешнего охотника. Несколько дней его носило по открытому морю, он уже почти и не надеялся на спасение. У него не было ни пищи, ни пресной воды, его льдина столкнулась с айсбергом и раскололась, так что он остался на маленьком

осколке. Словом, досталось бедняге крепко, он уж действительно был, можно сказать, одной ногой в могиле.

У нас тут всё было поднято на поиски. Я тоже три дня ходила по тундре с одной из спасательных партий (мы ведь не знали сначала, что его унесло на льдине). Потом его обнаружил самолёт, специально присланный из Анадыря, и вскоре пароход «Уэлен» снял его с льдины. Самое замечательное в этой истории не её внешняя сторона, не приключения охотника, которого носило по морю, а та удивительная внутренняя перемена, которая произошла в этом охотнике. Ты бы видела, Танька, как он переменялся! Был он человеком легкомысленным до крайности, хвастунишкой, редкостным лентяем. Это о нём рассказывали, что он в медведя стрелял конфетой. А теперь он в своей бригаде — один из лучших.

Одни говорят, что это результат опасностей, пережитых им. Несколько суток он боролся один на один со смертью, сумел одолеть немалые трудности. Вплавь перебирался с расколовшейся льдины на более прочную, по крупинкам собирал уцелевший кое-где снег, чтобы добыть себе пресную воду. Строил какую-то стенку, чтобы затенить собранный снег, уберечь его от весенних лучей, растянуть на дольше... Словом, лениться было некогда, работать приходилось не жалея сил, по-настоящему. Только неустанный труд помог ему продержаться до прихода «Уэлена». Вот, говорят, он и приучился на льдине работать.

Другие — и не только в шутку — объясняют перемену тем, что этот охотник побыл некоторое время наедине с самим собой (вообще это ему совсем не свойственно). Дескать, болтать не с кем было, вот и пришлось впервые в жизни задуматься, вспомнить, как жил, посмотреть на себя со стороны. Картина получилась неприглядная, вот и понял человек, что надо жить по-другому, если удастся от смерти вырваться.

А мне кажется, что на Кэнири (этого охотника зовут Кэнири) больше всего повлиял огромный размах спасательных работ. Он, видимо, и не предполагал, что на его поиски будут брошены такие силы — столько людей, вельботов, собачьих упряжек, самолёт, пароход! Может, некоторые люди потому и бахвалятся, что смутно ощущают свою легковесность, ощущают несерьёзное, неуважительное отношение товарищей. Вот и пытаются «набить себе цену». А тут Кэнири увидел, что, несмотря на всё, его ценят, борются за его жизнь, рискуя собственной жизнью. Тут уж, конечно, не до бахвальства, тут надо платить чистой монетой труда. Думаю, что он это понял, почувствовал.

Я никогда, Таня, не забуду, как прощался Кэнири с лётчиком, который его обнаружил. Лётчик действительно очень рисковал во время поисков, так как погода была тогда нелётная. А он сумел не только обнаружить Кэнири, но и сбросить ему на льдину пакет с продовольствием. Когда он улетал в Анадырь, весь посёлок вышел провожать его. Кэнири ни одного слова не мог произнести. Лётчик протянул руку, а Кэнири даже пожать её не смог, потому что у него на руках было в это время двое малышей, его сыновья. А спустить их на минутку с рук или передать жене он от волнения не догадался. Лётчик и сам был взволнован, но старался не показывать этого. Он взъерошил чёрные головёнки мальчишек и похлопал Кэнири по плечу. А тот только кивал головой и смотрел полными слёз глазами на своего спасителя, уже садившегося в самолёт.

Теперь, когда удивляются перемене, происшедшей в Кэнири, мне всегда вспоминается эта сцена прощания. А перемена, видимо, на самом деле удивительная. Вчера встретил меня старый Мэмыль и говорит: «Слышали, Валя, новость? Не нашли мы Кэнири! Наверно, потонул он в Чукотском море. Вместо него совсем другого человека с льдины сняли. Совершенно другой человек! Подменили Кэнири морские кэле. Только просчитались: плохого взяли, а дали хорошего».

Ну, Танечка, не буду больше отнимать у тебя время эргыропскими новостями. Крепко, крепко целую тебя, моя родная, и надеюсь, что ты употребишь всё своё влияние для того, чтобы воздействовать на мою маму. Не люблю, когда она меня ругает.

Васе и маме твоей — самый сердечный привет!

Валька.

P. S. Танечка, хочу внести небольшое уточнение в свой адрес. Речь, собственно, идёт не столько об адресе (который остаётся прежним), сколько об адресате. Пиши теперь не «Валентине Алексеевне Крамаренковой», а «Валентине Алексеевне Эйнес». В первый же день после окончания учебного года мы съездим в райцентр и зарегистрируемся. Так что к приходу твоего следующего письма у меня уже будет новая фамилия.

*Авторизованный перевод с чукотского*

**А. Смоляна.**



---

ПАВЕЛ НИЛИН

★

## ЖУЧКА

Рассказ

1

**А**х, как сладко, как томительно сладко пахнут травы на Жухарях! Нонна Павловна вышла из поезда и, как в море, погрузилась в предрассветный туман, полный запахов и прохлады.

Поезд лязгнул, загремел и тяжело покатился дальше — в темноту, тускло освещивая окнами и мигая красным огоньком последнего вагона.

В этом последнем вагоне спит сейчас на верхней полке капитан Дудичев. А может, он и не Дудичев вовсе. И не холостой. Все мужчины любят прихвастнуть в поезде.

Впрочем, какое дело Нонне Павловне до этого случайного попутчика? Мало ли их. Правда, этот какой-то особенный. Он вчера принёс из буфета бутылку портвейна, коробку шоколадных конфет, читал стихи, может быть, даже собственные, играл глазами и два раза, чокаясь с Нонной Павловной, сказал: «За ваши творческие успехи».

Он, наверно, принял её за киноактрису. И не мудрено. Причёска у неё самая модная. Капитан что-то такое говорил о её волосах. Ну да, и в стихах было что-то такое про волосы: «Волос твоих стеклянный дым и глаз осенняя усталость». Конечно, это он сам сочинил. Наверно, тут же и сочинил. Занятный малый. И всё оглядывал её. Даже сказал, что ему всего больше нравятся полные блондинки. И опять в стихах это подтвердил, назвав её интересной блондинкой.

Нонна Павловна представила себе, как он через час проснётся в вагоне, поглядит с верхней полки сонными глазами, а её нет. Он подумает, что она ушла умываться, подождёт минутку-другую, а она всё не идёт и не идёт. И не придёт никогда. Он, может быть, сочинит стихи и по этому случаю. стихи о том, как ушла интересная блондинка. Ну да, интересная, всё ещё интересная...

Или, может быть, он тут же забудет про неё. Наверно, забудет. Встретятся новые пассажирки. Да и Нонна Павловна не станет горевать о нём. С чего ей горевать? Кто он ей такой? Просто попутчик, и всё. Он едет дальше, а она вот уже приехала. В родное место приехала, где живут её родные и ждут её. Конечно, ждут. И должны встретить. Обещали. А как же иначе? Неужели она, как двадцать с лишним лет назад, пойдёт пешком с этой станции в родное село?

Раньше это было просто — скинула бы башмаки, подоткнула юбку и пошла. Дорога знакомая, километров пятнадцать отсюда. А сейчас, пожалуй, смешно: снять лакированные туфли-лодочки, стянуть капроновые чулки с чёрной пяткой и шагать по грязи босиком при этой причёске, как у Любови Орловой, и в этом цветастом лёгком платье из креп-жоржета. Деревенские мальчишки, чего доброго, засмеют.

Хотя зачем итти босиком? Можно достать из чемодана босоножки, да и вместо платья можно надеть сарафанчик. Досадно — не взяла старый сарафанчик. Этот всё-таки фасонистый, в птицах, — по деревенской доро-

ге в нём идти неудобно, да и босоножек жалко, их моментально испортишь в этакой грязи. Грязь тут, наверно, прежняя, непролазная...

Нонна Павловна одиноко стояла посреди перрона, не решаясь поставить кожаный чемодан на влажный перрон. А чемодан тяжёлый, в нём гостинцы, подарки. Неужели никто не встретит её? Может, и телеграмму ещё не получили. Пока здешний почтальон с её телеграммой дойдёт со станции до колхоза... Глушь, дикость. Никто, кроме Нонны Павловны, и не вышел из скорого поезда на этих Жухарях. Никому и дела нет до Жухарей.

Нонна Павловна опять подумала о капитане, который спит сейчас в поезде и, может, видит её во сне. И ей показалось на мгновение, что всё родное в её жизни связано не с этой вот глухой, мало кому известной станцией, а с поездом, укатившим во тьму и насмешливо мигнувшим на прощание красным маленьким огоньком.

Да и станция эта, по правде сказать, не очень знакома ей. Ничего здесь не осталось от прежнего. Станционное здание раньше было деревянное, а теперь — каменное. Перрон — бетонный. Если б не вывеска — Жухари, — можно было бы подумать, что Нонна Павловна ошиблась, не на той станции вышла.

Из предрассветного тумана проступает огромное узкое сооружение, на вершине его светятся неяркие огоньки. Интересно, что это за сооружение? Ах, ну понятно, это элеватор. Он тогда уже строился...

Нет, ничего прежнего тут не осталось. Вот только запах трав, недавно скошенных, — знакомый, родной и щемящий.

Нонна Павловна встряхивает пушистой головой и решается войти в станционное здание. Что ж делать? Она сейчас переоденется, наденет босоножки и пойдёт в село. Не ждать же ей здесь утра, если она приехала в родные края. Ну, не встретили и не встретили. Она не особенно и надеялась. Дойдёт как-нибудь сама. Не больная.

И вот, когда Нонна Павловна уже входила в здание, позади неё раздался голос:

— Настя! Настя, подожди...

Нонна Павловна остановилась. К ней приближался высокий, плечистый мужчина в кожаном пальто. Она не сразу узнала его.

— Здравствуй, Филимон, — наконец сказала она. И, оглядев, добавила: — Филимон Кузьмич.

— Здравствуй, Настя, — выдохнул он. Видно было, что он спешил, волновался. — Ты уж меня извини, Настя, Настасья Пантелеймоновна. Меня часы, понимаешь, подвели. Я испугался. Думал, а вдруг я тебя не захвачу. У нас тут не Москва — ни троллейбусов, ни такси нету. Добираться трудно...

Он левой рукой взял у неё чемодан, а правой деликатно притронулся к локтю Нонны Павловны и повёл её на привокзальную площадь.

«Умеет обойтись с женщиной, научился, — улыбнулась она про себя. — А был вахлак вахлаком».

— Настя, ну, скажи, сколько лет мы с тобой не видались?

Нонна Павловна чуть смутилась.

— Не знаю... Я уж и счёт потеряла. Лет, пожалуй, двадцать... с лишним...

— Да, пожалуй, не меньше.

Они вышли на площадь, где было ещё темнее, чем на перроне. Горел одинокий фонарь, слабо освещавший длинное низкое строение — склад какой-то, тоже незнакомый Нонне Павловне, новенькие домики под железными кровлями и стену элеватора, стоявшего в стороне.

Под фонарём переминался с ноги на ногу привязанный к столбу вороной жеребец, запряжённый в двухместную бричку. Свет фонаря падал прямо на его лоснящуюся, будто лакированную спину.

— Я и забыла, когда на лошадях ездила, — сказала Нонна Павловна.

— Ты погоди, погоди, — взял её спутник покрепче под руку. — Тут лужи. Как бы я тебя ненароком не искупал. — И покосился на её лакированные туфли-лодочки. — К нам в таких башмаках не ездят...

«Нет, он всё-таки мужик, — с досадой подумала Нонна Павловна. — Хотя Даша, помнится, писала, что он на войне был майором. Не сравнишь его с тем капитаном». И неожиданно для себя, как будто совсем не кстати, спросила:

— Ты ведь, говорят, Филимон Кузьмич, был майором...

— Был, — подтвердил он, обводя её вокруг лужи. — Закончил войну майором.

— А начал?

— А начал обыкновенно — рядовым.

— О, — произнесла она почти восторженно. И, помолчав, сказала: — А всё-таки ты опять вернулся в эти места...

— А куда же я вернусь? — удивился он. — У меня тут семья. — жена, дети. И я сам — изначальный крестьянин. Землероб. Было бы прямо-таки довольно смешно и глупо, если б я...

— Ну, это правильно, — перебила она и, чтобы перевести разговор, кивнула на фонарь: — А с электричеством тут попржнему... не богато...

— Не богато, — вздохнул он. — Что-то плохо строится Zubовская гидростанция. Второго начальника сгоняют за неудовлетворительность... Они подошли к брычке.

Филимон Кузьмич сперва уложил чемодан Нонны Павловны, потом, раструсив сено, стал усаживать её — поддерживал за талию и вдруг засмеялся, вспомнив:

— Ухаживал когда-то за тобой. А гляжу, и сейчас ещё можно поухаживать. Дебелая...

— Ну, уж чего дебелого-то, — потупилась она. Но ей было приятно услышать эти слова. Приятно и неприятно в то же время. Неприятно, что он с такой лёгкостью, без грусти, даже со смехом вспомнил о том, что было.

А было всё очень серьёзно, печально, горько и ей и ему. И ему было, пожалуй, горше, чем ей. Конечно, ему было горше. Она помнит — и он, наверно, не забыл, — как они сидели ночью на взгорье, у реки, накануне её отъезда из Жухарей. И вот так же одуряюще пахли скошенные травы. Он держал её за руки крепко-крепко и всё говорил, говорил... Нет, он не был вахлаком, как она подумала сейчас. Вернее, она тогда не считала его вахлаком. Он был простым, красивым парнем. Она любила его. Конечно, не так, как он её. Он любил её сильнее. Она помнит, как он тогда заплакал — в ту последнюю ночь, как горячие его слёзы упали на её холодные руки. Ночь тогда была прохладная. И ей было то жарко от его объятий, то вдруг холодно — до дрожи. Он просил её остаться, не уезжать. А она предлагала поехать вместе. И повторяла всё одни и те же слова: «Не могу я загубить свою жизнь. Тем более я завербовалась. Ну, что тебе, поедem вместе...» Но он вдруг сердито вытер слёзы и сказал, как будто выступает в драмкружке, в пьесе из времён Парижской Коммуны:

— Было бы прямо-таки смешно и глупо. Неужели я такой низкий человек, что ни с того ни с сего побегу в такое трудное время? Мне, во-первых, моя комсомольская совесть не позволяет...

И он тогда поднялся с травы такой неожиданно гордый, словно и не плакал вовсе.

Однако он и не осуждал её тогда. Он долго писал ей письма, звал обратно.



Она сперва отвечала ему. Потом переписка прекратилась. Или, может быть, его письма просто не доходили до неё. Она часто переезжала с места на место. Может, его письма затерялись. Но последнее письмо она хорошо помнит. Он писал: «Милая моя, вечно дорогая, просто драгоценная Настенька. Шлёт тебе пламенный комсомольский привет и целует тебя на лету, по воздуху, в твои алые губы, если ты не возражаешь, неутешный твой друг Овчинников Филимон Кузьмич, для тебя же просто Филька-Филимон, как ты меня дразнила, когда мы были маленькими. Жизни нет без тебя, Настенька. Ни на кого и глядеть не хотят мои печальные глаза...»

И вот он, должно быть, забыл всё это. Всё, должно быть, выветрилось из сердца до такой степени, что он способен теперь даже со смехом вспоминать про былые чувства: ухаживал, мол, когда-то за тобой, только и всего.

Это, конечно, неприятно Нонне Павловне. Это было бы неприятно, пожалуй, всякой женщине. Но в то же время всякой женщине — особенно когда ей под сорок — приятно слышать, что она всё ещё в той поре, когда за ней можно поухаживать, как он это грубовато сказал, укрывая её плечи своим кожаным пальто.

## 2

Жеребец бежал навстречу рассвету. По обеим сторонам дороги белели каменные столбики и трепетали густой листвой толстоствольные тополя, которых раньше тут, помнится, не было. И белых придорожных столбиков не было. И самая дорога была не такой прямой. Видно, её заново наладили.

Нонна Павловна и Овчинников сидели рядом, тесно прижавшись друг к другу. (Иначе в бричке и нельзя было сидеть.) Но разговаривали они на самые отдалённые темы — отдалённые от их прошлого, от невозвратных дней юности, от той последней ночи на взгорье, у реки.

Похвалив жеребца за хороший бег, Нонна Павловна между прочим спросила:

— Ты, Филимон Кузьмич, работаешь попрежнему... председателем?

— Нет, что ты, я не председатель.

— А ведь был председателем. Мне Даша писала...

— Ну, это когда — ещё до укрупнения колхозов. Я в «Красном пахаре» был председателем. А потом, когда мы укрупнились, выбрали другого...

— Кого же? Интересно...

— Бертенева Якова. Ты его не знаешь...

Нонна Павловна улыбнулась.

— Если ты на войне был майором и теперь не председатель, так ваш новый председатель, наверно, полковником был...

— Нет, зачем, — засмеялся Овчинников. — Наш председатель ещё молодой. Он и на войне не был. Зоотехник он. Толковый паренёк...

— А ты кем теперь работаешь? — спросила она.

— Я? Я бригадиром. Вот сейчас тебя привезу, сдам с рук на руки и надо на поля. Вечером уж мы с тобой власть наговоримся...

Только теперь Нонна Павловна подумала, что разговор у них идёт неправильно. Надо бы раньше всего спросить про сестру, Дашу. Как она?

— Ничего, — ответил он. — Живём помаленьку, работаем. Ребята растут, учатся.

— Старшей-то, Насте, кажется, шестнадцатый год? — прикинула Нонна Павловна.

— Восемнадцатый, — поправил Овчинников и, встав, стегнул жеребца. Стегнул, похоже, сильнее, чем хотел, и натянул вожжи так крепко, что жеребец вскинул передние ноги и перешёл на галоп.

Из-под колёс брички вихрем полетела не только пыль, но и щебень и крупные камни.

— Для чего такая скорость? — зажмурилась от ветра Нонна Павловна.

— Ничего. Пусть промнётся, — сердито кивнул на жеребца Овчинников. — Пусть промнётся — сытый, гладкий...

Всё-таки воспоминания, должно быть, взгорячили Овчинникова. Он всё привставал в бричке и, размахисто подстёгивая коня, приговаривал:

— А ну, а ну, Буран! А ну!..

Только перед самым правлением колхоза Буран, как говорят шофёры, сбросил скорость. И тогда Овчинников, впервые поглядев прямо в глаза Нонне Павловне, сказал:

— Восемнадцатый год пошёл с нынешней осени нашей Насте. Восемнадцатый. Столько, сколько тебе было тогда. Помнишь?

— Помню, — как виноватая, ответила Нонна Павловна.

— И похожа она здорово на тебя, — продолжал прямо смотреть ей в глаза Овчинников. — На вашу, словом, самокуровскую породу похожа.

— Это не очень хорошо, — несколько смущённо проговорила Нонна Павловна. — Дочка должна походить на отца. Тогда она будет счастливая. Есть такая примета...

— Ну, это мы поглядим потом, какая она будет по примете — счастливая или несчастливая. Это будет, однако, зависеть и от неё самой, — убеждённо произнёс Овчинников. — А пока она походит на тебя. Вылитая. И по обоюдному согласию мы назвали её в твою честь Настей...

Нонне Павловне было почему-то неудобно сказать Овчинникову, что её теперь зовут не Настей, что она даже в паспорте изменила своё имя. Отчество ей в паспорте не удалось переменить, но всё-таки она величает себя не Пантелеймоновной, а Павловной. Так, пожалуй, красивее. Да и когда она могла бы обо всём этом сказать ему, если б даже захотела, — он ведь за всю дорогу не спросил её, как она живёт, как чувствует себя, где работает...

После какой-то странной вспышки, после внезапной горячности он умолк и молчал весь остаток пути.

— Ну вот, — сказал он, когда бричка остановилась у небольшого домика с высоким крыльцом, на котором — уже издали было видно — стояла женщина в малиновой кофточке.

Женщина эта проворно сбежала с крыльца и, заплакав, стала обнимать Нонну Павловну, ещё не высвободившую ноги из брички.

— Настенька, родная, сестричка моя, — плакала женщина.

И не то чтобы Нонна Павловна не узнала сестру, она просто растерялась, увидев, что Даша совсем не такая, как думалось. Даша, оказывается, старенькая, и волосы с сединой, и лицо будто вяленое, и кофточка не столько малиновая, сколько бурая, вылинявшая от стирки. Неужели нельзя было переодеться по случаю такой встречи? Или не во что переодеться?

3

Нонна Павловна обняла сестру и тоже заплакала.

— Ну вот, — повторил Овчинников, поглядев на сестёр, вынул чемодан из брички, поставил его на крыльцо и, ничего больше не сказав, уехал.

— Ему на работу надо, — как бы извинилась за мужа Даша, вытирая слёзы коричневой рукой.

А Нонна Павловна вытянула из-за выреза на груди маленький с кружевами носовой платочек и, приложив его сперва к своим глазам, стала вытирать глаза сестры.

Потом они вошли в дом, пахнувший свежеструганным деревом, недавно вымытыми полами и нагретой известью, золой и глиной от сегодня протопленной русской печи. И хотя этого дома раньше не было, на Нонну Павловну вдруг от всех его стен пахнуло таким родным, давно знакомым духом, что слёзы снова выкатились из глаз и повисли на её красивых ресницах.

— Даша, милая,— проговорила она потрясённо.— Да это что же с тобой?

— Что со мной, что со мной? — скороговоркой, будто испугавшись, спросила Даша.

— Да ты какая-то, я не понимаю, старенькая, что ли, сделалась. А ведь ты моложе меня...

— Моложе, моложе,— подтвердила Даша.— На три года почти что моложе. Но вот видишь — ребятишки, заботы. А ты-то, Настенька, какая ещё красавица. Любоваться только можно...

Нонна Павловна искоса взглянула на себя в большое зеркало, вделанное в дверцу платяного шкафа, и, поправив волосы мизинцем, спросила:

— Живёте-то вы как?

— Живём ничего.— Даша стала накрывать стол скатертью.— Можно даже сказать, хорошо сейчас живём. Лучше живём, чем раньше.

— С мужем-то у тебя всё хорошо?

Нонна Павловна спросила это, как обыкновенно спрашивают не только сёстры, но и просто подруги. В вопросе этом не было ничего удивительного. Но Даша вдруг насторожилась и, держа тарелку на весу, сама спросила:

— Это в каком же смысле?

— Ну, не обижает он тебя?

— А зачем же ему меня обижать? Я тоже работаю...

— Все работают,— сказала Нонна Павловна.— Но мужчины теперь чересчур гордые. Повсюду только и слышно...

А что слышно — так и не сказала. Открыла чемодан, вынула зубной порошок в пластмассовой коробке, полотенце, мыло.

— Мне умыться надо...

— И правда, и правда,— заторопилась Даша.— А я-то, дура деревенская, хотела тебя сперва покормить...

— Я кушать не хочу,— сказала Нонна Павловна.— Я так рано не кушаю....

— Какое же рано?..— Даша посмотрела на ходики.— Седьмой час.

— Для нас это рано.— Нонна Павловна перекинула полотенце через плечо.

Даша вывела её во дворик, где на столбике под чахлой рябиной был прибит над тазом умывальник. Но Нонне Павловне было неудобно умываться под ним, и Даша приготовилась сливать ей из кувшина. И, стоя с кувшином, говорила:

— У тебя, Настенька, и кожа-то на личике, я смотрю, чисто девичья— белая-белая. Будто тебя молоком мыли. Не стареешь тынисколько. Только в теле раздалась немножко. И вправду, ты моложе меня...

Даша произносила эти слова без тени зависти. И зачем завидовать? Раньше, в юности, Настя имела преимущество перед сестрой оттого, что была старше: за Настей уже ухаживали парни; Филимон ухаживал, когда Даша ещё считалась девочкой. А теперь опять же Настя в превосходстве оттого, что выглядит моложе младшей сестры. Значит, Настя, надо думать, счастливее Даши. Значит, такая неодинаковая у них судьба. Интересно, однако, узнать, как это смогла уберечь себя Настя от губительного действия времени? Ведь время-то было не лёгкое, для всех не лёгкое. Сколько всего пережито было за двадцать с лишним лет, пока не виде-

лись сёстры. Взять хотя бы одну войну. Сколько жизней, сколько здоровья унесла война. Сколько всего хорошего сгублено, порушено. А были ведь и другие переживания и другие заботы, сосавшие сердце, сушившие тело. Как же это Настя-то не уродилась от всего этого? Вот она стянула через голову лёгкое, воздушное платъе в крупных цветах. Теперь хорошо видно и алебастрово-белую её шею без единой морщинки, и плечи гладкие, как у статуи, и нежную полную грудь в затейливом лифе. Или, может быть, она хорошо отдохнула от всего пережитого и снова набралась и сил и свежести в каком-нибудь санатории?

Всё это хотелось Даше выпросить, выведать у сестры. И, сливая воду из кувшина, она начала было расспросы, когда в воротах появилась маленькая девочка и, как взрослая, придирчиво заговорила:

— Вы что же, тётка Даша? Где же вы? Ведь народ собрался...

— Ой, и вправду, что же это я!..— Даша поставила кувшин на табуретку.— Ой, и вправду, мне ведь надо бежать. Я сейчас, я сейчас, Лизавета,— заверила она девочку. И поглядела на окна своего дома:— А ребята мои ещё спят...

— Ты не беспокойся, Даша. Я сама их накормлю.— Нонна Павловна стала вытираться мохнатым полотенцем.— Ты иди, куда тебе надо...

— На работу мне надо,— сказала Даша.— А я и забыла, что Настя нашей нету. Она вчера ещё оформляться поехала в райисполком. Уезжает наша Настя, главная помощница моя над ребятами...

Даша ушла, так и не успев толком объяснить, куда уезжает Настя.

## 4

Проснулись дети, Виктор и Сергей, семи и восьми лет, скуластые, как отец, с синими глазами матери, и Таня, двенадцатилетняя, беленькая, длинноногая. Они не удивились, увидев в доме свою тётю. Они и раньше знали, что она живёт где-то в Москве и скоро должна приехать. И сразу стали называть её тётей Настей.

Нонна Павловна раздала им подарки: мальчикам — по перочинному ножу и по набору цветных карандашей, девочке — дамскую сумочку. Таня сказала «спасибо» и прикрикнула на братьев, не сумевших так же вежливо принять подарки. Потом Нонна Павловна взяла два ножа, с яростным выражением на лице поточила их друг о друга и стала нарезать тонкими ломтиками привезённую ею московскую колбасу. Ножом же она открыла банку с джемом и коробочку с икрой.

Мальчики с еле скрываемым удовольствием смотрели на эту праздничную еду, но ели её с достоинством, вдумчиво, не торопясь, как, вероятно, и полагается есть настоящим, уважающим себя мужчинам.

Таня очистила селёдку и поставила на стол чугунок с картошкой в мундире. К городской еде она не прикоснулась и старалась даже не смотреть на неё, как бы желая показать, что уже не маленькая, чтобы в будни питаться такой деликатной пищей.

Оглядев одежду ребят, дом, вещи, Нонна Павловна сделала вывод: «Живут не шибко. Хотя, — подумав, добавила она про себя, — получше живут, чем мы когда-то жили. Дом пятистенный, радио, патефон, кровати с шипками, одеяла хорошие, книги...»

— Кто ж у вас книги-то читает?

— Все, — ответила Таня. — Ну, правда, не все, — поправились она. — Витька ещё не читает. Я ему читаю. Но он буквы уже знает. В этом году его запишем в школу...

— И мама читает?

— И мама, — подтвердила Таня. — Только она больше про телят читает. А папа сердится...

— Почему же он сердится?

— Он сердится, что она только про телят читает, как их надо воспитывать. А он говорит: «У тебя растут дети». И велел ей прочитать в обязательном порядке книгу «Жатва» Галины Николаевой.

— Ну, и она прочитала?

— Нет ещё...

— А папа сильно сердится?

— Сильно...

Нонне Павловне захотелось выспросить у детей всё, всё о жизни родителей. Ведь у детей лучше всего выспросить. Но вдруг пришла Настя.

Она оказалась действительно красавицей и действительно была похожа на тётку в молодости. Стройная, гибкая, с загорелым весёлым лицом, освещённым лучистыми глазами, с толстой косой, с живыми движениями. Она уже выросла из своего платья, ситцевого, красного с белыми горошинами. А материнские платья ей, видимо, не придутся: она крупнее матери.

Нонна Павловна привезла в подарок племяннице кофточку, но, увидев её, тут же передумала и решила подарить крепдешинное платье: «Пусть помнит тётку».

— Ну-ка, Настя, примерь.

Дарёное платье тотчас преобразило Настю. Она стала ещё красивее и, заключив тётку в жаркие объятия, расцеловала в обе щёки, так что на щеках появились красные пятна.

— Ох, какая ты добрая, тётя Настя! Самая, самая добрая!

Эти слова до того растрогали тётку, что она подарила племяннице ещё и янтарное ожерелье, так же как и это платье, не предназначавшееся для подарка.

— Теперь я хочу, чтобы ты меня поводила по деревне,— сказала тётка.— Я ведь тут теперь вроде как чужая...

— Повожу, повожу,— скороговоркой, подражая матери, пообещала Настя.— Обязательно повожу. Только мне надо сбегать на ферму. У меня там дела. Но я мигом вернусь. Я только скажу Фросе, чтобы она не сердилась, поскольку ко мне приехала тётя...

Настя зашла за печку и переделалась, но надела не то старенькое красное платье с белыми горошинами — видимо, оно было всё-таки парадным,— а простую юбку и такую же, как у матери, малиново-бурую, вылинявшую от стирки кофточку.

Вернулась она с фермы не мигом, как обещала, а часа через два.

Нонна Павловна успела за это время хорошо вздремнуть и после сна опять умылась холодной колодезной водой. Она потребовала, чтобы племянница надела дарёное платье. Но Настя запротестовала:

— Ну, что это вдруг за воскресенье? Я возьму выржусь, а люди кругом работают...

И этими словами поставила тётку в несколько затруднительное положение.

Нонна Павловна всё-таки решила не переодеваться соответственно будням. Она так и вышла на улицу, в чём приехала,— в нарядном платье, в туфлях-лодочках, с красной лакированной сумкой на длинном ремне через плечо.

## 5

Улица, пыльная, ярко освещённая полуденным солнцем, вначале показалась пустынной. Но за углом у магазина толпились женщины.

— Поступила в продажу бязь,— голосом продавца сказала Настя. Из распахнутых дверей магазина повеяло прохладой и запахло жёсткими вёдрами, мануфактурой и — сильнее всего — керосином.

Женщины с любопытством посмотрели на Нонну Павловну, но никто, видно, не узнал её. Да и она тут тоже никого не знает. Прошли годы. Вы-

росло много нового народу. Девчонки стали женщинами. Женщины стали старухами. Конечно, если остановишься у магазина, найдутся в толпе и знакомые.

Однако Нонна Павловна не остановилась. Ей хотелось пройти к реке. Но и у реки, где несколько парней смолили большую лодку, Нонну Павловну никто не узнал.

Только старик Жутсев, занятый ремонтом телеги, вдруг ахнул, увидев Нонну Павловну:

— Настя! Батюшки-светы! А я гляжу, что это за актриса ходит. Но потом сдогадался: до это ж Самокурова Настя...

— Здравствуй, Анисим Саввич,— принуждённо сказала Нонна Павловна.

— Откуда же ты, Настя, явилась? — поинтересовался Жутеев.

И раньше, чем Нонна Павловна успела ответить, другой старик, сидевший за опрокинутой телегой, засмеялся.

— Как — откуда? Наверно, из тех же ворот, откуда весь народ...

Этого другого старика Нонна Павловна тоже узнала. Это отец Филимона. Оказывается, он ещё жив. И такой же ехидно-насмешливый, как раньше. Может, он до сих пор обижается на неё за сына.

Нонна Павловна издали поздоровалась с ним, но заговорила только с Жутеевым:

— Приехала в отпуск. Навестить сестру.

— Видать, занимаешь должность,— оглядел её Жутеев. — Предполагаешь, значит, отдохнуть на чистом воздухе? Значит, тянет в родные места?

— Как всех,— уклончиво ответила она. И неожиданно покраснела.

— Из Москвы приехала-то?

— Из Москвы.

— Ну-ну,— как бы поощрил её старик Жутеев. — Это и нам любопытно, когда приезжают из Москвы. Расскажешь. Вечером придём к Филимону...

— Милости просим,— сказала Нонна Павловна и, отходя, подумала: «Интересно, что я ему буду рассказывать?»

Недалеко от берега, на возгорье,— большой дом, первый этаж каменный, второй — бревенчатый.

— Это наш клуб. Недавно выстроили. После войны,— объяснила племянница.

Они вошли в полутёмное, просторное помещение, увешанное плакатами, диаграммами, уставленное множеством скамей и стульев.

— Здесь мы танцуем,— показывала племянница. — Бывают постановки, доклады. В большинстве сами делаем постановки. У нас свой драмкружок...

Нонну Павловну нельзя было поразить ни клубом, ни драмкружком. Драмкружок был здесь и во времена её юности. И она сама играла Липочку в пьесе «Свои люди — сочтёмся». До сих пор помнит некоторые слова из этой пьесы. И режиссёра помнит. Его звали Борис Григорьевич Вечерний. Он был отчего-то несчастный, служил на станции в Жухарях и, кроме того, ездил по деревням, ставил спектакли. Ему за это платили мукой и разными продуктами. Это он когда-то сказал Насте Самокуровой: «Вы с вашей красотой, мадонна, далеко пойдёте. Только не प्रदेशевите вашу красоту».

— Да, клуб хороший,— вздохнула Нонна Павловна. И печальная тень вдруг легла на её лицо, когда она выходила из клуба.

Племянница показывала ей издали другие здания.

— Вот наш новый телятник,— кивнула она на узкое, низкое и длинное строение с маленькими окошками. — Мама наша — телятница. Собиралась на выставку, да что-то не получилось. Район нас подвёл...

Но Нонна Павловна почти не слушала племянницу. Какое-то неизъяснимое огорчение внезапно вступило в её душу, и ещё неясно было, откуда оно взялось.

Ей больше не хотелось ходить по деревне. Она остановилась на шатком мостике над протокой и, опершись на берёзовые, неоструганные перила, задумалась о чём-то. Но племянница, не замечая настроения тётки, продолжала рассказывать о новшествах, возникших тут в последние годы.

Она показывала вдаль, на молодой сосновый бор, за которым строятся сейчас каменные здания новой МТС. А в стороне от бора — вон там, где виднеется выгоревший на солнце флаг, — в прошлом году выстроили школу и рядом со школой собираются («собираемся», — сказала племянница) оборудовать стадион.

Племянница говорила обо всём с девической увлечённостью, вспоминала, как они, школьники, работали на воскресниках, разбивали сад вокруг школы. И вдруг вздохнула, точно подражая тётке:

— Если б кто-нибудь знал, как не хочется уезжать!

— А зачем уезжать? — равнодушно спросила тётка, продолжая думать о своём и надкусывая белыми зубами сухую травинку.

— Нельзя, надо ехать, — сказала племянница. — Я поступаю в техникум...

— Вот как? — будто удивилась Нонна Павловна. — В техникум? Это хорошо...

— Конечно, хорошо, — согласилась племянница. — Я сама хотела. Но теперь горюю. Как же я оставлю маму и — вообще всё?

Нонна Павловна улыбнулась и, лениво протянув свою полную руку, потрепала племянницу по горячей румяной щеке.

— Эх, Настенька! Глупая ты ещё. Это сейчас тебе кажется — трудно уехать. А потом уедешь и забудешь всё — и эти сосны, и ели, и эту МТС, и даже мать родную. Обрати сюда тебя, пожалуй, и палкой не загонишь, как поживёшь ты в городе, да ещё выучишься...

— Нет, нет, нет, — запротестовала девушка. — Я обязательно вернусь. И на каникулы буду приезжать. Обязательно. Что я, дезертирка, что ли? Мне, во-первых, моя комсомольская совесть не позволит...

Нонна Павловна опять оперлась на берёзовые перила и стала внимательно вглядываться в мутную воду протоки, поросшей пловучей зеленью. Потом подняла голову, поправила волосы и неожиданно сердито сказала:

— Ну, посмотрим. Посмотрим, как ты вернёшься...

— Обязательно вернусь, — подтвердила Настя. — Меня и учиться посылают, чтобы я потом вернулась. И что же я буду, выходит, свиньёй...

— Глупо. Просто глупо, — порозовела от внезапного волнения Нонна Павловна. — Ты рассуждаешь, как старуха. Бывают ведь обстоятельства. Вдруг ты встретишь в городе человека, влюбишься... Разве можно заранее загадывать?

— Можно, — сказала Настя.

Нонна Павловна впервые сейчас заметила, что девушка не только упрямством, но и лицом похожа на отца. У неё так же выдаются скулы. И она, пожалуй, не такая уж красивая, как подумалось вначале. И подбородок у неё не женский, а скорее мужской, тяжёлый. И глаза с каким-то стальным оттенком. И странное дело — родной тётке было даже приятно сейчас думать, что в красоте её племянницы обнаружались в сущности серьёзные недостатки.

— Ну ладно, — махнула рукой Нонна Павловна, — спорить не будем. У меня что-то заболела голова.

— А школу нашу не хотите посмотреть? — спросила Настя.

— Нет, это уж лучше завтра.

— Завтра я уезжаю,— вздохнула Настя.

— Разве завтра? — пошевелила тонкими выбритыми бровями Нонна Павловна. Но не огорчилась. Даже не постаралась сделать вид, что огорчилась.

Племянница теперь была неприятна ей. Нонна Павловна пожалела вдруг, что подарила племяннице такое роскошное платье. Достаточно было бы подарить кофточку. А ожерелье уж совсем не к чему было дарить. Просто глупо.

Всё задолго до приезда было тщательно рассчитано Нонной Павловной. И какие подарки надо привезти. И сколько денег на них надо затратить. И какое впечатление эти подарки должны были на всех произвести. И какая польза ей самой будет от этой поездки в родные места, где она хорошо и недорого отдохнёт—дешевле, чем в любом доме отдыха.

Она ещё в конце зимы списалась с сестрой, всё выяснила, всё обдумала. И всё как будто именно так и пошло, как она хотела. Но сейчас ей вдруг показалось, что нет, не всё хорошо пошло. Платье не надо было дарить этой своенравной девчонке. Да и приезжать сюда, пожалуй, не надо было. Едва ли она тут хорошо отдохнёт.

Настроение Нонны Павловны окончательно испортилось. На самом деле разблелась голова. Это, может быть, ещё и от жары. Попробуйте вот так после дальней дороги побродить по солнцепёку!..

## 6

Вернувшись в дом, она опять прилегла. Но отдохнуть ей не давали какие-то мутные мысли. Вот именно — мутные, невыразимые. Вспоминалось детство, юность. Всё как-то путалось в памяти, в душе нарастала неясная тревога.

В таких случаях действительно хорошо уснуть. Нонна Павловна закрыла глаза, но задремать не успела: во дворике вдруг послышались мужские весёлые голоса и в доме сокрушённо заговорила сестра:

— Вот так всегда, вот так всегда. Ничего заблаговременно не скажет, назовёт народу. А я только что с работы. Ничего не готово...

Нонна Павловна вскочила, посмотрелась в зеркало и огорчилась, увидев заспанное лицо. Не спала, а лицо заспанное.

Она быстро потёрла щёки сильными ладонями, потом попудрилась и пошла к сестре, гремевшей тарелками у плиты.

Даша всё ещё сердилась на мужа, будто бы без предупреждения назвавшего столько народу. Но не похоже было, что она сама не готова к приёму гостей. Она уже обрядилась в новое, приятно шуршащее платье с белым круглым воротником, гладко причесала волосы, притянув их к затылку, где образовался красивый, пышный узел. «Нет, лицо у неё ещё свежее, крепкое, только сильно обветренное,— посмотрела на сестру Нонна Павловна.— Если дать ему уход... Но где уж там...»

Даша повязалась передником и стала нарезать на замасленной кухонной доске холодное варёное мясо.

— Давай я тебе помогу,— предложила Нонна Павловна.

Опоясавшись полотенцем, она принялась резать свёклу, картошку, огурцы и лук. Огурцы она разрежала сначала вдоль, потом косо — поперёк и укладывала на тарелку сердечком.

— Так готовят в ресторанах,— объяснила она сестре, прислушиваясь к мужским голосам за окном.

Голоса эти заметно возбуждали её. Всё, что она говорила теперь, называя мудрёные салаты и соусы, какие готовят в московских ресторанах, было как бы рассчитано на мужчин, что ходят под окнами. И беспричинно смеялась она тоже с расчётом на них.

Но мужчины всё ещё не входили в дом. Хозяин им показывал, как он по новому способу окапывает посаженные в прошлом году яблони. Не



каждую в отдельности окапывает, а как бы все вместе: прорывает вдоль яблонь канавы, которые он под зиму зальёт особым удобрением.

В комнату вбежал запыхавшийся Витька и сообщил матери, что дедушка не придёт.

— Ему, говорит, сапоги починять надо. А на неё, он говорит, и так наглядился. Нет, говорит, в ней ничего ненаглядного...

— Молчи ты, молчи, поросёнок! — закричала на него мать.

Но он уже всё сказал. И Нонна Павловна всё поняла. Дедушка — это отец Филимона. Гордый старик не хочет видеть её. Однако Нонну Павловну это не сильно огорчило. Она слегка нахмурилась и тотчас же опять повеселела, заметив входящих в двери гостей.

Удивительно интересно смотреть на людей, которых не видел лет двадцать или больше. Все изменились. И Нонна Павловна, конечно, изменилась.

— На улице бы встретил и ни за что бы не признал, — пожал ей руку обеими руками колхозный кузнец Поярко — Федька Фонарь, как его дразнили в детстве за широкое румяное лицо и рыжие волосы. Волос у него осталось мало, и лицо словно усохло в кузнице у горна.

— И я бы не узнал, — оглядел Нонну Павловну Бурьков Прокофий. На войне он оставил ногу и теперь стучит и поскрипывает протезом.

— Неужели я уж такая старенькая? — засмеялась Нонна Павловна, удивлённо поднимая тонкие брови.

— Нет, ещё ничего, — похвалил её взглядом Павел Чичагов, красивый, рослый, одетый прямо-таки по-московски: галстук яркий, темнокрасная сорочка, серый, ловко скроенный костюм. — Всё, как говорится, при вас, все детали на месте...

Вот это, пожалуй, главное. Вот это и наполняет Нонну Павловну женским торжеством.

Она, естественно, оказалась в центре всеобщего внимания за столом. Да ведь и собрались-то все в честь её приезда.

— Ну, москвичка, рассказывай, — уставился в неё взглядом старик Жутеев, подперев своё лысое личико шершавой ладонью. — Рассказывай, послушаем. Интересно.

— Давайте сперва выпьем, — поднял графин Филимон. И поглядел многозначительно на Нонну Павловну: — За тебя, Настя. За твои, что ли, успехи...

Нонну Павловну как обожгло этим взглядом. «Наверно, он всё ещё меня любит», — пронеслось в её голове. И он ей показался красивее, чем утром. Чуть выдающиеся скулы, пожалуй, несколько не портят его лица. Они даже придают ему ещё больше мужественности. Нонна Павловна вдруг вспомнила сильные руки, обнимавшие её когда-то. Руки его, кажется, стали ещё сильнее. Плечи какие! Он весь как литой. И седина, заискрившаяся в чёрных волосах, не старит, а как бы оттеняет силу и зрелость этого крупного мужчины. Ах, Филимон, Филимон...

Она, привстав, как все, чокнулась сначала с сестрой, со всеми гостями и уж после всех с Филимоном, опустив глаза.

Гости зашумели после первой же стопки. Вскоре пошла вторая, третья.

Нонна Павловна охотно, не чинясь, пила, закусывала селёдкой, ловко подхватывая на вилку промасленные кольца лука, с хрустом кушала свежесольные огурцы и с особым удовольствием — с детства любимое холодное варёное мясо с горчицей.

Она раскраснелась, глаза её заблестели, все движения приобрели ту очаровательную свободу, с какой пляшут, рубят дрова и купаются в речке.

Изредка она поглядывала на Филимона — не прямо, а искоса, — и ей казалось сейчас, что достаточно пошевелить бровью, и она немедленно уведёт его хоть куда. Но она, понятно, этого не сделает. Что она, разве

враг своей сестре? Конечно, она этого никогда не сделает. Однако всё-таки ей приятно — самое сознание приятно, что она так всемогуща.

Гости сидели за круглым столом, все в одинаковом положении, но Нонне Павловне, чуть захмелевшей, казалось, что она как бы возвышается над гостями, что все взоры, особенно взоры мужчин, направлены только на неё. Да это и нормально. Ведь не кто-нибудь, а именно она приехала из Москвы.

Чичагов, сидевший с Василисой Лушниковой, бывшей Ваской Красильниковой, недавно, говорят, вышедшей замуж за председателя сельсовета, беседовал, однако, не с Василисой, а с Нонной Павловной. Ей он протягивал блюда с кушаньями, с ней первой чокался, как бы оттеняя её превосходство. И Филимон всё чаще поглядывал на неё. И Прокофий Бурьков, поскрипывая и постукивая протезом, два раза обошёл весь стол, чтобы только чокнуться с ней.

Всё это накаляло её и заставляло непрерывно говорить и смеяться. Иначе, ей думалось, тотчас же угаснет веселье. Она говорила обо всём. Глядя на коротко остриженный затылок молодого человека, сидевшего с её племянницей Настей, она заметила, что здешний парикмахер не умеет делать тушировку. А тушировка, оказывается, чуть ли не самое главное в парикмахерском деле. Можно было подумать, что Нонна Павловна сама работает парикмахером. Но когда заговорили о том, что этот молодой человек стремится в лётчики, она сообщила интересные новости и о реактивных самолётах. Может быть, она летала или летает на них? О московском метро, кинотеатрах, ресторанах, о воспитании в детских садах и даже о болезнях она говорила так, что легко было поверить в её огромное образование. И Чичагов в такт её словам кивал головой. Только когда она зачем-то заговорила об особой строгости московской милиции, будто бы задерживающей на улицах небритых людей, Чичагов усмехнулся.

— Чудеса вы какие-то рассказываете.

— А вы вот поезжайте в Москву и посмотрите,— посоветовала Нонна Павловна.

— Да зачем мне ездить? — засмеялся Чичагов. — Я двадцать лет без малого прожил в Москве. Году нет, как я сюда приехал...

— Что-то я вас не встречала в Москве,— шевельнула бровью Нонна Павловна.

— Где ж вы меня могли встретить? — сказал Чичагов. — Я на «Динамо» слесарем работал, а вы, наверно... Я уж не знаю, где вы работали...

Нонна Павловна налила в стакан холодного квасу и пила его мелкими глотками, потому что он студит зубы. Может быть, поэтому она и не ответила Чичагову, где работает.

А разговор, между тем, перекинулся на другую тему. Разговор теперь начал кузнец Пюялков. Он придрался к какому-то слову Филимона и воинственно заявил, что дойдёт даже до райкома партии, если его не послушаются и перенесут кузницу в Вешняки.

— Я тут был после войны, можно сказать, один. Можно сказать, один по всем делам механик. А теперь понаехали разные люди и командуют и командуют...

Эти слова возбудили всех. Все заговорили сразу. Нонне Павловне было непонятно, из-за чего вдруг разгорелись страсти, из-за чего вдруг вспыхнули и всё время молчавшая кроткая Даша, и племянница Настя, и слишком коротко остриженный молодой человек, и Филимон, и инвалид Бурьков, и Василиса Лушникова, бывшая Васка Красильникова, и вежливый Чичагов.

Нонне Павловне не то чтобы хотелось разобраться в сущности спора, но просто было скучно сидеть молча, и она тоже вставила своё слово:

— Я не понимаю, кому там мешает кузница. Она же в стороне. Я сегодня...

— Да ты и не поймёшь,— махнул на неё рукой Филимон, как-то обидно махнул, и повернулся к Василисе Лушниковой: — Вот ты правильно говоришь, Василиса Семёновна. Твоё мнение сейчас очень ценно...

Нонна Павловна вспомнила, что эта самая Васка, тогда ещё Красильникова, вместе с ней уезжала из Жухарей. Они вместе тогда, лет двадцать назад, завербовались. Вместе ехали в поезде. Вместе работали на строительстве железной дороги. Кажется, носили одни и те же носилки с песком. А потом Василиса, видимо, вернулась сюда, где-то выучилась на агронома, что ли, и теперь её мнение считается ценным. И Чичагов поддакивает ей. Он сейчас на Василису только и смотрит, когда она говорит, будто Нонны Павловны тут вовсе нет и не было.

— Да уж верно сказано, наломали мы дров в сельском хозяйстве,— наконец вздыхает он, отодвигая тарелку. — Всё это — результат или, как говорится, рецидив недооценки. Нашим машинам нужен массив, и мы, конечно, сломаем все загородки и перегородки. Я, как работник МТС, это ясно вижу. Такая же история была в Хрубинове нынешней весной...

Нонне Павловне не только непонятна, но и неинтересна эта история. И весь этот шум за столом утомляет её. Она чувствует, как липкая испарина покрывает её лицо, и шею, и открытые полные плечи.

Она отодвигает стул и уходит в другую комнату. Ей хочется освежиться, хотя бы попудриться.

Только сестра замечает её отсутствие и выходит следом за ней.

## 7

В чемодане у Нонны Павловны лежит ещё один чемоданчик. В нём много разных, больших и малых, флаконов и флакончиков, тюбиков и баночек. Она ловко орудует ими, наливает в ладонь одеколон, вытирает лицо и шею, потом пудрится.

— А это вот тебе,— протягивает она сестре два тюбика. — Этим на ночь хорошо натирать лицо. Кожа всегда будет свежей...

— Батюшки, — удивляется Даша, — сколько у тебя снадобий!

— Нужно заботиться о своём лице,— говорит Нонна Павловна. — Лицо для женщины — это всё.

Даша молчит, вздыхает.

— А сколько ты, я думаю, всего перевидала,— помолчав, почтительно произносит она. — Я тебя сегодня послушала, так сама ровно везде перебивала. А ведь ты сперва на железной дороге работала. Василиса рассказывала...

— Я недолго там работала. Месяца два, кажется,— вспоминает Нонна Павловна. Голова у неё слегка кружится. Она садится на подоконник у растворенного окна. — Водку вы чем-то настаиваете. Я не привыкла к этому.

— Ну да, ну да,— соглашается Даша.— У нас ведь всё по-простому, всё по-деревенскому.

В комнату вошёл Филимон. Сёстры не заметили его. Он присел на корточки у низенького столика, стал выбирать патефонные пластинки, подносил каждую близко к глазам, чтобы прочитать надпись.

А Нонна Павловна, сидя на подоконнике, продолжала рассказывать о себе. Голова её всё ещё кружилась. Но лёгкий ветерок приятно охлаждал разгорячённое тело, приятно шевелил завитки волос на шее и, похоже, сам навевал воспоминания.

И удивительное дело — всё, что в прошлом было безотрадным и горьким, вспоминалось сейчас без горечи. Даже с удовольствием вспоминалось.

Это, может быть, оттого, что она тогда была совсем молодой и такой красивой, что, вот честное слово, не было парня, который бы не таращил на неё глаза. Даже старички заглядывались. Хотя она тогда ещё не носила красивых платёв, не подбривала бровей и губы не красила. Просто она была красивой от природы и главное — молодой была.

На строительстве железной дороги один десятник, Мякишев Степан, тоже довольно красивый парень, немножко похожий на Филимона, сперва обхаживал её, всё старался облапить, а потом, когда понял, что она совсем не такая, вполне серьёзно посватался к ней. Понятно, он ей тоже нравился. Но она подумала: а зачем? Зачем она выйдет за него замуж? Чтобы жить с ним на строительстве в палатке или даже в бараке? Какая у них может выйти перспектива в их семейной жизни? Он, тем более, заметно любит выпивать. Что хорошего-то? Наплодят детей. Надо будет их обмывать, обшивать, вытирать им носы. И сверх всего ещё придётся работать на строительстве, таскать носилки с песком, катать тачку или ещё что-нибудь такое. Нет уж, покорно благодарю. Со своей красотой она и лучше устроится. К тому же тут, на строительстве, разнёсся слух, что в новую больницу набирают санитарок, будут их учить и кто пожелает свободно может выучиться даже на фельдшеру или медицинскую сестру. Недолго думая, она попрощалась с этим Мякишевым и перешла в больницу.

В больнице она познакомилась с артистом эстрады, которому вырезали аппендицит. Курчавый такой мужчина немолодых лет и со своим подходом к женщинам. Звали его Аркадий Муар. И её он стал звать не Настей, а Нонной, доказывая, что это, мол, глупо при такой красоте называться Настей. И отчество, мол, надо сменить — не Пантелеймоновна, а Павловна. Короче говоря, в каких-нибудь несколько дней он уговорил её ехать с ним — прямо в Москву. А в больнице как раз в этот день, когда он её особенно сильно уговаривал, умер один старичок, и ей — ещё с одной санитаркой — пришлось выносить его на носилках в мертвецкую. Ужас, что она тогда пережила. Он ей в первую же ночь приснился, этот покойник. И ведь он не последний, подумала она. Понятно, ведь в больнице не все выздоравливают. Что же это будет у неё за работа?

Муар отвёз её в Москву, но замуж за себя не звал, хотя купил ей два платья, туфли и обещался купить пальто, а также ещё обещался устроить на хорошую работу, хотя бы даже в театр. А театры в Москве замечательные...

— Всё басни рассказываете? — засмеялся кто-то в дверях, кого не сразу рассмотрела в сгустившихся сумерках Нонна Павловна. Только когда заскрипел протез, она узнала инвалида Бурькова. — Басни мы сами умеем рассказывать, — зашагал он, постукивая, к окну. — А я гляжу, все хзяева скрылись. А обещали патефон завести. «Одинокую гармонию».

— Ах ты, батюшки, что же это такое? — встревожилась Даша. — Ведь действительно — гости. Филимон, что же ты?

— Сейчас заведём патефон, — откликнулся муж. — Сейчас заведём. Я пластинку искал...

Патефон наконец запел, но сёстры не ушли от окна.

— Что же дальше-то было? — чуть задрожала от нетерпения Даша. — Ты всё рассказывай. Ничего не пропускай.

— Короче говоря, имела я неприятности от этого Муара. Спасибо, меня женщины научили. А то осталась бы я с ребёнком на руках, — вздохнула Нонна Павловна и задумалась.

И Даша задумалась. Потом обняла сестру, прижалась к ней и почему-то шёпотом сказала:

— А может, Настенька, это и к лучшему было бы. Он бы вырос. Ему сейчас бы как не под двадцать годков сравнялось...

— Кому это? — вздрогнула Нонна Павловна.

— Ну, тому ребёночку, которого ты... извела, что ли?

— Да зачем бы он нужен мне был? — вдруг ожесточилась Нонна Павловна. — Муар и не собирался жениться...

— Всё равно, — сказала Даша, — всё равно ребёночек был бы твой. Всё-таки своё дитя ближе всего к сердцу.

— Да к чему это теперь вспоминать! — махнула рукой Нонна Павловна и опять задумалась.

— Ну, а дальше-то, дальше-то ты как жила?

— Дальше? — повторила Нонна Павловна и неожиданно улыбнулась. — Дальше уж я жила получше. Умнее сделалась...

Она работала билетёром в кинотеатре, кондуктором в трамвае, кассиршей в парикмахерской, даже воспитательницей работала в детском саду...

— А в войну-то, — допытывалась сестра, — в войну-то ты где находилась?

— В войну? В войну я эвакуировалась. Город есть такой в Средней Азии — Самарканд. Я туда от завода приехала с детским садом.

— Вот как, — почему-то удивилась Даша. — Говорят, слишком жарко там. Пески...

— Пески — это ерунда, — отмахнулась Нонна Павловна. — Да я и недолго там жила. Как бомбёжки прекратились, я сейчас же вернулась в Москву...

— Опять с детским садом?

— Да на что он мне нужен был, детский сад! Я познакомилась с одним серьёзным человеком. Он меня устроил в Москве в распределитель. Вот уж тут всё было в моих руках...

Нонна Павловна с удовольствием рассказывала, как она жила в войну, как распределяла продукты, какие платья шила, какие люди водили с ней знакомство, как даже заискивали перед нею. Но этот рассказ, однако, не произвёл сильного впечатления на Дашу.

— А я думала, ты в войну на фронте была, — сказала Даша. — Ты про самолёты сегодня рассказывала — я подумала, уж не лётчицей ли ты сама была. Ведь женщины-то теперь тоже лётчицами бывают...

— Да зачем мне это? — опять отмахнулась Нонна Павловна. — Что, мне жизнь моя не дорога? Я про самолёты от знакомых знаю. У меня такие знакомства, что даже у другого генерала таких нету. Передо мной, простой девкой, в войну такие люди плясали в распределителе, что я даже сама удивлялась...

И она снова стала рассказывать про знакомых, каких она приобрела ещё в войну в распределителе. И знаменитые артисты ей знакомы и режиссёры. И её самое уговаривали сниматься. Один кинорежиссёр приглашал её — исключительно за её красоту — играть королеву в подводном царстве. А другой, напротив, звал на роль солдатской жены. Она счень хорошо снабжала этого режиссёра. Он был очень доволен. Но вскоре посадили в тюрьму за разные дела заведующего распределителем и в распределителе почти что всех продавцов переменили. Она кинулась было к этому режиссёру — солдатскую жену играть, но режиссёр сделал вид, что даже не узнаёт её. Да и картину почему-то снимать не стали...

— Ну, а сейчас-то, сейчас-то ты как живёшь?

— Сейчас? Сейчас опять хорошо. Я при сатураторе работаю...

— Это что же, машина, что ли, такая?

— Вроде того, — улыбнулась Нонна Павловна.

— Вот это хорошо, — обрадовалась Даша. И обняла сестру, как спасённую от несчастья. — На машине работать, Настенька, по теперешним временам — это лучше всего, лучше всего. Даже у нас в деревне все стремятся...

Нонна Павловна, похоже, сконфузилась.

— Глупая ты, Даша,— сказала она, помолчав.— Да это не такая машина. Это вроде аппарат такой.— для газированной воды. И ещё пиво я отпускаю, когда бывает. Но больше я работаю при сатураторе...

— Ну, это тоже хорошо, очень хорошо,— продолжала радоваться Даша.— Всё-таки, всё-таки в руках у тебя специальность. У нас и в деревне люди добиваются специальности. А как же? Вот Чичагов тоже из Москвы приехал к нам в МТС. Ты знаешь, как его уважают. Механик...

— Да никакой я не механик,— засмеялась Нонна Павловна.— Просто мне так удобно. Зарплата, правда, небольшая. Да я за зарплатой и не гонюсь...

— И не надо гнаться,— одобрила Даша.— Не в деньгах счастье. Это и раньше говорили...

— Чего раньше говорили, этого я не помню,— сказала Нонна Павловна.— А мне на моей работе в том смысле хорошо, что я имею отдельную комнату, все удобства. И за свой выходной я могу столько заработать, что другой механик и за два месяца не заработает.

— Вот как,— удивилась Даша.

— Вот так,— усмехнулась Нонна Павловна.— Я за свой выходной все московские магазины обойду, а некоторые даже на такси объеду. Для скорости. Где какие товары продают, которых не хватает, я куплю. А потом, пожалуйста, кому угодно могу уступить, но цена уже будет другая...

— И не боишься? — шёпотом спросила Даша.— Ведь это же получается как бы... вред. Государству вред и всем прочим...

— «Вред»,— передразнила её Нонна Павловна.— Ты бы посмотрела, как меня приветствуют, когда я по домам хожу. А государство от меня не обеднеет. У нас не бедное государство...

— Вот в этом всё и дело,— как бы согласилась Даша.— Государство, это правильно, не бедное. И не вечно же так будет, что каких-то товаров не хватает. Ну, а как всё наладится, ты что же тогда?

— Ты за меня не беспокойся,— прихмурилась Нонна Павловна.— Я себе найду...— И вдруг осеклась, опять увидев Филимона.

Он вернулся, должно быть, за новыми пластинками и стоял посреди комнаты. И Даша увидела его. Даша как будто даже испугалась, увидев его.

— Ты чего, Филимоша? — спросила она.— Ты чего?

— Ничего,— ответил он каким-то странным, глухим голосом.— Просто так...

— Завёл бы хоть танцы,— уже совсем растерянно попросила Даша.

— Заведу,— пообещал он и медленно пошёл к гостям.

А Нонна Павловна как будто очнулась от тяжкого сна. И с чего это она вдруг так расчувствовалась, разболталась, словно вывернулась наизнанку? Может, это хмель её так закружил? Или просто всякому человеку хоть раз в жизни хочется с кем-нибудь поговорить откровенно о себе, о своих делах, какие бы они ни были? И это ведь её родная сестра — Даша. Бывало, они в детстве и ещё в ранней юности спали рядышком, обнявшись, на сеновале и откровенно-откровенно поверяли одна другой свои девичьи тайны. Как недавно и как давно всё это было...

Нонна Павловна, будто девчонка, прыгнула с подоконника, но пол задрожал под её увесистым телом. Оно не кажется слишком увесистым, когда она движется, чуть покачиваясь, на высоких каблуках. Оно всё ещё гибкое, стройное, сильное. И, чувствуя покоряющую силу своего тела, она уверенно оправляет платье, чуть взрыхляет волосы и идёт в ту комнату, где шумят гости и патефон сладостно поёт о любви.

Ничего особенного не случилось. Чичагов, захмелевший, но не раскисший, а, напротив, приятно возбуждённый, протягивает к ней руки. Не Василису Лушникову, бывшую Васку Красильникову, а именно

её, Нонну Павловну, бывшую Настю Самокурову, он приглашает танцевать. И она, улыбаясь заманчиво и как бы утомлённо, кладёт свою белую полную руку на его могучее плечо. А инвалид Бурьков смотрит на неё посоловевшими глазами и говорит:

— Кабы не мешала мне моя казённая нога, я бы сам с вами прошёлся. Уж больно хороши вы во всех статьях...

## 8

После танцев, когда гости разошлись по домам, Нонне Павловне ещё долго не хотелось спать.

Она разделась, но легла не сразу, сидела на кровати, прислушиваясь к дальним гудкам, к стуку движка где-то — должно быть, на МТС, — к пытению какой-то не известной ей машины. Да и за тонкой, оклеенной пёстрыми обоями перегородкой в соседней комнате ещё не спали супруги. Они о чём-то тихо переговаривались. И Нонне Павловне подумалось, что сейчас Филимон про себя вспоминает о ней. Всё-таки ему, наверно, обидно, что жизнь его так сложилась — не с ней, а с Дашей. Что из того, что Даша моложе? Любил-то ведь он по-настоящему не Дашу. Да и теперь, увидев свою прежнюю любовь, он не мог не пожалеть о прошлом. Нонна Павловна вспомнила, как в Филимоне разыграло сердце, когда он дорогой со станции заговорил о своей дочке Насте, о том, что дочка похожа на тётку, как он вдруг, взгорячась, погнал жеребца и как он смотрел ей в глаза, чем-то потрясённый. Конечно, потрясённый. Эх, Филимон, Филимон...

Нонна Павловна стала стягивать с ноги прозрачный и скользкий капроновый чулок, и в этот момент услышала приглушённый, чуть раздражённый голос Филимона:

— Чем это ты намазалась?

Это он спрашивал Дашу.

— Мазь такая. Для лица, — кротко ответила Даша. — Мне Настя дала. Ты против?

— Я-то тут при чём?

— Ну, всё-таки, всё-таки. Может, тебе неприятно? Это для лица. Настя говорит, нужно заботиться о своём лице...

— Вот именно, — сказал Филимон. И можно было угадать, что он за перегородкой сердито усмехнулся. И можно было представить себе его суровое скуластое лицо в тот момент, когда он произнёс эти слова.

— Она теперь Нонной называется, — сообщила Даша.

— Как?

— Нонной.

— Это для чего же?

— Ей так гражданин один посоветовал. Вроде как её бывший муж.

— Ну, что ж, ему, наверно, виднее, — опять усмехнулся Филимон. — Но всего бы лучше ей называться Жучкой. На самом-то деле она жучка и есть. Жучка, которая ненароком забежала в чужой двор. Кто её помнит, перед тем она и служит. За сладкий кусок...

Тишина. Долгое молчание. Потом Даша обиженно говорит:

— Ты её манил, ещё как манил, да что-то она не больно согласилась...

— Значит, плохо манил, — вздыхает Филимон. Вздыхает и снова, наверно, усмежается. — Не было у меня, значит, в ту пору в руках сладкого куска. Я и сам его тогда не видел. А жучку известно чем можно приманить...

— Жучка, жучка, — сердится Даша. — Как не стыдно! Это всё-таки моя родная сестра.

— Родная. Так что же, плакать, что ли, нам теперь над ней? — ворочается с боку на бок Филимон, и кровать скрипит под ним. — Люди государство строят, а они, вот эти жучки, всё пробиваются на лёгкие харчи.

Ведь как сказала-то — работаю при сатураторе. Вот так при всём она и состоит — при всей нашей жизни. А жизнь идёт без неё. Она только барыши собирает...

— Неужели,— спрашивает жена, и голос её прерывается от волнения,— неужели у тебя никакого чувства не осталось, Филимон? Неужели у тебя сердце чисто каменное, как у идола какого-нибудь? Ведь ты любил Настю? Ответ — любил? Ответ, я тебя спрашиваю...

— Любил,— глухо признаётся Филимон.— Думается мне, что любил. И верил, что она человеком будет. Люди уезжают, учатся, ума набирают. А она на что свой разум расходует?..

— Вот видишь. Значит, ты её всё-таки любил...

— А теперь тебя люблю. Тебя одну люблю. И главное — уважаю. За всё уважаю. И тот несчастный человек, кто уважения не заслуживает...

Слышно, как он дунул в ламповое стекло и как лампа, по-кошачьи фыркнув, потухла.

Нонна Павловна, как замороженная, сидела на кровати. Потом вдруг нестерпимый жар прилил к её лицу, к плечам, ко всему телу. Ей стало душно.

Бессознательным движением она стала снова натягивать чулки и впервые почувствовала, как накурено в доме. Гости накурили и ушли. Надо бы проветрить раньше, чем ложиться спать.

Она поднялась, в одних чулках прошла по комнате, тихонько растворила окно, и прохладный воздух обнял её. Как рыба, выброшенная на песок, она глотала этот воздух — воздух спасения и жизни, полный запахов только что скошенных трав, целебных и сытных, пропитанных благодатным соком и согретых всемогущим солнцем.

Под окном вдоль канав, прорытых вокруг молоденьких яблонь, чернела свежевскопанная земля. И яблони дремотно шелестели подсушенной зноем листвой.

Прямо в лицо Нонне Павловне светила луна.

Эта деревенская луна светила ей вот так же, когда Нонна Павловна была ещё не Нонной, а Настей — маленькой, худенькой, белобрысой девочкой с тонкими косичками, потом — красивой девушкой с крепкими румяными щеками, которую хвалил в драмкружке за красоту заезжий режиссёр Борис Вечерний. И когда ей не спалось по ночам, она вот так же, навалившись грудью на подоконник, смотрела в лунную даль, смотрела бездумно, как сейчас, но волновалась от предчувствия счастья, которое где-то ожидает её. И она уехала отсюда на поиски счастья.

В городах, где она жила, она как-то не замечала луны. И звёзд не замечала. Будто луна и звёзды не освещают городов, будто их там не видно. Но свет деревенской луны навсегда остался светом её счастливых сновидений. И мыслями своими, как все мы, она привыкла возвращаться в родные места, где ещё, наверно, помнят её и где обязательно удивятся, когда увидят, какой она стала — какой была и какой стала.

Всякому человеку, к сожалению, свойственно думать о себе не так, как думают о нём другие. И Нонна Павловна уверена была, что всех в деревне поразит даже её внешний вид. Ведь в самом деле она похожа на киноактрису. Ведь тот капитан в поезде, Дудичев, что ли, так и уехал в убеждении, что ему повезло, что он счастливо познакомился с киноактрисой. И вдруг сейчас этот деревенский мужик Филимон — ну, конечно, мужик — точно уличил её в краже, точно раздел её донага одним только словом — «жучка».

Вероятно, если бы он сказал ей это в глаза, она нашлась бы, что ему ответить. И ответила бы дерзко, даже нахально, как она умеет. Но сейчас она ничего не может сказать. Он как бы застал её врасплох и поселил в её душе такую сумятицу чувств, что сегодня она, пожалуй, не уснёт, не сможет уснуть.



Она надевает платье, туфли и тайком вылезает в окно, даже забыв его притворить как следует. Крадучись, она пробирается мимо кустов в палисаднике и выходит в поле.

Ноги её в модных туфлях увязают в рыхлой земле, но она всё идёт и идёт без всякой цели, без надежды освободиться от гнетущего ощущения какого-то несчастья, только что приключившегося с ней. А может быть, это несчастье произошло уже давно, но она только что почувствовала его? Может быть, её томит теперь сознание, что она напрасно когда-то уехала отсюда? Но ведь она уехала не одна — тысячи людей уезжали. И ещё будут уезжать. И будут возвращаться. А другие не возвратятся никогда. Да и не уезжавшие тоже не во всё и не всегда правильно жили и живут. В чём же виновата она? Неужели одно только слово «жучка» подняло со дна души такой клубок тоски, который не развеять, и он будет давить на сердце? Нет, пожалуй, дело не в одном только слове.

Уже за столом, когда было весело от вина и шума, случилось что-то такое, из-за чего Нонна Павловна вдруг вышла из-за стола и потом неожиданно расчувствовалась с сестрой. Она хотела что-то доказать сестре, себе хотела что-то доказать, а получилось всё не так, как она хотела. Она, правда, не собиралась рассказывать сестре всего о своей жизни, но как-то так случилось, что она рассказала всё. И не только сестре рассказала, не только Филимону, который, оказывается, подслушивал, но и самой себе. И у неё теперь было такое впечатление, будто она сама впервые услышала всё о своей жизни.

Ей вспомнился сейчас весь вечер во всех подробностях. Вспомнилось, как Чичагов, не обращавший сперва никакого внимания на свою соседку по столу, Василису, когда заговорили о какой-то кузнице, уже забыл, должно быть, что Нонна Павловна тут тоже сидит, и слушал и смотрел только на Василису. И хотя в конце вечера он танцевал не с Василисой, а с Нонной Павловной, это, однако, ничего не изменило.

Ничтожные эти подробности почему-то угнетали Нонну Павловну.

В сущности, душевно очерствевшая, да и раньше не искушённая в тонких чувствах, она привыкла всё в жизни измерять, как доход и убыток, как выигрыш и промах. И у неё сейчас было такое тревожное ощущение, будто её за что-то должны наказать, будто она у кого-то что-то украла. То, напротив, ей казалось, что её самое беспощадно ограбили, лишили каких-то прав и преимущест, которыми она пользовалась ещё час назад.

Ещё час назад Чичагов, танцуя, держал её за талию и говорил с придыханием, что она похожа на артистку из «Встречи на Эльбе». И знакомая маникюрша ей когда-то сказала: «Ни за что не подумаешь, что ты из деревни». И Нонна Павловна гордилась этим. И ещё чем-то гордилась. Ей казалось, что она достигла каких-то высот. И вот с высот этих её сбросил сейчас Филимон — сбросил одним словом. А может, и высот-то никаких не было? Отчего это она вообразила себя на высотах?

Униженная, растерянная и даже чем-то испуганная, она шла, запинаясь, увязая в рыхлой почве. И клочья воспоминаний стремительно проносились в её голове. То ей вспоминался Аркадий Муар, то ничем не связанный с ним кинорежиссёр, предлагавший ей играть солдатскую жену, то опять капитан Дудичев из вагона. Все проехали и прошли мимо неё. Или она проехала мимо всех...

И вот осталась она в жизни совершенно одна, как сейчас в этом пустынном поле под луной. И никому не нужна. Ну, вовсе никому.

Даже сестра её, Даша, простая телятница, презирает её. Или это только показалось Нонне Павловне?..

Так, в смутной тревоге и тоске, она прошла всё поле и остановилась на взгорье у широкого полусгнившего пня от древней ветлы.

Всё изменилось за эти годы, всё перепахали, перерыли, перестроили, а этот пенёк трухлявый как стоял здесь, так и стоит.

У этого пня Настя Самокурова прощалась когда-то с Филимоном Овчинниковым. И так же светила луна, и так же пронзительно пахли скошенные травы, и так же сонно плескалась у взгорья вода в каменистой речке. Что же произошло с той поры?

Нонна Павловна в полном душевном расстройстве, но руководимая привычным автоматизмом движений, подобрала платье, чтобы не смять, уселась на этот пенёк, как сидела тогда, двадцать с лишним лет назад. Рядом с ней тогда стоял, потом сидел, обхватив её колени, Филимон Овчинников. Влюблённый, безутешный, печальный. И он же сегодня, он же обозвал её бранным словом и, наверно, спокойно спит, не томимый совестью, со своей женой. Конечно, спит. А Нонна Павловна сидит одна на пне и чувствует, как у неё отчего-то тяжелеют ноги.

Это они от грязи тяжелеют, от глины, налипшей на лакированные туфли. Не отчистить их теперь, не отмыть. Лак обязательно отстанет. Испорчены туфли, окончательно испорчены.

Взглянув на ноги, Нонна Павловна вдруг ожесточилась. Да ну это всё к чёрту! Всех родственников — к чёрту! И все эти воспоминания. Она и одного дня тут не останется. Она сегодня же уедет и всё забудет. Подумаешь, невидаль — родная деревня, родная сестра. Двадцать лет жила без них и ещё проживёт, сколько захочет. Ну их всех к чёрту!

Она поднялась с пня и решительно зашагала по скошенной траве в тяжёлых туфлях. И всё-таки чувство душевной тревоги не оставляло её. Что-то сегодня надломилось, оборвалось в её сердце...

У высокой, одиноко стоящей на взгорье сосны она услышала приглушённые, взволнованные голоса. Остановилась, прислушалась, взгляделась и тотчас же увидела круглую, коротко остриженную голову того молодого человека, что сидел рядом с её племянницей Настей за ужином. И Настю она тут же увидела. Да и молодые люди, должно быть, заметили Нонну Павловну, зашептались быстро-быстро. Потом Настя встала и пошла навстречу тётке. А круглоголовый паренёк исчез — видимо, спустился к реке.

Настя подошла к тётке, обняла её, сказала:

— Я завтра уезжаю. Мы прощаемся.

И заплакала. И Нонна Павловна неожиданно для себя заплакала вместе с ней. Заплакала даже сильнее Насти. Заплакала так, что Настя испугалась и усадила тётку на траву прямо в нарядном платье, которое та не успела подобрать.

Не только плач, но и лицо тётки удивило племянницу. Оно вдруг стало старым, пепельно-бледным. Или это лунный свет даёт такую окраску?

А скошенные травы прямо-таки исступлённо пахнут вокруг. Прямо душу рвут они своим запахом.



---

## АВЕТИК ИСААКЯН

*В октябре 1955 года выдающемуся армянскому советскому поэту Аветику Исаакяну исполнилось 80 лет.*

*Ниже мы публикуем новые переводы стихов А. Исаакяна.*

### ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

\* \* \*

Товарищ, вперёд!  
С надеждой в груди,  
Над яростью вод,  
В пустыне морской,  
Мученья снося,  
Свой парус веди  
Сквозь бешенство бурь,  
Сквозь яростный бой...

Товарищ, вперёд!  
Вдали — погляди —  
Надежды маяк  
Горит пред тобой!

\* \* \*

В бездне бед житейского моря,  
Как скала, я крепко стою.

В блеске молний, с грозами споря,  
Как скала, я крепко стою.

Пусть бушуют ветер и вьюга!  
Как скала, я крепко стою.

Волны бьют, сменяя друг друга...  
Как скала, я крепко стою.

Кто там тонет? Ко мне выгребайте!  
Как скала, я крепко стою.

Якоря мне к подножью бросайте, —  
Как скала, я крепко стою!

*Перевод с армянского Владимира Державина.*

## МЕДВЕДЬ И ЗМЕЯ

*Басня*

С Медведем дружбу завела Змея —  
Водой не разольёшь: одна семья!  
И клятву верности друзья друг другу дали,  
И с этих пор они  
Совместно проводили дни —  
Гуляли, ели, ночью рядом спали.  
Душевно, чинно и без пререканья,  
Друг к другу преисполнены вниманья,  
Они дружили долгие года,  
Да только вот Змеи немое пресмыканье  
Не нравилось Медведю никогда.  
Случилось как-то раз, на берегу высоком  
Стоял Медведь, дыханье затая,  
И вдруг увидел он, увидел ненароком,  
Как, словно вор, тайком к ручью ползла Змея.  
Сомнение Медведя охватило,  
В груди его волнение поднялось:  
«Нет! Будь ты друг иль брат, сдержаться я не в силах!  
Моей душе противно и постыло  
Всё то, что движется ползком и вкривь и вкось!»  
И, вмиг разделавшись с пятнистым мерзким гадом,  
Медведь расправил лапой труп Змеи  
И сбросил со скалы в ручей, бегущий рядом,  
В холодный блеск его прямой струи.  
И, глядя вслед Змее, чей труп, воде послушный,  
Тупой стрелой мелькал среди камней,  
Медведь заметил так: «Быть надо прямодушным!  
Отныне прям твой путь! Вот так-то, друг, верней!»

*Перевод с армянского Сергея Михалкова.*

---

---

## ПЕРВЫЕ СТИХИ

*В декабре 1955 года в Москве состоится Третье Всесоюзное совещание молодых писателей. На совещание съедутся прозаики, поэты, драматурги, критики.*

*В этом номере мы печатаем стихи молодых поэтов Москвы, Ленинграда, Еревана, Грозного, Тулы и других городов Советского Союза.*

*Большинство этих авторов в центральной прессе публикует свои произведения впервые.*

### СЕРГЕЙ ДАВИДОВ

★ ★  
★

Я к ним приполз под вечер,  
А с рассвета  
Они держали церковь вшестером.  
Летела штукатурка с парапета,  
Трещал напротив, догорая, дом.

Колючих трасс зеленоватый росчерк,  
И пулемёт, грохочущий в окне,  
И едкий дым, и смерть...  
Ну, в общем,  
Всё было, как бывает на войне.

Я притащил патроны и оружие  
И молча лёг у бруствера седьмым —  
И пусть всегда так буду людям нужен,  
Как нужен был я этим шестерым.

Ленинград.

---

### НИКОЛАЙ ЕГОРОВ

#### *Памятник*

Мой бронзовый однополчанин,  
он стал здесь десять лет назад,  
величественный, как молчанье  
уснувших навсегда солдат.

Под тяжестью потерь не горбясь,  
могучий, устремлённый ввысь,  
от нас он требует не скорби —  
борьбы за счастье и за жизнь.

*После дождя*

Отшумел он, щедрый, чистый,  
землю тёплую полил  
и прозрачные мониста  
юной липе подарил.

А она, заботясь мало  
о подарках дорогих,  
в лужу синюю роняла  
жемчуга с ветвей своих.

Грозный

---

**ЛЮДМИЛА ЗУБКОВА**

*Солдат*

Весна водой наполнила траншеи  
И рытвины невспаханных полей,  
Орудия вытягивали шеи,  
Следя за перелётом журавлей.

Проклюнулась упрямая осока,  
Зажглась роса прозрачнее смолы,  
И налились тяжёлым, тёплым соком  
Контуженные бомбами стволы.

За светлым перелеском, на трясине,  
Призывно закричали кулики,  
И почки на берёзе и осине  
Доверчиво разжали кулачки.

Летели тучи пенистым прибоем  
В тревожной, непривычной тишине,  
И знал солдат: затишье перед боем,  
Но забывал на время о войне.

Он слушал голос робкой мухоловки,  
Ладонью гладил волглую траву.  
Не только с точки зренья маскировки  
Смотрел он на весеннюю листву.

Он любовался медленным закатом,  
Рассвета краски без ума любил.  
Соседи знали, что он был солдатом.  
Никто не знал, что он поэтом был.

Москва.

---

**ФЕДОР ИСАЕВ**

*Дуб*

На заводском дворе разросся дуб,  
Он так хорош на фоне тёмных труб.  
Никто с красавцем не вступает в спор,  
Свободно руки к солнцу он простёр.  
«Люблю» — видны у дуба на стволе  
Запёкшиеся буквы.

Их во мгле

Металлом выжег хлопец-горновой,  
 Когда за счастье уходил он в бой.  
 Что девушка его — жива ли, нет?  
 Дубовая листва шумит в ответ  
 И нам, живым, рассказывает вновь  
 Про горнового, про его любовь.

### *Деревце*

Ты, юное, шумело не вчера ли  
 Зелёными ветвями под окном?  
 Лучи, смеясь, в листве твоей играли,  
 А ночь её окутывала сном.

Раскрыл окно я нынче на рассвете  
 И вижу листья, мокрые от слёз.  
 В зелёношумные густые ветви  
 Янтарных прядеи несколько вплелось.

Стоишь и шепчешь: «Осень, осень...»  
 Этим

Я тоже опечалился. И мы  
 В кудрях блеснувшей проседью  
 Отметим

Начало наступающей зимы.

...Но стит ли, скажи, грустить о лете?  
 Плодами осень щедрая красна.  
 Ещё нам долго-долго жить на свете.  
 Ещё вернётся к нам с тобой весна.

Днепродзержинск.

*Перевод с украинского Веры Потаповой.*

## ВЛАДИМИР ЛАЗАРЕВ

### *Открытие*

Не волнуясь и не любя,  
 Я пошёл провожать тебя.  
 Просто было нам по пути,  
 А вдвоём веселей итти.  
 Расхотелись сны по домам,  
 В окнах прятались огоньки.  
 По горячим твоим словам,  
 По зовущим твоим глазам  
 Я вдруг понял, как мы близки.  
 Сердце, как язычок свечи,  
 Как-то вздрогнуло невзначай,  
 Словно я открывал в ночи  
 Неизведанный мною край.  
 И, уже ощущая новь,  
 Задыхался от счастья я  
 И готов был кричать: «Любовь!»,  
 Как кричат моряки: «Земля!»

\* \* \*

Тает снег. Прозрачен воздух вешний.  
 Почернели ветки у берёз.  
 Мальчуганы делают скворешни...  
 Не отыщешь ты надёжней гнёзд.  
 И скворец, проснувшийся с рассветом,  
 Может быть, всё это ощутил  
 И на нильском побережье где-то  
 О родной сторонке загрустил.  
 Тула.

## ГЕННАДИЙ МОГИЛЕВЦЕВ

### *В электричке*

Стучат колёса то быстрее, то реже,  
 Обычен серый законный вид.  
 В вагоне электрички опустевшей  
 Уснувшая работница сидит.  
 Она к окошку прислонилась сонно,  
 Как бы колёсный слушая мотив,  
 Широкие рабочие ладони  
 Устало на колени уронив.  
 Из-под платочка выбилися пряди,  
 Фуфайка растянулась на груди.  
 Авоська с хлебом на скамейке.

Рядом

Книжонка, что читается в пути.  
 А за окном апрель снега буровит,  
 Нашёптывает ветер о весне...  
 И женщина, приподнимая брови,  
 Чему-то улыбается во сне.  
 Ползли по стёклам влажные капли,  
 Вечерний сумрак тихо к окнам ник...  
 Горящею помахивая лампой,  
 К ней подошёл усатый проводник.  
 Из-под бровей нависших смотрит старый:  
 «Устала баба. Где же ей сходить?  
 В Очаково? Иль, может, в Катухарах?  
 И надо бы и как-то жаль будить.  
 Ждут мать домой с работы ребятишки,  
 А батька не пришёл, видать, с войны...»  
 Глядит старик на сумочку, на книжку,  
 На вьющиеся змейки седины.  
 На женщине неважная одежда,  
 И есть в ней что-то близкое, своё,  
 То ль с дочкой,

на войне погибшей,

схожа,

То ль чем-то непохожа на неё.  
 У спящей грудь вздымается спокойно,  
 И грохот ей колёсный нипочём...  
 — Гражданочка? — и женщину рукою  
 Он осторожно тронул за плечо.  
 Она приподнимается неловко,



С тревожным выраженьем глаз.  
 Ворчит старик: — Проспала остановку.  
 Тебе куда? Очаково сейчас.  
 — Спасибо вам... Заснула я... Счастливо...  
 И женщина ступила на перрон,  
 А дед стоял в дверях, неторопливо  
 Махая на прощанье фонарём.

Брянск.

---

## БУЛАТ ОКУДЖАВА

### *Зависть*

Зима отмела, отсугробилась,  
 И вот переулками, улицами,  
 Такой долгожданный и тёплый,  
 Март начинает прогуливаться.  
 Сперва осторожно, на ошупь,  
 Потом всё смелей, упрямей  
 Травы, ещё не проросшие,  
 Поит весна ручьями.  
 Того и гляди расплещется,  
 Раскинется её сила...  
 Добрый день, путешественница,  
 Молодая, красивая!  
 Как в дверь, раскрытую настежь,  
 Входит в сердца любовью,  
 Предвестьем скорого счастья  
 Небо её голубое.  
 Плывёт над землёю песнь её,  
 Яркая, словно радуга...  
 Завидная это профессия —  
 Жизнь украшать и радовать.

\* \*  
 \*

Сидишь, одета в платье ситцевое,  
 Облокотясь о стол рукою,  
 А платье-то слегка повыцвело,  
 Да и лицо уже другое.

А рядом ходит в белых валенках,  
 По-воробьиному щебечет  
 Такой неизмеримо маленький,  
 Но очень нужный человечек.

То хмурит брови, то смеётся,  
 То, обижаясь, горько плачет,  
 То вдруг в ладонь твою уткнётся  
 Котёнком слабым и незрячим.

И пусть ты буднично одета,  
 Усталая, но для него  
 Нет лучше платьяца вот этого  
 И лучше мамы — никого.

Бывает: спор завьётся вьюгой,  
И крови жгуч к лицу прилив,  
И мы стоим друг против друга,  
Чего-то там не поделив.

А он в углу, в игрушках замер  
И, игры все забыв, сидит  
И смотрит круглыми глазами,  
За нами пристально следит.

Как будто замер перед боем,  
Как будто, сжавши кулачки,  
Готов тебя прикрыть собою,  
Готов померяться со мною,  
Своим силёнкам вопреки.

И тотчас словно пробуждение:  
Весь спор поник, весь пыл угас,  
И ссора стороною где-нибудь  
Идёт, не задевая нас.

Калуга:

---

## АЛЕКСАНДР РОМАНОВ

### *Домашняя хозяйка*

Масло верещит на сковородках.  
Печка докрасна накалена...  
Ты в косынке, в платьнице коротком  
Здесь колдуешь снова дотемна.

Жаришь, паришь, отдыха не зная,  
Синий зной качается кругом.  
И добро б семья была большая,  
А у вас два стула за столом.

Тот, кому готовится всё это,  
За столом сидит уже давно,  
Тычет вилкой в жирную котлету,  
Разливает белое вино.

Потный, красный, в вылинявшей майке,  
Он доволен мастерством твоим.  
Ну, а ты как будто не хозяйка,  
А официантка перед ним.

Похвалам его уже не рада,  
Вяло улыбаешься в ответ.  
И в твоём похолодевшем взгляде  
Прежнего сиянья больше нет.

Вологда.

---

## АГВАН ХАЧАТРЯН

*Огни Севана*

На берег дымчатый  
 мы выбегали рано-рано  
 встречать зарю.  
 Смешалось детство с водой Севана,  
 в Севан, как в детство,  
 смотрю,  
 смотрю.  
 И пусть люблю я  
 и Днепр,  
 и Волгу,  
 и море Чёрное,  
 и Куру —  
 здесь, если в руки беру я воду,  
 я в руки  
 детство моё беру.  
 То плеск деревьев его напечалит мне,  
 то говор праздничный,  
 молодой,  
 и лампы — кажется мне —  
 наполнены  
 его светящейся живой водой.  
 Спасибо, детство,—  
 куда ни гляну,  
 в ночной задумчивой тишине  
 на сонных улицах Еревана  
 спокойным светом  
 ты светишь мне...

*Перевод с армянского Евг. Евтушенко.*

\* \*  
 \*

Ты волосы мои ласкаешь нежно  
 Задумчивыми пальцами худыми...  
 Так горный ветер, солнечный и снежный,  
 Ласкает утром рощи молодые.

Ты видишь одинокий волос белый.  
 Так вот где горе давнее осталось!..  
 Рука твоя на миг похолодела:  
 В нём цвет зимы, непрощенная старость.

Ты не грусти. Тебе нельзя пугаться  
 Ни седины печальной, ни морщины —  
 Всегда в снегу вершина Арагаца,  
 Всегда весна цветёт в его лощинах.

Но больше нету волоса седого —  
 Уловка помогла тебе простая.  
 Какой же лёд, холодный и суровый,  
 Под пальцами твоими не растает?

Мы много дней оставим за плечами,  
 Но тот же взгляд останется и голос,  
 И будешь ты, как фаньше, как вначале,  
 Отыскивать один, но тёмный волос.

Ереван.

*Перевод с армянского Б. Ахмадулиной.*

## Л. ШЕРЕШЕВСКИЙ

\* \* \*

Где пепельно-бурый, как соболь,  
 Суровых утёсов отлив,  
 Белеет в садах Севастополь,  
 Край моря дугой охватив.

В нём стройки кипят под горою —  
 Матросской мечты торжество:  
 Как памятник дважды герою,  
 Россия возводит его.

### *Ай-Петри*

Ходит туч хоровод в нескончаемом ветре...  
 Чтобы встретить восход, мы взошли на Ай-Петри.

С крутизной высоты постепенно освоюсь,  
 По тропе сквозь кусты шли в тумане по пояс.

А внизу, прижимаясь к обрывистым склонам,  
 Южный берег лежал полукружьем зелёным.

Не спеша поднималось над морем светило,  
 Как купальщик, оно из воды выходило...

И везде имена — что ни склон, что ни выступ —  
 Довоенных и послевоенных туристов.

Пробирались они над обрывом с опаской,  
 Взять с собой не забыв кисть и баночку с краской.

Чтобы память о них эти горы хранили,  
 Понаставили множество дат и фамилий.

Но имён партизан не прочтёшь ты на скалах —  
 Прямо в сердце своё сам Ай-Петри вписал их;

Тех, кто бился тут, жизни в бою не жалея,  
 След оставив не краской, а кровью своею.

Кепку сняв, подхожу я к их братской могиле.  
 Нет на памятнике ни имён, ни фамилий.

Но лежат их тела в сердце горной породы,  
Но живут их дела в гордом сердце народа,

И незыблемо под ветровой круговертью  
И бессмертье горы и героев бессмертье.

Горький.

---

## ГЕННАДИЙ ЮШКОВ

### *Кукушка*

Когда мы сеяли ячмень,  
В лесу кукушка куковала,  
И, провожая вешний день,  
Её мы слушали, бывало.

Кукушки не было добрей!  
Она предсказывала людям,  
Что свадьба ждёт нас в сентябре,  
Что с урожаем тучным будем...

Янтарным хвастая зерном,  
Ячмень высокий колосится,  
Но мы с тобой уж не вдвоём,  
Ведь ты уехала учиться.

Я писем жду... Вокруг меня  
Земля безмолвие простёрла...  
Быть может, усик ячменя  
Попал кукушке бедной в горло?

Сыктывкар.

*Перевод с коми М. Светлова.*



---

---

ЮРИЙ ПИЛЯР

★

## ВСЕ ЭТО БЫЛО \*

3

**В** полдень следующего дня Вилли усаживается на табурет посреди палаты. Уперев руки в колени широко расставленных ног, он наблюдает за приготовлениями к раздаче обеда. На меня старшина не смотрит, но я чувствую — за мной он будет особенно следить. Как-то мне удастся выполнить сегодня свою задачу?

Испанец снимает крышку с бачка. Петренко, я, Али-Баба и грек берём в обе руки по пустой миске. Вилли издаёт залихватский свист. Петро подставляет испанцу первую миску.

Я несу суп с превеликой осторожностью: мне известна цена каждой его капли. Старшина командует: «Быстрее!». Ускоряю шаги и обратно к бачку возвращаюсь первым. Вилли раздражается: «Где очерёдность?» Я пропускаю вперёд Петренко и снова тащу наполненные миски — на средний ярус, где лежат два пожилых поляка. Подав суп на третий ярус, сталкиваюсь в проходе с Вилли. Он отстраняет меня рукой и сдёргивает с поляков одеяла. Протягиваю миску чеху, потом немцу. Старшина ставит одеяло с чеха. Через некоторое время он хватается за одеяло югослава, занимающего нижний ярус, и заглядывает под его койку. Я улавливаю известную систему в действиях старшины: он бросается по моим следам, когда наступает очередь получать славянам. Очень хорошо... Передо мной красивый француз. Сую ему — будь что будет! — сразу две миски. Теперь надо давать юноше поляку... Протягиваю ему пока одну порцию, другую отдаю суровому немцу. Пропустив меня к бачку, Вилли немедленно срывает одеяло с юноши. Прекрасно. Я топчусь немного на месте, потом ускоренным шагом направляюсь в тот же проход — поляк и немец получают по второй порции. Итальянцу и бельгийцу, моим подшефным, даю сразу по две миски. Возле болгарина на верхнем ярусе специально задерживаюсь. Едва отхожу — Вилли вскарабкивается к болгарину.

Мне становится весело. Мы точно играем в кошки и мышки: я — забавляясь: для меня опасность уже миновала, Вилли — в тихой ярости, это видно по его движениям. В руках у меня лишняя порция. Чтобы доказать старшине свою «честность», я торжественно отношу её обратно.

Вилли режет меня взглядом.

— Почему лишняя?

— Не знаю, блокэльтестер, может быть, я опять поспешил...

Старшина, выхватив у меня миску, выливает суп в бачок.

— Ты, человек, идиот, — мрачно сообщает он мне, швыряя пустую миску на пол.

Собрав с коек посуду и отнеся её в умывальную, мы с Петренко уходим в свой угол. Он ест неторопливо, с серьёзным видом и молча. Инте-

---

\* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 10 с. г.

ресно бы расспросить его, кто он и откуда, но я боюсь обвинений в излишнем любопытстве и тоже молчу.

Покончив с едой, Петро вытирает тыльной стороной ладони губы и говорит:

— Старшина тебя невзлюбил. Не знаю, как ты удержишься.

— Что же я должен делать?

— Он, видишь ли, уважает безропотных, а ты отвечаешь... Хитрости в тебе, что ли, не хватает?

Я высказываю предположение, что Вилли мстит мне за свой провал в стычке с врачом.

— Возможно, но факт фактом: работать тебе он долго не даст.

Пророчества Петренко меня расстраивают. Я говорю, что готов прерваться в бессловесное существо, лишь бы продолжать начатое дело. Петро хмуро качает головой.

Вечером Вилли вновь выступает с концертной программой. Поставив к дверям испанца, он собирает на верхнем ярусе группу немцев и вместе с ними поёт старинную тирольскую песню. Песня очень красивая, и слова в ней хорошие. Я вслушиваюсь в прозрачный голос старшины, гляжу на его одушевившееся лицо и не могу уразуметь, как в одном человеке уживаются любовь к красивому и самое жестокое самодурство.

— Художественный свист. Соло, — объявляет Вилли.

Он исполняет несколько вальсов, раскачиваясь на каблуках из стороны в сторону и вытянув в трубку толстые губы, потом кидается избивать спящих. Поднявшись снова на табурет, он кричит:

— Эксцентрический танец. Смотреть всем. Али-Баба, гоп!

Али-Баба сбрасывает с себя куртку, штаны, на голову напяливает бумажный колпак и начинает извиваться в непристойных движениях. Вилли хохочет. Мне приходит в голову, что старика только потому и держат в уборщиках, что он не отказывается быть шутом.

Покончив с танцами, старшина приносит из своей комнаты две пары боксёрских перчаток. Одну бросает Али-Бабе, другую надевает сам.

— Спортивное отделение! — возвещает он.

Старик то и дело падает, задирая ноги, гримасничает, прыгает петушком. Мне его жалко. Видно, что он уже выбился из сил. А Вилли всё более входит в азарт. Он неплохой боксёр. После одного из прямых режущих ударов Али-Баба валится со стоном и больше не встаёт. Вилли считает до девяти. Старик лежит.

— Вон, ты, трухлявый мешок! — с гневом восклицает старшина.

Али-Баба безмолвно стягивает перчатки и, силясь улыбнуться поспившими губами, уползает к своей койке.

— Кто желает продлить бой? — обращается Вилли к больным, поднявшись на табурет.

Охотников, конечно, не находится. На лице старшины появляется выражение недоумения и обиды, как у ребёнка, которого незаслуженно лишили интересной игрушки. Сейчас он кажется мне слабоумным.

— Кто хочет иметь моё расположение? Прошу! — кричит он.

Никто не отзывается. Я встаю с койки.

— Ты?

— Я.

— Али-Баба, завяжи ему шнурки на перчатках. Быстро!

Я занимался в последний предвоенный год в юношеской секции бокса. Среди сверстников меня считали одним из сильнейших. Но что у меня получится теперь?..

Приняв стойку, я нырком ушёл от прямого удара Вилли. Но он стал бурно атаковать, провёл прямой в голову, затем ещё и ещё. Минуты через три я готов рухнуть, как и Али-Баба, но меня спасает удар колокола.

— Гонг! — вскрикивает старшина в радостном изумлении. — Прекрасно! Мы продолжим это следующим вечером. Не так ли?

— Пожалуйста, — отвечаю я.

Утром Вилли награждает меня пайкой хлеба. В обед приказывает дать мне тройную порцию супа. А после проверки предлагает надеть его трусы, кожаные тапочки и приготовиться к тренировке.

С этого вечера я не перестаю ходить в синяках. Не знаю, надолго ли хватит меня физически, но морально чувствую себя как никогда хорошо. Мои подшефные без всякого риска получают дополнительные порции. Штыхлер и Петренко мной очень довольны.

Но наступает день, когда бокс Вилли надоедает. Однажды — это было в канун Нового года — он не вынес из комнаты перчаток. На мой вопрос, будем ли сегодня тренироваться, он ответил: «Нет».

— Сегодня будем танцевать. Али-Баба научит тебя танцу паяца, а потом я его отправлю в крематорий — он зажился... Раздевайся.

— Блокэльтестер, я не буду паяцем.

— Почему?

— Я не умею кривляться.

— Али-Баба научит.

— Я не хочу.

Хватаюсь за щеку. Пощёчина. К сожалению, я не могу уже ответить тем же.

— Кончено! — кричит Вилли. — Снимай верхнюю одежду и — в койку. Ты больше не санитар.

Из приёмной выскакивает Штыхлер, выходят писарь и парикмахер.

— Что случилось?

— Я больше не хочу видеть его санитаром.

— Но что произошло?

— Раздевайся, ты, птичья голова! Слышишь?

Хватаюсь за другую щеку и сбрасываю с себя куртку.

— Ты останешься санитаром, — глуховато произносит Штыхлер. Губы у него вздрагивают. — Раздевайся и ложись.

Он резко поворачивается и, не взглянув на старшину, уходит. За ним скрывается Вилли. Я отправляюсь на своё место.

На другое утро, когда все уборщики были уже на ногах, Вилли, застав меня в постели, орёт:

— Почему?

— Выполняю приказ.

— Я хозяин! Я приказываю, я и отменяю. Подымайся!

В обед он снова следит за мной. На этот раз он ведёт счет подаваемым мною мискам. Когда я отдаю последнюю порцию, он произносит вслух: «Семьдесят» — и принимается пересчитывать больных. Я иду вслед за ним. За мной — Петренко. Петру удаётся незаметно собрать шесть пустых мисок, спрятанных под одеялами у моих подопечных.

— Шестьдесят четыре, — зловеще изрекает Вилли, спрыгнув с последней койки. — Ты украл шесть порций, ты!

Удар в ухо, потом в зубы. Ворочаю языком — зубы целы, но во рту кровь. Глотаю её и говорю:

— Вы не могли ошибиться при счёте, блокэльтестер?

— При каком счёте? — вопит он.

— При счёте мисок, которые я разносил?

Удар в нос и опять в ухо.

— Может быть, ты думаешь, я не умею считать? Штыхлер! — кричит он, косясь на меня. — Штыхлер, ко мне!

Подходит врач.

— Убедись, что твой помощник — вор. Али-Баба, собрать все пустые миски с половины русского санитаря! Ищи везде: под койками, одеялами,



матрацами. Я сейчас тоже этим займусь. Посмотрим, удастся ли господину блоковому врачу ещё раз отстоять своего любимчика, когда я выложу перед ним семьдесят пустых мисок!

Мисок оказывается, конечно, шестьдесят четыре. Вилли бьёт Али-Бабу по щекам.

— Ищи, ты, старая кляча, или я тебя этим же вечером отошлю в мертвецкую!

Дополнительные поиски ничего не дают. Али-Баба плачет навзрыд.

— Всё? — спрашивает Штыхлер.

Старшина, круто повернувшись, исчезает в своей комнате.

Дня через два, незадолго до вечерней поверки, Петренко спешно собирает всех уборщиков. Мы вооружаемся мокрыми тряпками и щётками. Через пятнадцать минут палата блестит.

Поверка заканчивается быстрее обычного. Едва дежурный блокфюрер покидает барак, как дверь снова распахивается, и Вилли во всю мощь своих лёгких гаркает: «Ахтунг!». Все замирают: больные, вытянув ноги и приподняв голову; врач, писарь и парикмахер, построившись посредине палаты; мы — Петренко, я, Али-Баба и грек, — встав в один ряд у двери умывальной.

В барак входит очень высокий и худой эсэсовский офицер — главный врач Трюбер. У него тонкий длинный нос с очень узкими ноздрями. За ним показывается другой офицер, щеголеватый, молодой и на вид симпатичный, его помощник. Последним появляется старший врач Вислоцкий, толстый, непроницаемо-спокойный и важный.

Офицеры, сняв шинели, бросают их на руки старшине.

— Халаты! — командует Трюбер.

Через минуту все трое сидят за столом: Трюбер и молодой офицер — на стульях, Вислоцкий — на табурете.

— Список, — произносит немного в нос Трюбер, доставая из верхнего кармана мундира стеклянную палочку.

Писарь кладёт перед ним лист бумаги с личными номерами больных, второй такой же лист протягивает Штыхлеру. Тот громко объявляет первый номер. Петренко шепчет мне: «Иди, поднимай».

Подвожу к столу тощего, костлявого словенца.

— Что с ним? — гнусавит Трюбер.

Штыхлер называет болезнь словенца по-латыни.

— И долго он лежит здесь?

— Двадцать четыре дня.

Трюбер трогает палочкой выпирающие из-под шершавой кожи рёбра больного.

— Любопытный экземпляр. Перешлёте его мне на шестой блок.

Штыхлер делает пометку на своём листе. Молодой офицер говорит: «Следующего». Я увожу словенца.

Осмотр продолжается часа два. Трюбер вытирает платком высокий бескровный лоб. Его молодой помощник едва удерживает зевоту. Вислоцкий попрежнему важен и непроницаем. Двадцать человек приказано подготовить к выписке в лагерь, четырёх — на шестой блок.

— Кто остаётся? — спрашивает главный врач, поглядывая на часы.

— Санитары и уборщики, — отвечает Штыхлер.

— Они исполнительны?

— Так точно.

Внезапно у стола появляется Вилли. У меня ёкает сердце. Вилли щёлкает каблуками.

— Что? — говорит Трюбер.

— Оберштурмфюрер, я прошу выписать в лагерь одного санитаря, русского.

— Мотивы?

— Он совершенно здоров, кроме того...

— Штыхлер?

— Я абсолютно доволен работой всех моих санитаров. В свою очередь мне хотелось бы доложить господину оберарцту об издевательствах старшины карантина Труделя над медицинским персоналом.

— Вислоцкий?

— Если господин доцент позволят, я разберусь в данном конфликте сам и потом буду иметь честь доложить господину оберштурмфюреру существо дела,— привстав, с приятной улыбкой отвечает старший врач.

Трюбер, кивнув головой, поднимается. Писарь, опережая старшину, помогает ему одеться. Молодому офицеру подаёт шинель испанец. Вилли остаётся только продемонстрировать ещё раз силу своих лёгких в крике «Ахтунг!».

## 4

На другой день, выбрав минуту, когда старшины нет в бараке, Штыхлер говорит мне:

— Ты видишь сам, что нам вместе работать больше нельзя, рано или поздно Трудель тебя поймает. — Лицо у него грустное, улыбка мягкая и немного виноватая. — Нам надо расстаться. Ты уйдёшь отсюда, но не в лагерь. Вислоцкий даст тебе новое назначение, я договорился с ним.

— Спасибо.

Штыхлер протягивает мне руку. Я крепко стискиваю её.

— Ты коммунист, Зденек? — спрашиваю я, впервые называя врача по имени.

— Да, Костя.

После обеда я покидаю карантин. На улице морозно, но я не чувствую холода. У меня очень хорошо на душе от тёплых слов, сказанных мне на прощание моими «подшефными»: красивым французом — инженером-парижанином, суровым немцем — профессором из Иены, итальянцем священником, бельгийцем рабочим, юношей поляком — партизаном с Люблинщины. Кроме того, меня греет свитер, подаренный Зденеком.

Вислоцкий, отпустив подготовленных к выписке людей, приглашает меня в свой кабинет.

— Вы с Украины или из Центральной России? — спрашивает он на довольно чистом русском языке.

— Я из Пскова.

— Военнопленный?

— Нет.

— Вы, очевидно, учились в школе?

— Я закончил в сорок первом году десятый класс.

Старший врач смотрит на меня с чуть приметной улыбкой. Потом нажимает кнопку на краю стола.

— Отведи этого юношу на спецблок к доктору Решину,— говорит он по-польски показавшемуся в дверях маленькому рябому санитару.— До свидания, Покатилов.

И вот я на таинственном спецблоке — блоке номер шесть. По внешнему виду он мало чем отличается от карантина: такие же трёхъярусные койки и полумрак; только тишина здесь кажется ещё более гнетущей...

Меня встречает Степан Иванович. На нём белая шапочка и халат. Руку он мне пожимает как-то лихорадочно быстро, голос у него тихий, словно приглушённый.

— Я очень рад тебе, очень, очень,— говорит он, заведя меня в свою комнату.— У тебя будет много работы. Здесь нет ни старшины, ни писаря, ни парикмахера. Всего один уборщик, он же привратник. Через день по вечерам тут работает Трюбер. Я считаюсь его ассистентом. Многому ты будешь поначалу поражаться, но обо всём, что увидишь и услышишь,

пока никому ни слова. Это первое. Второе, — он потирает тонкие подвижные пальцы, — я знаю, чем ты занимался у Штыхлера. Здесь ты продолжишь это дело, мы будем работать вместе. Я тебе дам половинку бритвенного лезвия, спрячешь в подкладку куртки. Может наступить такой момент, когда придётся покончить с собой. Я научу тебя, как всё сделать быстро и безболезненно. Иначе — пытка... Впрочем, ты можешь ещё вернуться в лагерь.

Он внимательно смотрит на меня сквозь стёкла очков.

— Я останусь здесь,— говорю я.

— Я не сомневался... Третье: ты должен знать в общих чертах, чем занимается здесь Трюбер. Дело в том,— Решин опять потирает тонкие пальцы, — что меня отсюда не выпустят... Он проводит опыты над людьми. Сегодня ты кое-что увидишь сам. Мне он в известной степени доверяет и даже советуется со мной — он читал до войны некоторые мои работы... Так вот Трюбер по заданию каких-то высших инстанций СС разрабатывает такой режим питания, при котором заключённые, занятые тяжёлым физическим трудом, будут сами умирать в назначенный им срок. Многого в его изысканиях бред: он, например, занят сейчас поисками сверхжизненной силы в человеке, находящемся под угрозой смерти, — попытка найти объяснение тому, что люди выживают, несмотря ни на что,— это ерунда, повторяю, но есть в его исследованиях и то, что может нанести всем нам реальный вред. Он приходит к выводу, что лагерный рацион питания следует уменьшить на одну треть и что заключённые смогут работать не менее интенсивно при условии, если их всё время держать под угрозой смерти. С мнением Трюбера, повидимому, считаются. Если с ним согласятся, будут десятки тысяч лишних жертв... Мы будем путать его расчёты. Надо довести их до абсурда.

— Каким образом, Степан Иванович?

— Мы будем подкармливать людей.

— А они получают что-нибудь?

— Через день, и только суп... Мы будем давать дополнительную пищу ежедневно трём-четырёх больным. Еду — хлеб, ещё кое-что — будешь брать у санитаря, у того, что тебя сюда привёл. Правда, иногда придётся делиться своим хлебом...

Я гляжу на Решина. Он стал ещё более худым, чем был в штрафной. Он похож сейчас на мумию. Степан Иванович перехватывает мой взгляд. Мне делается неловко. Он говорит:

— Если есть вопросы, пожалуйста, потом будет не до объяснений.

Поколебавшись, я спрашиваю:

— Степан Иванович, вы действуете сами, как человек и врач, или... или вы выполняете определённое задание?

Решин снимает очки. В эту минуту он чем-то очень напоминает мне моего отца.

— Ты комсомолец?

— Да.

— Ты удовлетворён тем, что будешь облегчать страдания хороших, честных людей?

— Конечно.

Вечером, после отбоя, на блок является Трюбер. Кивнув головой Степану Ивановичу, он проходит через всю палату к белой двери. Через минуту слышу его голос: «Профессор!» Решин исчезает в его комнате. Ещё через минуту вызывают меня.

Я не без трепета вхожу в кабинет эсэсовца-доцента. Трюбер сидит за большим письменным столом. Решин стоит рядом.

— Известны ли тебе твои обязанности? — спрашивает меня Трюбер.

— Так точно. Профессор мне объяснял.

— Вислоцкий рекомендовал тебя как самого исполнительного санитаря. Ты русский?

— Так точно.

— Тебе будет легко понимать профессора... Чем занимался до войны?

— Учился в средней школе.

— Был солдатом? Принимал присягу?

— Нет.

— Хорошо, я проверю... Приведи больного номер восемнадцать. Профессор, карту номер восемнадцать.

Я выхожу в палату. Разыскиваю нужную койку и, обращаясь по-немецки, прошу подняться смуглого человека с глубоко ввалившимися глазами. Он смотрит на меня безразличным взглядом.

— Надо встать.

— Ам, ам,— отвечает он.

— Встаньте, пожалуйста, я помогу.

Тихонько приподнимаю одеяло и вижу скелет, обтянутый жёлтой кожей. Мне делается жутко. Пересилив себя, помогаю человеку привстать, потом веду его к белой двери, положив его странно лёгкую руку себе на плечо.

Трюбер, дымя сигарой, командует:

— Посади его на белый табурет, открой дверцы шкафа напротив.

Я помогаю человеку сесть и открываю дверцы в стене. Там какое-то похожее на штурвал железное колесо, укреплённое на оси. В глазах больного мелькает жадный огонёк.

— Эссен,— произносит он, протягивая руки-кости к штурвалу.

— Да, да, ты получишь сахар. Вращай,— говорит Трюбер, выходя из-за стола.— Профессор, считайте.

Человек начинает медленно крутить колесо. При каждом обороте мелькает красная черта на ободке между ручками. Трюбер смотрит на секундомер. Человек бормочет:

— Эссен, ам, ам.

Мне опять кажется, что я вижу дурной сон.

— Ам, ам,— твердит больной, продолжая вращать штурвал.

— Ещё, ещё,— требует врач-эсэсовец, показывая кусочек сахара.

Скоро человек выбивается из сил. Движения его становятся судорожными, руки соскальзывают с колеса.

— Поддержи его,— тихо говорит Решин.

Я подхватываю человека. Глаза его закатываются: у него обморок. Степан Иванович подносит к его лицу флакон с нашатырным спиртом. Больной приходит в себя. Трюбер кладёт на стол сахар.

— Дай ему и отведи.

— Семь минут тридцать четыре секунды,— произносит Трюбер, когда я подвожу больного к двери.— Великолепно. Посмотрим, как он будет вести себя через три дня.

Я укладываю человека на койку. Он повторяет: «Эссен, ам, ам, эссен, ам, эм» — и смотрит на меня тупым невидящим взглядом.

Потом я привожу поочерёдно в кабинет Трюбера ещё троих. Они тоже крутят колесо, пока не впадают в полубморочное состояние. Последний из них, молодой серб, выдерживает пытку в течение двенадцати минут. Трюбер бьёт его по щекам, а когда я его поднимаю с табурета, говорит Решину:

— Здесь картина не ясна. Ему давно пора умереть, дьявол его побрал бы, а он не умирает. Попробуем испытать его ещё раз. Запишите его на следующий осмотр и подготовьте анализы.

Трюбер уходит ровно в полночь. Торвертер, беззубый немец, закрывает дверь на крюк. Мы со Степаном Ивановичем ложимся спать. Я просыпаюсь, должно быть, часа через два. Передо мной стоит смуглый чело-

век-скелет и бормочет: «Ам, ам». Я трясую головой — скелет исчезает, но исчезает и сон.

— Надо постараться уснуть, — говорит Решин. — Не думай ни о чём.

Я пытаюсь следовать его совету — гоню из головы все мысли, но где-то в глубинах мозга продолжает звучать: «Ам, ам».

— Ну, делать нечего, — ворчит Степан Иванович и, включив свет, даёт мне выпить какое-то лекарство.

Утром вместе с немцем торвертером я занимаюсь уборкой, потом раздаю больным по полмиски горячей воды. В полдень торвертер отправляется на кухню за нашим обедом. Едим в комнате Степана Ивановича, не глядя друг на друга. После обеда Решин приказывает мне поспать, так как ночью нам спать не придётся. В шесть часов дежурный эсэсовец делает поверку. В десять, когда бьёт колокол, Решин открывает свою лабораторию.

Я осматриваюсь. Квадратная комнатка, сплошь выложенная кафелем. На маленьком столе у дверей — деревянная подставка с пробирками, ванночка со шприцами, электрическая плитка; в центре — операционный стол и два табурета; у одной из стен — фаянсовая раковина. Пахнет денатуратом.

Решин говорит:

— Приведи вчерашних.

Иду снова к койке номер восемнадцать. Человек спит. Беру его осторожно на руки — в нём не больше двух пудов веса — и несу в лабораторию. Решин приказывает положить больного на операционный стол.

— Мы введём ему сейчас глюкозу, — говорит Степан Иванович, подходя со шприцем к столу.

Человек спит. Решин берёт его за руку повыше кисти и смотрит на меня.

— Он мёртв.

Я отношу тело на восемнадцатую койку и накрываю его с головой одеялом. Разыскиваю больного под номером двадцать три. На меня из полумрака, не мигая, глядят два чёрных блестящих глаза.

— Вы можете встать?

Выражение глаз не меняется. Они строги, и я вижу в них укор.

— Я помогу вам.

Больной отворачивается. Я тихонько открываю одеяло. Руки у него сложены на груди, как у покойника. Я беру его за плечи — человек издаёт сдавленный стон — и несу. Больной слабо сопротивляется.

— Вам ничего плохого не сделают, — шепчу ему на ухо.

При виде Решина человек успокаивается. Степан Иванович обращается к нему по-французски. Больной послушно протягивает худую руку. Решин берёт у него из пальца кровь, затем вводит глюкозу и шепчет мне:

— Дай ему хлеба и кусочек сала — в письменном столе, в правом ящике.

Я достаю из стола пайку чёрствого белого хлеба и комочек шпига. Француз, дрожа, нюхает хлеб — на его глазах выступают слёзы. Он ест жадно, давясь. Я протягиваю ему кружку воды. Он запивает одним глотком и напряжённо смотрит на меня.

— Нет больше, — отвечаю я, пряча глаза. — Пойдёмте.

Когда я помогаю ему улечься, он касается моей руки холодными пальцами.

— Мерси боку, тувариш.

Молодой серб идёт в лабораторию сам. Он тоже получает порцию глюкозы и кусок хлеба. Решин спрашивает его:

— Сколько тебе лет, Милич?

— Двадесят.

— Жена есть?

— Нет, нет. Мать есть, мать.

Когда я отвожу его на место и возвращаюсь, Степан Иванович говорит:

— А у того, что умер, остались три дочери. Мастер-краснодеревец. Он из Львова, наш земляк, прекрасный семьянин был... Иди, отдохай.

Прикрывая за собой дверь, вижу стриженный серебристый затылок профессора. Он подбирает из ящика крошки и торопливо кладёт их в рот. У меня подступает к горлу горячий ком.

## 5

Регулярно, через день, я встречаюсь в амбулатории с маленьким рябым санитаром. Он заводит меня в уборную и там передаёт мне небольшой пакет с продовольствием. Пакет я проношу под рубашкой, на животе, придерживая его поясом брюк. На пути в спецблок мне иногда попадаются навстречу эсэсовцы; им ни разу не приходит на ум обыскать меня, хотя они и знают о строгом режиме спецблока: повидимому, мизерный размер лазаретного пайка исключает у них всякую мысль о том, что заключённые больные могут оказывать подопытным товарищам какую-нибудь помощь. Вероятно, на это рассчитывает и Трюбер. Я часто думаю о том, что, меряя нас на свой аршин, враги оказывают нам немалую услугу. Впрочем, Трюбер и его сподручные до некоторой степени правы: подопытные спецблока редко подкармливаются за счёт других больных — продуктами нас снабжают врачи, получающие из дома посылки. К сожалению, этих продуктов хватает ненадолго, и, когда они заканчиваются, приходится принимать чрезвычайные меры.

Такой момент наступает в конце января. Маленький санитар — его зовут Богдан, — встретив меня в обычное время в амбулатории, беспомощно разводит руками.

— Неужели ничего? — спрашиваю я.

— Абсолютно.

— Как же быть? Умрут люди...

Рябое лицо санитаря страдальчески морщится. Он часто хлопает белёсыми ресницами, вздыхает, потом, осенённый какой-то мыслью, быстро произносит:

— Чекай.

Исчезая, он оставляет мне работу — кипятить в стеклянной посуде пробирки. Если в комнату заглянет кто-нибудь из эсэсовцев, ко мне не придерёшься. Ждать Богдана приходится довольно долго. Его задержка начинает уже меня беспокоить. Наконец слышу в коридорчике осторожные шаги, затем шёпот на немецком языке:

— Двести граммов даже слишком много.

— За четыре порции?!

— Но ведь это лазаретные порции, человек!

— Может быть, всё-таки хочешь получить десять марок?

— Нет, только хлеб.

— Хорошо. Я сейчас принесу. Но без обмана. Если в спирте окажется хоть капля воды... имей в виду.

Шёпот обрывается. Я отхожу к окну. С крыльца амбулатории спрыгивает Вилли.

Богдан молча достаёт из стеклянного шкафчика бутылку со спиртом и наполняет им мензурку. Из мензурки он переливает спирт во флакон с притёртой пробкой. Потом добавляет в бутылку воды.

— Зараз достанем, — говорит он мне, выходя с флаконом в коридор. Через день сцена повторяется.

— Богдан, выручай.

— Но что я могу зробиць, человеце? Нема ниц.

— Но ведь люди...

Богдан вздыхает.

— У тебя же есть ещё спирт.

Рябое личико морщится.

— Человеке... По мыслишь, мам магазине, альбо цо?

Но он задумывается и через минуту изрекает:

— Чекай-но.

Опять бутылка доливается водой. Я испытываю некоторые угрызения совести — Богдан может за это поплатиться, — но успокаиваю себя тем, что, во-первых, больные снова получают поддержку, а во-вторых, мало вероятно, чтобы Трюбер или его помощник сами проверяли качество спирта в бутылки.

Ещё через день я вынужден доложить Решину, что продуктов у Богдана больше нет.

— Ничего, это наладится, — шепчет он. — Мы пока обойдёмся как-нибудь своими силами. Правда?

Меня временная голодовка не очень страшит, но я боюсь за профессора: он слаб.

— Степан Иванович, вы не разрешите?.. Мне кажется, я смог бы достать кое-что.

— Как?

— Я найду Олега.

— Нет, нет. У Олега свои заботы. Уж мы постараемся как-нибудь сами.

После отбоя мы делим наш хлеб на четыре части. Я раздаю его больным. Степан Иванович вводит мне глюкозу. Сам он едва волочит ноги. Я даю себе слово никогда больше не говорить профессору о перебоях с едой.

Следующие две недели Богдан снабжает меня исправно. В одном из пакетов я обнаруживаю стакан со смальцем и без раздумий припрятаваю этот стакан. Степан Иванович удивляется, замечая, что суп в его котелке стал жирным. Я помалкиваю.

Полоса нашего благополучия минует быстро. Снова наступают чёрные дни. Явившись в третий раз требовать у маленького санитаря жертвы, я неожиданно застаю его в хорошем расположении духа.

— Идём... до клозета.

— Получили посылки?

— Нет.

Пакет оказывается тёплым.

— Что там, Богдан?

— Картофля.

— Это, случайно, не от русского, Олега? — Вопрос у меня вырывается непроизвольно.

— Человеке, — с упрёком произносит санитар. — Иди, иди, але скоро.

Дня три спустя я сталкиваюсь с Олегом в коридоре амбулатории. Мне всё ясно. Я благодарю его. Он, опустив глаза, говорит:

— Поменяемся местами, Костя.

— Нет.

— Ты доволен?.. Я понимаю тебя, Костя.

Незаметно проходит последний зимний месяц. Март начинается солнечными днями. По утрам морозец обливает глазурью сугробы, в полдень всю шумит капель, а к вечеру воздух снова становится стылым. Дали проясняются, хвоя делается яркозелёной, и опять до рези в глазах сверкают пики Альп. Идёт весна. Рождаются новые смелые надежды. И ещё больше хочется бороться, действовать, жить.

Я теперь не сомневаюсь, что в лазарете существует объединение антифашистов. Пусть, как и прежде, не в ходу слово «организация» — важно,

что она есть. Я горжусь тем, что принадлежу к боевому союзу товарищей, вступивших в тайное единоборство с эсэсовцами. Мне радостно сознавать, что наш союз нередко оказывается сильнее врага.

...В середине марта назначается всеобщий осмотр больных. Готовится массовая выписка в лагерь всех, кто хоть в какой-то мере способен работать.

Мне об этом становится известно из разговора Решина с Вислоцким, который появился на спецблоке якобы для проверки его санитарного состояния. Я сижу на табурете у входа в комнату Степана Ивановича, и до меня из комнаты доносится каждое слово.

— Нет, я повторяю, вспомогательного персонала осмотр не коснётся,— говорит Вислоцкий,— но это лишь четвёртая часть тех, кого надо удержать. Беда в том, что наши люди выглядят лучше других, а из недистрофиков остаться смогут лишь инфекционные больные.

— Я мог бы посоветовать одну вещь,— негромко произносит Решин,— одно средство, известное из практики работы лазаретов при лагерях военнопленных. Не знаю только, насколько это применимо в наших условиях... Я имею в виду чесотку, вернее, имитацию чесотки. Делается это просто: между пальцами и подмышками производятся неглубокие наколы остриём иглы или булавки, затем эти места натираются обычной поваренной солью. Образуются покраснения и маленькие пузырьки, очень напоминающие чесоточные.

— Гм... а вы знаете, это идея... Я попробую. Правда, за чесоточных больных я рискую попасть в немилость, но что делать. Я непременно испробую ваше средство,— отвечает Вислоцкий.

Выходя из комнаты, он вновь напускает на себя важный вид и едва достаивает кивком головы торвертера, вскочившего при его приближении.

Наступает первый день всеобщего осмотра. Степан Иванович с утра бродит по палате, не находя себе места. Вымыв полы и раздав кипяток, я с немцем торвертером отношу двух умерших в мертвецкую. На улице мы стараемся пробить подольше, возвращаемся примерно через час. Решин попрежнему бродит, как неприкаянный. Когда наступает время обеда, он говорит:

— Сходи к Богдану, узнай, все ли наши пробирки целы.

«Пробирки» — условное название наших людей, это мне уже известно.

Богдана я в приёмной не застаю. В окно вижу Трюбера и Вислоцкого, выходящих из карантина, — значит, там уже был осмотр. Они расходятся возле амбулатории. Я вытягиваюсь у двери.

— Почему здесь? — спрашивает старший врач.

— Меня послал к вашему санитару профессор.

— Санитар будет через несколько минут.— Лицо Вислоцкого непроницаемо. Он проходит в свой кабинет, оставляя дверь полуоткрытой.

Богдан является с двумя котелками — очевидно, с кухни. Спрашиваю его насчёт «пробирок». Он ещё ничего не знает. Вислоцкий окликает его из своего кабинета. Богдан скрывается за дверью. Вернувшись, он говорит, что две «пробирки» разбились.

Иду с этим известием к себе. Торвертера у входа нет: он отправился, видимо, за нашим обедом. Ещё с порога слышу раздражённый голос Трюбера в комнате Решина — прежде он никогда не появлялся днём на спецблоке... Должно быть, он заметил моё отсутствие. Что ему теперь говорить? Как ему объяснил моё отсутствие профессор? Неужели засыпались?

Я решительно иду к комнате Степана Ивановича. Смело распахиваю дверь, как будто не зная, что там Трюбер. Вытягиваюсь, руки по швам, и спрашиваю Решина по-русски:

— Говорить, что ходил за анализами?



— Да. Но ты должен объясняться в присутствии оберштурмфюрера только по-немецки,— строго замечает по-немецки Решин и, повернувшись к эсэсовцу, добавляет: — Анализы будут готовы своевременно, герр обер-арцт.

Я облегчённо вздыхаю. Трюбер смотрит на меня пристально. Он явно не в духе. При дневном свете лицо у него кажется зеленоватым.

— Я не вижу оснований для вашего беспокойства относительно своевременности подготовки анализов, профессор, — медленно и, как всегда, в нос произносит Трюбер.

— Проверять всё заблаговременно — моя система, господин оберштурмфюрер.

— Здесь — другая система. Я отправлю в каменоломню всех лаборантов Вислоцкого, если они не выполнят в срок моего поручения. Они это знают, знайте это и вы.

— Слушаюсь.

Трюбер опять смотрит на меня.

— Мне не нравится поведение вашего санитаря. Он не смеет без стука входить в вашу комнату.

— Но, господин оберштурмфюрер...

— Возражения?

Решин молчит.

— Верните его Вислоцкому и попросите себе другого помощника, желательно немца с медицинским образованием.

— Слушаюсь.

— У меня есть претензии и к вам лично. О них я буду говорить позднее. Мы что-то путаем, но об этом после... Ты иди.

Прикрыв за собой дверь, я замираю. Неужели у Трюбера возникли подозрения?.. Что тогда будет со Степаном Ивановичем? И что теперь будет со мной?

## 6

Я опять стою перед Вислоцким в его кабинете.

— Вы пойдёте работать в мертвецкую, Покатилов. Сейчас я вас познакомлю со старшим писарем лазарета, вы будете находиться в его распоряжении.

Он нажимает кнопку.

— Пригласи сюда обершрайбера.

Старший писарь, высокий человек с густыми рыжими бровями, дружелюбно протягивает мне руку.

— Отто Шлегель.

— Обершрайбер объяснит вам ваши новые обязанности,— говорит Вислоцкий.— Всего доброго.

Мы с писарем выходим из амбулатории. Под ногами вода. В воздухе туман. Возле карантина нам попадается навстречу эсэсовец. Шлегель быстро снимает фуражку и, прижав её к бедру, вздёргивает подбородок. Я кошусь на него. Он старый политический заключённый.

Заметив мой удивлённый взгляд, Шлегель весело улыбается. Пройдя несколько шагов, он замечает:

— Идиотский обычай, не правда ли?

Он мне нравится — очевидно, он из той породы людей, которых нельзя искалечить духовно. Я почему-то уверен, что он коммунист, бывший ротфронтовец. Кроме того, он похож на моряка.

— Вы не из Гамбурга? — спрашиваю его, когда мы подходим к мертвецкой.

— Точно,— отвечает он.— Только не «вы», а «ты», разница в годах тут не имеет значения.

Дверь в мертвецкую полуоткрыта. Мы спускаемся в полуподвал.

— Дать свет, — громко говорит Шлегель.

Я слышу приближающиеся шаги. Щёлкает выключатель. Перед нами толстый бледнолицый человек в тёмном халате.

— Доброе утро, Хельмут.

— Доброе утро.

— Сдавай пост. Пойдёшь на спецблок.

— Хорошо.

Этот Хельмут представлялся мне самым нелюдимым человеком на свете. Он встречал нас, санитаров, всегда у входа в мертвецкую. Мы молча складывали трупы у двери, он молча относил их вниз. Я ни разу не слышал звука его голоса. Теперь он пойдёт на моё место к Решину. Значит, он тоже свой?

— Сколько у тебя сегодня? — спрашивает Шлегель.

— Восемнадцать.

— Формуляры уже здесь?

— Нет ещё.

— Ну, всё равно, отправляйся к Вислоцкому. Я всё сделаю сам.

Мы проходим через склад. Трупы лежат на низких каменных нарах. В помещении холодно, пахнет формалином. В конце мертвецкой маленькая застеклённая конторка. Там стол, два табурета, вентилятор под потолком. На столе — узкий фанерный ящичек, под столом — электрическая плитка.

Шлегель включает плитку. Мы садимся. Когда спираль нагревается докрасна, он спрашивает:

— Допрашивали тебя когда-нибудь?

— Да. После двух неудачных побегов.

— Чем интересовались?

— Кто мне помогал.

— Тебе помогали?

Молчу. Шлегель усмехается.

— Дай твою куртку. — Он прошупывает каждый шов. Обнаружив осколок бритвы, говорит: — Штыхлер жалуется, что ему без тебя стало трудно. Профессор Решин тоже очень хвалит тебя. Кстати, никакая опасность ему сейчас не грозит. Продолжим беседу...

Да, меня били до полусмерти. Да, я, конечно, предпочту самоубийство пыткам, тем более, что мне известен способ легко покончить с собой. Да, я комсомолец и горжусь тем, что могу быть полезен антифашистам здесь, в концлагере.

— Хорошо, — произносит Шлегель. — Твои формальные обязанности таковы: в восемь утра ты принимаешь трупы; тут же, в присутствии санитаров, просматриваешь, у всех ли умерших есть наручные номера, потом относишь мертвецов в подвал. В девять писаря приносят тебе формуляры. К десяти буду являться я. Затем убираешь помещение. В двенадцать — обед. К часу ты снова здесь. В половине шестого встречаешь по всем правилам блокфюрера: он будет считать мертвецов. В семь к тебе придёт машина из крематория; погрузишь в неё тела и передашь формуляры умерших дежурному эсэсовцу. После этого ты свободен до следующего дня. Понятно?

— Да.

— Теперь о главном. Я буду приходить сюда ежедневно. Иногда мне придётся возиться с номерами и формулярами. Ты будешь сторожить у выхода. При приближении кого-нибудь к мертвецкой выключишь на секунду свет — это сигнал. Также понятно?

— Да.

— Что тебя интересует?

— Ничего.

Мне, правда, интересно, что будет делать с номерами и формулярами Шлегель, но я понимаю — это то, о чём не спрашивают.

Скоро приходят писаря. Шлегель сам принимает у них карточки. Промотрев их, он встаёт и говорит мне: «До завтра». Я провожаю его до дверей.

На обратном пути в конторку моё внимание привлекает пара тощих волосатых ног. Является странная мысль, что я где-то уже видел эти ноги. Подхожу к мертвецу и ахаю — это Али-Баба. Глаза у него полуоткрыты, щёки провалились... Не спасла старика и должность шута и всё его адское терпение.

Смотрю на железный номер: 21716. Вернувшись к столу, открываю его формуляр. Читаю: Адольф Бергер, немец, рождённый в 1915 году; профессия — литератор; политический заключённый с 1941 года.

Кладу карточку на место. На душе становится муторно. Беру щётку, ведро с водой и принимаюсь за уборку. Подмывая пол возле нар, где лежит тело Бергера — Али-Бабы, ещё раз глядываюсь в его лицо. На нём застыло страдание. Он был неплохим человеком, но он и не помышлял о борьбе, и муки не оставили его до конца.

В полдень я отправляюсь на пятый блок, где живут мои товарищи и где теперь также должен жить я. Застаю Виктора. Он дружески меня обнимает. Мы идём к его койке и, как в прежние, кажется, очень далёкие времена, садимся вместе обедать.

— Ты постарел,— замечает Виктор.

— Ты тоже не помолодел.

— Крепко тебе досталось за эти полгода?

— Да, но, видимо, меньше, чем другим.

Я рассказываю Виктору о судьбе Али-Бабы. Он смотрит на меня тревожно своими грузинскими глазами и тихо бросает:

— Будь поосторожнее, Костя.

— Будь спокоен, Витя,— отвечаю ему.

Мне пора. Мы стоим ещё немного у двери. Виктор говорит, что завидует мне, и я ухожу в мертвецкую.

Во время проверки неожиданно получаю оплеуху от блокфюрера.

— Где «Ахтунг»? — спрашивает он.

Я объясняю, что работаю здесь первый день и ещё не совсем освоился со своими новыми обязанностями. Эсэсовец предупреждает — при появлении блокфюрера я должен быстро и чётко произнести «Ахтунг» и рапортовать по форме.

Ровно в семь приходит крытый брезентом грузовик. Я нагружаю его мертвецами и передаю дежурному унтершарфюреру формуляры. Он прячет их в карман, не переставая жевать бутерброд.

— Ты что уставился на меня так? — интересуется он.— Голоден?

— Нет.

— Тогда ты идиот. Проваливай.

Когда я возвращаюсь на блок, все мои товарищи уже в сборе. Спешу в умывальную, потом крепко трясу руку Олегу и Броскову.

Бросков мало изменился с той поры, как я видел его в последний раз. Такое же узкое нервное лицо, такие же твёрдые, неласковые глаза. На мой вопрос, долго ли нам ещё ждать освобождения, он отвечает:

— Что значит — ждать?

После отбоя мы ещё долго шепчемся. Виктор недоволен своим положением уборщика. Правда, ему поручают время от времени прятать котелки с супом, которые потом передаются больным, но это, на его взгляд, не работа, а так, пустячки. Старшина здесь свой парень, и вообще жить тут можно, но как-то неловко. Я утешаю Виктора, как могу: лучше же, если уборщик — порядочный человек, и потом неизвестно, что будет ещё впереди, — надо сохранить силы.

На следующее утро вслед за писарями в мертвецкую, является Шлегель. Среди умерших — двое русских. Шлегеля интересуют их формуляры. Я отхожу к двери. Через несколько минут Отто подзывает меня.

— Тула была оккупирована?

— Нет.

— Не годятся,— решительно произносит он, просматривает другие карточки и повторяет: — Не годятся.

Минует неделя, прежде чем Шлегелю удаётся подобрать нужные номера. В моём ящичке на месте формуляров трёх умерших русских, гражданских лиц из Курска, Белгорода и Орла, появляются формуляры трёх военнопленных. После ухода Шлегеля я знакомлюсь с их данными: все трое — офицеры-лётчики, и у каждого над личным лагерным номером стоят две красные буквы «SB».

Во время очередной встречи со Шлегелем я спрашиваю, что означает это «SB».

— Sonderbehandlung<sup>1</sup>, — отвечает Отто. — Люди с такой пометкой гестапо должны умерщвляться не позднее чем через месяц по прибытии в концлагерь... Они уже умерли,— добавляет он с усмешкой.

— Отто, а что написано в моей карточке?

— Цивильный, учащийся.

— Поэтому меня и санитаром устроили?

— Да, это помогло.— Рыжие брови Шлегеля начинают сердито шевелиться.

— У меня нет больше вопросов, Отто.

— И очень хорошо.

Я радуюсь: мы, оказывается, не только помогаем людям выжить, не только путаем расчёты фашистского учёного-людоеда, но, подменяя номера, мы спасаем товарищей и от верной гибели.

## 7

Приходит апрель. Наступает настоящая весна. Горячее солнце в несколько дней съедает остаток снега, высушивает лужи. Всё ощутимее становится запах хвои. Снеговые шапки на Альпах сжимаются, уползая к остриям вершин. Близится лето и вместе с ним час новых испытаний.

Стоя у двери мертвецкой на солнцепёке, я смотрю на восток.

— Алло,— раздаётся голос Шлегеля.

— Я.

— Пойдём вниз.

Гляжу на Отто. Он уже был сегодня у меня. Лицо у него озабоченное, даже сумрачное.

— Что случилось?

— Идём.

Спускаемся в подвал. Отто закуривает.

— Пойдёшь в лагерь.

— Когда?

— На днях.

Я уже хорошо усвоил привычку не задавать лишних вопросов, но сейчас, чувствую, без них не обойтись.

— Это надо?

— Да.

— А что всё-таки случилось?

Шлегель тушит сигарету, сбивая огонь на пол. Брови его шевелятся.

— Случилось, что случается здесь каждую весну. Комендант требует, чтобы мы регулярно поставляли рабочих для каменоломни,— в этом,

<sup>1</sup> Особая обработка (нем.).

между прочим, одно из назначений лазарета. Ну, а второе — лазарет тоже должен выполнять общий план ликвидации заключённых... Словом, триста дистрофиков скоро будут погружены в газовые автомобили.

Немного погодя, я спрашиваю:

— На место нынешних уборщиков, которые пойдут в лагерь, возьмёте больных?

Я понимаю, что это единственный способ спасти самых слабых.

— Точно.

Он опять поджигает сигарету и говорит:

— Когда придёшь в лагерь, найди на втором блоке Сахнова — не забудь этой фамилии. В бане повидайся с баденмайстером Эмилем. Эмилю скажешь, что Отто здоров. Он будет тебе помогать.

Я благодарю Шлегеля, он — меня, и мы расстаёмся до утра, когда я должен буду сдать свой пост.

Мне надо ещё зайти на спецблок — проститься с Решиным. Торвертер Рудольф гостеприимно распахивает передо мной дверь. Степан Иванович ведёт меня в свою комнатку и, взяв меня за обе руки, шепчет с одышкой:

— Не рассказывай ничего, я всё знаю... Бояться тебе нечего, ты на верном пути, и товарищи не дадут тебе сбиться... Помни то, что видел здесь: истинных людей и тех, кто недостойн звания «человек», не забудь ни хороших, ни чёрных дел; об этом потом, после войны, надо говорить без усталости, без усталости... Предостерегать, напоминать, разоблачать — вот святой долг тех, кто останется в живых, не забудь об этом. И ещё просьба личная... Побывай в Днепропетровске, разыщи моих родных и скажи им: ваш отец помнил о вас всегда... Девочки должны завершить образование, младшей, Соне, надо идти в музыкальное училище... Государство им поможет и... всё.

— Степан Иванович, мне не нравятся ваши слова.

— Люби правду и... всё. Прощай.

Я целуюсь со стариком и покидаю спецблок в самом подавленном настроении.

Вечером Олег говорит:

— Послезавтра идём в лагерь.

Виктор укоризненно смотрит на него.

— Обязательно во весь голос?

Он быстро засовывает в распоротый шов матраца два свёртка — это Броскову, он остаётся.

Бросков вытягивается на койке. Я гляжу на его тонкий, резко очерченный профиль, на плотно сжатые твёрдые губы и думаю, что у человека с таким лицом не может быть колебаний. Он поворачивает ко мне голову.

— Скажи свой домашний адрес.

Называю ему почтовый адрес матери. Он просит:

— Запомни мой: Москва, улица Горького, двадцать восемь, квартира сто пять.

— Горького, двадцать восемь, сто пять, — повторяю я. — Почему ты остаёшься, Игнат?

— Так надо.

Я догадываюсь, что Броскову предстоит какое-то опасное дело. Говорю:

— Я хотел бы тоже остаться.

Он отвечает:

— В этом нет нужды.

После отбоя, лёжа в темноте, я долго не могу сомкнуть глаз. Я думаю, что, когда придут в лазарет душегубки, можно было бы проколоть у автомашин баллоны. Или, ещё лучше, наброситься всей массой на охранников, разоружить их и дать бой. И тут такие, как Игнат, я, Олег

и Виктор, могли бы быть очень полезны: мы прикрывали бы отступление больных.

Следующим утром, сдав свой пост в мертвецкой высокому седому французу, я делюсь этими мыслями со Шлегелем. Он ворчит:

— Чепуха, бред. Никто не в силах предотвратить акции.

— А для чего здесь оставлен старший рабочий кухни?

— Это мне неизвестно. Не знаю... Надеюсь, ты больше никого не знакомил со своими ночными грёзами?

— Нет.

— Тогда забудь о них. Понял?

Я тяжело вздыхаю. Шлегель говорит, что я могу итти на свой блок. Мы ещё раз обмениваемся крепким рукопожатием.

Весь день я провожу у окна. Во дворе лазарета оживлённее, чем обычно. Из блока в блок переходят небольшие группы больных, сопровождаемые писарями. Трех приводят в наш барак. Вислоцкий поспешнее, чем всегда, идёт к спецблоку. Штыхлер, встретившись со Шлегелем у амбулатории, что-то говорит ему с очень расстроенным лицом.

В обед двор пустеет. Является Олег.

— Всё, — произносит он, заходя в наш угол. У него тоже расстроенное лицо.

Виктор, раздав суп — сегодня обедающих на блоке человек сорок, — садится на койку и вытирает потный лоб.

— Кончил? — спрашивает он Олега.

— Кончил.

— Ты тоже совсем?

— Совсем, — отвечаю я.

Пообедав, возвращаюсь к окну. Передвижение больных усиливается. Вислоцкий ещё раз скрывается на спецблоке. Мелькает фигурка Богдана, потом вижу Вилли — он, насвистывая, идёт к кухне. Примерно через час всё во дворе опять замирает.

Я опускаюсь на койку. Мне хочется закурить. Я встаю и попадаю на глаза старшине. Он посылает меня на первый блок — помочь новым уборщикам навести чистоту перед осмотром.

Иду, мою полы и, когда собираюсь обратно, слышу у двери: «Ахтунг!» Невольно отступаю к умывальной. Писарь, парикмахер и врач кидаются к выходу. Двери запахиваются, в палату входят Трюбер, его помощник и ещё какой-то хауптшарфюрер. Старшина блока рапортует. Трюбер, надев пенсне, говорит:

— Начнём.

Писарь достаёт из папки список. Парикмахер взбирается на верхний ярус первой койки, усаживает больного и перепрыгивает на соседнюю койку. Трюбер отводит глаза от сидящего и, ткнув пальцем на средний ярус, произносит: «Этого». Писарь делает пометку в своём списке.

— Этого, — звучит снова голос главного врача.

Писарь отмечает. Трюбер идёт вдоль палаты и, поворачивая голову то налево, то направо, повторяет:

— Этого, этого.

Помощник лениво бредёт вслед за ним. Хауптшарфюрер гремит коваными сапогами. У меня всё сильнее колотится сердце: я почему-то уверен, что, если главный врач увидит меня, он обязательно скажет: «И этого». Вытягиваюсь, стоя рядом с другими уборщиками; Трюбер, не взглянув на нас, поворачивает назад.

— Сколько? — доносится до меня его гнусавый голос.

— Сорок девять, господин оберштурмфюрер. — Писарь-немец щёлкает каблуками.

Хауптшарфюрер берёт у него список. Трюбер снимает пенсне. Старшина выкрикивает: «Ахтунг!»

На своём блоке я застаю всех на койках под одеялами.

— В чём дело? Разве и нас будут осматривать? Мы же не дистрофики?

— Такой приказ. Ложись, могут заявиться и сюда,— шепчет Виктор.

Проходят долгие, томительные минуты. Когда раздаётся удар колокола — сигнал поверки,— я говорю, что теперь уж Трюбера у нас не будет. И в этот момент, как назло, у выхода звучит: «Ахтунг!»

Приподнимаю голову. В дверях — эсэсовцы.

— Что здесь? — спрашивает главный врач.

— Блок выздоравливающих и рабочих кухни. Сто два заключённых,— докладывает старшина.

— Всех выздоравливающих в лагерь, завтра же... Делать нам здесь нечего,— говорит Трюбер помощнику.

Утром в последний раз обнимаемся с Бросковым. Внешне он спокоен, но очень много курит.

— Не забудьте моего адреса,— просит он, уходя.

Возле амбулатории нас собирается человек сорок. Бывшие уборщики, санитары и особенно рабочие кухни выглядят вполне здоровыми людьми. Прощаясь ещё раз в душе с Решиным, Штыхлером, Шлегелем, Вислоцким, я снова мысленно благодарю их. Мы прошли здесь хорошую школу. Скверно одно: предстоящая акция...

Идём в лагерь строем. Солнце припекает совсем по-летнему. На косогорах кое-где зазеленело, у колючей проволоки зоны оцепления часовые стоят без шинелей.

Вечером, уже в лагере, незадолго до отбоя, до нас долетают беспорядочные винтовочные и револьверные выстрелы, потом—автоматная дробь. Пальба доносится с той стороны, откуда мы пришли утром. Нас загоняют в барак. Я, Виктор и Олег, стиснув зубы, молча смотрим друг другу в глаза.

Подробности я узнаю много позднее. Оказывается, в лазарете всё произошло почти так, как я и надеялся. Заранее подготовленные больные и часть уборщиков кинулись на конвойных. Охрана была смята. Нашим удалось захватить несколько машин и вывезти из кольца человек восемьдесят самых слабых (потом многие из них были спрятаны австрийскими крестьянами). Остальные бросились через открытые ворота в лес. Большинство полегло на месте от огня часовых-автоматчиков с вышек. Среди убитых нашли потом и тело Степана Ивановича Решина, отобранного Трюбером для удушения, — предчувствие не обмануло старика. Руководил всей операцией Игнат Бросков, тоже павший в бою.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### 1

В лагерь мы прибываем в субботу, а в воскресенье утром я отправляюсь на поиски Сахнова, которого велел мне найти Шлегель.

Вхожу в помещение «А» второго блока. За квадратными столами сидят немцы — завтракают. Маргарин они намазывают на тонкие ломтики хлеба настоящими столовыми ножами, кофе пьют из больших белых кружек. У открытой двери немолодой чех в синем берете курит. Говорю ему:

— Мне надо видеть русского, Сахнова.

— Пройди напротив. — Чех дымящейся сигаретой указывает на вторые двери, через коридор.

Иду в помещение «Б». Здесь тоже завтракают. У выхода невысокий сухонький немец с зелёным винкелем уголовника завинчивает крышку бачка.

— Мне хотелось бы...

— Что?!

— Мне хотелось...

— Прочь, прочь! Подавать нечего.

— Я не прошу подавания, я хочу только узнать...

— Фриц, — раздаётся из-за ближнего стола мрачный голос, — дай ему по морде. Одолели проклятые поляки.

Гляжу на говорящего. Тоже с зелёным винкелем. Локти на столе, рукава засучены, на вилке — кружок зажаренной колбасы. Вероятно, какой-нибудь капо. Поворачиваюсь и выхожу на крыльцо. Придётся ловить Сахнова на улице. Интересно, как мог попасть в такую компанию русский? Кто он?

— Прочь! — слышится снова шипение Фрица.

Я перехожу через двор, чтобы издали следить за входящими и выходящими из второго блока. На окнах правой половины первого блока вижу белые решётки; форточки открыты, в одной из форточек... смазливое женское лицо.

— Подойди поближе, — доносится до меня мелодичный голос.

Оглядываюсь. Никого, кроме меня, возле зарешеченных окон нет.

— Ты, ты, — ласкающе звучит из форточки.

До чего же я отвык от женского голоса! Подхожу, странно робея.

— Ты красивый парень, и я с удовольствием бы с тобой поболтала, но у меня дело, — говорит женщина, очевидно, одна из тех, о которых когда-то рассказывал Шурка. — Найди, пожалуйста, Лизнера и передай, что мне надо срочно его видеть. Получишь за это пару сигарет.

Мне кажется, что я ослышался.

— Что вы хотите?

— Лизнера, Пауля Лизнера, капо... Ты не знаешь его?

Нет, не ослышался. Другого капо с тем же именем и с той же фамилией в лагере нет. Значит, Лизнер тогда остался жив?

Я молча поворачиваюсь и отхожу в противоположный конец двора. Горечь наполняет моё сердце. Ведь мы все были уверены тогда, что Шурке удалось покончить с надсмотрщиком, что Шурка погиб не напрасно. А Лизнер выжил... Да, в одиночку здесь, как видно, много не сделаешь, героизм одиночек ничего изменить не в силах. Собственно, иначе и не могло быть. Теперь, после лазарета, это для меня несомненно. Я снова испытываю острую потребность найти человека, которого мне назвал Шлегель и который, вероятно, должен ввести меня в коллектив.

Останавливаюсь на перекрёстке. Отсюда видна часть плаца. Там по двое, по трое прогуливаются хорошо одетые заключённые. Возможно, там и Сахнов. Но как его узнать? Меня разбирает досада. Решаю вернуться к себе на одиннадцатый блок, а во время раздачи обеда ещё раз наведаться на второй.

Иду обратно. Около шестого барака встречаюсь с худым сутуловатым человеком. Узнаю в нём Валентина.

— Здравствуй, — говорит он. У него всё такое же измождённое лицо. — Про Антона знаешь?

— Нет.

— Антон погиб сегодня утром. — Под жёлтой кожей на лице Валентина перекатываются желваки.

— Разве он больше не работал на кухне? — помолчав, спрашиваю я.

— А разве это не могло случиться на кухне? Он перерезал себе сонную артерию.

Мне всё понятно. Я гляжу на Валентина. Он смотрит куда-то поверх моей головы. Потом глухо спрашивает:

— Где ты был?

Я знаю теперь, что Валентин, как и покончивший с собой Антон, принадлежит к одному со мной союзу. Скрываться от него особенно нечего.



— Я хотел повидаться с Сахновым. Меня просил об этом один человек из лазарета.

— Я Сахнов, и я ищу тебя уже битый час. Сейчас разговаривать нам не придётся, встретимся возле одиннадцатого блока после обеда.

Возвращаюсь к себе в барак. В помещении полно народу — очередь. У окна трудятся два парикмахера: простигают в волосах полосы и бреют. Виктор и Олег сидят за столом. Подсаживаюсь к ним.

— Тебя спрашивал земляк, — сообщает Виктор.

— Я встретился с ним... Очередь заняли?

— Да.

— Сегодня зарезался Антон.

Друзья придвигаются ближе. Говорю, что подробности мне неизвестны, но что попался он, очевидно, на чём-то крупном.

— И ещё новость, — говорю я. — Лизнер, оказывается, выжил.

Является старшина блока. Это суровый на вид человек с глубоким рваным шрамом на скуле. Зовут его Генрих. Я ещё не видел, чтобы он кого-нибудь ударил.

— До проверки все должны побриться, — резким голосом объявляет он. — Антонио!

— Хорошо, — не отрываясь от работы, отвечает один из парикмахеров, он же, видимо, помощник старшины, красивый молодой испанец с ямочкой на подбородке.

— Антонио, — повторяет Генрих, — в шлафзале и тут должна быть идеальная чистота.

Он добавляет несколько слов по-испански. Антонио по-испански что-то быстро отвечает ему.

Нас, новоприбывших, всё ещё удивляют порядки в «общем» лагере. Здесь много свободнее, чем на карантине. Там нам, рядовым заключённым, не разрешалось даже останавливаться в комнате блокперсонала, а здесь эта комната для всех, со столами и табуретами. Даже шкафы есть, где хранятся миски, ложки, полотенца. В шлафзале — двухъярусные койки. А главное, незаметно пока тех мелких придирок, которыми так досаждали нам на карантине все, начиная с Янека и кончая старшиной лагеря. Очень похоже на то, что мы из глубины ада переместились на ступеньку выше, поближе к свету. Правда, ещё неизвестно, что нас ждёт на работе.

— Насчёт работы ещё ничего не объявляли?

— Пока нет, — отвечает Олег. — Пойдём, наверно, как и все, в каменоломню.

Часа через полтора, покончив со стрижкой и бритьём, Антонио выпроваживает всех на улицу. Виктора он просит остаться — помочь сделать уборку. Мы с Олегом отправляемся на площадь.

Светит солнце, очень тепло, и ничто не говорит об ужасах, которые мы привыкли видеть в Брукхаузене.

Олег предлагает прогуляться до ворот восемнадцатого блока. Идём туда. Я спрашиваю торвергера-немца, работает ли здесь ещё Виктава.

— Ярослав Виктава? Он работает сейчас в каменоломне помощником Лизнера. Вы его приятели?

— Нет, скорее наоборот. А что делает в каменоломне Лизнер?

— Вы, собственно, откуда, что ничего не знаете?

— Мы вчера вернулись из лазарета.

— Ага... Пауль Лизнер, как и раньше, капо штрафной команды, только в каменоломне.

— И Виктава — его помощник?

— Совершенно верно.

Говорю Олегу по-русски:

— Неужели нас опять сунут к Лизнеру?

Олег пожимает плечами.

На обратном пути нас застаёт залиvistый свисток и густой мелодичный звон колокола. Ускоряем шаги. На площади перед бараками люди уже выстраиваются. Присоединяемся к своим. Генрих чётко произносит: «Налево!» — и мы идём к центру плаца. Почти одновременно с нами на площадь выходят из проулков другие колонны. Несколько минут спустя весь огромный плац, заставленный прямоугольниками колонн, замирает. Открываются ворота. Гремит «хайль». Появляются лагерфюрер Майер, какие-то штатские и большая группа эсэсовцев-блокфюреров.

Начинается поверка. Старшины бараков рапортуют эсэсовцам, те пересчитывают заключённых и расписываются в книгах. Всё протекает мирно — без крика и зуботычин, — прямо не верится глазам. Поверка заканчивается необычайно быстро. Мы строем доходим до своего блока, и здесь нас немедленно распускают.

Входим по одному в помещение — чисто, светло. Открываем шкаф, чтобы взять миски, и оказывается, что тут появились вилки, ножи и даже салфетки. Получаем суп. И какой! Картофельный, пахнущий мясом... Непонятно, что случилось.

Покончив с супом, выхожу на улицу. Сахнова ещё нет. Вижу: из переулка, где расположен второй блок, показываются Майер и какие-то штатские. Они останавливаются перед канцелярией. Лагерфюрер что-то говорит им, улыбаясь и указывая пальцем на ту часть первого барака, где живут невольницы. Штатские тоже улыбаются, но сдержанно. Из канцелярии выходят заключённые, держа в руках... книги, настоящие книги! За ними появляются люди, несущие какие-то чёрные футляры. Ещё через некоторое время вижу, как на плацу, напротив ворот, группа заключённых начинает сооружать что-то, напоминающее боксёрский ринг. Из футляров извлекаются кларнет и саксофон. Просто чудеса! Майер и штатские наблюдают за приготовлениями музыкантов.

Из переулка выходит Сахнов.

— Что происходит в лагере? — спрашиваю его.

— Очередная комедия по случаю приезда комиссии Международного Красного Креста, — говорит он, болезненно морщась, и тихо добавляет: — Походим по плацу, так удобнее разговаривать.

На площади снова появляются прогуливающиеся хорошо одетые заключённые. Число их растёт. Я спрашиваю Валентина, что это за люди.

— Писаря, парикмахеры, портные, сапожники — словом, те, кто не носит камни. Здесь их называют променентами.

— А ты где работаешь, Валентин?

Сахнов опять строит болезненную гримасу.

— Я тоже променент, техник баубюро. Я инженер...

Мы приближаемся к рингу. Ещё издали замечаю багровую физиономию Лизнера; он неторопливо расстёгивает пиджак. Рядом с ним очень рослый, с дряблым телом человек снимает рубашку. Я узнаю его — это Гардебуа. Я и раньше по его расплюсченному носу догадывался, что он боксёр. Музыканты начинают пробовать инструменты.

— Давай обратно, — предлагает Сахнов.

Когда мы достигаем середины плаца, он говорит:

— Сейчас к нам подойдёт один человек — его зовут Иван Михайлович, — он должен поговорить с тобой. С ним можешь быть, как с Решинным или со Шлегелем, — мы всё знаем... Лезвие при тебе?

— Да.

— А вот и он... Руку ему не подавай.

Я догадываюсь, что Иван Михайлович — руководящий товарищ в нашем союзе, и с интересом поглядываю на него. Он приближается к нам со

стороны шестого блока. Ничего героического в его наружности не нахожу: лицо простое, некрасивое, тронутое чуть-чуть оспой; на лбу, около глаз и рта — резкие морщины. Ему, очевидно, уже за сорок.

— Не останавливайтесь, не останавливайтесь... Здравствуйте, — проносит он, подходя, берёт нас с Валентином под руки и добавляет: — Сегодня воскресенье, мы прогуливаемся, так что выглядеть рекомендую повеселее.

Голос у него спокойный, с лёгкой хрипотцой. Я смотрю на него ещё раз и встречаюсь с неторопливым, умным, видящим всё насквозь взглядом. Он спрашивает:

— Как самочувствие после лазарета?

— Спасибо, отдохнул.

Он усмехается. Валентин достаёт сигарету. Иван Михайлович, помолчав, говорит:

— Расскажите нам, пожалуйста, о себе.

Я гляжу на крематорий, на плоскую закопчённую трубу с железной лестницей, на колючую проволоку над стенами и думаю: что рассказывать? О чём?

— Об отце, о родных, о том, как жили... Пожалуйста, товарищ Покатилов.

Слово «товарищ» сразу согревает меня — дорогое, не оценённое ещё в полной мере слово... Отвечаю, что отец умер ещё до войны.

— А ваша мать... получает за него пенсию?

— Получает... Ей помогают и сёстры. У меня старшая сестра — педагог... Я, между прочим, жил у неё до войны. А вторая сестра была ответственным секретарём в районной газете, она старше меня всего на четыре года...

Меня вдруг охватывает сильнейшее желание всё вспомнить — вспомнить, чтобы хоть мысленно побыть в том далёком, прекрасном и таком невозможном теперь для меня мире. Я знаю, что потом мне будет очень больно. Я всегда боялся здесь вспоминать прошлую жизнь — боялся возвращения к действительности. Но сейчас мне почему-то не страшно, и я благодарен этому человеку, по имени Иван Михайлович, за то, что он заставил меня вернуться в светлый мир моего прошлого. Я подробно рассказываю о своём детстве и школьных годах.

— Понятно, — проносит Иван Михайлович, когда я умолкаю. Глаза его блестят. — Ну, что ж... Костя. Остальное нам известно. И последний вопрос: хотел бы ты быть сейчас там... на передовой?

Вздыхаю.

— А тебе не приходило в голову, что у нас здесь тоже передовая?

— Приходило.

Иван Михайлович, не мигая, округлившимися глазами смотрит перед собой.

— Я могу одно обещать тебе... вам, товарищ Покатилов. Мы не будем неизвестными солдатами — это время минуло... Действуйте. Товарищи в вас верят.

Мы идём некоторое время молча. Возле шестого барака Иван Михайлович отделяется от нас. Я только сейчас замечаю, что у него очень прямая фигура — повидимому, он военный. Сахнов, проводив его глазами, говорит:

— Завтра ты пойдёшь в каменоломню, в команду Зумпфа. Там мощный капо — твой товарищ по лазаретному карантину, Петренко. Он даст тебе подходящую работу — вероятно, по уборке. Используй её так, чтобы завоевать уважение иностранцев. Скоро знание немецкого и польского языков тебе пригодится.

— Вопрос можно?.. У меня друзья. Нельзя ли их в одну команду со мной?

— У них будет другая работа. Мы их устроим в лагере, может быть, одного даже на кухню... Нам пора расходиться... Да, связь будешь поддерживать пока только со мной, и, конечно, никому ни о чём ни слова.

Оставшись один, я возвращаюсь к рингу. Лизнер прижимает Гардебуа к канату. Когда француз отскакивает, капо наносит ему сильный удар ниже пояса. Гардебуа, скорчившись, валится набок. Рефери, косоротый толстый человек, ведёт счёт. Потом вздёргивает руку Лизнера кверху и торжественно произносит:

— Победитель — Германия!

Со стороны ворот — там Майер и штатские в плетёных креслах — аплодируют. Оркестр исполняет туш.

Я разыскиваю в толпе Виктора и Олега и предлагаю пойти в баню. Надо встретиться с товарищем Шлегеля — баденмайстером Эмилем; Шлегель говорил, что этот баденмайстер будет нам помогать. Проходя мимо первого блока, вижу в зарешеченном окне лицо моей утренней знакомой — она, глядя на ринг, радостно улыбается.

## 2

Всё лето, осень и начало зимы я работаю в команде Зумпфа уборщиком. Каждое утро, спустившись в каменоломню, я раздаю людям лопаты и кирки, вооружаюсь железными граблями и занимаю свой пост возле больших каменных глыб, отгораживающих нашу площадку от остального карьера. Здесь наш наблюдательный пункт. Если поблизости появляется командофюрер, оберкапо Фаремба или главный охранник каменоломни Фогель, я подаю сигнал «агуа». Товарищи, занятые переноской и сортировкой камней, резко ускоряют свои движения.

Наш капо, долговязый, немолодой уже немец уголовник, проводит большую часть дня в своей будке и выглядывает по сигналу «агуа» наружу только для того, чтобы доложить начальству, что в его команде сто пятьдесят заключённых и все они налицо. Так как оберкапо и эсэсовцы застают нас всегда напряжённо работающими, Зумпф у начальства на хорошем счету. Он понимает, что существующий в команде порядок — дело рук Петренко, и никогда не вмешивается в его распоряжения. Я сразу заметил, что он даже как-то особенно расположен к своему помощнику. Потом Зумпф сам сказал мне, что Петер (так называет он Петренко) два года тому назад спас ему в лазарете жизнь.

За полгода работы в каменоломне у меня появляется много новых друзей. Ближе всего я схожусь с итальянцем Джованни Готта, бывшим пилотом, и с Анри Гардебуа. Одна из моих обязанностей как члена подпольной организации (теперь это для меня не секрет) заключается в том, что я снабжаю их информацией о положении на фронтах, а они проводят беседы со своими соотечественниками. Информацию эту я в свою очередь получаю от Сахнова, связанного через писаря-чеха с лагерной канцелярией, куда поступают два экземпляра газеты «Фолькишер беобахтер».

Время идёт, и иногда уже кажется, что есть надежда продержаться до конца войны, несмотря на массовые истязания в штрафной у Лизнера и каждодневные расправы с провинившимися на холме в центре каменоломни под наблюдением оберкапо Фарембы.

К середине декабря, однако, положение меняется. В лагере объявляют о формировании новой команды — «Рюстунг». В неё рекрутируют всех бывших рабочих-металлистов: слесарей, токарей, фрезеровщиков. Они должны будут работать в мастерских, построенных в северо-западном углу каменоломни и предназначенных для сборки частей самолётов. По решению интернационального комитета нашей организации в команду направляется большая группа подпольщиков. Среди них оказываюсь и я,

записанный как бывший учащийся авиационного техникума. Наступает полоса новых испытаний...

Нас двести пятьдесят человек. Мы стоим обособленно, сразу за командой «Штайнбрух». Морозный туман висит над плацем — топаем колодками, трём рваными рукавицами носы и уши.

В первом ряду вместе со мной — Петренко, Джованни, Гардебуа. Одно, крайнее, место свободно — это место Зумпфа, вновь назначенного нашим надсмотрщиком.

— Прохладно, — поёживаясь, говорит Петренко, — градусов, видимо, пятнадцать. Как думаешь?

— Градусов восемнадцать, наверно, — отвечаю я и прошу его поменяться со мной местами.

Меняемся. Теперь я рядом с Джованни. Итальянец дрожит, его посиневшее лицо — в пупырышках, кончик тонкого, с горбинкой носа — пунцовый: он его беспрерывно трёт.

— Не забывай про уши, Джованни, — советую ему.

Он, благодарно кивнув, сбрасывает рукавицы и зажимает уши ладонями, потом снова хватается за нос.

Джованни Готта и Анри Гардебуа, как мне только что сообщил Валентин, утверждены членами руководящей тройки, которой предстоит возглавить деятельность всех подпольщиков на предприятии. От советского отделения организации в эту тройку направлен я. Джованни будет у нас старшим. Задача наша сейчас такова: во-первых, внушить всем товарищам, что они с самого начала должны работать как можно медленнее, но так, чтобы к ним не могли придрататься — никаких отказов от работы, никакого открытого возмущения не должно быть; во-вторых, войти в доверие к гражданским мастерам, которые будут работать на этом предприятии. Кроме того, нам — мне, Джованни и Анри — надо в кратчайший срок выведать, чем точно будут заниматься мастерские и какова их производственная мощность.

...Трогаются последний ряд рабочих «Штайнбруха».

— Марш!

Трогаемся и мы. Заключённые из других команд, стоящие по обе стороны от нашей колонны, смотрят на нас с сожалением. Многие из наших идут с опущенными головами — ведь мы должны строить самолёты врагу.

— Джованни, — говорю я, когда мы минуем ворота, — мне кажется, что тебе и Анри надо устроиться помощниками капо. Это можно было бы сделать через Петренко. Передай Анри и скажи мне, что он думает на этот счёт.

Джованни, медленно ворочая непослушными губами, что-то говорит Гардебуа по-французски. Анри сутулится, но ушей не трёт — холод он переносит легче итальянца. Я разбираю два его слова: «капо» и «уй» — «да».

— Анри согласен. Потом он считает, что нам надо как-то попасть в разные цехи и встречаться только во время перерыва на обед. Я разделяю его мнение, — замечает Джованни.

Спускаемся на дно каменоломни. Не останавливаясь, следуем мимо двухтысячного строя команды «Штайнбрух», огибаем заиндевевший холм и входим в ворота предприятия. Во дворе, окружённом колючей проволокой, нас встречают командофюрер и какой-то гражданский мастер с красной повязкой на рукаве пальто. Поверка заканчивается в две минуты, и вот мы в просторном, тёплом и светлом цехе.

Мастер, сняв пальто, шляпу и оставшись в тёмном халате с такой же красной нарукавной повязкой, подходит к нам ближе; мы стоим полукругом. Зумпф, щёлкнув каблуками, называет свою должность и фами-

лию. Мастер говорит: «Я обер-мастер Флинк» — и делает ещё шаг нам навстречу.

— Кто это, французы или поляки? — быстро спрашивает он Зумпфа, конфузливо улыбаясь и встряхивая яркорыжими кудрями.

— И французы, и поляки, и итальянцы, и русские — кто угодно, — радостно отвечает Капо.

— Как же я буду с ними объясняться?

— Они почти все хорошо понимают по-немецки.

Флинк смотрит на нас в замешательстве и вдруг дёргает плечом.

— Через несколько дней мы с вами начнём собирать детали самолётов, а пока будем устанавливать оборудование, — говорит он, продолжая улыбаться. У него большой рот и редкие жёлтые зубы.

Мы молчим. Обер-мастер снова спрашивает Зумпфа, понимаем ли мы его. Капо утвердительно кивает головой и, желая, вероятно, объяснить, почему у нас угрюмый вид, заявляет, что мы голодны. Флинк широко открывает рот — «Вот оно что!» — и опять дёргает плечом.

— Наша фирма будет давать вам приличный суп, а по четвергам добавок гуляш.

— Гуляш? Настоящий гуляш? — с живостью переспрашивает Капо.

— Да, то есть немного картофеля, мяса и подливки.

Зумпф мечтательно полузакрывает глаза и глотает слюну — острый кадык его совершает движение вверх и вниз.

— Гуляш, — шепчет он. — Я восемь лет не ел настоящего мяса.

Флинк, дёрнув плечом, отходит в сторону, потом возвращается, смотрит на часы и говорит Зумпфу:

— Через пятнадцать минут придёт первый состав с оборудованием. Отправьте половину команды к железной дороге, там их будут ждать грузовики и треллер. Остальные пусть останутся здесь. У вас есть помощники?

Капо указывает на Петренко. Тот вытягивается.

— Прекрасно, — произносит Флинк. — Пусть он и поведёт людей к составу, а мы здесь займёмся приёмкой грузов.

Я прошу Петренко, как это мне было поручено, рекомендовать Зумпфу Джованни и Анри: возможно, ему потребуются новые помощники. Петро обещает сделать всё возможное и вскоре подводит к Капо француза и итальянца.

Я отправляюсь с группой Петренко в северо-восточный угол котлована. Здесь второй, железнодорожный выезд из каменоломни. В ожидании состава рассматриваем большие трёхосные автомашины, стоящие подле каменного перрона, широкую низкую платформу на резиновых колёсах — треллер, высокий автокран. Через полчаса мы нагружаем автомашины столами и тяжёлыми запечатанными ящиками, автокран переносит на треллер три клепальных станка, гражданские мастера, приехавшие на поезде, садятся в кабины грузовиков, и мы можем идти обратно.

— Пойдём в обход, — говорит Петренко. — Спешить нам некуда.

Он подаёт команду строиться и поднимает воротник пиджака. Многие следуют его примеру. Трогаемся по привычке в ногу — раздаётся гулкий стук деревяшек по замёрзшей земле.

Когда приближаемся к огромной овальной яме, где работают штрафники, Петро дёргает меня за рукав.

— Глянь наверх, на выступ, туда, выше!

Я поднимаю голову — над самой ямой, наверху, где протянулся ряд заиндезельных кустов, шарахаются от обрыва трое: эсэсовец, Лизнер и ещё один с ломом в руке. В ту же минуту от вершины скалы медленно отделяется выпиравшая вперёд острая массивная глыба; у меня от волнения спирает дыхание — глыба отваливается и летит, таща за собой себребристый хвост пыли. Внизу, на пологой площадке, где копошатся лю-

ди, раздаётся крик и сейчас же обрывается — его заглушает грохот...

Мы торопливо сворачиваем влево. Петренко бледен и смотрит себе под ноги. Теперь я дёргаю его за руку — от каменного холма прямо на нас катит на велосипеде главный охранник Фогель. Он, очевидно, наблюдал за расправой над штрафниками.

Петро, опустив воротник, выходит из строя и начинает подсчитывать ногу, а когда эсэсовец равняется с головой колонны, выкрикивает: «Шапки долой!»

Фогель, тормозя, косится на Петренко. Тот старательно печатает шаг. Хауптшарфюрер круто разворачивается и нагоняет его.

— Что за команда? — спрашивает он. На нём тупые, с толстой подошвой альпийские башмаки и меховые перчатки.

— Команда «Рюстунг», сто двадцать заключённых! — рапортует Петренко, продолжая шагать.

— Стойте!

Мы останавливаемся.

— Что вы тут делаете? Прогуливаетесь?

— Мы разгружали столы и машины, — с трудом подбирая немецкие слова, отвечает Петро.

— Поляк?

Петренко молчит, потом негромко произносит:

— Украинец.

— Живо! Камни носить! Живо! — взвизгивает Фогель и, вихляя колесом, выводит велосипед на дорогу.

В каменоломне нет недостатка в камнях. Они всюду. Петренко, наклонившись, отдирает от земли увесистый, пуда на два, кругляк. Наши взгляды встречаются. Мы оба знаем, что будет дальше... Прощай, Петро, хороший, скромный товарищ, прощай и прости: я ничем не могу тебе помочь — ты это понимаешь. Опускаю глаза и слышу срывающийся, снова переходящий на визг возглас:

— Живо!

Петро выходит с камнем на дорогу. Фогель, продолжая кружиться на велосипеде, достаёт маленький браунинг.. Сколько людей было уже тут убито на моих глазах, но на этот раз я не могу смотреть... Я поворачиваюсь лицом к строю — люди стоят с обнажёнными головами. Выстрел заглушает мою команду «Марш!». Эхо воспроизводит выстрел.

...Входим в ворота мастерских. Флинк встречает нас у двери, поглядывая на часы. Я прошу товарищей остановиться и докладываю:

— Помощник капо убит.

Обер-мастер ничего не понимает.

— Как это «убит»? — Он дважды дёргает плечом.

— Его убил главный охранник каменоломни выстрелом из револьвера.

Флинк, покраснев, отступает к двери. Мы входим в цех. В центре помещения и вдоль стен люди расставляют столы, гражданские мастера возятся со станками. Я иду вслед за Флинком к Зумпфу, который стоит на пустом ящике и наблюдает за работой. Обер-мастер подходит к капо и говорит, вынимая из кармана кронциркуль:

— Господин Зумпф, мне сказали, что ваш помощник, который водил рабочих на разгрузку состава, убит.

Капо соскакивает с ящика — ящик опрокидывается.

— Его застрелил хауптшарфюрер, когда мы приближались к холму, — добавляю я.

Зумпф смотрит на меня пустыми глазами. Его толстая нижняя губа вдруг отваливается и начинает дрожать. Он переводит взгляд на дверь, на столы, на окна, отворачивается и молча, с втянутой в плечи головой уходит в соседний цех.

— Господин обер-мастер,— обращаюсь я к Флинку.— Сегодня у нас это не единственное убийство. Полчаса назад умышленно раздавлены каменной глыбой многие люди. Вы ещё не знаете об этом?

— Молчать! — выкрикивает вдруг, весь побагровев, Флинк.

Я гляжу на него, не мигая.

— Передайте Зумпфу, чтобы он нашёл себе другого помощника и продолжал наблюдение за работой.

Дёргая плечом, Флинк направляется к выходу. Я вижу, что он никак не может попасть кронциркулем в карман.

Через некоторое время я говорю Зумпфу:

— Ты обещал Петру взять себе в помощники итальянца и француза.

Зумпф бормочет:

— Обещал, да, обещал, итальянца возьму, а против француза обер-мастер возражает: плохо владеет немецким, но это ничего, я найду ему хорошую работу... Они были товарищами Петера?

— Да.

— А ты был его друг. Я тебя ещё лучше устрою. Пока я капо, тебе будет у меня хорошо.

### 3

В обеденный перерыв я, Джованни и Анри уединяемся в дальнем углу. Усевшись на стол, медленно едим шпинатный суп и поглядываем по сторонам. На нас никто не обращает внимания.

— Мы должны немедленно побеседовать с людьми,— говорит Джованни.— Убийство Петера произвело на всех гнетущее впечатление. Надо объяснить товарищам, что борьбу мы всё равно не прекратим, но нам надо действовать крайне осторожно. Пусть люди пока в точности исполняют все распоряжения мастеров. Нужно добиться расположения цивилизованных, а может быть, и сочувствия: это облегчит нам работу в будущем... А пока надо осмотреться. Согласны?

Анри и я утвердительно киваем головой.

Во второй половине дня мы распечатываем тяжёлые ящики, привинчиваем к столам тиски, раскладываем по рабочим местам инструмент: молотки, зубила, обжимки, электрические дрели. Просторное помещение, разделённое на три секции, приобретает вид настоящего заводского цеха. Возле окна, неподалёку от входа, ставится широкий стол и над ним прибавляется табличка: «Контролёр».

К вечеру я успеваю поговорить почти со всеми активистами, работавшими вместе со мной в каменоломне. Вернувшись в лагерь, иду в котельную, расположенную в подвальном помещении бани. Иван Михайлович— он дежурный слесарь — подробно обо всём расспрашивает меня. Наши установки он одобряет: осмотреться нужно, конечно, прежде всего. Побарабанив пальцами о стол, он говорит:

— Первое время вас, наверно, будут обучать, потому что сборка частей самолёта немислнна без специальной подготовки. Если это будет так — а это должно быть так,— ваша задача растянуть время ученичества. Всё.

На следующее утро во двор «Рюстунга» въезжают крытые брезентом автомашинь. Мы под руководством Джованни выгружаем связки лёгких дюралевых деталей и разносим их по столам. В одной из машин обнаруживаем стальные изогнутые пластины — их приказано сложить у станка.

Я понятия не имею о назначении всех этих частей. Спрашиваю Джованни. Оказывается, это детали первюра. Что такое первюра, мне известно как бывшему авиамоделисту — я сам их изготовлял, правда, не из дюрала, а из бамбуковых палочек. Тогда я пробовал даже изучать аэродинамику. Но с той поры в голове моей остались лишь самые общие сведения



об устройстве самолёта: плоскости, состоящие из нервюр и лонжеронов, фюзеляж и в нём шпангоуты и стрингеры...

Покончив с разгрузкой, мы занимаем рабочие места. Флинк встаёт у центрального ряда столов, три других мастера — возле боковых. Вдруг в цех заходит Зумпф и выкрикивает мой номер.

— Здесь!

— Ко мне!

Когда я подхожу к капо, он шепчет что-то обер-мастеру. Тот дёргает плечом. Зумпф говорит:

— К обер-контролёру господину Штайгеру, быстро!

Мне становится не по себе. Я видел вчера обер-контролёра: типичный переодетый гестаповец — подтянутый, щеголеватый, с недоброй кривой усмешкой. Уж не донёс ли на меня Флинк за сообщение об убийстве штрафников?

Делаю незаметно знак Зумпфу — хочу, мол, поговорить. Он топает ногой.

— Быстро!

Выхожу из цеха, сворачиваю за угол и останавливаюсь у двери застеклённой беседки, сложенной из гладких камней. Стучусь.

— Пожалуйста.

Вхожу. Очень тепло, много света, пахнет духами.

— Покатилов?

— Так точно.

— Почему не здороваются?

— Добрый день.

— День. Проходите.

Поднимаю глаза. Штайгер — в мягком светлосером костюме, лицо розовое, на лацкане пиджака круглый значок с изображением свастики. Подхожу к его столу, заваленному чертежами.

— Можете сесть.

Сажусь, гляжу на покрытый линолеумом пол. Слышу:

— Мне рекомендовали вас как дисциплинированного и грамотного хефтлинга. Это так, не правда ли?

Нет, кажется, это не вопрос. Выпрямляюсь и говорю:

— Мне самому трудно об этом судить, герр обер-контролёр.

Штайгер скалит крепкие белые зубы.

— Ответ ваш мне нравится. Вы прекрасно владеете немецким... Однако перейдём к делу.

Он достаёт сигарету. У меня вновь мелькает подозрение. Штайгер говорит:

— В вашей карточке записано, что вы учащийся авиационного техникума. Что такое техникум?

— Это среднее техническое учебное заведение, герр обер-контролёр.

— Кем становятся люди, завершающие курс обучения в авиационном техникуме?

— Техниками.

— Так. Читаете ли вы чертежи?

— Плохо.

— Это мы сейчас проверим. Перейдите сюда.

Нет, это, конечно, не вопрос. Пока я огибаю стол, Штайгер разглаживает белой короткопалой рукой верхний чертёж. На его среднем и безымянном пальцах поблёскивают дорогие камни. В правом нижнем углу чертежа различаю надпись: «Мессершмитт-109».

— Итак, — произносит обер-контролёр, — что означает это?

Указательный палец его останавливается возле четырёхзначного числа. От числа в обе стороны расходятся тонкие линии стрел. В верхнем

правом углу чертежа вижу слово «Rippe-8», окидываю взглядом всё изображение и отвечаю:

— Число обозначает длину нервюры.

— Очень хорошо. А это?

Палец его перемещается вниз до цифры «6», указывающей размер какого-то отверстия.

— Это диаметр.

— Прекрасно... Вы военнопленный?

— Нет.

— Возраст?

— Двадцать лет.

— Как долго находитесь в заключении?

— Два с половиной года...

Я опять сбит с толку. Для чего потребовались обер-контролёру эти сведения? Кто меня рекомендовал ему и зачем? Штайгер быстро встаёт. Я тоже.

— Назначаю вас контролёром в первый цех.

Я обалдеваю. Контролёром? Меня?.. Во-первых, это что-то явно противоречащее моему долгу, а во-вторых, я ведь ровно ничего не смыслю в техническом контроле... Эх, Иван Михайлович, и надо же было делать из меня учащегося авиационного техникума!

Штайгер, очевидно, замечает моё замешательство. Взгляд его становится острым. Я понимаю, что мой отказ будет иметь для меня самые печальные последствия. Но что же мне делать?

— Вы не согласны?

— Извините, герр Штайгер, но я никогда не был контролёром.

Штайгер усмехается.

— Проверять диаметр отверстий и качество заклёпок — не сложно. Для этого не надо быть ни инженером, ни техником... Идите к Флинку и приступайте к исполнению обязанностей. Кстати, мастерам вы не подчиняетесь. Вашу работу я буду проверять сам и сам покажу, что вам надлежит делать. Ступайте.

Возвращаюсь в цех. Он наполнен жужжанием электродрелей. Флинк стоит у ближайших к станку тисков и сверлит дюралевую деталь. Ноги его широко расставлены, кудри свесились на лоб. Двое заключённых сумрачно глядят на его работу...

Да, Иван Михайлович не ошибся. Гражданские мастера начали обучение людей, и, значит, задача наша ясна. Но что делать теперь мне, мне лично, с этим идиотским назначением?

#### 4

— Иван Михайлович, что делать? Меня назначили контролёром.

— Контролёром? Гм... Что же ты должен делать?

— Вот я и спрашиваю...

— Нет. Каковы твои обязанности?

— Проверять качество заклёпок, чтобы головки соответствовали установленному размеру и чтобы не было на них трещин; следить, чтобы просверлённые отверстия были нужного диаметра...

Иван Михайлович шумно отхлёбывает из котелка кофе.

— Что ж, по-моему, это очень хорошо. На переделку детали можешь возвращать?

— Обязан.

— Ну, и возвращай как можно больше, пока не закончено обучение. А что потом, подумаем...

И вот я сижу за контролёрским столом. Передо мной чертежи, шаблоны, линейки. Чертежи я уже изучил, готовые части ко мне ещё не поступили, делать мне как контролёру пока нечего. Я сижу и наблюдаю.

В нескольких шагах от меня Флинк. В руках у него стальная изогнутая пластина-накладка. Рядом с ним Франек — юноша поляк, которому я когда-то помогал в лазарете. Липо обер-мастера обращено ко мне в профиль: я вижу розовые пятнышки на его скуле, горящее ухо, неподвижный, немигающий глаз, устремлённый на Франека, и над лбом — взъерошенный рыжий клок.

— Когда же вы, сакрамент нох маль, перестанете ломать свёрла? Неужели вы не в состоянии справиться с такой работой? И сколько же это, круцификс, может продолжаться? — с тихой яростью спрашивает он.

Франек, вытянув руки по швам, молча смотрит Флинку в глаза.

— Предупреждаю, если вы не исправитесь, я вас завтра же отошлю в каменоломню... Начинайте снова.

Франек зажимает накладку в тиски, включает дрель, минута — и опять раздаётся треск сломанного сверла, а затем плачущие возгласы обер-мастера, перемежаемые ругательствами... Франек, пожалуй, перегибает палку, надо ему об этом сказать.

Перевожу взгляд на соседний ряд столов. Маленький плешивый мастер-немец показывает немоллодому чёрному французу в очках, как надо клепать. Молоток в руках немца играет: удар, ещё удар и ещё — головка готова. Француз наклоняется над заклёпкой, почти касаясь её носом, и восхищённо чмокает языком. Мастер передаёт ему молоток. Француз очень осторожно бьёт по следующей заклёпке — заклёпка сгибается. Мастер, суетясь, срезает её зубилом, вставляет новую и что-то горячо, шёпотом говорит французу. Тот бьёт сильнее — удар, ещё удар, ещё удар — и головка совершенно расплющена.

Здесь всё в порядке. Гляжу на третий ряд. Красивый толстый мастер в синей спецовке неторопливо размечает ребро носовой нервюры номер три. За движением его карандаша испуганно следит худой длинноносый итальянец. Мастер, снисходительно улыбаясь, протягивает ему деталь. Итальянец порывисто зажимает её в тиски, включает дрель, прикладывается — свёрло скользит по металлу. Мастер спокойно забирает у него дрель, буравит несколько отверстий и возвращает её итальянцу. Тот снова старательно прикладывается — свёрло опять скользит. У мастера наливаются кровью шея. Кажется, он ударит итальянца... Нет, не ударил — только погрозил ему своим увесистым кулаком.

По цеху, волнуясь, похаживает Зумпф. Он раздувает ноздри, вытягивает шею, поминутно суёт руку в карман. Ему непонятно, чем недовольны мастера: ведь все как будто трудятся, все стараются — молотки стучат, дрели жужжат. В чём же дело?

Из соседнего цеха, где за работой надзирает Джованни, показывается высокая тележка. Её катит Анри. Зумпф сдержал своё слово: по его протекции Гардебуа получил хорошую должность — он развозит материал и доставляет на просмотр к контролёру готовую продукцию. Проезжая мимо столов, где работают наши товарищи, Анри может остановиться, перекинуться словом.

Ко мне подходит Флинк.

— Скажите, пожалуйста, отчего так тупы ваши люди?

Я вежливо улыбаюсь.

— Вероятно, герр обер-мастер, от тех своеобразных условий, в которых мы живём.

Флинк дёргает плечом и снова направляется к Франеку.

Анри подвозит мне готовые детали: хвостовые и носовые нервюры. Я тщательно осматриваю каждую заклёпку, каждое отверстие. Безупреч-

ные детали, сделанные, очевидно, руками мастеров, складываю в аккуратную стопку на пол, детали с дефектами помечаю красным мелом и оставляю на столе.

Во время этой работы является Штайгер.

— Где проконтролированные части?

Я поднимаю с пола нервюры. Обер-контролёр просматривает их и молча кладёт на стол.

— А эти? — Он берёт одну из помеченных мелом.

Я докладываю о замеченных дефектах. Штайгер усмехается.

— Вы, однако, строги... Продолжайте таким же образом.

В обеденный перерыв совещаюсь с Джованни и Анри. Меня беспокоит, что брака получается слишком много. У француза вдруг темнеют глаза.

— И очень хорошо, и прекрасно.

— Да, но нас могут обвинить в саботаже.

— Нельзя терять чувство меры,— произносит Джованни.

Анри пожимает плечами. Договариваемся, что в особо опасных случаях члены организации будут сдерживать «увлекающихся».

Вечером у меня происходит столкновение с Флинком. Увидев, что я забраковал больше половины дневной продукции, он хлопает себя по бёдрам.

— Герр готт, сакрамент, что же это?

— Это всё надо переделывать, герр обер-мастер.

— Круцификс нох маль, что же тут переделывать?

— Заклёпки, герр обер-мастер.

— Чем же они, аллилуйя, круцификс, плохи?

— Одни чересчур высоки, другие — наоборот.

— Сакрамент нох маль, сакрамент...

Так идёт наша работа в течение двух недель, пока на «Рюстунге» не появляется новое лицо — директор предприятия Кугель.

Рослый, с массивной челюстью и рычащим басом, он в первый же день жестоко избивает накладкой француза в очках. Потом свирепеет ещё больше: пускает в ход кулаки, швыряет в людей испорченные детали, наконец, брызгая слюной, кричит на весь цех, что мы саботажники и что он немедленно вызовет сюда представителей гестапо.

Виктор — к этому времени он добился перевода в нашу команду — шепчет:

— Костя, надо давать отбой.

Анри и Джованни в обеденный перерыв говорят о том же. Уславливаемся сократить в ближайшие дни число «неумеющих» и «непонимающих» наполовину.

Мы отступаем. Кугель успокаивается. Но минует немного времени, и ярость его вспыхивает с новой силой: люди работают всё ещё слишком медленно и продукция предприятия смехотворно мала.

Начинается новая полоса репрессий. Двух французов отсылают в штрафную, трое с серьёзными побоями ложатся в лазарет. Кугель устанавливает дневную норму выработки и грозит лишать обеда тех, кто её не выполнит.

Я чувствую, что директор скрутит нас в бараний рог, если мы не найдём иных форм борьбы. Случай помогает нам решить эту задачу.

Как-то в середине января, утром, обходя цех, Флинк обнаруживает, что Франек насверлил на ребре нервюры отверстия большего, чем полагается, диаметра. Дёргая плечом и ругаясь, он кричит, что при такой работе самолёты начнут рассыпаться в воздухе и только законченному идиоту непонятно, что, если головка заклёпки едва прикрывает отверстие, прочность соединения сводится к нулю, и что, наконец, если Франек выкинет ещё раз такой номер, он, Флинк, доложит о нём директору.

Я рассматриваю в эту минуту чертёж правой плоскости. Крик обер-мастера наводит меня на интересную мысль. Что, думаю я, если на носовой нервюре номер три сверлить отверстия большего диаметра, а на стальной накладке, прикрепляемой к нервюре,— обычного. Две эти части соединяются железными заклёпками на станке, где работает Виктор. Дыры на нервюре едва прикроются головками, но сверху они будут выглядеть нормально. Стальная накладка, как видно из чертежа, вместе с другой деталью, называемой шубблехом, образует гнездо для колеса. Значит, когда истребитель, поднявшись в воздух, начнёт втягивать шасси, накладка при небольшом нажиме на неё отскочит и самолёт потом не сможет высвободить колёса.

От этой мысли меня кидает в жар. Ещё раз просматриваю схему соединения шубблеха с накладкой, измеряю железную заклёпку и быстро иду в соседний цех к Джованни.

Он плохо понимает меня. Тащу его к своему столу, показываю чертёж, заклёпки, испорченную Франеком деталь с надписью Флинка: «Брак».

— А ведь это — серьёзное дело, — шепчет Джованни, напряжённо тараща глаза.

Я не могу скрыть своей радости.

— Именно. Как ты считаешь, будет катастрофа?

— У этого «Мессершмитта» большая посадочная скорость, он не сможет сесть без колёс.

— Вот и хорошо... Согласен со мной?

— Надо сделать точные расчёты и потом...

— Что потом?

— Это же серьёзное дело, — повторяет он, — надо подумать.

Виктор, всегда рассудительный и осторожный, неожиданно горячо одобряет моё предложение. Он сразу же соглашается взять на себя самую опасную часть труда — соединение нервюры с накладкой.

Я едва дожидаясь обеда. Джованни — мрачнее тучи. У Анри блестят глаза. Обсудив все подробности, мы решаем поставить вопрос об организации диверсии на «Рюстунге» перед нашим руководством.

Вечером докладываю о нашем решении Ивану Михайловичу.

— Погоди, погоди, — останавливает он меня, — давай с начала и не торопись.

Я ещё раз излагаю наш план. Иван Михайлович не говорит ни «да», ни «нет».

— Видишь ли, — произносит он после долгого раздумья, — вопрос тут в том, имеем ли мы право рисковать жизнью очень многих наших товарищей, если даже ваше предложение реально. Этот вопрос рассмотрит комитет... Подготовьте мне все ваши расчёты — их проверят сведущие люди, во-первых. Во-вторых, дай мне номера товарищей, которые будут непосредственно всё исполнять, — мы заглянем ещё раз в их личные дела. А в-третьих, продумай-ка сам всё это на холодную голову. Больше я пока тебе ничего не скажу.

Проходит два дня, и я на свой страх и риск поручаю Виктору и Франеку изготовить на пробу одну такую испорченную нервюру с накладкой. Она благополучно отправляется с готовыми деталями на склад. На третий день товарищи делают ещё пять «на пробу», а вечером Иван Михайлович сообщает мне о благоприятном решении комитета.

Мы начинаем действовать по-настоящему. Джованни отказывается от поста помощника капо и сам становится на сверление. Анри и Франек охраняют его и Виктора. Я проверяю «чистоту» работы и крупно расписываюсь на накладках.

Мы прекрасно знаем, что с нами может быть. И именно сейчас, когда до окончательного краха Гитлера остаются, вероятно, считанные недели. Но мы делаем то, чего не делать нельзя.

## 5

Яркий, солнечный день. Середина февраля, но кажется, в мир снова ворвалась весна: шумит, сверкая, капель, влажно искрится набухающий водой снег, а в воздухе начинают носиться запахи подопревшего дерева и талого снега.

Сегодня дневная поверка проходит у нас во дворе. Зумпф, неизменно угрюмый в продолжение последних полутора месяцев, сейчас бодро докладывает командофицеру, что в его команде двести сорок заключённых и все налицо. Командофицер пересчитывает нас, потом, достав портсигар, угощает капо сигаретой — я ещё ни разу не видел, чтобы эсэсовец предлагал заключённому закурить. Мастера тоже вышли на волю, стоят в сторонке и поглядывают на нас с улыбкой.

Мы получаем сладковатый, заправленный какими-то кореньями суп, приманиваемся на солнечной завалинке, и вдруг — как гром среди ясного неба — со стороны лагеря взывают сирены.

— Воздушная тревога! — кричит эсэсовец.

— Воздушная тревога! — вытянув худую шею, вторит ему Зумпф.

— Воздушная тревога! — восклицают мастера.

Вой сирен, усиливаясь, достигает своего апогея — слышится один выпрямленный, пронзительно-тревожный звук. Мастера срываются с места и несутся к выходу из каменоломни, в ближайшее бомбоубежище. Зумпф с грохотом захлопывает крышку пустого бачка.

По команде эсэсовца мы заходим в цех. Лица у людей, как у именинников. Командофицер, приказав Зумпфу никого не выпускать на улицу, бежит к холму.

В цехе очень тихо. Все сидят на столах и ждут. И вот приходит желанное: вначале далёкое, потом всё растущее, надвигающееся гудение. Захлопали зенитки. Гудение перерастает в мощное рокотание. Дрожат стёкла. Я вскакиваю на стол. Сквозь окно в прозрачном небе вижу золотистую стаю рокочущих бомбардировщиков. Они идут на юг волной, похожие на огоньки. Разрывы зенитных снарядов, как мгновенно распускающиеся белые бутоны цветов, ложатся много ниже бомбардировщиков. Прекрасно! Сейчас наши дадут жизни господам со свастикой!

Взрыв, подобно мощному выдоху, сотрясает стены. Люди бросаются к окнам. Новые взрывы, сильнее прежнего, сливаются в один сплошной адский грохот, от которого звенит в ушах. А в прозрачном небе сверкают новые огненные точки. Опять мелко дрожат стёкла. Опять в воздухе распускаются роскошные белые бутоны — идёт вторая волна бомбардировщиков.

Взрыв. Новый взрыв. И ещё один, грохочущий и самый сильный, как заключительный аккорд. Появляется третья волна, за ней четвёртая. Чарующий нас грохот не прекращается ни на минуту...

Сколько времени уже длится бомбёжка? Двадцать минут, пятьдесят минут или два часа — понятия не имею. Страстно хочу только одного: без конца слушать эту музыку.

После шестой волны и серии взрывов наступает затишье. Я напрягаю слух, вглядываюсь в небо — пустота. Неужели всё? Нет, не всё! Вот оно: стремительно нарастающий гул, тьяканье зениток, свист бомб, стук прыгающих со столов людей и — страшный, ни с чем несравнимый звуковой удар, будто разверзается земля...

Открываю глаза. Живы? Я на полу, вокруг меня обломки стекла. Брошаюсь к выходу, падаю, зацепившись за чьи-то ноги, толкаю дверь. Передо мной солнце, сверкание капели, белые порхающие в воздухе листки и столб дыма, поднимающийся со стороны железнодорожного выезда из каменоломни.

— Виктор! — кричу я.

Виктор, Джованни, Анри, Франек, а за ними и другие подбегают ко мне.

— Листовки! — показываю я.

Мы выходим во двор. Сухой грохочущий треск и визг пуль заставляют нас шарахнуть обратно: нас обстрелял из пулемёта часовой. Я захопываю дверь — ликовать, как видно, ещё рано.

Снова сидим на столах, накинув на плечи куртки. Сидим час, полтора — ни отбоя, ни мастеров, ни командофюрера. Благодать.

Ко мне подходит Зумпф. На его всё ещё бледном лице жалкая улыбка. Он вынимает из кармана сигарету — подарок эсэсовца — и кладёт передо мной. Я показываю ему на табурет.

— Да, — произносит он. — Да, да.

— Что? — спрашиваю его.

— Я думал капут, — признаётся он, — конец всему.

Он смыкает веки. Нижняя губа его бессильно свешивается. Он сейчас напоминает старую, замученную клячу. Неожиданно он всхлипывает.

— Что с тобой, Вилли?

Хрипловатый вздох вырывается из его груди.

— Ты не похож на себя.

— Не похож, — подтверждает он, открывая мутные глаза. — Я профессиональный преступник, уголовник, немец, капо. Я не дурак, как меня считают, я многое вижу. Вы радуетесь — мне нечему радоваться.

— Но почему?

— Вы меня убьёте, когда вас освободят: я бил людей. Петер был последним, кого я ударил, — это было давно, — он простил меня, но другие не простят.

— По-моему, тебе нечего бояться — ты делал и хорошее.

Он качает головой.

— Я, наверно, всё равно повешусь... Покурим?

Мне становится жалко его. Он очень переменялся за последнее время. Я чувствую, что в нём пробуждается человек, и мне хочется помочь ему.

Я некурящий. Зумпф тоже. Но мы оба закуриваем, раздобыв у Франека огонь.

— Тебе нечего бояться, Вилли, — повторяю я. — Ведь ты тоже рисковал собой там, в каменоломне. Помнишь?

— Я просто не мешал, — бормочет он. — Я дал слово Петеру. Если бы он был жив...

— Живы его друзья. Мы не дадим тебя в обиду, если...

А вот и отбой. Сирены гудят коротко.

— ...Если я этого заслужу, — договаривает за меня Зумпф.

Через четверть часа являются мастера. Посмотрев на разбитые стёкла, они молча поворачиваются и идут к будке Штайгера. Флинк отпирает английским ключом дверь. Я вижу в окно, как он поднимает телефонную трубку и что-то говорит, показывая редкие зубы и дёргая плечом.

— Работать сегодня, наверно, больше не будем, — говорю я Виктору.

— Пожалуй.

Однако работать нас заставляют. Кугель, уезжавший вместе со Штайгером ещё утром в город и вернувшийся один, набрасывается на Флинка. Ober-мастер пробует сослаться на разбитые окна, но директор обрывает его:

— Бред, зима кончилась, — и, повернувшись к цеху, остервенело кричит: — Живо, вы, большевистские собаки!

Люди включают дрели.

После вечерней поверки нас долго не выпускают со двора. Командофюрер, столь корректный днём, сейчас смотрит на нас волком. Он даже не удостоивает ответом Зумпфа, попытавшегося узнать, почему нас задерживают.

Вечером, в котельной, Иван Михайлович сообщает, что во время бомбёжки из каменоломни сбежали пять поляков и что они до сих пор не пойманы...

— В общем, дело близится, кажется, к концу, — говорит он. — Докладывай.

Докладывать сегодня мне, собственно, нечего. До обеда мы испортили двенадцать нервюр, и всё. Но Ивана Михайловича, как всегда, интересуют подробности. По-моему, он даже ведёт учёт нашей работы.

— Так ты говоришь, обер-контролёр так и не возвращался?

— Нет.

— А ты знаешь, что сегодня бомбили?

— Не знаю.

— Бомбили военные заводы Штайера, аэродром и склады... Я думаю, если ваши нервюры ещё не поступили на сборку, они тоже погибли под развалинами... Попробуй-ка это уточнить через гражданских мастеров.

Я обещаю попробовать.

На следующий день мы застаём цех в прежнем порядке. Окна застеклены, снова тепло и чисто. Работа возобновляется, но в поведении мастеров я замечаю перемену: они выглядят какими-то пришибленными и оживляются только при появлении директора. Сейчас, видимо, самый подходящий момент для выполнения последнего задания Ивана Михайловича. Я решаю раздобыть нужные сведения через Зумпфа: простачком он прикидываться умеет, кроме того, его никто не заподозрит.

Случается, однако, так, что я обхожусь без Зумпфа. Во второй половине дня нам не подвозят материала. Кугель спешно куда-то уезжает. Работа останавливается.

К моему столу подсаживается расстроенный Флинк.

— Что случилось, герр обер-мастер, почему нет материала?

— Последствия вчерашнего налёта, — вяло отвечает он.

— Значит, мы трудились впустую?

— Ах, откуда... Наша продукция идёт совсем в другое место, недостижимое для бомб... Вы курите?

Чтобы продлить этот интересный для меня разговор, беру из портсигара Флинка сигарету, прикуриваю и снова спрашиваю:

— Неужели вы всё ещё собираете «Мессершмитты»?

— Конечно. Мы зарылись в землю. Германия — гористая страна.

— Здесь Австрия.

— Австрия была... и, вероятно, будет.

— Будет и Германия.

Флинк смотрит на меня рассеянно.

— Вы не немец?

— Я русский.

— Я думал, вы русский немец, вы хорошо владеете языком.

— Я чистокровный русский.

Обер-мастер, выпуская длинную струю дыма, глядит на носки своих башмаков и тихо роняет:

— У меня брат в русском плену.

— Ему можно позавидовать, — говорю я.

— Плен есть плен, — вздыхает Флинк.

Интересно, куда нас приведёт этот разговор.

— Герр Флинк, — немного помолчав, произношу я, — что вы думаете о России?.. Не отвечайте, пожалуйста, если мой вопрос вам не по душе, но мне просто хотелось бы знать, что думают интеллигентные немцы о стране, которая... выдержала такое испытание.

Обер-мастер молчит. Я жду. Внезапно он спрашивает:

— Вас интересуют сводки нашего верховного командования?

Я отвечаю:



— Допустим.

— Хотите, я буду приносить вам вырезки из газет?

— Не надо. Зачем вам рисковать собой?

Флинк дёргает плечом. Я говорю:

— Меня больше интересует другое...

— Именно?

— Вы понимаете, герр Флинк, что должен чувствовать человек, которого заставляют делать оружие, предназначенное для убийства его братьев?

— Понимаю, продолжайте.

— Собираются ли из наших деталей самолёты?

— Неделю назад они пошли в сборочные цехи.

Он растирает толстой подошвой окурочек и снова дёргает плечом. Я делаю несколько настоящих глубоких затяжек.

Вечером, выслушав меня, Иван Михайлович неожиданно приказывает порчу нервюр прекратить.

## 6

Весь остаток февраля из-за нехватки материалов мы работаем с переребоями. Кугеля от нас куда-то переводят, Штайгер появляется только наездами, мастера махнули на нас рукой, и мы свободно применяем нашу прежнюю тактику «неумения» и «непонимания».

Проходит ещё неделя, и «Рюстунг» закрывается совсем. Большинство людей направляется в каменоломню, меня и Виктора берут уборщиками на блок. Заканчивается ещё один этап нашего концлагерного существования.

Мои обязанности теперь примерно те же, что были у Сахнова полтора года назад. Он сообщает мне имена и местонахождение товарищей, интересующих организацию, я под видом земляка встречаюсь с ними, прощупываю их, а потом докладываю Ивану Михайловичу свои выводы. Мне приказано отбирать самых смелых и стойких, которые в случае необходимости могли бы повести за собой остальных заключённых. Вторая моя задача — налаживать помощь ослабевшим. Олег, Виктор и Васёк, переданные в мою группу, каждый вечер на правах «камрадов» носят им суп и хлеб.

Возвращаясь как-то вечером от одного из «подшефных», — дело происходило в последних числах марта, — я застаю Виктора и Олега на своей койке.

— Что-нибудь случилось?

— Случилось.

Я сажусь на койку. Олег — он, работая на кухне, первый узнаёт обо всех новостях — шепчет:

— Получен приказ Гиммлера... Нас всех уничтожат.

— Это слух?

— Об этом знает уже весь лагерь.

— А когда?

— Неизвестно. Может, через неделю, может, через час.

Известие не из весёлых. Что ж... Рано или поздно это должно было произойти. Мы знали об этом. К этому мы готовились.

Я силось улыбнуться.

— Вы ждёте руководящих указаний?

— Интересно, — произносит Олег.

— Дайте пожрать, я ещё не ужинал.

Виктор молча опускает руку под койку и достаёт котелок. Олег вытаскивает из-под матраца хлеб. Я сокрушаю за одну минуту содержимое котелка и полпайки хлеба. Олег внезапно веселеет.

— Ты нахал, — сообщает он мне. — Витька тоже ещё брюквы не ел.

— Как же так? — У меня кусок застревает в горле.

— Я не хочу,— говорит Виктор.

— Доедай тогда этот хлеб. Извини, пожалуйста.

Виктор вдруг улыбается своей доброй, мягкой улыбкой и обнимает нас с Олегом за плечи.

— Неужели, хлопцы, мы так никогда и не посидим вместе где-нибудь в хорошем городском саду, за столиком, чтобы была музыка и чтобы, знаете, из зелени выглядывали, как светлячки, белые фонари?

— Посидим, Витя, на том свете, хотя я лично предпочёл бы это сделать на земле по той же причине, что до сих пор не установлено, есть ли парки культуры и отдыха в раю,— заявляет Олег.

— Ты рассчитываешь затесаться в рай? — спрашиваю я.

— Ну, а куда же?

— Да ведь ты безбожник.

— Не имеет значения. Из трубы крематория можно попасть только на небо.

— А я не хочу на небо. Я ещё не был в Одессе, на твоей знаменитой Дерibasовской.

— Ты, пожалуй, прав... Что же делать?

— Предлагаю полёт через трубу отменить. Нам надо ещё съездить в древний Псков, оттуда в Харьков, а потом к твоей красавице...

Так, дурачась, мы сидим на койке, пока удар колокола не возвещает отбой. Расставаясь, мы обмениваемся крепким рукопожатием. Ясно всё без слов: если, паче чаяния, ночью начнётся заваруха, мы будем, как и раньше, вместе, готовые на жизнь и на смерть.

Утром, в котельной, Иван Михайлович говорит мне:

— Слух о последнем приказе Гимmlера подтверждается. Люди, с которыми ты работаешь, должны быть начеку. Никакой растерянности, никакой паники. Передай нашим на карантине, чтобы не пороли отсебятины. Будет дан общий сигнал. Какой — скажу позднее. Топай.

Решительный тон Ивана Михайловича действует на меня ободряюще. Я, как аккумулятор, заряжаюсь от него запасом твёрдости и спокойствия. До обеденного перерыва успеваю побывать на шестнадцатом и семнадцатом блоках, после перерыва иду на девятнадцатый и двадцатый.

Эсэсовцы что-то не торопятся. Это начинает наводить меня на мысль, что слух об уничтожении лагеря ложный.

Наступает воскресенье — первое апрельское воскресенье. Полдень. Мы построены на плацу для общей проверки. Старшина нашего блока Генрих, прямой и суровый, прохаживается перед строем.

Ждём Майера. Блокфюреры уже на местах. Пожалуй, мы стоим сегодня дольше обычного. Генрих не сводит глаз с ворот.

— Ахтунг!

Каравул у стены кричит: «Хайль-хи!» Мне почему-то кажется, что я вижу всё это в последний раз.

Майер, огромный, выхолненный, не глядя на нас, идёт к центру площади. За ним офицеры. Один из них — с чёрным портфелем.

Майер останавливается.

— Фаремба!

— Здесь,— раскатисто звучит в ответ.

— Ко мне!

Раздвигаются ряды. Оберкапо «Штайнбруха» решительно направляется к лагерфюреру. Фуражку он держит в руке. Я впервые замечаю, что у него очень узкий, как бы сплюснутый, лоб.

Не доходя трёх шагов до Майера, Фаремба щёлкает каблуками. Офицер с портфелем вручает ему какую-то бумагу. Лагерфюрер произносит:

— Читай для всех.

Тишина воцаряется такая, что больно ушам.

— «Приказ...»

Быть не может! Я слышу, как стучит моё сердце.

— «Отмечая безупречное поведение,— ровно гудит бас Фарембы,— дисциплинированность и раскаяние в совершённых ранее преступлениях, приказываю освободить из концентрационного лагеря Брукхаузен следующих хефтлингов...»

Дрожит бумага в руках старого убийцы, дрожит голос, когда он первым зачитывает своё имя.

— Иозеф Фаремба,— говорит Майер.— Наденьте фуражку.

Убийца ещё ниже наклоняет голову. Уж не плачет ли он?

— Продолжайте,— приказывает лагерфюрер.

— «Лизнер...» — рычит сквозь слёзы Фаремба.

— Пауль, сюда! — восклицает Майер.

Снова раздвигаются ряды. Лизнер, чеканя шаг, выходит из строя. Его голубые глаза блестят. Рот, влажный и красный, полуоткрыт. Он становится рядом с Фарембой лицом к строю.

— Наденьте фуражку!

Лизнер надевает и тотчас вытягивает руки по швам.

— «Шустер, Трудель, Проске, Шванке, Зумпф»,— продолжает читать Фаремба.

Через четверть часа сто пятнадцать наших мучителей — надсмотрщиков и блоковых старшин.— стоят в строю напротив нас. Что ж... Это тоже рано или поздно должно было произойти. Я гляжу на Зумпфа и стараюсь представить себе, что он чувствует в эту минуту. Он смотрит себе под ноги. Он, конечно, радуется.

Приказ подписан Кальтенбруннером. Фаремба возвращает бумагу офицеру. Тот протягивает ему ещё одну. Майер произносит:

— Читай.

Содержание второго документа тоже не удивляет меня. Все освобождённые на основании приказа о тотальной мобилизации зачисляются в войска СС. Логическое завершение их лагерных трудов — пособия палачей становятся полноправными палачами... Обидно лишь за Зумпфа. Впрочем, человек уже проснулся в нём, теперь уже вряд ли случайно полученный мундир эсэсовца погубит его.

Фаремба отдаёт листок офицеру и принимает от него третью бумагу. Майер в третий раз произносит:

— Читай.

Десять минут спустя рядом с новоиспечёнными эсэсовцами вытягивается строй освобождённых условно. Среди них мои старые знакомые: Шнайдер, Штрик, Виктава, Тульчинский. Они объединяются в команду пожарников и будут размещаться на втором блоке.

Чтение заканчивается. Майер, повернувшись к строю, возглавляемому Фарембой, рявкает: «Направо!» Открываются двустворчатые ворота. Уголовники, маршируя, покидают лагерь. Вслед за ними с плаца уходят пожарники, предводительствуемые Шнайдером. На площади остаются одни политические заключённые.

Начинается обычная церемония воскресной поверки. Выбывших старшин заменяют писаря и парикмахеры. Они докладывают о числе оставшихся заключённых блокфюреру; блокфюреры — своему начальнику, рапортфюреру; рапортфюрер — лагерфюреру. Майер произносит: «Данке».

Нас распускают по баракам.

Я иду на свой блок вместе с Виктором и Олегом. Друзья мои снова сумрачны. Они молчат. Молчу и я.

Мы ехали сюда, зная, что нас везут на смерть. На наших глазах расстреляли первых десятерых товарищей инвалидов. Мы были свидетелями

гибели остальных ребят из нашей группы в штрафной команде. Нас уцелело трое. Что нас ждёт впереди?

Человеку не дано знать, что будет с ним впереди. Но в сердце каждого честного человека есть компас — его совесть. И когда внешние обстоятельства заводят его в тупик, ему остаётся только одно — заглянуть в своё сердце.

Мы будем драться. Я это знаю. Многие, может быть, большинство из нас, погибнут. Мне это известно. Но почему, когда жизнь висит на волоске и надо подготовить себя к концу, так особенно хочется жить?

Совесть моя спокойна. Я шёл туда, куда указывала стрелка моего компаса — мой долг советского человека. Я редко здесь вспоминал родных, учителей, места, где рос. Но всё это жило во мне. Оно живёт во мне и сейчас: Родина, дорогие мне люди, наша партия, наш народ.

Пусть я умру. Пусть никто из близких не узнает о моей судьбе. Я паду безымянным солдатом, но паду без горечи: в сердце моём живёт ощущение счастья.

...Чёрные восточные глаза Виктора влажны.

— Ревёшь?

— Как и ты.

— А я разве реву?

— Нет, сейчас ты уже улыбаешься.

— Давайте поспешим, братцы, начали раздачу брюквы,— озабоченно говорит Олег.

## 7

Кому это может показаться подозрительным, что, пользуясь воскресным днём, мы решили помыться — двенадцать старых, а потому всеми своими собратьями уважаемых «хефтлингов»?

Журчит вода, сбегаящая из душевых рожков. Кафельные стены отпотели.

В предбаннике сидят ещё двенадцать «хефтлингов». Они ждут своей очереди. Собственно, никакой очереди нет. Эти люди охраняют нас, находящихся сейчас в душевой.

Генрих говорит:

— Чрезвычайное заседание интернационального комитета объявляю открытым.

Мы стоим в одном нижнем белье в глубине зала, отгороженные от входа двумя рядами бегущей сверху воды и готовые в любую минуту, как только вспыхнет лампочка над дверью, раздеться и встать под душ.

— Повестка дня: первое — инструктивный доклад начальника штаба полковника Ивана Кукушкина; второе — сообщения секретарей национальных комитетов; третье — организационные вопросы. Предоставляю слово товарищу Кукушкину.

Рядом с Генрихом становится Иван Михайлович. Я выхожу вперёд, моя обязанность — переводить с русского на немецкий.

— Товарищи,— начинает Иван Михайлович.— Установлено, что секретный приказ Гиммлера о поголовном уничтожении политических заключённых Брукхаузена имеется, установлена и дата исполнения этого приказа...

Я перевожу. Кукушкин продолжает:

— В приказе сказано: акция должна быть совершена не позднее того дня, как русские начнут штурмовать Вену.

Перевожу. Слышно, как плещется вода.

— По нашим сведениям, советские войска подходят к Вене. Сегодня из лагеря изъяты уголовники. Батальон охраны прлучил сильное подкрепление: надо помнить, что типы, подобные Лизнеру и Фарембе, кровно заинтересованы в уничтожении свидетелей их зверств — нас с вами. Так

называемые пожарники, тоже наши злейшие враги, приступают к несению полицейской службы в лагере. Такова обстановка. И обстановка показывает, что время решительных действий наступило.

Перевожу, волнуясь. Докладчик говорит:

— С сегодняшнего дня, с этой минуты, мы — штаб восстания, восстания во имя спасения лучших борцов Сопротивления, многих тысяч человеческих жизней. Каковы наши возможности?

Тихонько прошу Ивана Михайловича не спешить. Он кивает головой.

— Мы имеем,— продолжает он,— двенадцать национальных боевых групп общей численностью около двух тысяч человек. У нас есть шестнадцать револьверов, двести патронов к ним, восемь гранат по числу сторожевых башен, сорок пять бутылок с бензином. Кроме того, мы сделали из котельной подкоп под центральную сторожевую башню и минировали её. Среди солдат гарнизона, как вы знаете, есть наши люди. В политическом отделе комендатуры тоже есть наш человек. Мы будем заблаговременно предупреждены о начале акции.

Перевожу, захлёбываясь словами,— тороплюсь порадовать. Кукушкин, откашлявшись, говорит:

— Предлагается следующий порядок действий. По получении предупреждения командиров боевых групп выводят своих людей. Группы, вооружённые гранатами и бутылками с горючим, занимают места у окон, напротив сторожевых башен. Ударная группа котельной с тремя револьверами и бутылками выходит на лестницу. Сигнал к атаке — взрыв центральной сторожевой башни.

Перевожу.

— Группы с гранатами подавляют часовых на вышках. Советская группа через пролом в стене атакует охрану цейхгаузов. Эту группу поддерживают чехи. Поляки атакуют охрану крематория. Испанцы во главе с ударной группой атакуют противника на вахте и распахивают ворота. За ними французы, немцы и австрийцы, вырвавшись за ворота, образуют цепь, преграждающую путь эсэсовцам к цейхгаузам и гаражу. Все остальные боевые группы устремляются на склад оружия, вооружаются и немедленно вступают в бой с гарнизоном, сменяя испанцев, французов, немцев и австрийцев. Одновременно на захваченных в гараже машинах выезжают наши посыльные с задачей любыми средствами добраться до союзных войск и просить помощи. Продолжая вести бой объединёнными силами всех групп, мы отесняем эсэсовцев за пределы внешней зоны оцепления и выводим всех больных лазарета и медперсонал под прикрытие лагерной стены. Затем занимаем круговую оборону. Таков наш план.

— Таков наш план,— повторяю я по-немецки.

Иван Михайлович вытирает рукавом мокрое лицо. Пальцы рук его дрожат.

— Какие вопросы к полковнику? — спрашивает Генрих.

Следует масса вопросов. Иван Михайлович даёт быстрые и обстоятельные ответы. Я едва успеваю переводить.

Во мне крепнет чувство восхищения и гордости. Вот, оказывается, что могут сделать коммунисты даже в лагере смерти!

После коротких сообщений секретарей национальных комитетов принимается решение о слиянии всех боевых групп на правах батальонов в одну интернациональную бригаду. Командиром бригады назначается Иван Михайлович, комиссаром — Генрих, командирами батальонов — члены интернационального комитета, имеющие военную подготовку.

Интернациональный комитет самораспускается. Отныне мы все настоящие солдаты. Вступает в силу непреложное воинское правило: приказ — закон.

Иван Михайлович, красный, распаренный, отдаёт последние распоряжения.

Потом, приняв душ, мы по одному выходим на плац. Я смотрю на каменные стены и башни, на часовых, на крематорий с вызовом: что, взяли? Теперь я абсолютно уверен в нашей победе. О самом же себе, о своей жизни, о том, уцелею ли я в предстоящей смертельной схватке, просто не думается. Видимо, это не так уж важно для того общего, что снова подавило мне радость.

## 8

Я ворочаюсь с боку на бок на своей койке. Воскресенье ещё продолжается — сейчас, вероятно, часа четыре, и мне надо поспать, чтобы ночью не клевать носом. Так приказал Иван Михайлович, а его приказ — закон, и это очень хорошо. Ночью я вместе с ним буду бодрствовать в котельной, а сейчас я должен уснуть. Надо выбросить из головы все мысли и уснуть — ведь это приказ, первый приказ мне как настоящему солдату.

В двадцатый раз закрываю глаза и мысленно принимаюсь считать: «Раз, два, три, четыре...»

«Раз, два, три, четыре...» — раздаются тяжёлые, гроыхающие шаги рядом, в пустой штубе.

Я сдёргиваю с себя одеяло. Распахивается дверь — эсэсовцы...

— Ауф!

Хватаюсь за куртку. Эсэсовцы бросаются ко мне. Удар в голову — и я на полу. Удары сапогами в грудь, в лицо, в живот, и снова злорадствующее:

— Ауф!

Мы провалились! Нас кто-то предал!

Я встаю. Кровь холодными струйками сбегает по лицу, падает на пол; на языке — выбитые зубы и солоноватый вкус крови. Я смотрю на рослых сытых людей, окруживших меня, на их лица и понимаю: это конец. Спокойствие возвращается ко мне, спокойствие человека, которому нечего больше терять.

Я выпрямляюсь.

— Выходи!

Я бью ближнего эсэсовца в челюсть и через минуту оказываюсь в каком-то пёстром фантастическом мире. В этом мире нет живых людей и нет ничего предметного. В нём только удары, скрежет, крики, мелькание чего-то блестящего и дикая, рвущая, режущая боль.

Я, наверно, теряю сознание, потому что меня обливают водой. Я облизываю губы — мне хочется пить, — они солёные. Я начинаю опять видеть, и то, что я вижу, удивляет меня. Я вижу мокрый каменный пол. Почему каменный? В спальне всегда был деревянный пол. Но, может быть, я уже умер?

— Ауф!

Нет, не умер. Очень плохо, что я не умер. Мне страшно, что я не умер. Опять этот клубок?

— Ауф!

Я хочу уснуть. Я смыкаю веки. Я хочу проснуться и увидеть себя в знакомой комнате, увидеть папину бороду и рассказать маме об этом затянувшемся страшном сне. Разве со мной так уже не бывало? Сколько раз во сне меня убивали разбойники, сколько раз я срывался с высоких крыш и падал, но не разбивался, а, подхваченный чьей-то рукой, только глубоко, свободно вздыхал и просыпался.

Снова вода. Что это?

— Разбудите же меня! — кричу я и сам слышу свой крик: я кричу, конечно, во сне.

— Ауф!

Опять вода. Меня хватают чьи-то жёсткие руки, сильно встряхивают и куда-то несут. Я снова чувствую боль и ощущаю острый, холодящий запах нашатырного спирта.

Открываю глаза. Как в тумане, вижу зарешеченное окно, стол, револьвер на столе и светлые, беспокойно насторожённые глаза человека с чёрными усиками. Этого человека я где-то встречал, очень, очень давно. Глаза у человека теплеют. Он спрашивает по-немецки:

— Хочешь пить?

Да, конечно, я очень хочу пить. Но мне трудно ворочать языком. Челювек с усиками ставит передо мной стакан с водой. Он улыбается, он чему-то рад. Он радуется, он так же радовался когда-то. Теперь я узнаю его. Это гестаповский офицер, который вёз нас в Брукхаузен. Я тоже улыбаюсь. Я пью воду и швыряю пустой стакан в лицо гестаповцу: меня сейчас ничто не страшит.

На минуту я снова попадаю в фантастический мир, но только на одну минуту. До меня доносится испуганный крик офицера:

— Оставьте, вы его убьёте!

Зарешеченное окно, полетевшее было в сторону, возвращается на место. Опять вижу стол, на столе револьвера нет, глаза у гестаповца злые.

— Покатил, вы ведёте себя, как мальчишка, вы идиот!

— Сам идиот! — кричу я. Я радуюсь, что у меня совершенно нет страха. Я уверен, что всё это происходит во сне — в действительности так не может быть — и что я всё равно проснусь, что бы со мной ни делали. — Ты сволочь, — хриплю я.

Мне хочется встать и задушить его, но мои руки теперь заломлены назад и привязаны к спинке железного кресла.

Гестаповец вынимает револьвер и отходит к окну. Чёрная дырочка дула глядит мне в глаза.

— Я пристрелю тебя, как собаку, если ты не перестанешь буйствовать, — шипит он.

— Дурак, — отвечаю я. Мне смешно. Я как раз и хочу того, чем он пытается меня испугать: умереть и проснуться.

Я начинаю рваться изо всех сил. Мне удаётся ударом ноги опрокинуть стол. Меня хватают за ноги и привязывают их к ножкам кресла. Я устаю, и мне опять хочется пить. Выжидаю, пока от меня отойдут. Пробую опрокинуться вместе с креслом — не удаётся: очевидно, ножки кресла вделаны в пол. Что же предпринять ещё, чтобы заставить гестаповца сделать выстрел?

— Дай воды, — прошу его по-немецки.

Он быстро подходит и отвешивает мне оплеуху. Я презираю его за этот удар. Я плюю, стараясь угодить ему в лицо, и ругаюсь.

Гестаповец вытирает платочком подбородок и, зелёный от бешенства, садится за стол.

— Приготовить иглы, — кидает он в сторону.

Сейчас я в третий раз попаду в чудовищный мир, сотканный из одной боли. Что ж... Я познакомлюсь с настоящими пытками. Зарезаться мне не удалось. Умереть от зверских побоев не пришлось. Может быть, сердце само догадается разорваться?..

Сердце, сердце! Зачем ты такое сильное? Все говорят, что ты даёшь людям счастье. Какое счастье ты даёшь? Что ты дало мне в мои двадцать лет?

Я проклинаю тебя, моё сердце! Я не хочу больше думать о тебе. Я буду думать о смерти и счастье, для которого нет смерти.

Я стискиваю зубы. Я смотрю на окно, на равнодушно-голубое небо. Я готов на всё.

— Готово, — произносит кто-то за моей спиной.

— Благодарю, — отвечает сидящий за столом мой враг. Он тушит одчу сигарету и закуривает вторую. Его голова плавает в облаке дыма.

Сквозь дым видны светлые льдинки глаз. — Покатилов, — говорит он. — Предлагаю честную игру. Отвечай на вопросы, и тогда ты не будешь проклинать своих родителей.

Он смотрит на часы. Любопытно, что он называет честной игрой. Нет, мне это даже нравится — поиграть в последний раз.

— Хорошо, давай поиграем. Я слушаю.

Гестаповец-тупица торжествующе улыбается. Он кладёт сигарету на край пепельницы. От неё вьётся, бежит синий дымок.

— Вопрос первый, — произносит он. — Кто тебя рекомендовал на пост контролёра в мастерские Мессершмитта?

— Контролёра? В мастерские?

Светлая догадка озаряет меня. Волна радости вливается в моё избитое тело. Я почти с благодарностью смотрю на офицера. Я вздыхаю облегчённо.

— Простите, — тихо говорю я, — вы разве следователь?

— Следователь, — сухо произносит он. — Отвечай на вопрос.

Мне очень хорошо. Голова моя приходит в порядок, мысли тоже. Наверно, раскрыта наша диверсия. Это определённо так. Значит, Иван Михайлович, Валентин, Генрих и все остальные тут ни при чём, они на свободе, то есть в лагере. Они, конечно, уже узнали, что я арестован. Я один. А они нет...

Надежда, надежда, умершая уже, из каких-то неведомых глубин воскресает во мне. Я могу ещё остаться жив, я должен только выиграть время, меня ещё могут освободить товарищи, они меня обязательно освободят, если я выиграю время.

Надежда воскресла. И сразу я начинаю чувствовать тупую, ноющую боль в голове, в груди, в руках и в ногах. Я осматриваюсь. Мне делается жутко.

— Я жду, — громко произносит офицер.

— Я не знаю, кто меня рекомендовал, — отвечаю я. Я этого действительно не знаю.

— Хорошо, — говорит гестаповец. — Вопрос второй: каковы были взаимоотношения капо Зумпфа и обер-мастера Флинка?

— Плохие.

— То есть?

— Обер-мастер бил заключённых за плохую работу, а капо Зумпф пытался доказать ему, что бить может только он и командофюрер.

Следователь недоуменно морщит лоб, заглядывая в блокнот.

— Разве Флинк бил заключённых?

— Бил.

— Ты врёшь. Сколько тебе лет?

— Двадцать, господин следователь.

— Сколько марок ты получил от Флинка за пропуск недоброкачественных деталей?

— Каких деталей?

— Следователю вопросов не задают... Отвечай.

— Мне не ясен смысл вопроса.

— Повторяю: сколько марок дал тебе Флинк за то, что ты как контролёр пропускал испорченные детали?

— Я испорченных деталей не пропускал.

— Не пропускал?

— Нет.

Гестаповец, встав, подходит к большому железному шкафу и достаёт из него носовую нервюру номер три. Я издали вижу, что передняя часть её разорвана, накладка прикреплена к нервюре несколькими проволочками с plombой на концах. На накладке видна моя подпись синим мелом по-немецки.



— Твоя работа? — кладя обломки на стол, спрашивает он.

— Не понимаю.

— Чего ты опять не понимаешь?!

— Что вы называете работой.

— Я спрашиваю: это твоя подпись?

Вытягиваю шею, делая вид, что стараюсь разглядеть накладку.

— Подпись моя.

— И тебе, конечно, известно, что контролёр несёт всю ответственность за качество проверенной им детали?

— Известно.

— Вы умышленно выпускали негодные части, вы вредили. У нас скопилось таких вот изломанных железок тридцать штук!

Он опять закуривает. Мне очень хочется спросить, разбились ли самолёты, в которых были эти части. Судя по первой нервюре с разорванным носом, они разбились. Дух гордости поднимается во мне. Я говорю:

— Господин следователь, когда я проверял детали, они были в полном порядке. После меня нервюры смотрел также обер-контролёр Штайгер. и он тоже находил, что они в порядке.

— Ты и его посадил,— бурчит гестаповец.

— Посадил? Я? Почему я?

Следователь бьёт ладонью по столу.

— Довольно дурацких вопросов, довольно наивности. Или ты сам сейчас же расскажешь всю правду, или я выжму её из тебя капля за каплей. Слышишь?

— Слушаюсь.

— Гляди сюда. Что ты скажешь про эти отверстия для заклёпок? Каковы они?

Я смотрю на искорёженную нервюру, на стальную изогнутую накладку и молчу. Прикидываться дурачком или просто всё отрицать — этого я ещё не решил.

— Ну?

— Господин следователь, прикажите развязать мне руки, я ничего не вижу издали. Потом я боюсь, что опять будет обморок: я плохо себя чувствую.

— Отвечай: сколько тебе заплатил Флинк?

— Развяжите мне руки.

— Отвечай! — вопит гестаповец.

— Освободите руки.

— Иглы!

— Не надо игл,— говорю я.

— Отвечай!

— Поднесите поближе нервюру.

Гестаповец берёт со стола деталь и бьёт ею меня по лицу. Меня охватывает бешенство.

— Ты сволочь! — ору я.

— Иглы! — повторяет он.

Кто-то стискивает мне кисти рук. Я сжимаю пальцы в кулак. Я начинаю опять вырываться. Я что-то кричу. А в голове одно: «Иван Михайлович, выручайте! Виктор, Олег, где вы? Помогите мне, спасите меня, спасайте!..»

Я рвусь. Кисти мои трещат. Что они со мной делают? Какое они имеют право?!

— Папа! — безумея, кричу я.

Пальцы мои разжимаются. Я слабну. Я чувствую острый удар в мозг и длинную испепеляющую боль. Что-то чёрное, удушливое наваливается на меня и стирает во мне все ощущения.

Чернота. Чернота кругом, но в центре её — голубой небесный квадрат. У голубизны есть свои оттенки: она может быть зеленоватой, стальной и даже золотистой. Сейчас она белёсая. Она белёсая, эта голубизна в просторном небесном квадрате.

Голубизна. Квадрат. Что это? Что это всё? Где я? И неужели есть всё ещё это моё «я»? Неужели я всё ещё жив?

Я пробую пошевелиться. Мне больно. Да, я жив! Чудо!

Я приподнимаюсь, но голова бессильно падает вниз. Тогда я осторожно переворачиваюсь на живот — от боли мутится в глазах. Я отжимаюсь тяжёлыми руками от чего-то мягкого и подтягиваю под себя колени. Отдыхаю, опять отжимаюсь, и я на четвереньках. Это уже хорошо. Кошусь налево. Белое, а на белом — красное, и оно хрипит. Что это?

Внезапно сверху надо мной что-то грохочет. В грохот тотчас вплетаются частые сухие хлопки. Что-то защёлкало, посыпалось дробью, забилло... Это выстрелы! Это, конечно, выстрелы!.. Откуда выстрелы? Где я?!

Снова поворачиваюсь налево. Вглядываюсь. Белое с красным оказывается забинтованной головой: белое — марля, красное — просочившаяся кровь. Вижу ещё головы, носы, уши, стены полутёмного помещения и лежащих на полу людей. Смотрю направо. Опять забинтованные головы... За ними стоит человек в белом, дальше — дверь.

Я смотрю на человека, он — на меня. В руках у него блестящая коробка. Он идёт ко мне. Неужели это Богдан?

— Богдан! — кричу я и валюсь на одеяло. Я ничего не понимаю. В голове горячий туман, и слышно, как стучит сердце. — Богдан... — повторяю я.

— Тихо, тихо, спокуй, — шелестят рядом слова.

— Богдан, где мы?

— Зараз, зараз, чекай-но. — Холодные пальцы касаются моего лба.

— Пить.

К моим губам прикладывают что-то холодное — я пью. Потом глотаю таблетку. Над головой лопаются выстрелы, доносятся крики.

— Богдан...

— Тебе не можно говорить, спи, ты ест в тэм угольном складе, в котельной. Слышишь?

— Выстрелы...

— Выстрелы, другой день идёт валька с теми эсэсманами.

— С эсэсманами?.. Наши?.. Второй день?

— Так. Ты спи, Костя, нима́м часу размовлять.

Он отходит. Стрельба гремит совсем рядом. Теперь мне всё ясно — это сражается наша интернациональная бригада. Товарищи выручили меня.

Я снова приподнимаюсь. Закусив губу, я ползу к выходу. Я ложусь на пол, отдыхаю и опять ползу. Раненые стонут. Умирующие хрипят. Сверху грохочут выстрелы.

Вот дверь. Берусь за косяк. Неожиданно дверь распаивается — я вижу Вислоцкого и Штыхлера, поддерживающих за руки сгорбленного человека в разорванной куртке.

— Пустите меня! — вскрикивает по-немецки человек. Его грудь в белом — это бинт. — Пустите, я ещё жив, я должен стрелять, я...

Вислоцкий и Штыхлер безмолвно увлекают его за собой. Хлопает дверь. Раненый сопротивляется. Врачи насильно укладывают его на одеяло. Человек скрипит зубами и порывается встать.

— Сделали перевязку и... довольно, довольно! — задыхаясь, твердит он.

— Богдан,— произносит Вислоцкий, шурясь.— Богдан, присмотрите тут.

На другом конце склада мелькает белое пятно халата. Врачи поворачивают к выходу. Штыхлер глядит на меня:

— Кто вы?

— Кто это? Почему на ногах? — сердито спрашивает Вислоцкий, останавливаясь.

— Это я, Покатилов. Я поправился.

— Покатилов?

Вислоцкий дотрагивается до моего плеча. Штыхлер приближает ко мне лицо — на нём смятение.

— Езус коханий! — вырывается у Вислоцкого.

Штыхлер берёт меня за руки. Дикая боль пронзает меня. Я стискиваю челюсти.

Опять хлопает дверь. Снова слышится крик:

— Пустите, они прорываются! — На этот раз кричат по-польски.

— Богдан, займись тут,— доносится сквозь грохот выстрелов голос Вислоцкого.

— Они не пройдут, лежи,— горячо шепчет мне в лицо Штыхлер и исчезает.

Я вижу, как мечется между ранеными Богдан. Медленно встаю. Пошатываясь, подхожу к санитару. Он удерживает раненого немца, который порывается вскочить. Я его понимаю: стрелять — счастье, но это счастье уже не для него.

— Гляди за другими, я побуду здесь,— говорю Богдану.

Богдан отодвигается. Раненый скрипит зубами. Над головой начинают гулко ударять взрывы. С потолка сыплется песок. Помещение дрожит. Очевидно, лагерь обстреливают из пушек.

— Проклятые свиньи,— лихорадочно бормочет немец.— Они перебили мне ногу и продырявили бок... Этот рапортфюрер. Я видел, как он метнул гранату. Его убил француз... Помогите мне встать, товарищ.

— Вы должны лежать.

Опять ухают взрывы и сыплется песок. Раненый дышит часто и хрипло. Голос его слабеет. Он говорит:

— Я отомстил им. Это я проносил под одеждой взрывчатку... Цивильный мастер, австриец, ты знаешь его?.. Он настоящий человек, он отличный товарищ. Найди потом его, его зовут Шустер, Карл Шустер... Он работал в каменоломне подрывником, я был у него подручным. Он давал тол, он достал пять револьверов и патроны... Мы взорвали башню.

Хлопает дверь. Вижу Вислоцкого и человека с окровавленным лицом.

— Они не прорвутся! — по-чешски восклицает раненый.

— Богдан, прими.

— Не прорвутся! — с силой повторяет чех.— Дайте воды, я вернусь... Гул разрывов покрывает его голос. Неужели прорвутся?

— Нет,— хрипит немец,— никогда... пить... все вместе... мы...

В его груди клокочет. Через минуту он стихает — перестаёт дышать. Я переползаю к чеху, даю ему из фляжки воды. Опять открывается дверь. Вверху грохочет.

— Богдан!

— Отпустите меня!

— Богдан, прими.

У меня кружится голова, и я слабну. Едва разбираю дрожащий голос чеха:

— Цейхгаузы, Валентин... забрали вшицко... хорошо, Валентин.

Неужели и он умрёт? Нет, он не должен умереть, мы больше не должны умирать... Где Валентин? Где Иван Михайлович?

Мне плохо... Я, кажется, снова куда-то проваливаюсь. Опять чернота...

Прихожу в себя от боли. Рядом — луч фонарика и в нём поблёскивающий шприц.

— Очнулся,— произносит голос Штыхлера.

— Отбили? — спрашиваю я.

— Отбили, отбили. Молчи, Костя.

Я узнаю голос Виктора.

— Виктор!

— Молчи, Костя!

— Спокойно, друзья. Спокойствие, и до завтра,— говорит Штыхлер. Фонарик, щёлкнув, гаснет. Холодная шершавая ладонь Виктора ложится мне на лоб. Я сжимаю его пальцы.

— Олег где?

— Он... в окопе.

— Его убили?

— Он в окопе.

— Что... мы?

Голос Виктора беззвучен и ровен. Он говорит, что всё хорошо, что эсэсовцев отогнали, что у нас ещё много патронов и что штабу восстания удалось связаться по радио с советскими войсками. Всё хорошо, уверяет Виктор, но меня сейчас невозможно обмануть, и я знаю — нам очень плохо.

Виктор засыпает. Он не спал двое суток, но пришёл проведать меня. Он участвовал в штурме крематория, нёс меня в котельную, потом дрался за лагерем. Дрались все: и с оружием и безоружные. У нас много убитых. Наши врачи сами выносят раненых. Олег убит. Нам плохо...

Я просыпаюсь от чудовищного грохота. Виктора уже нет. Космы света, падающие сквозь щель закрытого люка, наливаются синевой и колеблются. Вверху рокочут моторы. Это самолёты — они сбросили бомбу! Я слышу крик.

Я поднимаюсь. Кругом стонут. Богдана нет. Врачей нет. Я слышу треск автоматов и протяжное нечеловеческое: «А-а-а!» Это наверху. Это эсэсовцы. Они атакуют. Неужели всё?

— А-а-а! — торжествующе ревёт, надвигаясь.

С нашей стороны — одиночные выстрелы. Неужели конец? И вдруг... Что такое? Почему обрывается? Что гремит? Почему стихло? Что за крик, радостный, светлый, как вздох облегчения?

Я пробираюсь к выходу. От волнения мне трудно дышать. Я спешу к двери. Дверь распахивается — Вислоцкий...

— Танки! Танки! — срывающимся голосом выкрикивает он. — Прибыли советские танки, мы спасены!

Он пошатывается. Я хватаю его за руки. На его дряблых щеках слёзы.

— Шлюс<sup>1</sup>, — чуть внятно и всхлипывая, как ребёнок, произносит он.

Над нами большое весеннее солнце. Алеют, трепеща, флажки, которыми украшена высокая трибуна, обтянутая красным полотнищем. На трибуне — советский офицер-танкист, Иван Михайлович, Генрих, Вислоцкий, Штыхлер, Гардебуа, Джованни, Антонио. За ними — серая стена крематория, выше — плоский четырёхугольник трубы и белое облачко, повисшее в сверкающем небе.

Перед трибуной, на изрытом снарядами плацу, — мы, бывшие «хефтлинги». Мы построились по-батальонно — немцы, французы, чехи, русские, югославы, поляки. У многих за плечами винтовки. Мы стоим с обнажёнными головами. Между батальонами интервал в два шага, но мы можем все, не сходя с места, в любой момент взяться за руки. За нами — полуразрушенные бараки.

<sup>1</sup> Всё (нем.).

Мы ждём, когда из крематория вынесут урну с пеплом. Вот её выносят — тёмную банку, обвитую крепом. Урна ставится на перила трибуны. Воцаряется тишина.

У меня почему-то дрожат колени. Я опираюсь на руку Виктора. Гляжу на трибуну. К урне подходит Иван Михайлович. Лицо его бледно.

— Товарищи, — произносит он и смотрит на нас. — Товарищи, камрады! Война ещё не кончилась. Советские войска вместе с союзниками ещё ведут бои. Гитлер ещё жив... Поклянёмся же здесь, над прахом погибших товарищей, что мы не покинем строя и не прекратим борьбы, пока не очистим землю от фашизма... Клянёмся, советские люди!

— Клянёмся! — словно мощное эхо, звучит в ответ. Мой голос слаб, но, сливаясь с голосом сотен, он становится огромным.

К урне приближается Генрих. Его щека, изуродованная шрамом, подёргивается.

— Клянёмся, немцы и австрийцы! — произносит он по-немецки.

— Мы клянёмся! — торжественно гремит на площади.

У урны — Анри Гардебуа.

— Клянёмся, французы!

И снова по плацу прокатывается мощное «клянёмся».

Так, сменяя друг друга, к урне подходят все члены бывшего интернационального комитета. Над лагерной площадью двенадцать раз на разных языках проносится слово «клянёмся».

— Мы клянёмся тебе, Олег, Степан Иванович, Игнат, Валентин, Шурка, — словно в полузабытьи произносит Виктор. — Мы не забудем вас, мы не прекратим борьбы, мы не допустим, чтобы это когда-нибудь повторилось.

Да, мы этого не допустим.

В глазах у меня рябит. Я стискиваю пальцы Виктора. Он отвечает мне рукопожатием.

Митинг заканчивается. Люди бросаются к трибуне. Сверкает солнце, горят алые флажки, и сотни исхудалых человеческих рук тянутся к тому месту, где стоит, немного растерянно и смущённо улыбаясь, советский танкист — немолодой, широкоскулый, со следами въевшейся копоти на усталом и счастливом лице.

1948—1955 гг.



---

АДАМ МИЦКЕВИЧ

(К 100-летию со дня смерти)

★

## БАЛЛАДА И СТИХОТВОРЕНИЯ

### РЫБКА <sup>1</sup>

Из села, бледнее смерти,  
Выбегает Крестя в горе;  
Распустил ей косы ветер,  
Слёзы крупные во взоре.

На лужайку прибегает,  
Где река течёт в озёрко,  
Ручки белые ломает  
И так жалуется горько:

«О, живущие в подводье  
Мои сёстры, свитезянки,  
Слушайте в лихой невзгоде  
Голос брошенной коханки.

Пан обманывал, что любит,  
Лгал, что сделает женою,  
Крестю нынче он погубит —  
Под венец идёт с княжною.

Как хотят, пусть век проводят,  
Пусть её изменник холит,  
Но сюда пусть не приходят  
Над моей смеяться болью.

Долю брошенной коханки  
Кто оплачет, кто осудит?  
К вам иду я, свитезянки!  
Но дитя?.. С дитём что будет?..»

Стонет, бедная, тоскливо  
И, закрыв глаза руками,  
В воду падает с обрыва,  
И над ней — вода кругами.

А в лесу перед усадьбой  
Ярко свечи заблестели,  
Гости съехались на свадьбу,  
Танцы, музыка, веселье.

Но сквозь музыку был слышен  
Отдалённый плач ребячий.  
Вот слуга из леса вышел,  
На руках ребёнок плачет.

---

<sup>1</sup> По народной песне. (Примеч. авт.)

Вдоль извилистых затоков,  
Где сплелись густые лозы,  
Он идёт к воде глубокой,  
На пути роняя слёзы.

Слов его не слышат люди,  
Шепчет он под шелест листьев:  
«Кто ж дитя покормит грудью?  
Где ты, Кристя? Где ты, Кристя?»

«Здесь, на дне реки, лежу я, —  
Слышен слабый голосочек, —  
Здесь от холода дрожу я,  
Очи выел мне песочек.

По камням, по острой гальке,  
Я всё ниже заплываю.  
Мой обед — рачки, коралки,  
Их рососою запиваю».

А слуга стоит над речкой,  
Будто ждёт от волн ответа:  
«Кто ж дитя прижмёт к сердечку?  
Где ж ты, Кристя, где ты, где ты?»

Вдруг прозрачная водица  
Колебаться стала гибко,  
Начала слегка мутиться —  
Плеск! — и вынырнула рыбка.

И, как камень, что, играя,  
Кинет мальчик плоским боком,  
Прыгнув, рыбка золотая,  
Воздух чмокает подскоком.

В золотых чешуйках спинка,  
Плавники из перьев пёстрых,  
Глаз блестит, как бисеринка,  
И головка — как напёрсток.

Вдруг слущились с плеч чешуйки,  
Очи синие открылись,  
Косы светлые, как струйки,  
К шейке розовой спустились.

И лицо опять румяно,  
Грудь — два яблока, два полных,  
Чешуя лишь ниже стана,  
А сама лежит на волнах,

И берёт дитя на руки —  
Губки к матери прильнули, —  
А потом — качать, баюкать:  
«Люли, маленький мой, люли».

И когда дитя уснуло,  
В куст поставила корзинку,  
Вновь чешуйку натянула  
На свою девичью спинку,

Золотым оделась блеском,  
Жабры с красною каймою,  
Вниз нырнула с громким плеском,  
Пузыри лишь над водою.

Вечеру и спозаранку,  
Как придёт слуга к излуке,  
Выплывает свитезянка,  
Чтобы взять дитя на руки.

Почему же в вечер этот  
Странно берег пуст высокий?  
Час настал — слуги всё нету  
В лозняке речной затоки.

Ждёт слуга в укромном месте,  
Потому что над рекою  
Пан с женой гуляет вместе,  
Стан её обвив рукою.

За кустами, страхом скован,  
Встал слуга и ждёт в тревоге,  
Смотрит, ждёт и смотрит снова,  
Ждёт, но пусто на дороге.

В трубку согнутой ладони  
Он глядит, чтоб видеть лучше.  
День уже во мраке тонет,  
Чёрные повисли тучи.

Он с дороги глаз не сводит  
И, лишь высыпали звёзды,  
Близко к берегу подходит,  
В тёмный вглядываясь воздух.

Чудо, что ли, колдовство ли?  
Видит он: меж берегами,  
Где вчера катились волны,  
Камни лишь, песок и ямы.

На песке, в ночном тумане,  
Лишь разбросанное платье,  
И ни пана, и ни пани,  
Словно смыло их проклятье.

А из русла глыбой целой  
Поднялся огромный камень,  
Словно два недвижных тела  
Навсегда сплелись руками.

И слуга, взглянув на чудо,  
Молвить не сумел ни слова.  
Час прошёл, другой, покуда  
Речь к нему вернулась снова.

«Кристия!» — закричал он громко.  
Повторило эхо: «Кристия!»  
Никого в ночных потёмках.  
Не шелохнутся и листья.



Пот со лба он вытирает,  
Взор опять на камень поднял,  
Трижды головой кивает,  
Как бы думая: всё понял.

И, прижав дитя покрепче,  
Ни минуты не помешкав,  
Он спешит домой и шепчет  
Что-то с дикою усмешкой.

### СОМНЕНИЕ

С тобой в разлуке слёз не лью, не скрою,  
Чувств не лишаюсь, когда вновь с тобою,  
Но всё ж, когда разлука дольше срока,  
Мне кто-то нужен, жить мне одиноко,  
И я томлюсь вопросом без ответа:  
Любовь ли это, или дружба это?

Ты с глаз скрывалась, и не мог мой разум  
Твой милый облик воссоздать ни разу,  
Но и не раз душой я чужал всею —  
Всегда он рядом с памятью моею,  
И не могу добиться я ответа:  
Любовь ли это, или дружба это?

Страдал я часто, всё же никогда я  
К тебе не рвался с жалобой, страдая;  
Бродя без цели, потеряв дорогу,  
Как? — сам не знаю — к твоему порогу  
Вновь приходил и снова ждал ответа:  
Любовь ли это, или дружба это?

Ради тебя жизнь отдал бы легко я,  
Вошёл бы в ад для твоего покоя,  
Хотя о том и думать я не смею,  
Что стать твоим спокойствием сумею,  
И снова я не нахожу ответа:  
Любовь ли это, или дружба это?

Когда положишь руку мне на руку,  
Спокойно мне — блаженство гонит муку,  
И мнится, смерть, как лёгкий сон, примчится,  
Но, пробуждая, сердце в грудь стучится  
И ясно, громко требует ответа:  
Любовь ли это, или дружба это?

Когда тебе слагал я эту песню,  
Мной не владел дух вещей, дух чудесный,  
Я сам дивлюсь, откуда мысли взялись,  
Не понимаю — рифмы как сбежались  
И вдохновило что меня на это:  
Любовь ли, дружба — не найду ответа.

**В АЛЬБОМ ЛЮДВИКЕ МАЦКЕВИЧ**

Незнакомой, далёкой — безвестный, далёкий.  
Раз уж нам суждено, не встречаясь, скитаться,  
Шлю, чтоб сразу узнать тебя и попрощаться,  
Лишь два слова — привет и поклон мой глубокий.

Так и путник, блуждая в альпийской долине,  
Хочет песенкой скрасить унынье досуга.  
Овдовевшему сердцу петь некому ныне,  
Оно песню поёт для возлюбленной друга.

Но пока эту песню к ней эхо пригонит,  
Может, путника снежный обвал похоронит.

*Перевод с польского Семёна Кирсанова.*



---

---

# ИНОСТРАННАЯ НОВЕЛЛА

ВИЛЬЯМ САРОЯН

★

## ЧЕТЫРЕ РАССКАЗА

*Вильям Сароян — один из крупнейших современных писателей США. Родился в 1908 году во Френо (Калифорния); его родители были выходцами из Армении. Первая книга Сарояна вышла в 1934 году. С тех пор писатель опубликовал много рассказов, несколько пьес и повестей, романы, стихи. За пьесу «Лучшее время вашей жизни» (1939) ему была присуждена премия Общества драматических критиков, а также премия Пулицера; от последней Сароян отказался, мотивировав свой отказ словами: «Коммерция не вправе опекать искусство».*

### Филиппинец и пьяный

**П**орластый парень в коричневом пальто из верблюжьей шерсти не был негодяем, он был просто пьян. Почувствовав вдруг неприязнь к щуплому, франтоватому филиппинцу, он стал гонять его с места на место, приказывая отойти подальше и не толкаться среди белых. Толпа ждала парохода, чтобы перебраться через бухту в Окленд. Если бы парень не был пьян, никто и не подумал бы обращать на него внимание, однако он был пьян и шумел на весь зал. Все как будто и сочувствовали филиппинцу, но никому не хотелось за него заступаться, и бедный филиппинец был очень напуган.

Он стоял, окружённый людьми, а пьяный толкал его, приговаривая:

— Говорю тебе, отойди подальше. Отойди. Ступай отсюда. Я двадцать четыре месяца дрался во Франции. Я настоящий американец. Не желаю я, чтобы ты тут стоял среди белых.

Филиппинец пытался осторожно протиснуться, никого не задевая, подальше от пьяного; он поспешно пробирался сквозь толпу, не произнося ни единого слова и стараясь быть как можно вежливее. Он избегал пьяного, как только мог, а тот, спотыкаясь, преследовал его по пятам. Время шло, неприязнь пьяного постепенно возрастала, и он стал осыпать филиппинца бранью, твердя: «Ах вы, такие-сякие, ходите по Сан-Франциско, вырядившись, как франты, а деньги зарабатываете мытьём посуды! Кто вам дал право тут модничать?»

Он здорово ругался, и скоро его выражения стали так неприличны, что многим дамам пришлось сделать вид, будто они глухие и ничего не слышат.

Когда распахнулись большие двери, молодой филиппинец поспешно пробрался сквозь толпу и вошёл на пароход первым. Он забился в дальний угол, ненадолго присел там, а потом снова встал, чтобы поискать местечко поукромнее. Пьяный был на другом конце парохода. Молодой филиппинец издали слышал, как тот ругается. Он поискал глазами, где бы ему спрятаться, и кинулся в уборную. Вбежав в одну из кабинок, он закрыл дверь на засов.

Пьяный вошёл в уборную и стал спрашивать тех, кто там находился, не видали ли они филиппинца.

— Я настоящий американец, — твердил он. — Меня дважды ранили на войне.

В уборной он выражался куда откровеннее, употребляя такие слова, каких не посмел бы произнести при женщинах. Наклонившись, он стал заглядывать под двери кабинок. «Извините, пожалуйста», — говорил он тем, кто не был ему нужен, но когда он дошёл до той кабинки, где прятался молодой филиппинец, он стал ругаться и требовать, чтобы тот вышел вон.

— Ты от меня не уйдёшь, — говорил он. — Ты не имеешь права быть там, где находятся белые. Выходи, не то я сейчас сломаю дверь.

— Уйдите, — сказал ему молодой филиппинец.

Пьяный стал колотить в дверь.

— Рано или поздно тебе придётся выйти, — сказал он. — Я подожду.

— Уйдите, — сказал молодой филиппинец. — Я вам не сделал ничего дурного.

Его поражало, почему ни у кого из присутствующих не хватает порядочности, чтобы утихомирить или прогнать пьяного, но вдруг он понял, что в уборной, кроме них двоих, никого нет.

— Уйдите, — сказал он.

Пьяный ответил на это проклятиями и продолжал колотить в дверь.

Теперь горечь, которую испытывал молодой филиппинец, превратилась в ярость. Он задрожал, но не от страха перед пьяным, а от страха перед яростью, которая поднималась в нём. Он вынул из кармана нож и, обнажив острое лезвие, зажал нож в кулаке так судорожно, что ногти впились в мякоть ладони.

— Уйдите, — сказал он. — В руках у меня нож. Я не хочу неприятностей.

Пьяный твердил, что он американец. Двадцать четыре месяца провёл во Франции. Был дважды ранен. Один раз в голень, а другой — в бедро. Он никуда не уйдёт. И не боится какого-то грязного, шуплого, желторожего филиппинца с ножом. Пусть филиппинец выйдет, он ведь американец.

— Я вас убью, — сказал молодой филиппинец. — Я никого не хочу убивать. Вы пьяны. Уйдите. Пожалуйста, не надо никаких неприятностей, — сказал он очень серьёзно.

Ему было слышно, как стучит паровой дизель. Он стучал, как ярость в его сердце. Эту ярость вызвали перенесённые унижения, травля и необходимость прятаться, а теперь к ней примешивалось и желание освободиться, даже если для этого нужно будет убить. Он распахнул дверь и попытался проскочить мимо своего обидчика, крепко стиснув нож в кулаке, но пьяный схватил его за рукав и потянул к себе. Рукав на пиджаке треснул, филиппинец повернулся и ткнул пьяного ножом в бок, чувствуя, как нож скрипнул, задев за ребро. Пьяный вскрикнул и завopil что есть мочи, потом он схватил филиппинца за горло, и тот стал тыкать ножом ему в бок уже без разбора, как тычет кулаком боксёр, когда его зажал противник.

Когда пьяный был уже не в силах удерживать его и свалился, филиппинец выбежал из уборной, всё ещё сжимая в руке нож, с лезвия которого капала кровь. Он был без шляпы, волосы его были спутаны, а рукав пиджака порван.

Все поняли, что он сделал, но никто не двинулся с места.

В поисках спасения молодой филиппинец побежал на нос парохода, потом вернулся и забился в угол на корме. Никто не решался с ним заговорить, потому что все знали, какой он совершил поступок.

Бежать ему было некуда, и ещё прежде, чем пришло паровое начальство, он вдруг стал кричать окружающим его людям:

— Я не хотел ему никакого зла! — кричал он. — Почему вы его не уняли? Разве можно травить человека, как крысу? Вы же видели, что он пьян. Я не хотел причинять ему боль, но он не давал мне покоя. Он разорвал мне пиджак и хотел меня задушить. Я говорил, что его убью, если он не уйдёт. Разве я виноват? Мне нужно съездить в Окленд и повидать брата. Он болен. Неужели вы думаете, что я хотел неприятностей, когда у меня болен брат? Почему вы его не уняли?

## Пианино

— Я волнуюсь всякий раз, когда вижу пианино, — сказал Бен.

— Правда? — сказала Эмма. — Почему?

— Не знаю, — сказал Бен. — Ты не возражаешь, если мы зайдём в магазин и попробуем вон то маленькое пианино в углу?

— Ты умеешь играть? — спросила Эмма.

— То, что я делаю, вряд ли можно назвать игрой, — сказал Бен.

— А что ты делаешь?

— Увидишь, — сказал Бен.

Войдя в магазин, они подошли к маленькому пианино в углу. Эмма увидела, как Бен улыбается, и вдруг засомневалась: сможет ли она когда-нибудь его понять? Вот так она и будет идти рядом с ним, думая, что его понимает, и вдруг откроет, что она нисколько не понимает его. Он стоял перед маленьким пианино и глядел на него сверху вниз. «Он, наверно, слышал хорошую игру на пианино, — подумала Эмма, — любит музыку и всякий раз, когда видит клавиши и самое пианино, вспоминает про музыку и воображает, будто и он имеет к ней какое-то отношение».

— Ты умеешь играть? — снова спросила она.

Бен оглянулся. Продавец, повидимому, был занят.

— Я не умею играть, — сказал Бен.

Эмма увидела, как его руки тихо потянулись к чёрным и белым клавишам, словно он был настоящим пианистом, и это показало ей таким необыкновенным, что она даже удивилась своему чувству. Она вдруг поняла, что рядом с ней человек, который долго-долго будет открывать в себе то, что в нём заложено, но что другим придётся открывать это ещё дольше. Такому человеку, как он, надо было бы играть на пианино.

Бен взял несколько тихих аккордов. Никто не подходил к нему и не пытался ему что-нибудь продать, поэтому, всё так же стоя, он стал делать то, что, по его словам, нельзя было назвать игрой на пианино.

И она поняла: это чудесно.

Он играл всего каких-нибудь полминуты. Потом посмотрел на неё и сказал:

— Звучит хорошо.

— Мне показалось, что у тебя звучит чудесно, — сказала Эмма.

— Да нет, при чём тут я? — сказал Бен. — Я говорю о пианино. Я говорю о самом инструменте. У него красивый звук, особенно для такого маленького пианино.

К ним подошёл пожилой продавец и сказал:

— Здравствуйте.

— Привет, — сказал Бен. — Прекрасное пианино.

— Да, на этот инструмент большой спрос. Особенно для домашнего обихода. Мы продаём их очень много.

— Сколько оно стоит? — спросил Бен.

— Двести сорок девять долларов, пятьдесят, — сказал продавец. — Можно, конечно, и в рассрочку.

— Где их делают? — спросил Бен.

— Не могу вам точно сказать. Кажется, в Филадельфии. Можно узнать.

— Не беспокойтесь, — сказал Бен. — Вы сами играете?

— Нет, не играю, — сказал продавец.

Он заметил, что Бену хочется ещё немножко попробовать пианино.

— Пожалуйста, — сказал он. — Поиграйте ещё немножко.

— Я не умею играть, — сказал Бен.

— Но я слышал, как вы играли, — сказал продавец.

— Разве это игра? — сказал Бен. — Я не могу прочесть ни одной ноты.

— А мне показалось, что вы хорошо играете, — сказал продавец.

— Мне тоже, — сказала Эмма. — Сколько надо за него внести сразу?

— Ах, вот что! — сказал продавец. — Около сорока или пятидесяти долларов. А ну-ка, сыграйте ещё что-нибудь, — сказал он. — Мне хочется послушать ещё.

— Если бы это было где-нибудь в комнате, — сказал Бен. — Я мог бы просиживать у пианино целыми часами.

— Поиграйте ещё, — сказал продавец. — Никто возражать не будет.

Продавец пододвинул ему стул. Бен сел и стал делать то, что, по его словам, нельзя было назвать игрой на пианино.

Пятнадцать или двадцать секунд он прогуливался по клавишам, а потом нашёл что-то вроде мелодии и минуты две не отпускал её от себя. К самому концу музыка стала тихой, очень печальной, и Бену пианино ещё больше понравилось. Он дал мелодии разрастись и в это время разговаривал с продавцом о пианино. Потом он перестал играть и встал со стула.

— Спасибо, — сказал он. — Мне бы очень хотелось его купить.

— Не стоит благодарности, — сказал продавец.

Бен и Эмма вышли из магазина. На улице Эмма сказала:

— А я ведь и не знала, Бен.

— О чём? — спросил Бен.

— Насчёт тебя.

— Что именно?

— Что ты такой, — сказала Эмма.

— Сейчас перерыв на обед, — сказал Бен. — А я люблю думать о том, как бы мне хотелось иметь пианино только по вечерам.

Они вошли в маленький ресторан, подсели к стойке и заказали бутерброды и кофе.

— Где ты научился играть? — спросила Эмма.

— Я никогда не учился играть, — сказал Бен. — Но где бы я ни увидел пианино, я всегда стараюсь его попробовать. С самого детства. Наверно, потому, что у меня нет денег.

Он посмотрел на неё и улыбнулся. Он улыбался ей так же, как тогда, когда стоял у пианино и смотрел на клавиатуру. Эмма почувствовала себя очень польщённой.

— Если у человека никогда не бывает денег, — сказал Бен, — он лишён множества вещей, которые, как ему кажется, должны принадлежать ему по праву.

— Наверно, так оно и есть, — сказала Эмма.

— С одной стороны, — сказал Бен, — это хорошо, но с другой — совсем не так уж хорошо. В сущности говоря, даже ужасно.

Он опять на неё посмотрел, как тогда, и она ему улыбнулась так же, как он улыбался ей.

Она поняла. Это было совсем как с пианино. Он мог сидеть около неё целыми часами, и она почувствовала себя очень польщённой.

Они вышли из рестораника и прошли пешком два квартала до универмага, где она работала.

— Ну, пока,— сказал он.

— Пока, Бен,— сказала Эмма.

Он пошёл вниз по улице, а она вошла в универмаг. Так или иначе, знала она, но в один прекрасный день он получит своё пианино и всё остальное тоже.

### Джим Пембертон и его сын Триггер

Папаша вошёл в закусочный фургон Вилли на Пич-стрит, где я сидел у стойки, болтая с Эллой — новой подавальщицей из Техаса, ел шницель и пил кофе; он бросил шляпу на мраморный автомат, снял пиджак, свернул его, положил рядом со шляпой и сказал:

— Триг, имей в виду, я тебе задам трёпку. Ты сказал миссис Шеридан, что я не был в армии.

Я чуть было не подавился шницелем, и Элла посоветовала мне поднять кверху левую руку, потому что от этого проходит кашель, а папаша сказал:

— Ну-ка, Триггер, слезай со стула.

— Дай мне по крайней мере доесть шницель, па, — сказал я.

— Ладно, — согласился папаша. — Ты сказал миссис Шеридан, что за всю жизнь я не убил ни одного человека, и теперь она больше не ждёт меня видеть.

— Что поделаешь, — сказал я. — Дай мне доесть шницель. Ты ведь действительно никого и не убивал, сам знаешь.

— Откуда тебе это известно? — спросил папаша. — Ты в этом уверен?

— Я не могу сказать наверняка, но, господи помилуй, па, зачем бы ты стал трудиться и убивать кого бы то ни было?

— Не твоего ума дело. Мне некогда объяснить тебе, что к чему. Поскорей доглатывай свой шницель и слезай. Я задам тебе трёпку.

Он повернулся к Элле.

— Здравствуйте, Элла, — сказал он вежливо. — Зажарьте мне кусок филейной вырезки. Чуть-чуть с кровью.

— Хорошо, мистер Пембертон, — сказала Элла. — Неужели вы опять собираетесь драться с Триггером?

— Я не могу позволить, чтобы он распускал про меня ложные слухи, — сказал папаша.

— Какая же это ложь? Кого ты убивал? Назови мне хоть одного человека.

— Чёрта лысого я тебе назову, — сказал папаша. — Я мог бы тебе на пальцах насчитать целых четырнадцать убитых.

— У тебя нет четырнадцати пальцев. У тебя нет даже и десяти. У тебя их восемь. Ты потерял два пальца левой руки на лесопилке Перри.

— Я потерял свои пальцы на войне, — сказал папаша. — За родину.

— Папаша, — сказал я. — Ты же знаешь, что ты не был в Европе. Тебя губит твоё воображение.

— Я тебе покажу, кто кого погубит. Миссис Шеридан говорит, что я не герой.

— Ты и в самом деле не герой, па.

— Ладно, тогда слезай. Если ты так считаешь, я задам тебе трёпку.

— Всё равно я с тобой справлюсь, и ты сам это знаешь. Не понуждай меня.

— Ты со мной справишься? — спросил папаша. — Когда же это было?

— Господи, мистер Пембертон, — вмешалась Элла, — да ведь Триггер справился с вами не далее как вчера на этом самом месте, перед нашим фургоном.

— Поджарь мне приправу из лука, — сказал папаша. — Как ты поживаешь, Элла? Не отпускает ли мой сын на твой счёт оскорбительных замечаний? Имей в виду, я этого не потерплю. Я ему задам трёпку.

— Помилуйте, мистер Пембертон! Триггер очень мил. Триггер — самый приветливый и красивый молодой человек в Кингсбурге.

— Я не потерплю, чтобы кто-нибудь отпускал оскорбительные замечания такой невинной девушке, как ты, Элла, — сказал папаша. — Если мой сын Триггер пригласит тебя за город, ты мне только скажи, и я задам ему трёпку.

— Да я с радостью поеду с Триггером за город, — сказала Элла.

— Берегись, — сказал папаша, — Триггер такой парень, что справится с тобой в две минуты.

— И не подумает, — сказала Элла.

— Ещё как подумает, — сказал папаша. — Неужели же нет, сынок?

— Да это как сказать... — ответил я, поглядел на Эллу и подумал, что, может, папаша прав первый раз в своей жизни. Первый раз в жизни его не губит его безудержное воображение.

Казалось, что у папаши пропала охота отодрать меня из-за миссис Шеридан, и на душе у меня полегчало. Мне было жаль отравлять лучшие годы его жизни: ведь по шее получал всегда папаша, когда он думал померяться со мной силой.

— Элла, — сказал папаша. — Как бы там ни было, не давай Триггеру кружить себе голову всякими там разговорчиками и улещиванием.

— Я живу в этом городе уже с позавчерашнего дня, — сказала Элла, — но ещё не встречала никого, кто бы мне понравился хоть наполовину так, как Триггер.

Она перевернула на сковороде бифштекс.

— Как вам нравится этот бифштекс, мистер Пембертон? — спросила она.

— Красота! — сказал папаша.

Он уселся на стул рядом со мной.

— Триггер, — сказал он, — обожди на улице, пока я поужинаю. Не могу же я задать тебе трёпку на пустой желудок!

— Мне надо сходить в Колизеум, — сказал я.

— Обожди минут пять.

— Я договорился с Гарри Уилком, что сыграю с ним партию в миллиард. А чего тебе от меня надо, па?

— Я хочу, чтобы ты пошёл к миссис Шеридан и сказал ей, что я убил на войне семнадцать немцев. Она сидит на веранде перед домом. Не могу же я жить в такую замечательную погоду без любви и уважения красивой женщины!

— Побойсь бога, па, да ведь миссис Шеридан мне не поверит!

— Поверит. Поверит, какую бы ты ей ни сказал чепуху. Запомни: семнадцать! Не забудь!

— Но ведь на самом деле ты же их не убивал, а, па?

— А какая тебе разница? — спросил он.

Элла положила на тарелку бифштекс и поставила тарелку на стойку, между ложкой и вилкой с ножом. Папаша отрезал от бифштекса большой кусок. Мясо было красное, как кровь. Папаша положил его в рот и улыбнулся Элле.

— Ты хорошая, ещё совсем невинная девушка, — сказал он. — Недалёк тот час, когда тебе захочется замуж, поэтому лучше не ездь с Триггером за город.

— А почему бы мне с ним не поехать, мистер Пембертон? Я поеду с радостью, — сказала Элла.

— Езжай, — сказал папаша. — Езжай, и пусть он тебе задаст трёпку, если тебе уж так хочется.

Папаша обернулся ко мне.

— Ты окажешь мне эту услугу, Триггер?



Господи, как я гордился своим папашей! Он был такой большой и такой сумасшедший.

— Ладно, папаша. Я расскажу миссис Шеридан, что ты перебил целый полк пулемётчиков.

— Ступай прямо к миссис Шеридан. Она сидит в качалке на веранде. Скажи ей, что я приду, как только поужинаю.

— Ладно, па, — сказал я.

— До свиданья, Триггер, — сказала Элла.

— До свиданья, Элла.

Я подошёл к обочине, завёл своего «Харлей-Дэвидсона» и проехал шесть кварталов до меблированных комнат миссис Шеридан на Элм-авеню.

Как сказал папаша, миссис Шеридан и в самом деле сидела на веранде перед домом, однако с ней был Ральф Этен. Миссис Шеридан через соломинку потягивала из бутылки шипучку с клубничным сиропом.

Я прислонил мотоцикл к обочине тротуара и подошёл к веранде. Миссис Шеридан выглядела очень хорошенькой и уютной, а Ральф Этен был зол, особенно на меня. Всё равно мне никогда не нравилась его дочь Эффи. Ему только казалось, что Эффи мне нравится. Он упорно пытался меня на ней женить, но я потребовал доказательств, что виной был я, а не Гэби Фишер. Ральф Этен утверждал, что Гэби Фишер тут ни при чём, а я утверждал, что и моё дело тут сторона. Ральф Этен очень рассердился и пригрозил, что передаст дело в Верховный суд, но почему-то этого не сделал.

— Добрый вечер, миссис Шеридан, — сказал я.

— Добрый вечер, Триггер, — сказала миссис Шеридан. — Поднимись сюда и посиди с нами.

— Добрый вечер, мистер Этен, — сказал я.

Ральф Этен спросил:

— Что принесло тебя, сынок, в такой поздний час?

— Поднимись на веранду и присядь, — сказала миссис Шеридан. — Мы с Ральфом хотим с тобой поговорить.

Я поднялся на веранду и сел на барьер против миссис Шеридан и мистера Этена.

— Вот и я, миссис Шеридан, — сказал я. — О чём же вы хотите со мной поговорить?

— Мы хотим поговорить с тобой о твоём сыне Гомере, — сказала миссис Шеридан. — От Эффи, младшей дочери Ральфа.

— Гомер совсем не мой сын, — сказал я.

— Ты ошибаешься, — сказал Ральф Этен. — В этом вопросе ты чертовски ошибаешься, Триггер. Гомер похож как две капли воды и на тебя, и на твоего папу, и даже на твоего деда. Гомер — самый настоящий Пембертон.

— Мистер Этен, — сказал я ему; — боюсь, что вас губит ваше воображение.

— Напрасно, Триггер, — сказал мистер Этен. — Гомер — твой сын. Он уже разговаривает и даже в этом похож на тебя.

— Триггер, — сказала миссис Шеридан. — Мне кажется, ты должен проявлять больше интереса к своим детям.

— Побойтесь бога, миссис Шеридан, — сказал я. — Как вы можете так говорить? Какие у меня могут быть дети? У меня нет даже жены.

— Есть жена или нет, — сказала миссис Шеридан, — но у тебя меньше четырёх детей только в одной нашей округе. Тебе слишком легко переезжать с места на место на твоём мотоцикле, Триггер. Ты, верно, себе и не представляешь, сколько он тебе экономит времени, когда тебе нужно добраться до какой-нибудь невинной девицы или сбежать от неё!

— Я езжу на этой машине, чтобы доставлять нашим фермерам газеты из Сан-Франциско. Вот для чего у меня мотоцикл.

— Я и не говорю, что он у тебя совсем не для того, чтобы доставлять газеты, — сказала миссис Шеридан. — Но ты развозишь газеты только какой-нибудь час или два по утрам. Твои дети — самые прелестные дети в нашей округе, и, ей-богу, нехорошо с твоей стороны не обращать на них никакого внимания.

— Триггер, — сказал мистер Этен, — почему бы тебе не жениться на моей дочери Эффи, не стать человеком и не приобрести себе имя?

— Что за имя вы имеете в виду, мистер Этен?

— Громкое имя, — сказал мистер Этен. — Почему бы тебе не остепениться и не стать большим человеком?

— Вот именно, Триггер, — сказала миссис Шеридан, — мне тоже кажется, что стоит тебе чуть-чуть понатужиться, и ты станешь большим человеком.

Я решил, что настало время приняться за миссис Шеридан, но не мог этого сделать в присутствии мистера Этена. Папаша недолюбливал этого человека, и я решил поскорее от него избавиться.

— Мистер Этен, я хочу вам сказать, пока не забыл, для чего я сюда пришёл. Дело в том, что Чарли Хэген хочет поговорить с вами по личному делу. Он ждёт вас в Колизеуме и просит поторопиться.

Мистер Этен подпрыгнул чуть не на три фута со своего стула.

— Банкир Чарли Хэген? — воскликнул он. — Триггер, ты хочешь сказать, что меня ждёт самый богатый человек в нашей округе?

— Да, сэр, — сказал я. — Мистер Хэген уверяет, что он должен поговорить с вами о чём-то очень важном.

— Кто бы мог подумать? — сказал мистер Этен. — Вы уж меня извините, миссис Шеридан, но я должен вас покинуть.

— Что поделаешь, — сказала миссис Шеридан.

Мистер Этен засеменял по ступенькам веранды, одним прыжком перескочил через двор перед домом и побежал вниз по Элм-авеню.

— Миссис Шеридан, — сказал я, — хотите верьте, хотите нет, но мой папаша перебил на войне целый снайперский полк немецких пулемётчиков. Он подкрался к ним, когда они спали. Вот как он это сделал!

Миссис Шеридан отставила бутылку с шипучкой и расправила свою могучую грудь, затрепетав от изумления.

— Триггер, — сказала она. — О чём ты, чёрт бы тебя подрал, болтаешь?

— Я говорю о моём папаше, — ответил я. — Я говорю о Джиме Пембертоне — о волке-отшельнике здешних мест, грозе воров и карманников, покровителе детей и невинных девушек, — вот о ком я говорю.

— И что же, по-твоему, твой безумный папаша натворил на войне? — спросила миссис Шеридан.

— Говорю вам, он своими руками перебил семнадцать немецких снайперов-пулемётчиков.

— Не верю, — заявила миссис Шеридан.

— Что мне вам на это сказать, миссис Шеридан? Вас, повидимому, губит ваше воображение. Я говорю сущую правду. У папаши были письменные доказательства, но он их куда-то засунул. У него было семь медалей, но ему пришлось их продать. Папаша — герой, миссис Шеридан.

— Триггер, кто тебя сюда послал с такими дикими рассказами? — спросила миссис Шеридан. — Вчера ты мне говорил, что твой папаша никогда не ездил в Европу. Вчера ты мне сказал, что твой папаша даже не был в армии.

— Миссис Шеридан, — сказал я, — меня ввели в заблуждение. Меня злостно ввели в заблуждение.

— Как же твой папаша мог совершить такой смелый поступок? — спросила миссис Шеридан. — Как же, чёрт его побери, ему удалось его совершить?

— Он подкрался к ним исподтишка, — сказал я. — Он убил одиннадцать немцев, когда они спали, ударив их по голове прикладом своего ружья. Остальные шестеро проснулись и затеяли с папашей ужасную склоку, но он направил на них огонь их собственных пулемётов и скошил их, как траву. За этот геройский поступок он получил целых семь медалей, а через два дня после этого им пришлось кончить войну.

Миссис Шеридан раскачивалась взад-вперёд на своей качалке.

— Ай-ай-ай, кто бы мог подумать! — сказала она. — Триггер, на, возьми пятнадцать центов. Ступай к Мейеру и купи мне пачку сигарет «Честерфилд». Такую новость нужно как следует перекурить.

Я пробежал полквартила до Мейера и купил миссис Шеридан пачку сигарет. Когда я вернулся, папаша уже сидел на веранде и рассказывал миссис Шеридан, как ему удалось совершить свой геройский поступок. Папаша беседовал с миссис Шеридан очень нежно и любовно.

— Вот и ты, Триггер, — сказала миссис Шеридан, — а ну-ка, дай мне сигареты.

Пока миссис Шеридан надрывала пачку, вынимала сигарету и закуривала, я переглянулся с папашей, желая узнать, как его дела. Папаша улыбнулся и сделал мне привычный знак правой рукой, означавший, что дела его идут превосходно и что мне он очень благодарен. Я подал ему ответный знак, а миссис Шеридан так глубоко затянулась дымом и выглядела при этом такой прелестной, что я понял: моё дело в шляпе.

— Спокойной ночи и спасибо, миссис Шеридан, — сказал я. — Мне было так приятно в вашем обществе.

— Что ты, Триггер! — сказала миссис Шеридан. — Не стоит благодарности. Мне тоже приятно было поговорить с тобой.

— Спокойной ночи, па, — сказал я.

— Спокойной ночи, Триггер, — сказал папаша.

Я подошёл к обочине и поставил мотоцикл. Когда я запускал его, я услышал, как папаша что-то рассказывает с таким жаром и нежностью, что сразу понял: ему хватит дела по крайней мере до утра.

## Поучительные сказочки моей родины

### 1

Свои излюбленные поучения о том, что нужно верить в бога, в добро и как бессмысленно отчаиваться, моя бабушка Люси подтверждала рассказом о плотнике, жившем много сотен лет назад, которого по пути домой остановил его приятель и спросил:

— Друг мой, почему лицо твоё так печально?

— И у тебя на душе было бы не веселее, — сказал плотник, — будь ты в моём положении.

— А что случилось? — спросил приятель.

— К завтрашнему утру, — сказал плотник, — мне нужно изготовить для короля одиннадцать тысяч, одиннадцать сот и одиннадцать фунтов дубовых опилок, не то я прощусь со своей жизнью.

Приятель улыбнулся и обнял плотника за плечи.

— Друг мой, — сказал он. — Да будет у тебя легко на сердце. Давай есть, пить и забудем о завтрашнем дне. Господь велик и позаботится о нас, если мы его почитаем.

И они пошли к дому плотника, где его ожидали заплаканные жена и дети. Но слёзы высохли, когда они стали есть, пить, шутить, петь и танцевать, словом, всячески проявлять свою веру в бога и добро. Но в разгаре веселья жена плотника заплакала и сказала:

— Как же так, муж мой, утром ты простишься со своей головой, а мы наслаждаемся радостью жизни. Разве так можно?

— Помни о боге, — сказал плотник, и они продолжали воздавать ему хвалу.

Всю ночь они веселились, а когда свет пронзил мрак своим копьём и настал день, они смолкли, подавленные страхом и горем. Пришли посланцы короля, тихо постучали в дверь, и плотник сказал:

— Теперь я пойду умирать, — и отворил им дверь.

— Плотник, — сказали они, — умер король. Сколоти ему гроб.

## 2

Дядя мой Арам, для того чтобы пояснить, какие необыкновенные вещи случаются на белом свете, рассказывает историю про другого короля и про другого человека. У короля были презабавнейшие прихоти, а человек, о котором идёт речь, был советником у короля и обладал куда большим умом, здравым смыслом и доблестью, чем король и все его предки, вместе взятые.

Как-то вечером король сказал:

— Я желаю, чтобы к утру ты сказал мне, сколько слепых в Константинополе.

— Только и всего? — сказал советник. — Понятно.

И он удалился, чтобы продумать, как бы ему выполнить это дурацкое поручение. Заручившись услугами опытного счетовода, он посадил его на прекрасного коня, дал в руки книгу и перо и приказал поехать вместе с ним по городу и записывать в книгу всех слепых, которых они встретят. Крепкой верёвкой привязал он к седлу своего коня огромную ветвь цветущей сирени и, волоча её за собой, стал объезжать городские улицы.

Не прошло и минуты, как один из прохожих поднял голову и закричал:

— Мамед, что ты делаешь?

Советник обернулся к счетоводу и сказал:

— Счетовод, человек этот слеп. Открой свой счёт.

На соседней улице из красивого дома выглянула дама и спросила:

— Что ты делаешь, молодой человек? — и советник приказал счетоводу продолжить свой счёт.

К утру перечень включал всех слепых жителей Константинополя, и советник со счетоводом повернули своих коней в сады королевского дворца, всё ещё волоча за собой ветвь цветущей сирени.

Сам король вышел на балкон и стал глядеть на своего советника.

— Эй, Мамед! — закричал он. — Что ты делаешь?

Советник быстро обернулся к счетоводу и сказал:

— Счетовод, твой счёт окончен. Этот сукин сын тоже слеп.

## 3

Для того чтобы показать, как потешны люди, которые лезут вон из кожи в своё честолюбие и пустых мечтах, мой дядя рассказывал историю двух арабов — мудрого и глупого, — которые отправились в горы на охоту за медведями.

— Я уже продал шкуру моего медведя, — сказал глупец. — А ты?

— Ещё нет, — сказал мудрый, — я стану об этом думать, когда убью медведя. Ты уж больно уверен в себе!

— А как же? — сказал другой. — Ведь я такой отличный стрелок, такой знаток повадок медведей и такой ловкач в торговых делах.

Они ушли далеко в горы и отбились друг от друга. Вдруг из-за огромной скалы перед глупым арабом появился огромный медведь. Араб кинул своё ружьё, бросился наземь и притворился мёртвым. Медведь приблизился к арабу, обнюхал его с головы до ног, помочился ему в лицо и мед-

ленно удалился. Когда медведь был далеко, глупый араб встал и обтёр лицо. Другой араб подошёл к нему и спросил:

— Что тебе сказал медведь?

Глупый араб, который теперь был уж не так глуп, как прежде, ответил:

— Медведь сказал: «В следующий раз не продавай мою шкуру прежде, чем ты её не сдерёшь».

## 4

Чтобы устыдить двуличных людей, которые хвалят человека в глаза и дурно отзываюся о нём за спиной, дядя Арам рассказывал историю о медведе и человеке, которые очень подружились и как-то зимой отправились вдвоём на прогулку. Человек остановился и подышал себе на руки. Медведь спросил:

— Дружище, зачем ты дуешь себе на руки?

— Чтобы согреть их, — ответил человек.

После того, как прогулка была окончена, они пошли к человеку поужинать, и когда им подали суп, человек подул на него, а медведь спросил:

— Дружище, зачем ты дуешь на суп?

— Чтобы остудить его, — сказал человек.

Медведь (совсем как человек, который сердится, обладая при этом крутым нравом моего дяди) зарычал:

— Будь проклято то дыхание, которое несёт с собой и жар и холод!

## 5

Чтобы ничтожные люди, полные мнимого величия, узнали свою истинную цену, он рассказывал об одном льве, которого ранил охотник. Чую близкую гибель, лев ревел от боли, но вдруг к нему подползла черепаха и спросила:

— Что у тебя болит?

— Меня подстрелил охотник, — ответил лев.

Черепаха очень рассердилась и сказала:

— Да не будет подобным людям ни дна ни покрышки, если они поднимают руку на такие великие творения земные, как мы с тобой.

— Сестрица, — сказал лев, — ты уж извини меня, но рана, которую нанёс мне охотник, причиняет мне куда меньше боли, чем твои слова.

Сказав это, лев тотчас же умер.

На ту же тему дядя рассказывал историю о блохе, попавшей в ухо к слону, когда слон шёл по мосту через реку.

— Ты заметил, дружок, — сказала блоха, — что когда такие великаны, как мы с тобой, шествуют по мосту, он трясётся от нашей мощи?

## 6

Муж с женой ехали на осле по горной дороге в Битлис и вдруг увидели слепого, который с трудом нащупывал дорогу.

Муж сказал жене:

— Господь подарил тебе два глаза; слезь с осла, иди пешком, и пусть слепой едет верхом.

Жена сказала:

— Слепые часто пользуются нашей добротой, давай проедем мимо.

Но муж пожалел слепого и захотел, чтобы тот ехал верхом.

— Погляди, — сказал он, — как у него изранены ноги; слезь, и пусть он едет на осле.

Жена сошла с осла, а слепой уселся к мужу за спину. Жена шла пешком, мужчины ехали, и вот наконец, они приблизились к своей цели.

Муж сказал:

— Вот и Битлис, мы тебя ссадим здесь, сходи.

— По какому такому праву? — спросил слепой. — Я разрешил тебе провести моего осла через горы, а теперь ты хочешь его украсть?

Жена поняла, что им грозят неприятности и застонала.

— Ну, не глупый ли у меня муж! — сказала она.

— Прошу тебя, слезай, — сказал муж, — будь человеком. Я тебя пожалел и довёз на моём осле до города. Ступай своей дорогой.

Слепой закричал. Собралась толпа. Слепой стал взывать к народу и просить защиты. Муж увидел, что люди сочувствуют слепому, а не ему, и сказал жене:

— Ты была права, а я совершил ошибку; пусть он возьмёт осла, пойдём.

— Верно, — сказала жена. — Пойдём.

Слепой закричал:

— Сперва ты хотел украсть моего осла, теперь ты хочешь украсть мою жену, а жена, встретив здорового человека, больше не хочет быть со слепым.

Жена застонала от ужаса. Муж лишился речи.

Толпа поверила слепому. Он ведь был слеп. Люди жалели его, потому что он не мог видеть.

Жена заплакала. Муж сказал, что он не оставит своей жены.

Они отправились к судье; слепой рассказал, как они с женой ехали на своём осле в Битлис, осёл заупрямился и не хотел двинуться с места, и тогда появился этот незнакомец, стал понукать осла и привёл его в город, где он сперва попытался украсть осла, а потом и жену.

Потом муж рассказал, как было дело, с горечью проклиная себя за неразумную доброту.

Потом жена рассказала, как было дело, обливаясь слезами.

Судья понял, что из их рассказа трудно выяснить, кто из них лжёт, и сказал:

— Посадите каждого из них в отдельную камеру. Пусть за ними наблюдают, а наутро сообщат мне, что они делали.

Так и поступили.

Когда слепой остался один, он, думая, что его никто не видит, очень развеселился. Он зевнул, потянулся, а затем стал плясать, приговаривая:

— Мне достался осёл, получил я жену, как украшу я долю свою!

Муж клял себя за безрассудство, которое он проявил, желая помочь слепому мошеннику.

Жена проплакала всю ночь.

Утром судье рассказали, как вели себя все трое. Он посадил слепого в тюрьму, а муж и жена отправились восвояси на своём осле.

## 7

В одной семье жил слепой, которому родные отдавали всё самое лучшее — и пищу, и одежду, и постель, и всё прочее; однако он был вечно недоволен и весь день и всю ночь сетовал на то, как его обижают. Все пили воду, а слепого поили молоком; все съедали по одной чашке риса, а слепому давали три; всем доставалось по полкаравая хлеба, слепому — три, а он всё жаловался. В ярости и отчаянии родные зарезали барашка, зажарили его, положили на блюдо и подали слепому. Он понюхал барашка, пошупал, велик ли он, а потом принялся есть, но, перед тем как проглотить первый кусок, сказал:

— Если мне дали так много, могу себе представить, сколько досталось вам!

*Перевод с английского Е. Голышевой и Б. Изакова.*



## НОВОЕ ОБ АЛЕКСАНДРЕ БЛОКЕ

Публикация  
ВЛ. ОРЛОВА

### I. ЮНОШЕСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

**Н**ад некоторыми из юношеских стихотворений Блока стоит посвящение: *К. М. С.* Это инициалы Ксении Михайловны Садовской (1862—1925), в ту пору светской дамы, обладавшей музыкальными способностями (она училась в Петербургской консерватории по классу пения) и подолгу жившей за границей. К. М. Садовская была «первой любовью» поэта: они познакомились летом 1897 года в Бад-Наугейме (Германия) и затем встречались в Петербурге вплоть до конца 1899 года. Кроме ряда стихотворений, посвящённых К. М. Садовской в 1897—1900 и 1903 годах, с воспоминаниями о ней связан известный стихотворный цикл Блока «Через двенадцать лет», написанный в 1909—1910 годах, и ещё несколько стихотворений (например, «Посещение»). До нас дошло десять писем Блока к К. М. Садовской от 1898—1900 годов. В одном из писем (от 16 апреля 1900 года), адресованном в Южную Францию, где тогда находилась К. М. Садовская, Блок послал ей следующее своё стихотворение, до сих пор не публиковавшееся.

Когда отдамся чувствам страстным,  
Меня влечёт на знойный юг  
Слагать стихи к ногам прекрасным  
Твоим, далёкий, нежный друг...  
Забвенью вечному, быть может,  
Ты всё бывшее предала,  
И страстный вздох не потревожит  
Давно спокойного чела...  
Или грустишь с тоской бывалой  
И предаёшь наедине  
Слезам ответ мой запоздалый  
И часто плачешь обо мне?  
Ужели в страстных сновиденьях  
Ни разу прежний образ мой  
Не восставал тебе виденьем  
В тиши томительной ночной?

### II. ХАРАКТЕРИСТИКА Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА

В одном из неопубликованных писем Блока к его невесте Любови Дмитриевне Менделеевой (от 15 мая 1903 года) содержится следующая характеристика великого русского учёного:

Твой папа вот какой: он давно всё знает, что бывает на свете. Во всё проник. Не укрывается от него ничего. Его знание самое полное. Оно происходит от гениальности, у простых людей такого не бывает. У него нет никаких «убеждений» (консерватизм, либерализм и т. д.). У него

есть всё. Такое впечатление он и производит. При нём вовсе не страшно, но всегда — беспокойно. И никому из твоей семьи не спокойно, это оттого, что он всё и давно знает, без рассказов, без намёков, даже не видя и не слыша. Это всепознание лежит на нём очень тяжело. Когда он вздыхает и охает, он каждый раз вздыхает обо всём вместе. Ничего отдельного или отрывочного у него нет — всё неразделимо. То, что другие говорят, ему почти всегда скучно, потому что он всё знает лучше всех, кто к нему приходит. Но он никогда не захочет поверить, и ему не надо верить в то, что кто-нибудь может быть с ним откровенен и прост. Это ему очень тяжело, но он верит, что иначе не может и не должно быть, и никто в мире не убедит его в противном. Он считает необходимым долгим, например, «занимать» и т. п. Иначе он никогда делать не будет, но это ему тяжело и часто невыносимо, даже физически.

В дополнение стоит сказать об отношении Д. И. Менделеева к Блоку. Сын учёного, Иван Дмитриевич Менделеев, засвидетельствовал: «К внуку старого своего друга профессора А. Н. Бекетова, поэту Александру Блоку, женившемуся на моей старшей сестре, Л. Д. Блок, отец относился с нежностью, понимая его дар, и брал его при мне часто под защиту. «Есть области углублённых переживаний, к которым следует относиться внимательно и осторожно» (И. Менделеев. Мой отец и его современники. «Ленинградская правда», 1937, № 26 от 2 февраля). Фотографический снимок Блока и его жены всегда стоял на письменном столе Д. И. Менделеева в его рабочем кабинете.

### III. ЧЕРНОВЫЕ НАБРОСКИ 1908 ГОДА

Приводим первоначальные наброски двух известных стихотворений Блока. Первый набросок, датированный 27 октября 1908 года, — зерно, из которого выросло стихотворение «Опять над полем Куликовым...», заключающее цикл «На поле Куликовом».

Вновь над полем Куликовым  
 Расточилась злая мгла,  
 Словно облаком суровым  
 Блеск светил заволокла.

. . . . .

Узнаю тебя, зачало  
 Золотых и строгих дней!  
 В стане вражьем, как бывало,  
 Трубный голос лебедей.

Тяжело, как перед боем...

Из второго наброска, датированного 4—8 ноября 1908 года, родилось стихотворение «Опустишь, занавеска линиялая...»:

— Опустишь, занавеска линиялая,  
 На герани больные мои.  
 Скоро минула жизнь небывалая,  
 Молодая, как очи твои.

Не она ль, как цыганка, проворными  
 Оплетала руками меня...

Не она ль, как цыганка, узорными  
 Убиралась платками, маня,  
 Или косами иссиня-чёрными  
 Что ни ночь оплетала меня.



#### IV. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ СТИХОТВОРЕНИЯ «О ДОБЛЕСТЯХ, О ПОДВИГАХ, О СЛАВЕ...»

Одним из самых популярных стихотворений Блока является «О доблестях, о подвигах, о славе...», датированное в рукописи 30 декабря 1908 года. Первоначальная редакция его была совершенно другой, причём наиболее интересно, что в этой редакции собственно лирическая тема утраты личного счастья сплетается воедино с более общей темой измены некоему духовному идеалу (что, в частности, подчеркнуто в словах ты и Ты, то со строчной, то с прописной буквы).

В дальнейшем этот первоначальный текст превратился в три отдельных и совершенно самостоятельных стихотворения. Сначала Блок выделил из него стихотворение «О доблестях, о подвигах, о славе...» (опубликованное в 1910 году); затем, в феврале 1914 года, окончательно обработал стихотворения «Когда замрут отчаянье и злоба...» и «Забывшие Тебя» («И час настал. Свой плащ скрутило время...») — первое из них было напечатано в 1914, второе — в 1915 году.

Приводим первоначальный текст, послуживший общим источником этих трёх стихотворений:

*1 августа 1908*

Когда замрут отчаянье и злоба,  
Нисходит сон. — И крепко спим мы оба  
На разных двух концах земли.  
Ты обо мне, быть может, гредишь в эти  
Часы. Идут часы походкою столетий,  
И сны встают в земной дали.

О доблестях, о подвигах, о славе  
Я забывал на горестной земле,  
Когда твоё лицо в простой оправе  
Передо мной сияло на столе.

Но час настал — свой плащ скрутило время,  
И меч блеснул — и стены разошлись,  
И я пошёл с толпой туда, за всеми,  
Где призраки всем милые ждались.

Мелькала нам за серой кручей круча,  
Народ роптал, вожди лишились сил,  
Навстречу нам шла грозовая туча,  
Мгновенных молний сноп по ней рябил.

И руки повисали, точно плети,  
Когда кругом, завидя кулаки,  
Грозящие громам, рыдали дети  
И жёны кутались в печальные платки.

И я, без сил, как тать, бежал из строя,  
За мной с горы сошли толпы других,  
Но не сияло небо голубое  
И солнце скрылось в тучах грозových.

Скитались мы, беспомощно роптали,  
На месте прежних хижин не нашли  
И у ночных костров, дрожа, мечтали  
Искать иной, неведомой земли...

Напрасный жар! Напрасные надежды!  
Мечтали мы, мечтаний не любя,  
И не было ни пищи, ни одежды,  
Ни крова, ни свободы... ни Тебя!

Я звал Тебя — и Ты не оглянулась.  
Я слёзы лил — и Ты не снизошла.  
Ты в серый плащ печально завернулась,  
В сырую ночь ты из дому ушла.

Не знаю, где приют своей гордыне  
Ты, милая, ты, нежная, нашла:  
Я крепко сплю и вижу плащ твой синий,  
В котором ты в сырую ночь ушла.

Уж не мечтать о нежности, о славе!  
Всё миновалось — молодость прошла.  
Твоё лицо в его простой оправе  
Своей рукой убрал я со стола.

«Серый плащ» (в девятой строфе), очевидно, описка Блока (вместо синий, как в рифмующемся окончании стиха в следующей строфе). Стоит отметить, что выражение «Но час настал...» заимствовано из стихов А. С. Хомякова, а слова «напрасный жар» — из стихов А. А. Фета.

#### V. ЗАПИСЬ В АЛЬБОМЕ

В альбоме, принадлежавшем А. Г. и М. К. Максимовым (ныне — в Рукописном отделении Государственной Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина), имеется следующая запись Блока:

«Что делаешь — делай скорее». Верный этому завету — каждый день поднимает на плечи новую тяжесть и принимает в сердце новый кусок свинца. Если он при этом человек, а не рухлядь, он неустанно продолжает восхождение: пока не свалится где-то, в горах. Но вот уже другой тащится вслед за ним.

И жизнь торжествует.

*Александр Блок.*

*5 февраля 1908.*

*Петербург.*

«Что делаешь — делай скорее» — цитата из Евангелия от Иоанна. Блок привёл это изречение в стихотворении 1914 года «Ну, что же? Устало заломлены слабые руки...».

#### VI. ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ НА КНИГЕ

На экземпляре третьего сборника своей лирики «Земля в снегу» (издательство «Золотое руно», М. 1908), подаренном Н. Н. Волоховой, Блок сделал такую надпись:

Наталии Николаевне Волоховой.

Позвольте поднести Вам эту книгу — очень несовершенную, тяжёлую и сомнительную для меня. Что в ней правда и что ложь, покажет только будущее. Я знаю только, что она не случайна, и то, что в ней не случайно, люблю.

*Александр Блок.*

*3 ноября 1908 г.*

*С. П. Б.*

#### VII. О ПОРТРЕТЕ РАБОТЫ К. СОМОВА

В 1907 году художник из группы «Мир искусства» К. А. Сомов написал пастелью портрет Блока, который вслед за тем (в 1908 году) был воспроизведён в журнале «Золотое руно». Коллекционер Э. П. Юргенсон обратился к Блоку с просьбой написать репродукцию портрета. Блок ответил следующей запиской:

Портрет Сомова нисколько не похож на меня, и я не хочу его подписывать.

*Александр Блок.*

## VIII. ПОМЕТЫ НА КНИГАХ

Блок, как правило, читал книги с карандашом в руках. Многие книги из сохранившейся части библиотеки Блока испещрены разного рода пометами, значками, замечаниями, а иногда и пространными заметками владельца. Приводим некоторые из них.

Известно, что Блок в юности испытал сильное влияние идеалиста и мистика Вл. Соловьёва. Однако отношение его к Соловьёву и самое толкование соловьёвских идей носило вольный, субъективный характер. Блок воспринял Соловьёва прежде всего и больше всего как «провозвестника будущего», одержимого «страшной тревогой, беспокоеством». И этим для Блока заслонялось всё остальное в Соловьёве — его богословские сочинения, его учение о «всемирной теократии», его воинственно-реакционная публицистика. Всё догматическое в соловьёвстве, что оборачивалось поповщиной и мёртвой схоластикой, Блок отвергал и говорил об этом с полным презрением: «...всё догматы, всё невидимые рясы, грязные и заплёванные, поповские сапоги и водка» (письмо к Г. Чулкову от 23 июня 1905 года). Собственно говоря, Блок был увлечён лишь поэзией Вл. Соловьёва, а все его теоретические рассуждения оставляли Блока вполне равнодушным. Он признавался своему задушевному приятелю Е. П. Иванову: «...я в этом месяце силился одолеть «Оправдание добра» Вл. Соловьёва и не нашёл там ничего, кроме некоторых остроумных формул средней глубины и непостижимой скуки. Хочется всё делать на против, на зло. Есть Вл. Соловьёв и его стихи — единственное в своём роде откровение, а есть «Собр. сочин. В. С. Соловьёва» — скука и проза» (письмо от 15 июня 1904 года).

Очевидно, примерно в это же время Блок читал статью Вл. Соловьёва «Общий смысл искусства» и сделал на полях её («Собрание сочинений В. С. Соловьёва», т. II, стр. 82) следующую надпись:

Отчего всё так хило, мертво, как будто на зло? Или у него не было температуры? Далёкие, далёкие, точно в глубине длинного корридора, тени людей.

Следующая группа помет Блока относится к 1912 году. В это время теоретики символизма Вяч. Иванов и А. Белый предприняли последнюю тщетную попытку гальванизировать символизм, находившийся в состоянии окончательного умирания и разложения. В этих целях был учреждён теоретический журнал «Труды и дни», первый номер которого открывался программно-декларативной статьёй Вяч. Иванова «Мысли о символизме». Вяч. Иванов и А. Белый настойчиво старались вовлечь Блока в «общее дело» защиты и обоснования символизма. Но он решительно сопротивлялся этому, придя к твёрдому и окончательному убеждению, что символизм закончил круг своего существования. «Мутная вода», «несуществующая школа» — вот чем был теперь для Блока символизм. «Пора развязать руки, я больше не школьник. Никаких символизмов больше — один отвечаю за себя, один...» — записывает Блок в дневнике в феврале 1913 года.

Читая статью Вяч. Иванова «Мысли о символизме», Блок испещрил её пометами. Так, например, он подчеркнул в статье следующее место: «Итак, я не символист, если не бужу неуловимым намёком или влиянием в сердце слушателя ощущений непередаваемых, похожих порой на изначальное воспоминание.., порой на далёкое, смутное предчувствие, порой на трепет чьего-то знакомого и желанного приближения,— причём и это воспоминание, и это предчувствие или присутствие переживаются нами как непонятное расширение нашего личного состава и эмпирически-ограниченного самосознания». Против этого места Блок написал:

К чёрту, надоело, врёт, мертво!

Далее, во фразе Вяч. Иванова: «Истинному символизму свойственнее изображать земное, нежели небесное...» — Блок подчёркивает слово «з е м н о е» и пишет на полях: «Хорошее слово». А термин мистико-символистской эстетики Вяч. Иванова «A realibus ad realiora» («От реального к реальнейшему») вызывает такую помету Блока:

### Средневековые чертежи, мёртвое.

Концовка статьи Вяч. Иванова, где он говорит об «истинных» и «неистинных» символистах и о том, что «истинный символизм иную ставит себе цель: освобождение души (*καθαρσις*, как событие внутреннего опыта)», сопровождается следующей пометой:

Речь идёт о поэтах настоящих и ненастоящих, потому — иностранные слова излишни. Говорить *καθαρσις* теперь тем же тоном, как и в 1903 году, — значит или кощунствовать, или не иметь музыкального слуха.

Вслед за статьёй Вяч. Иванова в «Трудах и днях» была напечатана статья А. Белого «О символизме». На полях этой статьи есть такая помета Блока:

Эта вторая статья — точно форточка, открытая в комнате, где надыхала первая. Неблагодарная задача — проветривать комнату. Будем мы лучше говорить не об искусстве, а о человеке.

### IX. ЗАМЕТКА В ЗАПИСНОЙ КНИЖКЕ

В июле 1916 года Блок по обстоятельствам военного времени вынужден был прервать литературную работу: он был призван в действующую армию и зачислен в 13-ю инженерно-строительную дружину Союза Земств и Городов. После Февральской революции, в марте 1917 года, Блок вернулся в Петроград, но к художественному творчеству он не возвращался ещё долго: в 1917 году он не написал ни одного стихотворения. Затянувшееся творческое молчание тяготило Блока, а друзья и просто случайные знакомые, очевидно, досаждали ему расспросами: пишет ли он и почему не пишет? В этой связи Блок и записал в своей записной книжке 22 апреля 1917 года:

«Пишете Вы или нет? — Он пишет. — Он не пишет. Он не может писать».

Отстаньте. Что вы называете «писать»? Мазать чернилами по бумаге? — Это умеют делать все заведующие отделами 13 дружины. Почём вы знаете, пишу я или нет? Я и сам это не всегда знаю.

### X. ОДИН ИЗ ОТКЛИКОВ НА ПОЭМУ «ДВЕНАДЦАТЬ»

Общественный резонанс поэмы «Двенадцать» был очень велик. Поэма вызвала множество откликов, долго служила злобой дня. Современник, писатель Лев Никулин, вспоминает: «Трудно описать споры, которые кипели вокруг поэмы... Контрреволюционеры, саботажники искали в этой поэме издёвки, скрытой иронии над ненавистной им революцией, изуверы, мистики орали о кощунстве, которое усмотрели в последней строфе поэмы». Безоговорочно признав и приняв Октябрьскую революцию, Блок тем самым вступил в открытый и острый конфликт со своим прежним литературно-общественным окружением. Буржуазная художественная интеллигенция, в массе своей настроенная контрреволюционно, пыталась подвергнуть поэта остракизму. Некоторые литераторы буржуазного лагеря, вчерашние «друзья» и поклонники Блока, не подавали ему руки (и сообщали об этом в печати), отказывались выступать вместе с ним на литературных вечерах, всячески клеветали на него. В этой бесстыдной травле поэта наряду с репортёрами жёлтой, бульварной прессы принимали активное участие «столпы» буржуазной литературы — З. Гиппиус и Д. Мережковский, Ф. Сологуб и Ю. Айхенвальд и другие. З. Гиппиус, поспешно убегая за границу, оставила в Петрограде свой интимный дневник 1917—1918 годов. Теперь этот дневник находится в одном из наших архивохранилищ. В дневнике этом имеется проскрипционный список «интеллигентов-перебежчиков», очевидно заготовленный впрок, в расчёте на победу контрреволюции. Блок занимает в этом списке второе место.

Характерной иллюстрацией того, как были встречены революционные выступления Блока в буржуазно-интеллигентском кругу, может служить один любопытный документ, сохранившийся среди бумаг поэта. Это — письмо к нему от двух его давних и востор-

женных поклонниц и корреспонденток, петербургских курсисток и начинающих поэтов. Приводим это письмо полностью, опустив лишь подписи пославших его:

«Стоит буржуй, как пёс голодный,  
Стоит безмолвный, как вопрос,  
И старый мир, как пёс безродный,  
Стоит за ним, поджавши хвост.

И Вам не стыдно?

Пощадите свои первые три книжки, Рсзу. и Крест и Соловьиный сад!

И спускаясь по камням ограды,  
Я нарушил цветов забытьё.  
Их шипы, точно руки из сада,  
Уцепились за платье моё...

Как бесконечно жаль, что Вы не остались за оградой «высокой и длинной»...  
Так оплывать себя!..

8 марта 18 г.»

(Подписи)

На письме Блок сделал такую помету:

Что за глупости? Неужели всё та же война развратила этих милых девушек?

Нужно по достоинству оценить человеческое и гражданское мужество Блока. Он не дрогнул под обрушившейся на него лавиной ненависти и клеветы. Подлая и злобная травля ничуть не смущала его. Напротив, она только обострила в нём чувство презрения к тем, кого он так настойчиво призывал «слушать Революцию» и кто так злобно от неё отвернулся. «Происходит совершенно необыкновенная вещь (как всё), — записал он в дневнике 14 января 1918 года. — «Интеллигенты», люди, проповедывавшие революцию, «пророки революции» оказались её предателями. Трусы, натравливатели, прихлебатели буржуазной сволочи» — вот как аттестовал поэт предателей революции из буржуазно-интеллигентской среды.

## XI. ДВЕ НАДПИСИ НА КНИГАХ, ПОДАРЕННЫХ М. ГОРЬКОМУ

Надпись на книге «Россия и интеллигенция», издание второе, «Алконост», П. 1919:

Алексею Максимовичу Пешкову книжка, случайно оборвавшаяся на январе 1918 года, а конца ей не видно. С глубоким уважением и преданностью

VIII. 1919.

А. Блок.

Надпись на книге «Стихотворения Аполлона Григорьева». Собрал и примечаниями снабдил Александр Блок, М. 1916:

Глубокоуважаемому и дорогому Алексею Максимовичу Пешкову книга, полная тоски и пьяной хандры, но и русских прозрений — от редактора её.

VIII. 1919.

## XII. НАБРОСОК ПЕРЕВОДА ИЗ ШИЛЛЕРА

Среди бумаг Блока сохранился набросок перевода двух заключительных строк стихотворения Шиллера «Брут и Цезарь» (1780), относящийся, повидимому, к 1919 или 1920 году. Приводим этот набросок, заключая в ломаные скобки зачёркнутое Блоком.

Цезарь<sup>1</sup>  
 <Сын, ты стал великим из великих,  
 Поразив отца кинжалом в грудь,>  
 Пусть до адских врат несутся клики:

<sup>1</sup> Первые четыре стиха строфы не переведены.

Брут мой стал великим из великих,  
 Поразив отца кинжалом в грудь,  
 <Знаешь ныне>

. . . . .

Б р у т  
 Погоди, отец! — Во всей вселенной  
 Одного я только знал,  
 Кто, как Цезарь, несравненный:  
 И его ты сыном называл.  
 Рим один лишь Цезарь уничтожит,  
 Цезаря один лишь Брут сразит;  
 Брут живёт, так Цезарь жить не может,  
 Разойдёмся — так судьба велит.

### ХIII. ДЕВЯТЬ ПИСЕМ К ПИСАТЕЛЯМ

#### 1. М. А. Кузмину

13 мая 1908. (Петербург)

Милый Михаил Алексеевич.

Вчера я всю ночь не спал, а днём бродил в полях и смотрел на одуванчики, почти засыпая, почти засыпая. Потому Вы и не застали меня. А сейчас проспал 13 часов без снов и встал бодрый, ясный воздух, читаю Вашу книгу вслух и про себя, в одной комнате и в другой. Господи, какой Вы поэт и какая это книга! Я во всё влюблён, каждую строку и каждую букву понимаю и долго жму Ваши руки и крепко, милый, милый. Спасибо!

Любящий Вас  
 Александр Блок.

P. S. Если увидите Hans Guenter'a, поклонитесь ему от меня.

Кузмин Михаил Алексеевич (1875—1936) — поэт, драматург и прозаик символистского лагеря; композитор-дилетант, автор музыки к драме Блока «Балаганчик». В письме речь идёт о первом сборнике стихотворений Кузмина — «Сети» (М. 1908). Hans Guenter — немецкий поэт, входивший в кружок учеников Стефана Георге, первый переводчик стихов Блока на немецкий язык.

#### 2. С. Н. Куликову

8 марта 1910. (Петербург)

Многоуважаемый Сергей Николаевич.

Разве можно говорить «вообще» в назначенные часы. Такие разговоры редко удаются. Если бы даже удалось, — у Вас прибавился бы один лишний хороший разговор и у меня один. А это только подчёркивает одиночество и печаль. Если нам с Вами надо говорить, пусть будет это случайно, если где-нибудь встретимся.

Александр Блок.

С. Н. Куликов, начинающий писатель, обратился к Блоку с просьбой встретиться и «поговорить». Блок в таких случаях бывал очень неподатлив.

#### 3. С. С. Петрову

Ноябрь 1911. (Петербург)

Дорогой Степан Степанович.

Не могу видаться с Вами сейчас (от усталости, от многих дел, от нервного расстройства), но давно имею потребность сказать Вам, что

книжка Ваша (за исключением частных, особенно псевдонима и заглавия) многим мне близка. Вас мучат также звёздные миры, на которые Вы смотрите, и особенно хорошо говорите Вы о звёздах.

*Александр Блок.*

Петров Степан Степанович — поэт, принадлежавший к акмеистическому «Цеху поэтов», автор двух стихотворных сборников — «Голубой ажур» (СПб. 1911) и «Летейский брег» (СПб. 1913), изданных под претенциозным псевдонимом: Грааль Арельский. В своих воспоминаниях о Блоке (откуда мы взяли публикуемое письмо) С. С. Петров пишет: «Я был тогда студентом астрономом, и мои фантазии о небесных мирах скоро оживили его (Блока. — В. О.) лицо... Он мне признался, что никогда не видел неба в астрономическую трубу. Этого было достаточно, чтобы на следующий день мы условились с А. А. пойти в обсерваторию Народного Дома, где я часто дежурил, будучи членом общества «Русская Урания», которому и принадлежала обсерватория. Мы нарочно выбрали позднее время, чтобы не было в обсерватории посторонних посетителей... Много мы объездили тогда звёздных миров... «Как здесь тихо и хорошо, — говорил А. А., — только, знаете, меня почему-то подавляет эта бесконечность миров; она вызывает у меня чувство какой-то мучительной тоски. Я думаю, чтобы полюбить тот мир, нужно кого-нибудь полюбить в этом мире». С этого времени А. А. довольно часто заглядывал к нам в обсерваторию и оставался там иногда до рассвета» (Г. Арельский. Из воспоминаний об А. Блоке. «Красный студент», 1923, № 7/8).

4. А. П.

*11 января 1913. (Петербург)*

Поэму Вашу я перечитал не раз; с первого чтения она мне и нравилась и не нравилась, потому надо было отложить и подождать. Кроме того, очень напряжённо писал своё и чувствую себя больным; вот почему так долго не отвечаю Вам.

Теперь впечатление моё определённо: думаю, что это — настоящие и большие чувства; это подчёркивается для меня тем, что Вы говорите об этом — не одна. Но и Вы перегружаете эти чувства словами, не умеете сказать так, чтобы по-настоящему было слышно. На один образ придётся десяток выражений «без-образных», вовсе нет художественной экономии.

К выражениям, недостойным того, что хотел сказать ими автор, относятся, например, все эпитеты в «Посвящении», или в I главе I-ой части: «сладостно-стройная мечта»; «лучистое мгновение»; «волшебный огонь»; и много таких; я думаю, Вы знаете, о чём я хочу сказать; это всё — уже не говорящее, не слова, а тени их.

Нравится мне, пожалуй, больше всего I глава IV части — почти целиком: очень просто и отчётливо, например: с у х и и х о л о д н ы н о ч и. Это я называю «экономией». Если бы всё было так: чем тише, тем лучше у Вас; у Вас, мне кажется, нет силы изобразительности для трубных звуков.

Также нравится мне: «каждое в часе мгновение... — пятый в цветке лепесток», «на трудный, на святой, ...подвиг страсти» (видите, я всё пропускаю места, которые мне не звучат).

Вывод из всего для меня тот, что печатать «Венок» я бы не стал, но то, что он существует, хорошо; для меня, например, он нужнее десятков «декадентских» стихов напечатанных, потому что автор его говорит о «настоящем».

Искренно Вас уважающий

*Александр Блок.*

Р. S. Посылаю с посыльным, как Вы мне разрешили.

Блок вёл обширную переписку с начинающими писателями. В архиве Блока сохранилось много писем от молодых поэтов, драматургов, беллетристов и просто дилетантов, присылавших ему на суд свои произведения. Во всех случаях Блок аккуратно отвечал своим корреспондентам, давая подробную оценку присылавшегося ему литературного материала. К сожалению, такие письма Блока, рисующие его в роли советчика и наставника начинающих литераторов, в большинстве ещё не разысканы. Тем большее значение приобретает публикуемое письмо, адресованное некой А. П., автору стихотворной повести «Венок». Произведение это, насколько нам известно, не появлялось в печати, и о характере его можно судить лишь по тем немногим и отрывочным цитатам, которые приводит Блок в своём письме.

Письмо Блока интересно в первую очередь выраженными в нём мыслями о необходимости для поэта соблюдать «художественную экономию», писать «просто» и «отчётливо», избегать стёртых «поэтизмов». Проблема художественной простоты и строгости стиля осмыслялась зрелым Блоком в свете собственного творческого опыта: в стихах «третьего тома», в поэме «Возмездие», в драме «Роза и Крест» он настойчиво стремился преодолеть расплывчатость, невнятность и нарочитую метафричность, характерные для декадентско-символистской поэзии в целом и сказавшиеся в его собственной ранней лирике.

Получение повести «Венок» было отмечено Блоком в дневнике под 5 января 1913 года: «Пока я гулял вечером, горничная принесла письмо со стихами... Повидимому, женщина, автор, читала Фета, классиков... меня... Письмо хорошее, вежливое, в стихах есть старинное, простое, но в общем слабо, банально, несмотря на удачные выражения. Чувства настоящие». Далее в дневнике под 11 января запись: «ответ авторше повести в стихах «Венок».

#### 5. В. М. Отроковскому

*23 апреля 1913. (Петербург)*

Дорогой Владимир Михайлович.

Спасибо Вам за письмо и стихи. Стихи я перечитал несколько раз и много бы мог сделать частных замечаний, но, мне кажется, не стоит делать этого в письме. Стихи певучие, очень молодые и очень подражательные пока; пройдёт несколько лет, или даже один (в Ваши годы один стоит многих), и Вы будете писать совсем иначе, если это не временное увлечение, если Вам суждено писать именно стихи, а не уйти, например, в науку. Во всяком случае, Вы сами пока мне понравились больше стихов, а это, я думаю, всегда важнее. Без человека (когда в авторе нет «человека») стихи — один пар.

Главное, бойтесь печатанья, оно всегда может повлиять дурно. В стихах, Вашим почерком написанных, можно уловить  $\frac{1}{10}$  Вашего сквозь  $\frac{9}{10}$  разных подражательностей и шаблонов (до самого дурного — «декадентского» шаблона; кроме того, вижу в Ваших стихах не мало от Анненского, кое-что от А. Белого, и от меня, пожалуй). А в печати Ваша  $\frac{1}{10}$  пропадёт, и Вы станете похожим «на всех».

В заключение: прочтите замечательную книгу Розанова «Опавшие листья». Сколько там глубокого о печати, о литературе, о писательстве, а главное — о жизни.

Будьте здоровы, до свидания, жму Вашу руку.

*Ал. Блок.*

Отроковский Владимир Михайлович (1892—1918) — студент-филолог и начинающий поэт, впоследствии — автор ряда историко-литературных работ. В дневнике Блока под 4 марта 1913 года отмечено: «Вечером пришёл милый студент из Киева, Вл. Мих. Отроковский». Блок написал В. М. Отроковскому три письма, из которых уцелело лишь одно — публикуемое. За сообщение его приношу благодарность сестре В. М. Отроковского — М. М. Калинович.



6. Н. Д. Санжарь

5 января 1914. (Петербург)

Дорогая Надежда Дмитриевна.

Звонил к Вам и не дозвонился. Прежде всего, глубокое Вам спасибо за Русинова, которого Вы, повидимому, облагодетельствовали (я получил от него восторженное письмо). Он — человек слабый, жить не умеет, сам я ничего настоящего для него не мог сделать (да и не хотел, как следует). Наудачу послал его к Вам, потому что передо мной лежало Ваше письмо, и я думал о нём и о Вас. Ну, спасибо.

Что же мне ответить Вам? Мы такие разные. С литераторами я теперь совсем мало вижусь, так что и собрать некого, чтобы слушать Вашу работу. Сам я уверен, что ничего не скажу Вам полезного: ведь мы действуем в совершенно разных областях: моя сила — в форме, Ваша — в бесформенности. Я думаю, и Вы и я думаем друг о друге довольно странно: смесь досады с уважением.

О сказках: Вы знаете, конечно, Ремизова, знаете, что на него как на мастера стиля (именно относительно прозы) можно положиться. Кроме того, я знаю, что деньги ему очень нужны. Я ничего с ним не говорил по этому поводу, но, если хотите, поговорю с ним; или прямо напишите ему (Таврическая 7, кв. 23. Его зовут Алексей Михайлович). Сам я в прозе немногого стою.

Если будете мне писать, сообщите мне, когда уедете. Я бы к Вам ещё позвонил как-нибудь. Ужасно Вы странный человек, Надежда Дмитриевна, никак Вас не поймёшь. Спасибо Вам ещё раз, всего Вам лучшего.

Преданный Вам Ал. Блок.

Р. С. Дарского (псевдоним?) я просматривал только. Меня поразило, что книга заключается стихотв[орением] Тютчева, которым я живу уже года два и которое хотел поставить эпиграфом к «Розе и Кресту».

Санжарь Надежда Дмитриевна — писательница, автор книг: «Заколдованная» (1915), «Записки Анны» (1916), «По-своему» (1916), «Книга о человеке» (1916). Русинов — начинающий литератор. Ремизов Алексей Михайлович — писатель-символист. Книга Д. Дарского «Чудесные вымыслы. О космическом сознании в лирике Тютчева» (1914) заканчивается стихотворением Тютчева «Два голоса» («Мужайтесь, о други, боритесь прилежно...»). В ноябре 1911 года Блок переписал это стихотворение в дневнике, подчеркнув строку: «Хоть бой и неравен — борьба безнадежна!», а год спустя отметил в заметках по поводу драмы «Роза и Крест»: «Эпиграфом ко всей пьесе может служить стих. Тютчева «Два голоса»:

Тревога и труд лишь для смертных сердец...  
Для них нет победы, для них есть конец».

При этом Блок так истолковывал идею тютчевского стихотворения: «Смысл трагедии — безнадежность борьбы; но тут нет отчаяния, вялости, опускания рук» («Дневник Ал. Блока. 1911—1913». Л. 1928, стр. 41).

7. А. А. Ахматовой

26 марта 1914. (Петербург)

Многоуважаемая Анна Андреевна.

Вчера я получил Вашу книгу, только разрезал её и отнёс моей матери. А в доме у неё — болезнь, и вообще тяжело; сегодня утром моя

мать взяла книгу и читала, не отрываясь: говорит, что не только хорошие стихи, а по-человечески, по-женски — подлинно.

Спасибо Вам.

Преданный Вам *Александр Блок*.

Р. С. Оба раза, когда Вы звонили, меня, действительно, не было дома.

Книга А. Ахматовой — «Чётки», СПб. 1914. На дарственном экземпляре книги, сохранившемся в составе библиотеки Блока, — надпись автора:

От тебя приходила ко мне тревога  
И умение писать стихи...

В книге много помет Блока, представляющих собой целую систему оценок. Большинство стихотворений получило высокую оценку, также и отдельные строки, как, например:

Пусть камнем надгробным ляжет  
На жизни моей любовь.

Как будто копил приметы  
Моей нелюбви. Прости!

И не знать, что от счастья и славы  
Безнадёжно дряхлеют сердца...

Вместе с тем некоторые стихи в книге А. Ахматовой получили отрицательную оценку Блока. Так, например, в стихотворении «Дверь полуоткрыта...» подчеркнута строка: «Знаешь, я читала...» с пометой: «Не люблю». В стихотворении «Хорони, хорони меня, ветер...» подчеркнуты строки:

И вели голубому туману  
Надо мною читать псалмы.

А на полях против этих строк записано: «Крайний модернизм, образцовый, можно сказать, «вся Москва» так писала».

#### 8. С. А. Клычкову

*23 февраля 1914. (Петербург)*

Спасибо Вам за книгу, Сергей Антонович. Я сейчас очень занят своей работой, боюсь прерывать её, а, между тем, мне кажется (по стихам Вашим), что мы люди очень несходные, так что надо привыкать друг к другу. Если б это было практически надо, — другое дело; но Вы уже в литературе, так что и помощи моей Вам не надо. Вот по этим причинам я хочу предложить Вам не устраивать такого «нарочитого» свидания, как-то связывающего и Вас и меня. Приведёт бог — и встретимся, не в этом году, так в будущем, не здесь, так в Москве. «Потаённый сад» я ещё бегло посмотрел, а «Песни» давно у меня есть, я читал их. Не скажу, чтобы они были мне близки, нет потребности их вспоминать. Поётся Вам легко, но я не вижу в песнях насущного.

Всего Вам доброго.

*Александр Блок.*

Клычков Сергей — литературный псевдоним С. А. Лешенкова, поэта и прозаика, типичного представителя реакционно-кулацкой литературы. «Песни» (1911) и «Потаённый сад» (1913) — сборники стихов С. Клычкова.

#### 9. Э. Ф. Голлербаху

*12 февраля 1921. (Петербург)*

Многоуважаемый Эрих Фёдорович.

Вы вчера ушли, и я не успел Вам сказать ничего о портретах. Потом ушёл и я, и они остались в Д[оме] л[итераторов], кажется, их взял Гумилёв.

В портретах признаю удачные стихи среди слабых и падающих.  
Но главное то, что оригиналы взяты в их чертах застывших, данных.  
Не показаны никакие возможности, ничего от будущего, а это — единственное, что может интересовать.

Кажется, Вы «эстет» — всеядный, т. е. Вам нравится бесконечное количество образов, вещей, душ, не имеющих общего между собою.

Не так ли?

Мне бы хотелось получить от Вас свой портрет, а также — рецензию о «Седом утре», о которой Вы писали.

Всего Вам лучшего.

*Ал. Блок.*

Голлербах Эрих Фёдорович (1895—1942) — литературный и художественный критик эстетского толка. «Портреты» — цикл стихов Э. Голлербаха, представляющих собой характеристики ряда поэтов и художников. Они были изданы («на правах рукописи», в количестве 100 экземпляров) в 1926 и 1930 годах. «Портрет» Блока (в котором он охарактеризован как «поэт розы и креста») в эти издания не вошёл; он опубликован в альманахе «Возрождение», вып. II, М. 1923. Рецензия Э. Голлербаха на пятый сборник лирики Блока «Седое утро» была напечатана в журнале «Вестник литературы», 1920, № 12.



# ПУБЛИЦИСТИКА

Л. РОЗАНОВА, Э. ДУБРОВСКИЙ

★

## ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ — АЛТАЙ

*Дневник студенческой бригады*

### ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

**Н**ет ничего хуже, чем волноваться, не имея ни малейшей возможности что-либо предпринять. Это чувство, вероятно, хорошо известно болельщикам футбола. Но у них по сравнению с нами множество преимуществ: они могут вскакивать с мест, свистеть и кричать «Тáма!». Мы лишены этой возможности. Все эти меры совершенно исключены в зрительном зале, так как они ни в какой степени не могут вдохновить исполнителей. Мы должны сидеть тихо и волноваться тоже тихо. Если они забывают слова песни или роли в пьесе, то мы не можем даже подсказать им текст, так как песни они придумывают в основном сами, пьесы пишут тоже сами, музыку — тоже.

Вот таково примерно положение людей, которые дружат с художественной самодеятельностью биофака МГУ.

Я дружу с ними давно. Слушала многие их концерты, видела многие спектакли, причём в самых различных условиях: и у традиционного костра в Звенигороде, где биологи отрабатывают свою летнюю практику, и в старом, милом сердцу клубе на Моховой, и в маленьком Доме пионеров, где они как-то выступали. Мне хорошо запомнились и концертные их программы, и инсценировки, и, наконец, четырёхактная сатирическая пьеса «Комарики».

Но ещё ни разу я так не волновалась, как тогда — на вечере в чудесном новом клубе на Ленинских горах. Это было не обозрение, не концерт, не спектакль. Это был комсомольский отчёт агитбригады биолого-почвенного факультета МГУ, только что вернувшейся из поездки в целинные совхозы Алтая.

...Медленно плывёт занавес. На сцене Сергей Янушкевич. Товарищи ласково зовут его «кусоч комсомольского гранита». Он командор агитбригады. Сергей прикладывает руку ко рту: «Э-ге-гей!» Видимо, этот клич собирал в походе бригаду. Глаза зрительного зала устремлены на сцену, но песня возникает позади нас. Комсомольцы идут строем, подтянутые, в разноцветных ковбойках, с рюкзаками за плечами. С песней они проходят через зал на сцену.

Я всматриваюсь в знакомые лица, загорелые, обветренные, но сейчас ещё больше интересуют меня те, кто сидит в зале, — самые юные здесь, первокурсники. Как хорошо, что именно так предстали перед ними впервые комсомольцы университета на Ленинских горах. Все самые хорошие комсомольские традиции, дорогие нам — людям старших поколений, — соблюдены здесь. Такими, именно такими мы любим, видим и знаем наших комсомольцев.

Хорошее чувство вызывает у меня сейчас эта бригада, вернувшаяся с целины. Всё это люди, которые органически живут молодой, полнокровной жизнью комсомола, и — что очень ценно — они умеют работать без того формализма, сухости, отсутствия чувства юмора, которыми грешат некоторые комсомольцы. Я не сомневаюсь в том, что в работе комсомольцев-биофаковцев бывают ошибки, их не могут не делать молодые, горячие, а главное, активно работающие люди. Но всегда, когда я с ними, я чувствую одно: вокруг меня настоящие комсомольцы, которые без громких слов, муже-

ственно, бодро, с песней пойдут на любое, самое трудное и нужное для страны дело.

Я думаю о том, что вот этот сегодняшний отчётный вечер — лишь маленький уголок той громадной жизни, которой живёт дом на Ленинских горах. Жизнь эта велика, многообразна и богата. Вероятно, если рассказать только об одном этом лете, проведённом студентами университета, можно написать не одну большую и интересную книгу. Студенты отработали в этом году 30 тысяч трудодней в подшефных колхозах, исколесили всю страну в экспедициях, на студенческой практике. И это только студенты МГУ.

А сколько их, юношей и девушек страны, которые в этом сентябре вступили в славный строй студентов! Они уже с загоревшимися глазами слушали первые лекции профессоров, они уже трепетали на семинарах, они уже научились рыться в каталогах библиотек, они уже выучили традиционные любимые песни своих институтов.

А наши «целинники» между тем — на сцене. Они поют, держа друг друга за руки.

Вслушиваюсь. Ага!.. Ещё одна новая песня биофака. И на этот раз, конечно, совсем новая, не та, что пели на целине, а написанная специально для сегодняшнего вечера. Удивительно щедры они на этот счёт. Только диву даёшься — как хватает у них энергии, творческого накала, горячности для того, чтобы для одного-единственного вечера написать одну, вторую, а если нужно, и три песни, сочинить стихи, разыграть целую сцену...

Кто-то толкает меня в бок. Я слышу гневный шёпот: «Что же они делают?»

Батюшки мои! Оказалось, что я совершила непростительную оплошность: мой сосед справа — Гена Шангин. А это значит, что на протяжении всего вечера он будет толкаться, вскакивать и шипеть. Дело в том, что Шангин — композитор биофака, и первокурсник — не первокурсник, пока он не выучил нескольких шангинских песен. Шангин — человек не без странностей. И самая тяжёлая из его странностей, по признанию друзей, заключается в том, что написанная им за ночь песня «выносится в массы» в самый невероятный и абсолютно не подходящий для этого момент. Например, перед дверью, за которой идёт экзамен. Или за пять минут до открытия занавеса на вечер. Ребята утверждают, что само последнюю песню Гена, который не мог поехать на целину, привёз ровно за пятнадцать минут до отъезда на вокзал и заставил бригаду разучить её в его же присутствии.

Всё это известно исполнителям. Я же зритель, и мне известны другие особенности его характера. Вот, например, сейчас: на что сердится Гена? То ли поют слишком быстро или, наоборот, медленно, а может быть, даже фальшивят? Не знаю... Мне ясно только то, что взмахи рукой и отчаянное выражение на лице Гены ничего не могут изменить, так как хормейстер стоит к нему спиной и дирижирует хором с полным самозабвением. Я осторожноенько отодвигаюсь от Гены.

Слева от меня — Митя Сахаров, автор стихов многих биофаковских песен. В данном случае уже я оказываюсь плохим соседом и отвлекаю Митю, который с упоением слушает своих товарищей: «Митя, а это кто?» — «Алла Ганасси — комсорг похода, замечательная девушка». — «А это?» — «Саша Вьюгин, в агитбригаде был завхозом, солидный, положительный, замечательный». — «А это?» — «Володя Познер, знаете, какой парень?! Замечательный. Только недавно к нам приехал. Родился во Франции, потом в Америке жил, потом — в Берлине; сейчас у нас учится, замечательный парень». Несмотря на некоторое однообразие митиных характеристик, я ему вполне верю. Я и сама твёрдо убеждена в том, что в такую поездку они взяли действительно очень хороших людей.

Трудновато дружить со студентами: не успеваю я привыкнуть к одним, они уже кончают университет и разлетаются в разные края, а на их место приходят другие, совсем ещё юные, такие вот, как Люба Богданова и Женя Сычевская, у которых, хотя они и перешли на второй курс, вид такой, что на факультете их до сих пор принимают за школьниц, пришедших на «день открытых дверей». Вот и сейчас я смотрю, как весело поёт Гарик Дубровский — непрменный участник факультетской самодеятельности, душа сатирических обозрений, — и думаю о том, что последний раз вижу его на университетской сцене. Он уже кончил учёбу и через несколько дней уезжает

на работу в Алма-Ату. А давно ли мне сказали: «Ух, и парня же нашли на первом курсе — прямо живёт на сцене! Дубровский фамилия».

У Лёли Розановой от напряжения и волнения, кажется, на всём лице остались только глаза. Представляю себе, как она волнуется сейчас, как переживает каждую неудачную ноту, каждый недостаточно внимательный взгляд в зале. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что нет на биофаке человека, который не знал бы и не любил её. Это настоящий комсомольский руководитель, искренний творческий человек. Она умеет отыскивать интересных людей, подбирать ключи к человеческим душам и при всём том никогда не командует, но обязательно настаивает на том, чтобы комсомольское поручение было выполнено, и выполнено на совесть. Она уже кончила факультет и сейчас аспирант кафедры физиологии животных. А вот рядом с Лёлей её старый друг — Лия Фролова — отличный человек с хорошим, спокойным юмором, опытный и проницательный комсомольский работник.

Песня затихает. Секретарь комитета комсомола МГУ товарищ Спиридонов торжественно вручает агитбригаде почётные грамоты, присланные Алтайским крайкомом ВЛКСМ.

Так начинается этот вечер. Один за другим выходят участники похода и рассказывают о своей работе, о встречах на целинных землях, о новых совхозах, о бывших студентах биофака, которые работают там сейчас. Моё журналистское сердце не выдерживает. В антракте я бегу за кулисы.

— Ребята, об этом же надо написать, обязательно! — требую я, вспоминая, с каким особенным вниманием все мы слушали их рассказы. Я твёрдо убеждена: история о том, как студенты во время своих каникул отправились с Ленинских гор на целину, как они сдружились там с рабочей молодёжью, проводили концерты на полевых станах, в совхозах, — эта история интересна не только тем, кто сидит сейчас в зрительном зале.

В агитбригаде народ организованный. Выясняется, что есть дневники, и всё, о чём только что рассказывалось, записано. И тут же, за кулисами, в короткой суматохе перед открытием занавеса, деловито дают задание Розановой и Дубровскому: обработать эти записи и передать мне.

Вот эти отрывки из дневника студенческой бригады биофака Московского университета.

Е. УСПЕНСКАЯ.

### ЖИЗНЬ ПОЛНА ЧУДЕС

23 июля. Над платформой Казанского вокзала несётся песня:

...До свиданья, Москва дорогая,  
Уезжаем в родное село...

— Внимание! — звенит голос Сергея, нашего «командора». — Бригада, на прощальную линейку — становись!

Смолкает гул голосов.

— К рапорту секретарю вузкома комсомола товарищу Спиридонову — смирно! Товарищ секретарь комитета комсомола! Целинная бригада построена на прощальную линейку. В бригаде девятнадцать человек. Настроение замечательное. К работе готовы. Рапорт сдан.

— Вольно! Счастливого пути, товарищи!

— Спасибо! Ура!

Свисток. Поезд начинает постепенно набирать скорость. Высунувшись из всех окон, машем руками. Толпа провожающих уплывает назад. Едем, едем... Неужели мы в самом деле едем, товарищи?

В сумерки, собравшись в одном купе, начинаем вспоминать, как родилась эта мечта и как она осуществилась, несмотря на все препятствия.

Мы шли с концерта в дальнем колхозе, и вдруг кто-то сказал:

— Стойте, ребята, едем на целину, а? Вот так же, с агитбригадой факультета, с концертом. Нет, вы представляете — на целину?!

Кто это сказал — неизвестно. Факт тот, что заснеженный ночной лес вдруг ожил, загудел от криков, споров и смеха. Так всё и началось...

И вот уже летом, после бесконечных хождений в бухгалтерию, профком и прочие денежные организации, после того, как сотни раз казалось, что наша затея вряд ли осуществима, и, наконец, после разговоров в ЦК комсомола стало ясным, что поездка всё-таки состоится.

Делегация явилась в Гастрольное бюро для окончательных переговоров. Директор товарищ Сулханишвили удивлённо развёл руками.

— Понимаете, товарищи, — сказал он, с любопытством разглядывая делегацию. — Это первый в моей практике случай. Вы ведь собираетесь давать бесплатные концерты? — Конечно.

— Вот, вот, это совершенно беспрецедентно. Гастрольбюро не оплачивает бесплатных концертов.

— Почему? — спросил какой-то наивный член делегации. — Это же лучше, если бесплатно... И с точки зрения финансовой тоже выгодно, если мы зарплату не получаем. Нам бы только дорогу и там передвижение.

Товарищ Сулханишвили поморщился и с сожалением посмотрел на спрашивающего:

— Я вижу, вы совсем неопытные. И вам это трудно понять. Боюсь, что потребуются специальный приказ Министерства культуры.

— Так что ж нам делать?

— Подождите, постараемся что-нибудь придумать... Вы что, много раз выступали?

— У нас уже пять лет как создана концертная бригада на факультете. Мы очень часто выступали в подмосковных колхозах.

— Значит, действительно самодеятельность профессионального типа?

— Конечно! У нас очень хороший концерт. Очень! Вполне квалифицированный.

Эта фраза, в порыве решимости и отчаяния сказанная самым невоздержанным членом делегации, повергла остальных в тихое смятение. Впрочем, выхода не было. Кроме того, смятение, кажется, не замечено. Директор уже звонил по телефону:

— Министерство культуры? Вы, конечно, знаете бригаду биологов... Что? Какую? Ну, концертную бригаду с биолого-почвенного факультета МГУ. Нет? Гм!.. Так вот, они едут на целину.

Далее следовал длинный разговор о сметах, отчётах, суточных и квартирных. Потом снова звонок:

— Дом народного творчества? Вам, конечно, известна концертная бригада биологов... Как каких биологов? Ну, из МГУ. Нет? (Неловкая пауза.) Так вот они собираются на Алтай...

Прошло около часа. Делегация молча томилась в кабинете, мучимая сменами надежд и отчаяния и лёгкими угрызениями совести. Давид Ойстрах и Аркадий Райкин укоризненно смотрели на нас со стены. Наконец, товарищ Сулханишвили последний раз положил телефонную трубку.

— Хорошо! — сказал он. — Придумали тут один выход. Оплатим вам дорогу и по десяти рублей в день. Почему вы молчите?.. Почему вы так странно смотрите? Завтра принесите программу, её нужно утвердить.

...Сейчас, под стук вагонных колёс, мы снова вспоминаем, сколько препятствий было между этим счастливым моментом в Гастрольбюро и сегодняшним днём. Программа, которую нужно было утвердить, и в самом деле была великолепной: лучшая певица факультета Тоня Глубокина, первая скрипка университета Ирена Зарозинская, участник половины номеров Олег Гомазков — певец, поэт и исполнитель ролей всех ампула... Товарищ Сулханишвили пришёл в восторг.

На другой день мы получили отчаянное письмо от Олега. Бактерии, которые — хоть плачь! — не светились вот уже две недели, наконец засветились, и именно так, как нужно. После восгорженных восклицаний по этому поводу следовало грустно-завистливое сообщение, что пребывание Олега на практике затягивается на неопределённое время и, хотя он всей душой с нами, в бригаде его придётся срочно заменить. «Конечно, больше всего в нашем положении нам нужна его душа», — мрачно заметил Гарик.

А потом выступили наши «первые скрипки». Отказалась ехать Тоня Глубокина: купила путёвку на Кавказ. Потом позвонила Ирена и, несколько запинаясь, но решительно сказала, что она не поедет. Нет, у неё нет путёвки на Кавказ, но у неё есть дача, ремонт на даче, ежедневные репетиции...

— Ладно, — сухо сказал Сергей и потушил папиросу. — Это большая честь — ехать на целину. Уговаривать не будем. Обойдёмся без этих примадонн.

Но всё-таки мы дрогнули. Дрогнули впервые за всё время. Разумеется, мысль об отмене поездки не пришла нам в голову, хотя, с точки зрения товарища Сулханишвили, это было бы, конечно, единственно возможным выходом. Но товарищ Сулханишвили ничего не знал об этом. У него в руках была «великолепная программа» со всеми необходимыми подписями и печатями. С нашей точки зрения, выход был совершенно другой. Мы сели и, перечеркнув жирным зигзагом старую программу, стали выдумывать новую.

— Ничего, ничего, — бодро бормотала Лия, — не расстраивайтесь, ребята. У нас будет железный хор и великолепный мужской вокальный ансамбль...

Последние дни были заполнены единственной проблемой: где достать солистку? «Солистку нам!» — стонали мы, с тоской глядя друг на друга.

И тогда совершилось ещё одно чудо. Оно произошло в ночь с 13 на 14 июля на прощальном костре в честь окончания практики первого курса, куда приехали все свободные члены нашей концертной бригады.

— Лёлька, — прошептала Лия, хватая подругу за руку, — Лёлька, ты чувствуешь? Это она!..

Столь необходимая нам «солистка» оказалась невысоким красивым парнем с бледным лицом и надменной улыбкой.

— Это же чудо-баритон, берём, ей-богу, берём!

— Подождите, — с сомнением сказала Лёля, хотя, как и другие члены бригады, уже не отводила от баритона загоревшихся глаз. — Это Володя Степаненко. Говорят, он зазнайка и грубиян. Так что не радуйтесь прежде времени.

Члены бригады кинулись разыскивать секретаря курсового бюро Наташу Ляпунову.

— Это всё хорошо, — сказала Наташа, — только его ведь из комсомола исключили. Неделю назад, на групповом собрании. Осенью будем на курсе разбирать.

— За что?

— За хамство и грубость по отношению к товарищам, за зазнайский тон с преподавателями, за высокомерное отношение к коллективу.

Молчание нарушила Алла Ганасси.

— Ни за что! — сказала она. — Слышите, ни за что! Я знаю, вы сейчас будете говорить: воспитательное значение похода и всё такое. Но самое главное — это то, что мы должны послать лучших комсомольцев, как вообще посылают на целину. Вы только подумайте: приехала комсомольская бригада из Москвы, а солист исключён из комсомола за зазнайство. Позор!

Спор был бурным, но коротким. Вопрос о судьбе Степаненко решили большинством голосов:

— Я за то, чтобы брать, — сказала Лёля.

— Я тоже, — сказал Сергей.

— Я тоже, — сказала Наташа. — Он в основе неплохой парень. Это самое нужное, что можно сейчас придумать, чтобы окончательно проверить, что за человек этот Степаненко.

Володя Степаненко посмотрел на наши серьёзные лица и сразу всё понял.

— Я еду, — сказал он, — если возьмёте. Я обязательно поеду.

И вот он сидит в углу купе, внимательно приглядываясь к товарищам. Он ещё мало знаком со всеми нами. И мы понимаем: для него эта поездка значит больше, чем для всех нас.

Но и для нас тоже она очень много значит. Лия вытаскивает письмо режиссёра Александра Борисовича Оленина, одного из руководителей нашего клуба. Он прислал нам его тогда, когда был на Алтае, и мы перечитывали его без конца.



«Дорогие товарищи, нужда в такой бригаде, как ваша, страшно велика... Но учтите, условия в этих районах очень трудные. Бывает очень трудно с жильём и транспортом, дороги здесь ужасные...» Во время чтения письма у всех загораются глаза и на лицах непринуждённо расплываются улыбки.

— Дальние районы, — мечтательно говорит Лия, — дальние районы, где всё впервые. Это как раз то, что нам нужно.

### «МОСКВА—БАРНАУЛ», ВАГОН № 10

25 июля. В поезде нужно выучить три новые песни для хора, отработать и вдвое увеличить программу «вокального мужского ансамбля», выспаться после сумасшедших предотъездных дней и ночей.

Созывается первое походное собрание бригады, по старой традиции агитпоходов именуемое генеральным заседанием, сокращённо — гензасом.

— Ну-с, гензаснём, — говорит командор и раскрывает новенькую записную книжку. — Итак, о завтрашнем дне...

Принимаем распорядок дня, расписание репетиций и последовательность дежурств.

Потом Миша Андреев молча лезет на вторую полку за аккордеоном. Это наш аккордеонист. Для не знающих Мишу характер его кажется ужасным. На любую просьбу поиграть он неизменно отвечает: «Отстань! Не буду. Почему? Не хочу. Понятно? Иди сама играй. Не умеешь? Вот и я не умею». Затем он берёт аккордеон и играет всё подряд, что ни попросишь. Вот и сейчас, хотя сегодня решили отдохнуть, он вместе с Ниной, Олей и Валею — самой весёлой и голосистой частью нашего хора — уходит репетировать в дальнее купе.

Ночью приехали в Арзамас. Здесь родился Гайдар. Вышли на тёмный перрон, и Лия тихо сказала: «Городок наш Арзамас был тихий, весь в садах...» Оказалось, что эту первую фразу из «Школы» помнили все наизусть. Вокзал полон поездов и вагонов. Бегут люди с чайниками, гудят тревожно паровозы, от лёгкого, высокого, стройного моста убегает в город цепочка огней — фонарей. Едем, едем! Вот он — наш поезд, наш гудок, наш путь впереди, далеко-далёко!..

26 июля. Сегодня с утра — репетиции. Поставить краковяк в мчащемся поезде — вещь почти невозможная. С утра Борис Ванюшин сидит в углу у окна и сосредоточенно бормочет: «Два голубца, три па де баска, та-ра-ра, тарара». Пока он вынужден изучать краковяк теоретически. На каждой длящейся больше двух минут остановке танцоры прыгивают из вагона и в темпе протанцовывают краковяк между пыльными составами и горячими, словно лакированными рельсами.

В трёх наших купе идут три репетиции одновременно.

«Чтоб он издох, ваш Откатай! — несётся из одного. — Чтоб он издох!» Это Зина Богданова и Серёжа Чепурнов, старые друзья и давно сработавшаяся «сценическая пара», репетируют чеховское «Предложение». Серёжа — любимец бригады. В перерыве между репетициями он сочиняет песни, пишет лирический дневник, бесконечно теряет и ищет очки и перекладывает с места на место пробирки с формалином, которые он везёт с собой, чтобы собрать коллекцию алтайских водорослей. В отличие от Сергея-командора, его зовут Серёжкой-маленьким.

Во втором купе идёт репетиция так называемого «мужского вокального ансамбля». Столь громкое название скрывает под собой весь наличный мужской состав бригады. Валя Хромова, наш хормейстер, машет рукой с видом Ирины Бугримовой, дрессирующей тигров, когда у них плохое настроение. Поют ребята пока неважно, и наши соседи по вагону с терпеливым любопытством прислушиваются, что же будет дальше.

В третьем купе в разгаре репетиция инсценировки Дыховичного и Слободского.

В узеньком проходике, не обращая внимания на многоголосые репетиционные вопли, разложила свои чемоданы Наташа Шишкина — наша «завреквизитом». Сейчас она занимается подсчётом и сортировкой усов и бород. Эту «растительность» купили за полтора рубля в Москве в подарок целинным драмкружкам. Очень хотелось

купить хоть несколько париков, но они оказались невероятно дорогими. Даже лысина и та стоит пятьдесят рублей...

Мы все у окна. Притихли, и, конечно, рождается песня. Разве можно в пути без новой песни?!

Путь лежит к Востоку, в неведомые дали.  
Вчера лишь нам подруги махали вслед рукой.  
Все, кто провожали, остались на вокзале,  
Лишь песенку и ветер мы увезли с собой.

Подъезжаем к Уралу. Уже белеет заря, то справа, то слева вдруг закрывает окно неизвестно откуда выросший тёмный отрог невидимых гор. Мелькает неровный часток кол деревьев, светлеют белые простыни росы в низинах...

Сибирь! Совсем плоские бесконечные поля, а над ними громадная масса воздуха, и ни бугорка вокруг, ни пригорка, лишь блестят блюдечки озёр да молодые деревца бегут назад, мелкая белыми берёзовыми стволиками.

— Какая всё-таки громадная наша страна! — тихо и восхищённо вдруг сказал Володя Познер. — Едем, едем... Какой простор, с ума можно сойти!..

### В БАРНАУЛЕ

30 июля (день, записанный Гариком Дубровским). Весь блестящий выход на барнаульский перрон в форме, при полном параде сорван! Идёт премерзкий серый дождь, и мы сходим на алтайскую землю — увы! — в ватниках, штормовках и прочих плащах.

Но нас встречают! Нас встречают две улыбающиеся женщины и машина, крытая дырявым брезентом.

Бригадное настроение моментально взлетает выше сеющих дождик облаков. Но вдруг — бац! — узнаём, что по Алтаю вот уже несколько дней разъезжает с концертами группа ленинградских студентов. Опоздали!!!

Трудно на бумаге передать все обуявшие нас чувства. После дружного горестного «Эх!» и трагического молчания первой заговорила Лия:

— Ну и пусть. Алтай велик. И пусть мы не первые. Даже очень хорошо, что нас много.

Соглашаемся с ней.

Конечно, это очень хорошо, но приоритет — заманчивая штука. Встаёт задача — обогнать качеством! Таков железный приказ командора и единодушное решение бригады.

Первое, куда идём, разумеется, — чайная. Здесь много людей. Но ничего, в тесноте, да не в вагоне... Душно. Большие жирные мухи табунами ползают по серому плакату «Мухи разносят заразу». Меня подзывают к одному из столиков. Средних лет мужчина в розовой тенниске, с весёлым вислым носом начинает засыпать меня названиями районов, совхозов, лучших колхозов. Что такое?! Почему, отчего, зачем?..

Оказывается, советует мне ехать туда на работу. Ну что ж, быстро записываю районы, имена, отчества секретарей райкомов. Пригодится. Когда выясняется, что едем не работать, а вовсе даже с концертами, ещё больше оживляется.

— Тут вы отдохнёте, там хозяйства образцовые, яйца по пять рублей десятков.

— Да мы, — говорю, — не отдыхать приехали, а концерты давать, и где хуже, трудней.

Гостеприимный алтаец смутился.

— Пусть едут в Горно-Алтайск: там и трудные условия и природа красивая, посмотрят, — подал реплику другой гражданин.

Наконец, третий вступил и попал в самую точку:

— Неверно вы всё это говорите. Люди для них главное, а не природа да яйца. Пусть едут в Кулунду, где урожай меньше, куда неженки-артисты не добираются.

Да, Кулунда, Северо-Западный Алтай, — это, пожалуй, самое привлекательное для нас место.

Весь день наш штаб ходит по учреждениям. Управление культуры, оказывается, руководит нами только идейно, средств у них нет. Филармония отстранилась и берёт на себя лишь билеты на поезд «Барнаул—Москва». До этого ещё далеко. Сейчас мы целиком переданы в ведение крайкома профсоюза работников сельского хозяйства и его председателя товарища Бойченко.

Долго утрясаем маршрут. В первую очередь едем в Кулунду, потом — в Горный Алтай. Вчерне договариваемся обо всём. Похоже — завтра едем. Если не подведёт машина.

### МЫ НЕ АРТИСТЫ

31 июля. Вот она — степь! Жёлтая вблизи нашей машины, серая вдали и дымчато-синяя у самого горизонта, там, где она сливается с небом. По степи рядом с машиной бегут чёрные тени редких облаков — единственная, куда ни посмотри, тень. Ветер с пылью мчится нам навстречу. Уже через час пути от нашего барнаульского блеска не остаётся и следа. Кажется, поплевав на палец, можно писать зигзаги на лицах, как на невытертой поверхности роля.

Чем дальше, тем хуже дорога. На ухабах нас кидает друг на друга и стучает о почему-то твёрдые и колючие рюкзаки. Трах!.. Кто-то извлекает из-под себя нечто алюминиевое, бесформенное. Чья это кружка? Опознать уже никто не может.

Слышится тихий стон. Потом — вкрадчивый голос Миши, лежащего на груде рюкзаков:

- Командор, а командор, у тебя серый рюкзак?
- Серый.
- В нём что-нибудь, кроме мягких вещей, есть?
- Ну, шило, например...
- В карманчике?
- В кармакчике...
- А-а!

Возвышаясь над всеми, на чемодане с костюмами сидит Гарик, единственный в бригаде зоолог, орнитолог и страстный охотник. Он с упоением оглядывается кругом и не замечает, кажется, ничего, кроме птиц.

— Так, лунь, степной лунь, — сосредоточенно отмечает он, — канюк. Прошу обратить внимание — это пустельга... Степной орёл! Вон, на столбе.

Все в восторге орут, увидя вблизи громадного орла. Шофёр Дима, не привыкший ещё к нашим воплям, в испуге останавливает машину. Орёл презрительно смотрит на нас, лениво взлетает и тяжело летит над степью. Едем дальше.

Отчаянно хорошо и весело у всех на душе. Изю всех сил стараемся не петь: бережём голоса. Это невероятно трудно — не петь в мчащейся машине в первый день дороги.

Мчимся прямо навстречу чёрной низкой туче, которая тоже движется на нас.

— Общий аврал! — кричит командор. — Все наверх! Готовь брезент!

— Есть брезент! — кричат в ответ ребята и начинают выдирать брезент из-под ящиков и рюкзаков — он предусмотрительно запихнут под самый низ.

А дождь идёт. Машина, как лодка, шатается от мечущихся по ней фигур, грозя перевернуться. Дождик стучит по брезенту, ветер хлопает им, раздувая, как парус. «Товарищ, веселей разворачивай парус!» — не выдержав, запеваем.

— Тихо! Тихо! — беспощадно останавливает Валя. — Голоса же сорвёте!

Дождь кончается. Снова солнце горит среди синего неба, теперь уже прямо перед нами. Откуда-то из-под холма появляется Обь. Въезжаем в большое село. Это районный центр Шелаболиха. Приехали...

Первый концерт! Мы стоим за кулисами, обожжённые солнцем, смертельно уставшие с непривычки, томщиеся от волнения, удивлённые и расстроенные. Сколько раз мы мечтали в Москве о нашем первом концерте на Алтае! И разве таким мы представляли его себе?! Вместо необъятной, гудящей тракторами степи, которая, по идее, должна была раскинуться вокруг нас во время концерта, — клуб. И не просто клуб, а клуб со сценой, кулисами, зрительным залом и — что почему-то обиднее всего — с пианино. Вместо романтических палаток — хорошие, добротные дома Шелаболихи.

Вместо света луны и фар — яркие лампочки над сценой и за кулисами, отражающиеся на наших обожжённых носках.

— Да... — протянул командор, — такой клуб и под Москвой редко встретишь.

— Приехали, — с сарказмом констатировал Миша, стуча пальцами по крышке пианино, — приехали, здравствуйте!.. Аккордеончик привезли, умники.

— Вот-вот, — радостно подхватил Степаненко, — они тут живут, концерты смотрят, а мы-то, как дураки, тащились по жаре, чтобы для них выступить, ха-ха!

Всё это было сказано отвратительным тоном. Все остановились. Алла молча посмотрела на командора, и во взгляде её можно было прочесть: «Ну вот, начинается... Я же предупреждала».

— Замолчи, Володя! — сказала Лёля. — Замолчи сейчас же! Подумаешь, условия ему не нравятся! Да тут же люди живут, люди! Ты понимаешь? К ним и не приезжает никто, если хочешь знать, у них клуб пустой стоит, я узнавала. И новосёлов у них тут много, комсомольцев...

Итак, мы стоим за кулисами. Невидимая публика шумит по ту сторону занавеса. И от этого радостного, всё увеличивающегося, ни с чем на свете не сравнимого шума вдруг исчезает усталость, раздражение, разочарование. Остаётся только волнение, такое волнение, что у всех начинается ёкать под ложечкой.

— Не понимаю, — говорит Лия, откручивая пуговицу на ковбойке у командора, — не понимаю, Сергей. Ведь тысячу раз выступала, в актовом зале читала, перед двумя тысячами. — и то меньше волновалась, вот честное слово!..

Пять минут девятого. Пора начинать.

— Товарищи! — свистящим шёпотом вдруг говорит командор. — Товарищи, все сюда. Краткий боевой гензас. — Он молча обводит всех глазами. — Ну, ребята... давайте!..

Начали. Лия читает стихотворение А. Межирова «Коммунисты, вперёд!». Затанув дыхание, ловим каждое слово, каждый вздох в зрительном зале. Чувствуем, как волнуется Лия.

Следующий номер — хор. Встречают нас аплодисментами. Первая песня — «Друг дорогой». Это совсем новая песня, посвящённая Варшавскому фестивалю молодёжи. Мы страшно гордились тем, что первыми пели её во всей Москве и привезли сюда. Сами удивляемся, как чисто и звонко звучат голоса (не зря, значит, крепились и не пели целый день!). И вдруг... Второй куплет должен запевать Степаненко. Звучат вступительные аккорды... Он молчит. Миша снова повторяет вступление — он снова молчит, бледный и растерянный. «Только уйдёт солнце в простор...» — в отчаянии шепчет Валя. — Начинай, Володька!»

«Только уйдёт солнце в поход», — дрожащим голосом и примерно на два тона выше, чем шужво, запевает Володя и смолкает уже окончательно. Пауза, во время которой сиротливо звучит аккомпанемент аккордеона, кажется нам бесконечной. Положение спасает Лия, которая вдруг радостно запевает: «Взгляды друзей, песни друзей дарят нам городские предместья...» Мы облегчённо подхватываем, только потом соображая, что это слова совсем из другого куплета.

Нам весело хлопают, по-хорошему смеясь над нашими сконфуженными лицами.

Хотя программа давно известна, за кулисами царит невероятная суматоха. Чего-то нет, кто-то не успел переодеться, кто-то надел чужие брюки... Кроме того, неожиданно всплывает трудность совсем особого плана. Среди бригады очень много комсомольских руководителей: секретарь факультетского бюро, три секретаря курсовых бюро, комсорги. Все они привыкли руководить, и теперь, в трудную минуту, эта привычка вспыхивает вдруг со страшной силой.

Перед чеховским «Предложением» общее волнение достигает апогея. В соответствии с разноречивыми указаниями командора, Лёля, Наташи стол несколько раз передвигают с места на место. Серёжа забывает перчатки, Гарик — пояс от халата, а Зина — подмазать губы. Ладно, хоть бы уж Гарик текст не забыл...

К общему удивлению, текст забывает не Гарик, а Серёжа. Растерянный и несчастный, он тычется по сцене, повторяя единственное зацепившееся в памяти слово: «Сердцебиение... сердцебиение...» В конце концов он роняет цилиндр, и тот, прокатившись по всей сцене, со стуком падает в зал.

Цилиндр с восторгом, как мяч на футболе, подают снизу на сцену мальчишки. «Благодарю вас», — с лёгким поклоном говорит Серёжа, принимая цилиндр, и только тут вспинает следующую реплику.

После концерта зрители аплодируют, не скупясь. Постепенно расходятся старики, а мы долго танцуем вместе с молодёжью, расставив скамейки вдоль стен.

Так кончается наш первый концерт.

Поздно ночью собираемся на гензас — на клубное крылечко, выходящее на самую Обь.

— Да,— задумчиво тянет Лёля,— да!.. Нельзя сказать, чтобы мы провалились, но...

Несмотря на хорошее настроение, все сумрачно молчат, чувствуя за собой неясную вину. Потом, не сговариваясь, все вместе придирчиво и дотошно начинаем обсуждать концерт, каждый номер. После чего командор говорит:

— А ещё кричали — палатки нам подавайте, трактора! Рано нам, товарищи, с таким концертом на настоящую целину соваться. — И, помолчав, добавляет: — Я думаю, что такой концерт — это у нас первый и последний раз. Хорошо?

На этом кончается гензас.

### В ПЕРВОМ ЦЕЛИННОМ

8 августа. Зерносовхоз Шарчино. Первый в нашем маршруте целинный новосельский совхоз.

На стене конторы — объявление: «Директор совхоза принимает по личным вопросам ежедневно с 6 часов вечера». Сейчас 6 часов утра. Директор уже здесь. Его «приёмная», она же контора — комната с бугристым земляным полом; у входа на табуретке стоит ведро воды и кружка. На трёх столах три пишущие машинки. За четырёхугольным столом сидит Никифор Елисеевич Коняшин, директор совхоза. Ему лет пятьдесят, он в чёрной кепке, сапогах и пиджаке, надетом прямо на майку. Светлые глаза чуть-чуть косят, и поэтому с одной стороны вид у него строгий и хозяйский, а с другой — кажется, что он всё время слегка подсмеивается.

Вчера началась уборка, контора больше всего похожа сейчас на штаб во время боя. Перед столом — очередь: несколько комбайнеров в пятнистых замасленных комбинезонах, девушка в зелёной кофточке с пачкой каких-то накладных, небольшой лысый человек в очках. Очередь тает моментально: директор всё решает чётко, немногословно, сразу.

— Никифор Елисеевич, — говорит пожилая женщина в очках, со школьным портфелем, — списки молодёжи для вечерней школы у меня есть. Но мне бы хотелось сейчас пойти посмотреть строительство школы.

— Хорошо, — отвечает Коняшин, — посидите, пожалуйста. Сейчас пойдём вместе. Товарищи, что у вас? — спрашивает он нашего командора.

Разговор короткий.

— Концерт в десять во второй бригаде. Людей подвезут из третьей, пятой и шестой. Бензином вас заправим, сами подзаправитесь в столовой, отдыхать будете прямо в бригаде. Ну, заранее — спасибо! Сам не могу — занят.

...К вечеру откуда-то с запада приползла ленивая фиолетовая туча и накрыла степь. Крупный тяжёлый ливень застучал по комбайнам, по крышам палаток и вагончиков. Мы сидим в большой белой палатке второй бригады вместе с нашими будущими зрителями. Только Володя Степаненко поминутно выскакивает наружу — крепить в кузове машины срываемый ветром брезент.

Володя Познер сразу засел за шахматы. Его партнёр, молодой веснушчатый парень, весело приговаривает при каждом ходе: «Вот это ай-яй-яй!» Миша сидит с девушками и играет на аккордеоне что-то грустное. Остальные расселись на кроватях и слушают рассказ о совхозе.

— Приехали — пусто было: кол да сарай, — рассказывает Геннадий Шаев, секретарь комсомольской организации, — а сейчас вот — домики видели? Семьдесят квартир первой очереди сдали. Но этого мало, конечно, очень мало... Мы бы больше понастроили, но материалом нас не балуют, плохо завозят. Есть тут такая организация — «Стройгаз», в её это ведении. Так мы её теперь перекрестили в «Стройдым». Но ничего. Вот

через год приезжайте — увидите, что будет! На главной усадьбе овраг заметили? Вот там поставим плотину, и будет у нас озеро. А на берегу, где сейчас столовая, парк разобьём. Да, да! Чего вы улыбаетесь? Будет у нас парк, а напротив будет клуб на полтысячи мест. Через год приедете — в клубе будете выступать.

— А откуда вы?

— Я из Сталиногорска. Под Москвой, знаете? У нас тут большинство из Сталиногорска. Вместе там жили и вместе сюда приехали строить. Люди у нас хорошие, коллектив складывается дружный. Свою самодеятельность, между прочим, начали организовывать. Сейчас, понятно, некогда — уборочная. А раньше кружки занимались.

— Значит, вам руководителей прислали? Эдбров!

— Зачем? У нас свои есть руководители, из Сталиногорского драматического театра. Они вдвоём, муж и жена, добровольцами поехали. Синявины — может быть, вам наши ребята рассказывали? Нет? Ну вот, он здесь механизатором стал, а она секретарём у директора работает, а заодно хором руководит. А он в драмкружке...

— Вот как! Интересно...

— Конечно, интересно! Всего так не расскажешь. Пожили бы вы у нас подольше! И ещё бы хорошо — писателя к нам прислали какого-нибудь хорошего. О наших людях замечательную книгу можно написать... Ну вот из третьей, кажется, едут, — добавляет он, прислушиваясь.

В соседней балке злобно фырчит мотор — дорогу развезло. Дождь кончился, туча будто вся вылилась; остались на небе рваные облака, окрашенные севшим солнцем в пёстрые цвета. В брызгах грязи, скользя по пухлой дороге, подкатывает грузовик, полный людей.

Концерт начинаем поздно.

Выступаем на пологом склоне перед палаткой на фоне тёмного силуэта комбайна. Слева, в лесочке, — несколько вагончиков, а вокруг — степь. Редуют облака, повисают между ними крохотные капельки звёзд. Сзади нас, под комбайном, поднимается вверх жёлтый фонарь. Что такое? Ба, да это луна! Большая, грузная, выползает она из-под комбайна в небо.

Сильный свет фар поставленного сбоку грузовика освещает небольшую, поросшую жидкой травкой «сцену». Вместо задника — наша машина, она же кулиса, артистическая уборная, склад реквизита и ложа дирекции. В ложе, то есть в кабине, сидит шофёр Дима, наш первый критик и помощник.

Мы толпимся за бортом и думаем всё об одном и том же: вот оно — то, о чём мечтали в Москве. Вот он сейчас начнётся, тот самый концерт. Вот они сидят, эти известные на всю страну люди, уставшие после многочасового труда, и ждут нашего выступления.

— Товарищи, на сцену! Начинаем, начинаем...

Выбегаем под слепящий свет фары, не видя зрителей, только чувствуя их по внимательной тишине. Становимся полукругом, взявшись под руки. Звучат аккорды вступительной песенки. Начали!

От Москвы далеко до Алтая,  
Но окончен весёлый наш путь.  
Начинаем, начинаем  
Наш концерт, необычный чуть-чуть!

Пынце занавес — ветер да воздух,  
Да и сцена — не сцена сейчас.  
Только степь да небо в звёздах  
Лучше всех декораций для нас!

Дорогие друзья трактористы,  
Покорители алтайской целины!  
Мы студенты, мы не артисты  
И сознаться вам в этом должны!

Зрители смеются, хлопают. Кто-то кричит: «Ничего, ребята! Давайте, давайте!..»  
Чувствуем — начало есть.

— Выступает Владимир Познер, — объявляет Тамара.

Выходит страшно волнующийся Володя. Он выступает сегодня первый раз — почему-то раньше мы боялись выпустить этот номер. Володя говорит несколько слов о французском певце Иве Монтане, рассказывает о его песнях и начинает петь. Он поёт песню «Большие бульвары» — о прекрасном Париже. За кулисами, вернее, за колёсами машины, нервничает наша бригада. Сегодня станет ясным, были ли мы правы, включив в программу этот номер. Голос у Володи небольшой, поёт он по-французски, скептики в Москве качали головами: «Смотрите, это же целина... При чём там Париж?» Володю слушают очень тихо. Спел. Хлопают бурно и требовательно. Приходится снова вытолкнуть счастливого Володю из-за машины на сцену: «Иди, иди скорей! Пой вторую — «На рассвете». Слышишь, что делается?!»

К концу концерта вдруг снова начинает накрапывать дождь. Во время «Предложения» редкие капли гулко стучат по брошенному на стол цилиндру. Но никто и не думает расходиться.

После концерта нас тащат ночевать в разные палатки. В конце концов, чтобы никого не обидеть, решаем ночевать все вместе, в одном вагончике. Нам приносят целую гору одеял, матрацев и подушек — значительно больше того, что может попадобиться бригаде.

На вагончике — доска показателей выработки трактористов. На стене — написанные мелом лозунги: «Хлеборобы Алтая, не допустим потери урожая!» и ещё:

Комбайнер, жатвы ширь размах!  
Тебе доверено начало.  
Не только колесо штурвала —  
Весь урожай в твоих руках!

Всю ночь в степи тарыхтят тракторы, далеко на холмах медленно движутся яркие огни самоходного комбайна. А утром, когда мы просыпаемся, у палаток совсем пусто: ночевавшие в бригаде тракторы и машины с рассветом тоже ушли в поле.

### ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД

9 августа. Мчимся на северо-запад, в самый дальний угол Алтайского края, в место со странным названием Коротояк. Что это за Коротояк такой — никто толком не знает. Пункт только организовывается.

Мы приезжаем в Коротояк уже в восемь часов. Он оказывается довольно большим селом с новым, на восемьдесят рабочих, пунктом «Заготзерно» на краю. Нас встречают с таким радостным изумлением, что мы даже теряемся.

— Что вы, у нас никогда ничего не бывает, — отвечают нам на наши расспросы. — Этим летом раза два кино привозили, а до этого и вообще ничего не было.

— А клуб у вас есть?

— Клуб-то есть.

— Хорошо! — радуется Зина. — Наконец-то будем выступать в роскошных условиях и поспим, как цивилизованные люди, — на полу в клубе. Давайте отдохнём от пампасов!

— Только ведь в клубе все зрители не поместятся, — говорят нам с сожалением, — он маленький, на полтора человека. На улице придётся.

— А вы думаете, что много народу соберётся?

— Ну, ещё бы!

— Так ведь через полтора часа концерт, а ещё никто ничего не знает.

— Не беспокойтесь.

Пока в крошечной, белянкой, аккуратной чайной мы наскоро съедаем восхитительный ужин — окрошку и котлеты, — на улицах Коротояка появляются объявления: «Сегодня на площади, перед клубом, состоится концерт артистов Московского государственного университета. Вход бесплатный. Начало в 10 часов».

Ровно в десять подкатываем к клубу. Перед клубом толпа человек в двести. Из окна клуба тянут на площадь электрическую лампочку.

— Так, может быть, всё-таки в клуб влезем? — спрашиваем мы.

— Что вы! Сейчас ещё столько же соберётся.

Народ всё прибывает. Чего угодно мы ожидали от загадочного Коротояка, только не такого. Вот уже толпа человек в четырёста. Подъезжает и разгружается полный грузовик; счастливицы остаются сидеть на бортах, остальные спрыгивают в общую толпу. Мотоциклы, велосипеды. Ещё один полный грузовик. «Ребята, а шум-то, чувствуете? Как перед премьерой на биофаке...»

В конце концов публики собирается человек семьсот. Начинаем.

Удивительный концерт. Можно говорить шёпотом, как угодно тихо, всё равно слышно каждое слово — такая насторожённая тишина висит над громадной толпой. На каждую нашу улыбку — взрыв смеха; после каждого номера — грохот аплодисментов. Бабочки и мошки пляшут под единственной лампочкой. Её на шесте торжественно и гордо весь концерт держит в руках вихрастый босоногий парнишка. И вдруг она гаснет. Только короткий вздох пронесётся по аудитории, и снова абсолютно тихо. Минут десять концерт идёт в полной темноте.

Наши часы показывают начало второго. Вот кончается «Медведь» — последний номер. Сразу ожила, задвигалась толпа. Нам хлопают, жмут руки, кричат: «Спасибо!» И вот зафырчали грузовики, затарахтели мотоциклы, помчались велосипеды. Засветилась фарами, зашумела ночная темнота.

— Это же только подумать! — восхищённо говорит Серёжа. — Театральный разъезд...

Собравшись у машины, проводим летучий пензас.

— Есть предложение, — говорит командор, — чтобы не жариться днём на солнце, махнуть в Верхнюю Пайву сейчас. Это, в общем, недалеко — километров восемьдесят пять. Часа три езды. Как, ребята?

— Едем, едем! — кричат все дружно. — Спать не хотим. В такую ночь — и чтобы спать! Смешно!

### ПЯТНАДЦАТЬ С ГАКОМ

А ночь и вправду необыкновенная. Лёжа на спине, закинув руки за голову, не смотря на страшную тряску, только и мечтать. И петь. Поём нашу любимую походную биофаковскую песню:

Немые вёрсты лежат за спиной,  
Немые звёзды висят над страной,  
К огню придвинулся сумрак ночной,  
И нам немного осталось:  
Лесного чая из кружки хлебнуть,  
Ночному небу в глаза заглянуть  
И, не мечтая о крыше иной,  
Не спеша затянуть:  
Край сосновый — ау!  
Вечер — ау! — новый!  
Дай нам мягче траву,  
Дай нам покрепче сны!  
С каждым шагом — ау! —  
Дали зовут снова.  
Значит, снова — ау! —  
Ждут нас дороги страны.

Но вот уже допеты песни, вот уже поспорили о Маяковском, о любви и об условных рефлексах, вот уже Лия прочла несколько стихотворений по заказу Володи Степаненко — и теперь все постепенно стихли. Тёплый воздух летит над машиной. Кажется, что, лёжа на корме валкой лодки, плывёшь куда-то по чёрной реке, глядя в небо. Чёрный силуэт нашего флага трепыхается над машиной. Прямо на флаштоке, как наконечник, торчит луна. Постом мы сворачиваем в реденький лес, и луна уплывает на вершины сосен — с вершины на вершину. Привалившись друг к другу, согнувшись в самых разных плоскостях, спит бригада. Командор, обвёрнутый в серое одеяло, мощной скалой возвышается над машиной. В лунном свете виден чёткий силуэт его профиля с папирсой в зубах. Папирса и луна — в остальном темно. Если сощурить глаза, лунный свет лучиками разбегается сквозь ресницы... Тихо.

Однако молчание непродолжительно. Трясёт так, что даже делать вид, что спишь, невозможно. Кроме того, обещанные три часа давно прошли, а где она, Верх-



няя Пайва, до сих пор непонятно. На робкие вопросы: «Когда доедем?» — Дима угрюмо молчит. Заблудились. В кабине с Димой едет завхоз Саша. Его должность — выскакивать в каждой деревне, будить сонную бабушку и спрашивать дорогу.

— Бабушка, как проехать в Пайву?

Слушаем с машины долгое, подробное и абсолютно невнятное объяснение:

— Вот всё прямо, прямо, а потом будет такой заворотик, и поедете.

— Это налево, что ли?

— Ну... (Пауза.) Вот и будет, значит, заворотик. Мимо моста...

— Это всё прямо, прямо?

— Ну да. А потом мимо заворотика, значит...

— А далеко?

— Да километров пятнадцать с гаком.

До следующей деревни едем километров десять. Там выясняется, что заехали в сторону. Дима чертыхается и поворачивает машину. Теперь, кажется, так.

Вдруг — трах! Что такое?.. Трах! Трах!

— Ребята, это же не дорога, это же целина.

— Почему не дорога? Дорога, — успокаивает Гарик. — Просто по ней в последний раз ездили в прошлом году.

— Да бросьте вы, обыкновенная дорога, — гудит Володя, — просто она немного как гармошка: вверх-вниз.

— У меня рёбра стали, как гармошка, — как всегда, беззлобно ворчит Миша от заднего борта, — одно вверх, другое вниз.

Стоп — деревня. Саша выскакивает будить очередную бабушку.

— Ребята, а ведь мы здесь уже были. Часа два назад, — вдруг радостно замечает Гарик, — и уже будили бабушку.

Но разбуженный Сашей на этот раз дед уже кончает объяснение.

— А далеко? — слышим мы из темноты сашин голос.

— Да километров пятнадцать...

— С гаком? — хором кричим мы с машины.

— С гаком,

— Товарищи, а в прошлой деревне десять было...

— Это всё, ребятаки, «гак», — утешает Лия. — Пятнадцать километров — это что, это нам раз плюнуть. Вот «гак» бы проехать — и дома.

Снова едем. Деревень уже нет, людей тоже нет, только где-то в степи тархтит трактор, но он далеко. Рассвет. Куда едем? Уже не важно.

Выезжаем на развилку трёх дорог. Сказочного столба с указателем, куда нужно идти, чтобы найти счастье, нет. Ладно, поехали куда-нибудь, только бы встать, вернее лечь, на твёрдую почву и заснуть...

— По какой ехать, ребята? — Шатающийся от усталости Дима выходит из кабины.

— Поехали по той, которая лучше! — кричим мы. — Давайте сами решать! Ну их, этих бабушек!

— Средняя вроде лучше.

— Ну вот по средней и поедем, Голосую. Кто против? Никого? Единоголасно. Поехали!

...И вот, когда уже совсем светло, проехав большое сонное село, подъезжаем к солидной дощатой конторе. Рядом — ремонтные мастерские, стоят под навесом и без навеса тракторы и комбайны. Неужели куда-то приехали?

— Верхне-Пайвинская МТС — мы самые и есть, — говорит нам, к нашему изумлению, сторож. — А вы что ж, концерт будете ставить? Это у нас в новом клубе можно, там уже полá настлáта...

Ну, раз «полá настлáта» — всё в порядке. Только бы поспать. Дима начинает метаться по селу в поисках тени. Наконец в самом центре села находим несколько высоких берёз и колючек-акаций под ними. Сомнительная тень. Ну да ладно. Через пять минут все уже засыпают. Последнее, что слышит бригада, это грустно-отчаянный возглас Лии, увидевшей выползающее из степи оранжевое горячее солнце:

— Лезет... лезет, подлое!

До стчаянной жары остаётся пять часов.

## КОРЧИНО

11 августа. Как стремительно меняется здесь погода! Только что мы мчались по тихой солнечной степи, и лишь где-то у самого горизонта висели в синем небе безобидные облачка. А приехали, остановились — и вот уже пропало солнце за серыми, скучными тучами и степь окрасилась в грязный, пыльный цвет.

Корчино. Свирепый, душный, пахнущий грозой ветер носится по палаточному лагерю с такой силой, что только удивляешься, почему палатки остаются стоять на местах, а не уносятся в небо, как серые птицы. Колючие песчинки бьют в лицо. Вот-вот пойдёт дождь. Скорее!

По двум комнаткам недостроенного домика из окна в окно гуляют сквозняки. Но всё-таки можно разложить рюкзаки, переодеться к концерту и перевести дух.

Через полчаса ветер так же неожиданно стихает. Дождь проносится стороной: упало десятка два больших тёплых капель, и всё.

Пора начинать. Число концертов уже перевалило за десяток, сегодняшний концерт самый рядовой и обычный — привыкли к свету прожекторов-фар, к настороженной тишине тёмной массы зрителей, к волнению за кулисами и к чувству радости и удовлетворённости, возникающему к концу концерта. Вот и сегодня. Концерт кончается. Всё хорошо. Зрители очень довольны. Мы тоже. Сейчас устроим танцы, поговорим о Москве, о здешней жизни — замечательно! Но всё получается совсем по-другому. За несколько минут мы сразу переносимся в тревожную и суровую атмосферу Корчина.

Не успевают отшуметь последние аплодисменты, как к нам уже бегут десятки зрителей. Нам жмут руки, тянут в стороны, усаживают на груды досок и рассаживаются вокруг.

— Как хорошо, что вы приехали! Как хорошо! — говорит маленькая, светловолосая, курносая девушка и сразу доверительно и грустно сообщает: — А мы ведь все бежать отсюда собираемся.

— Бежать? Почему же?

— Так невозможно же жить. Есть нечего. Ничего не купишь, в магазине одна селёдка.

— Дома не строятся, не в палатках же зимовать.

— Столовая дорогая, денег не хватает.

— И есть там нечего, суп и чай.

— Клуба нет... Ничего нет.

— Одеться не во что. Если кому тапочек не пришлют родители — так и ходи хоть босиком...

— Ладно, разнылись! Знали же, что на пустое место едем! — вступает в разговор ладный парень с серыми глазами и ямочками-складками на щеках. У него большие красивые руки, вся фигура сильная, уверенная. Это киевлянин Степан Аркуша. — Это всё можцо стерпеть. Главное вот — работы, работы нет! Материалов нет, организация ни к чёрту — вот и стоим, пресстаиваем целыми днями. Я им третье заявление подаю: или работу давайте, или увольняйте, поеду, где работа есть. Что я сюда приехал — сидеть?! Мне государственные деньги давали, мне их оправдать нужно. А они не отпускают. Не отпускают, и всё тут. Так знаете, что придумали? Взяли с ребятами отпуск и махнули в Ребриху — там дома строят, люди нужны.

— А мы вот вагоны с солью по ночам разгружаем, чтоб хоть подработать, — грустно добавляет маленькая Клава.

— Вы только не подумайте, что мы просто нытики какие-то, — тихо говорит Галя Иванова, тоненькая, высокая девушка в полосатой кофточке и в чёрных брюках. — Приехали, знаете, как трудно было: пусто, холодно, по пятьдесят человек в комнате жили — не жаловались. Потому что понимали, что нельзя пока иначе.

Если до этого говорили более или менее по одному, то теперь кричат все сразу.

— А у нас начальство иначе как матом и не разговаривает. Якубовский, главный инженер, особенно отличается.

— Исаенко, прораб, пьёт что ни день. Так пьяный на работу и выходит...

Четыре месяца назад здесь ещё ничего не было. Была станция Корчино за полкилометра отсюда: железнодорожная ветка и беленький домик — и пустая снежная степь там, где сейчас палаточный лагерь. В марте приехали первые комсомольцы на

строительство пункта «Заготзерно». Самое трудное — не было воды. Пили талый снег, а когда снег сошёл, уходили в степь и черпали горькую, солёную воду из луж. Потом вырыли колодец, начали строить дома. А легче всё-таки не становилось.

Врача нет, даже аптечки нет. Среди начальства — пьянство и ругань. С продуктами трудно. А главное — работы нет. Поэтому и с учётом плохо — хоть месяц не выходи на работу, никто и не спохватится. Многие уезжают — всё равно делать тут нечего.

Обо всём этом говорим вот уже больше часа. Наша бригада давно растворилась среди корчинских комсомольцев. По два, по три человека, окружённые корчинцами, ходим мы вдоль тёмных палаток.

Сергей один сидит на крыльце недостроенного дома и курит папиросу за папиросой. Прикуривает и подсаживается к нему Николай, загорелый парень с весёлыми глазами.

— Ты что же, учишься, что ли, или кончил уже? — спрашивает Николай.

— Кончил. А ты?

— А я из армии. Демобилизовался, вот и сюда махнул.

— А ты откуда сам? Из Москвы?

— Из Свердловска.

Молчат. Потом Сергей поворачивается к Николаю и тихо, отдельно спрашивает:

— Так ты что же — тоже собираешься бежать?

— Зачем? — удивляется Николай. — Никуда я не побегу. Мне здесь устроиться надо. Мы ж тут всё наладим. Вот этих бы поскидывать, — он тычет пальцем куда-то в темноту, — и всё будет в порядке. Безобразий много, это верно. Но ничего, перешибём!.. А работы тут хватит. Строить нужно. В прошлом году сюда, в Корчино, говорят, во время уборочной по полторы тысячи машин зерна приходило ежедневно, а спать некуда. Под открытым небом хлеб лежал всю зиму, только этим летом последний вывезли.

Снова молчание. Потом Николай вдруг спрашивает:

— Сам-то женат?

— Нет, — удивляется Сергей, — нет..; А ты?

— Женился вот недавно. — Чувствуется, что Николай улыбается в темноте. — Женились перед отъездом — и вместе сюда..

Прямо на бугорке под лунным светом вокруг Лии сидят девушки из бригады Гали Ивановой.

— В общем, опозорились некоторые наши москвичи, совсем опозорились, — сокрушённо говорит хорошенькая, задиристая Зоя Козина. — Ребята-краснопресненцы почти все сбежали. Набирали, видать их, всех подряд. Я же знаю: это наш район. Райкому комсомола нужно было быстро норму выполнить.

— Ой, что ты! — перебивает Галя. — А у нас, в Ленинграде, знаете, как трудно было попасть на целину! С нашей фабрики «Скороход» подали заявления сто человек, а райком утвердил только девять, из нашего цеха — меня одну.

— А ты с фабрикой переписываешься? — спрашивает Лия.

— Нет, — отвечает Галя тихо, — нет, я им не пишу.

— Почему?

— Стыдно.

— Почему же стыдно? Ты ведь хорошо работаешь, да и жаловаться бы не стала.

— Всё равно стыдно, что у нас тут так. — И с нежностью добавляет: — У нас, знаете, какой народ на фабрике: если бы только узнали, что у нас тут так — всего бы мне сюда прислали... У меня ведь больше никого нет, только сестра на целине в Казахстане.

— Вот это да! — восклицает Галя Новикова. Она в рваных брюках, старой майке и разваливающимся тапочках. Ей не больше восемнадцати лет. У неё прелестная загорелая рожица с облупленным носом, громкий осипший голос крикуньи и запевалы. Выгоревший от солнца хвост волос торчит из-под косынки. — А нашим пиши не пиши — толку не будет. Мы с Зойкой на фабрику которое письмо пишем — молчат. А провожали как — сказать совестно. Наша швейная фабрика имени 8 Марта, что в Красно-

пресненском районе, лыжные костюмы выпускает. Подарок сделали на дорогу — лыжный костюм, так не могли даже по мерке сделать; он мне мал, рук не подыметь. «Не пашли, говорят, твоего размера». Начну кофту снимать — девчонок зову на помощь.

Все весело смеются.

На месте, где был концерт, в центре толпы девушек стоят Тамара и Миша. Разговор о Корчине, очевидно, только что кончился. Их тормозат, требуя рассказа о Москве и Ленинграде.

— В Москве жарко было, когда мы уезжали, — говорит Тамара. — Дрезденская галерея открыта, знаете? А кинотеатр «Художественный» закрыли на ремонт..;

Её слушают с жадным вниманием.

— А в Ленинграде я только зимой была, и то всего три дня, — с сожалением продолжает Тома. Потом, помолчав, предлагает: — Давайте споём, девчата.

Мишу с аккордеоном усаживают на откуда-то появившийся стул. Со всех сторон стекаются на звуки музыки ребята. И вот песня уже несётся над посёлком — песня о далёком, за тысячу километров раскинувшемся родном городе:

Над Россиею небо синее,  
Небо синее над Невой.  
В целом мире нет, нет красивее  
Ленинграда моего.

Задумчиво, одним дыханием поют её ленинградцы и москвичи, киевляне и свердловчане, столпившиеся на площади. Потом по просьбе ребят поём студенческий «Глобус»:

Я не знаю, где встретиться  
Нам придётся с тобой.  
Глобус крутится, вертится,  
Словно шар голубой...

Потом — «На крыльце твоём», потом — всё подряд...

Совсем ночью сидим на крыльце недостроенного дома. Стоит необычная для наших гензасов злая и серьёзная тишина. Чувствуем, что корчинцы тоже не спят — доносятся негромкие голоса, в палатках мелькают слабые огоньки.

— Ну? — наконец спрашивает командор.

— Чёрт знает, что тут творится! — первый говорит Саша. — Это же просто ужас. Этих начальников давно снимать пора.

— Не торопись с выводами.

— А чего не торопиться? Факт. Что, ты не слышал, что ли, о чём они рассказывают?!

Перебивая друг друга, все сразу начинаем путано говорить о своих новых знакомых и пересказывать услышанные здесь разговоры.

— Ведь это же невероятно, этому же поверить нельзя, — возмущается Лёля. — Ведь до того дошло дело, что они Никите Сергеевичу телеграмму вчера послали: «Просим немедленно прислать комиссию, жить невозможно». Между прочим, этой Клаве Ивановой, которая телеграмму посылала, сегодня зарплату снизили. Слыхали?

— А народ здесь замечательный есть, — убеждённо говорит Лия. — Настоящий народ. Вот Аркуша. К нему, оказывается, жена из Киева приезжала. Повертелась тут, не понравилось, конечно, она и уехала обратно. А он остался. Или Клава. Она в районной агитбригаде участвует, завтра тоже с концертами поедет по совхозам. В Барнауле премию за «Тёркина» получила.

— Народ-то замечательный, это так, только очень уж растерялись и не предпринимают ничего, — замечает Нина. — Сами во многом виноваты. У них комсомольская организация — ноль. С ними надо поговорить серьёзно, с бюро, с секретарём.

— Завтра это сделаем обязательно.

— И выясним подробно, что и как.

— С начальством поговорить — вот что надо в первую очередь.

— Подождите, товарищи, — перебивает командор, — значит, остаёмся?

— Конечно! Какой может быть разговор!

— А вечером устраиваем второй концерт,— предлагает Алла.— Вернее, комсомольский вечер. Сначала — наташину беседу о боевом пути комсомола, а потом — тематический концерт. Лёля, сделаем такой концерт?

— Пожалуй, да... Нужно их самих привлечь для концерта, хотя бы эту самую Клаву. И использовать местный материал.

— Мысль! — кричит Наташа. — Серёжка, можешь сочинить песню?

Серёжа Чепурнов сидит в сторонке и, подсвечивая себе фонариком, что-то пишет.

— Ты что там пишешь? Гензас же идёт!

— А? — Серёжа поднимает взлохмаченную голову. — Я, ребята, частушки пишу. Вот послушайте:

Из столицы, с Красной Пресни,  
К нам прислали пареньков,  
Те два месяца прожили  
И сказали: «Будь здоров!»

Все соскакивают со своих мест и плотно обступают Серёжу. Он смущённо отмахивается:

— А больше я пока не написал.

Мы хохочем.

— Красота! — слышится лёлин голос. — Великолепно! То, что надо.

Распределяем обязанности для каждого члена бригады на завтра. Но вдруг кто-то неуверенно спрашивает:

— А как же всё-таки мы будем разговаривать с начальством?

У всех на лицах недоумение.

— Ну, по какому праву, что ли... Как участники самодеятельности? Не солидно как-то.

— Будем говорить, как советские люди, — сурово произносит командор. — Как комсомольцы. Ясно?.. Ну, и пошли спать. Завтра очень серьёзный день.

12 августа. Наутро просыпаемся вместе с посёлком. День промозглый и серый. Свирепый, холодный ветер, поминутно меняя направление, то приносит мелкий пыльный дождь, то относит его куда-то за железную дорогу.

Первая половина дня — для разговоров. Вторая — для репетиции нового репертуара на местном материале. Репертуар нужно создать за оставшееся до обеда время. В 10 часов «репертуарная комиссия» остаётся в комнате одна со сквонзяками, все остальные расходятся по посёлку.

Работа комиссии начинается с мучительного творческого застоя. Темы, подлежащие зарифмованию, столбиком, за номерами, перечислены в серёжином блокноте. Серёжа шевелит губами, грызёт карандаш и с надеждой поглядывает на Лию и Лёлю. Лия хмуро вышагивает по комнате, лавируя между разбросанными вещами.

— Я не понимаю, почему человек, совершенно не умеющий сочинять стихи, должен этим заниматься, — бормочет она. — Вот Лёлька — ей и карты в руки.

Лёля — единственная, кто пишет стихи «вообще для себя». С мукой она смотрит на стену, пробуя сосредоточиться. Потом вяло отзывается:

— Я пишу стих в год. Я не могу в такие сроки.

— Девочки, — умоляюще говорит Чепурнов, — давайте, девочки... Маяковский утверждал: самое главное — социальный заказ. У нас ведь есть социальный заказ? Тогда давайте, на мотив «Потому что утром рано».

После невнятного совместного бормотания Лия с Серёжей выдают наконец первый куплет:

На воскресник народ собрался в срок.  
На столбах возводили потолок.  
Уж в газете объявили,  
Что на стройке клуб открыли,  
Но упал он, только дунул ветерок.

Лёля морщится, как от зубной боли.

— Не лезет, — беспощадно говорит она. — Вы что, не чувствуете, что не лезет?

— Кто не лезет?

— Последняя строчка не лезет в размер... А рифмы, — продолжает Лёля, — «объявили — открыли». Глагольные рифмы, позор!

— Ну, и что ж? Мы лучше не умеем. Пусть командор сам пишет без глагольных рифм.

Два часа проходят в муках. Творческая тишина неожиданно прерывается головами, доносящимися из-за пустых окон.

— Слышь, комиссия будто бы приехала из Москвы, — говорит мужской голос, — теперь будет дело. У директора больше часу сидели. Исаенко, говорят, найти не могут — спрятался, что ли.

— В магазине, в столовой уже побывали, — добавляет другой, звонкий, мальчишеский. — Молодые ребята, но из Москвы, ревизоры, это точно.

Голоса удаляются. Члены «репертуарной комиссии» молча смотрят друг на друга. В окно просовывается голова Николая.

— Что ж, товарищи, ревизорами стали? — многозначительно подмигивает Николай. — Ничего, это не помешает. Молодцы! Давайте дальше.

Часам к двум все наши начинают собираться. Первой приходит «комсомольская бригада», потом — «магазинная». Приходят Женя и Люба с грудой адресов своих новых подруг. Последними появляются командор и Гарик после разговора с директором.

Начинаем рассказывать о том, что удалось сделать. Общий итог один: впечатления подтвердились. Ничего не придумано, ничего не преувеличено.

Главное — плохая производственная работа. Стройка совсем не снабжается материалами. Командор достаёт и показывает сводку выполнения плана, принесённую из конторы. В длинном списке пунктов «Заготзерно» Алтайского края Корчино стоит почти в самом конце. Июльский план не выполнен. Средний руководящий состав абсолютно не соответствует своему назначению. Директор производит впечатление хорошего и честного работника, но при таких кадрах и при таком снабжении бессилён что-либо изменить.

— Итак, что мы можем сделать? — резюмирует командор. — Передаём материал в крайком партии — раз. Устанавливаем постоянное шефство нашего факультета. В первую очередь собираем и присылаем сюда библиотеку — два. Три — нужно здорово встряхнуть местную комсомольскую организацию. Мы тут за день, конечно, мало что можем сделать. Добьёмся в Барнауле, чтобы прислали толкового инструктора. И в-четвёртых — надо им всыпать на прощание за все безобразия. Серёжка, есть чем всыпать?

— Есть! — гордо отвечает Серёжа и протягивает командору исчерканные, замусоленные листки — каким-то чудом «репертуарная комиссия» ухитрилась сочинить две длинные песни и частушки.

Текст песен принимается без возражений.

— В темпе, товарищи, репетируем в темпе! Скоро концерт.

Репетиция прерывается хохотом. В оконной дыре показываются беззубый смеющийся дед и рядом с ним трое парней.

— Ох, молодцы москвичи! — хохочет дед. — Ох, дают жару! Как это вы про нашего Исаенко-то?

Мы охотно повторяем:

А Исаенко прораб  
Выпить не стесняется,  
Он с рабочими всегда  
Матом объясняется.

— Сочините ещё про Дутова, — застенчиво просит вихрастый парнишка.

— А что про Дутова?

— Он ребятам, которые рождения с тридцать девятого года, написал налог за бездетность.

— Ну и ну! Сейчас сочиним.

Есть у нас начальник Дутов,  
Далеко глядит вперёд:  
Лишь пятнадцать лет минует —  
За бездетность с нас берёт.

Этот куплет экспромтом предлагает Лёля, махнув рукой на поэтическое качество продукции...

Начало концерта в девять часов. Долго ходим по посёлку, выбирая по возможности безветренное место. Наконец, подогнав к бараку нашу машину, огораживаем маленькую площадку — сцену. Всё равно ветер гуляет по ней во всех направлениях с такой силой, что слова, кажется, вдуваются обратно в рот. Холодно и мокро. Приходится выступать в лыжных костюмах и сразу после номера надевать ватники.

Публики собирается больше, чем вчера. Пока Наташа делает доклад о боевом пути комсомола, мы стоим за машиной и волнуемся сильнее, чем обычно. Концерт начинается с пения «Молодой гвардии». Голоса охрипли и не звучат на таком ветру — ну да ладно, сегодня не в этом дело. Потом выходит Лия. Она читает отрывок из романа «Мужество» Веры Кетлинской.

Больше всего мы волнуемся сегодня за этот номер. В отрывке рассказывается о том, как слабые душами, сломленные трудностями люди бегут со строительства Комсомольска; лучшие комсомольцы новостройки приходят на пристань; их страстные слова заставляют дезертиров понять свою ошибку и вернуться обратно.

Совсем тихо становится в публике. И даже воя ветра почему-то не слышно. Только далеко по посёлку несётся звенящий девичий голос:

Комсомольцы! Вернитесь!  
Шагайте назад!  
Смывайте работой клеймо дезертиров...

Свет фар освещает первый ряд. Мы видим напряжённые лица, сосредоточенные взгляды, глаза, неотрывно устремлённые на Лию.

Конец. Пауза. Потом грохот аплодисментов. Немного растерявшаяся Лия некоторое время остаётся стоять на сцене, потом бежит к нам, за машину. Её обнимают, поздравляют, жмут руки.

Пожалуй, это самый необычный наш концерт. Старый рабочий Маслов поёт «Метелицу» под аккомпанемент мишиного аккордеона. Маленькая Клава Иванова, очень волнуясь и то и дело поглядывая на нас, читает «Ленин и печник».

И вот последний номер.

— Друзья, — обращается Тамара к зрителям, — мы сейчас уезжаем. Нам жалко уезжать от вас. Конечно, мы будем писать друг другу, как договорились... Но на прощание мы хотим спеть вам о том, что нам у вас не понравилось.

Мы выходим и расправляем смятые бумажки с текстом.

— Давай, давай! — слышится из публики знакомый голос беззубого деда.

Частушки тонут в громе аплодисментов.

— Ещё! Ещё! Дальше давайте!..

Поём гордость «репертуарной комиссии» — весёлую песенку под названием «Промоль»:

«Разгрузите вы вагоны», —  
Главный инженер сказал.  
Заплатить нам с каждой тонны  
С прогрессивкой общал.  
Но когда свою сыграли  
Мы вот в этом деле роль,  
Якубовский нам ответил:  
«Прогрессивку съела моль».

— Ох-хо-хо! — хохочет публика и дружно поворачивается к певзрачному человеку в кепке, стоящему у самой машины. — Правильно! Отбрили!

Человек поспешно тушит папиросу и отступает в темноту...

У машины нас провожает толпа. Вот уже, кажется, попрощались и перецеловались с новыми знакомыми, вот уже обменялись адресами (каждый член бригады — минимум с пятью корчинцами), вот уже записали все московские поручения, а мы всё ещё не можем уехать.

А впереди двести километров ночной дороги. Чтобы не терять дня, перегон до Барнаула решено пройти за ночь. Начинает накрапывать дождь. Приходится быстро прятаться в машину, под брезент.

— До свидания! Спасибо! Пишите!

## СЕКРЕТАРЬ КРАЙКОМА

13 августа. (Запись в дневнике сделана Сергеем Янушкевичем.) Завтра воскресенье. Рано утром мы уезжаем по горному маршруту, поэтому все корчинские дела необходимо кончить сегодня.

Сначала мы (мы — это бригада, выделенная гензасом: Фролова, Розанова и я) пошли в крайком партии. Нам выписали пропуска, но ни к кому из секретарей попасть не удалось — шло какое-то серьёзное совещание. Мы подробно поговорили и передали материал инструктору крайкома. Решили обязательно зайти сюда перед отъездом в Москву.

После этого направились в крайком комсомола. Приятно поразило то, что товарищ Поляков, первый секретарь Алтайского крайкома ВЛКСМ, принял нас сразу. Его приёмная — единственная в Барнауле приёмная, в которой мы просидели не больше пяти минут (в приёмных крайкома профсоюза и Управления культуры мы, приходя к назначенному сроку, высиживали больше часа).

— Товарищ Поляков, — обратился я к секретарю крайкома, — нам бы хотелось поговорить с вами о Корчине.

Я начал было объяснять, где это Корчино, какая там стройка (совершенно очевидно, что секретарь Алтайского крайкома не может знать все точки досконально: их, наверное, у него несколько сотен), но Поляков сразу перебил меня:

— Как там сейчас у них с водой? Весной было очень плохо. Вырыли колодец? Ладно. Ну-ну, продолжайте.

Поляков слушал молча и внимательно. Но с его лица постепенно исчезло весёлое оживление, оно стало каким-то очень жёстким и неподвижным. Интересно то, что он ничего не записывал, ни слова. Но мы все были уверены, что каждый случай и каждая фамилия, упомянутые нами, им не забудутся...

Товарищ Поляков! Мы не смогли увидеться с вами ещё раз перед отъездом в Москву — вы были в районе.

Сейчас мы ничего не знаем о Корчине. Мы не получили ещё ни одного письма оттуда, а сами ничего не могли разузнать. Наладилась ли работа в столовой? Работает ли медпункт? Снят ли главный инженер Якубовский? Улучшилось ли снабжение строительства материалами?

Мы помним, как на прощание вы сказали нам: «Спасибо, товарищи! Разберёмся». И нам очень хочется верить, что вы сделали всё, что было намечено, и что корчинцы живут и работают теперь по-настоящему.

## ПАША ВАЛЯ

14 августа. Письмо из Сибири пришло в МГУ, опоздав на два дня. Поэтому его не пришлось прочитать на традиционном вечере встречи выпускников нашего факультета. Его прочли на комсомольском собрании первого курса и поместили в факультетской стенгазете.

«Дорогие товарищи, — писала Валя Чаплыгина, — я окончила факультет в прошлом году, многие меня, конечно, не знают, но мне очень хотелось сегодня написать всем вам. Я работаю на Западно-Сибирской селекционной станции в далёком от Москвы селе Лебяжке. Места у нас замечательные, я до сих пор не могу привыкнуть к бескрайним сибирским просторам, к великолепным сосновым лесам — сейчас всё это в глубоком снегу...

Только здесь я поняла, как много дал мне университет. Конечно, здесь приходится доучиваться на месте — без этого ничего не выйдет. Но основа знаний у нас очень хорошая...»

О письме вспомнили в поезде. «Вот куда едем обязательно! — закричали все. — Говорят, это недалеко от Барнаула — эта самая Лебяжка».

— Валюшка — она замечательный человек, — рассказывала Лия, — скромный, тихий. Мы даже не сразу поняли, как это она стала лучшим комсоргом у нас на курсе. Лучшая группа была — группа генетиков. Помнишь, Лёля?



— Конечно! И потом, она же сама старый агитпоходчик. Для неё наш концерт — родная стихия;

— Нет, вы представляете, товарищи, какие у неё будут глаза, когда она нас увидит!

— А что особенного? — сказала невозмутимо Лия и сощурила весёлые горячие глаза. — Что тут удивительного? Моя страна — куда хочу, туда и еду.

Лебяжка оказалась большим селом, с крепкими аккуратными домами, с садами, с двухэтажным общежитием и двумя волейбольными площадками. Всё это мы разглядывали, сидя в машине, пока Сергей ходил искать кого-нибудь из начальства. Но было воскресенье, и директора найти не удалось. Пришлось приступить к расспросам седого деда, глядевшего из-под руки от ближнего дома на нашу машину.

— Здравствуйте, дедушка! Приехали вот к вам с концертом.

— А-а-а! Дело хорошее. Так это вам Валю нужно найти.

— Какую Валю?

— Комсомольский секретарь у нас. И член сельсовета.

— Валя Чаплыгина?

— Она самая. А вам откуда это известно?

— Ура-а! А вы знаете, где она живёт?

— Как не знать... Пойдёмте, провожу.

В ответ на стук Валя открыла дверь и замерла на пороге.

— Валюшка, здравствуй! Очень просто, это мы, — немного дрогнувшим голосом сказала Лия после непонятно почему наступившей паузы. — Это мы, ну, что ты удивляешься?

Она хотела добавить, что удивляться нечему, что ничего особенного тут нет, но почему-то не сказала, а кинулась к Вале на шею.

— Лийка! Лёлка! Товарищи, вы задушите друг друга! — пытался прорваться к Вале Сергей. — Ну, что вы кричите, как первый курс? Тоже мне, молодые специалисты!..

А в дверь уже вваливалась вся бригада — сколько же можно тактично выждать, пока будут целоваться старые друзья?

И вот на кровати, на диване, на стульях, принесённых от соседей, все вместе мы сидим в валиной комнате. У Вали — тёмные взволнованные глаза, широкие густые брови и уложенные на затылке корзиночкой чёрные косы. Что изменилось в ней за этот год, пока мы не виделись? Чем отличается она — такая же и всё-таки чем-то совсем другая — от сидящих рядом с нею девчат? Так сразу и не скажешь. Может быть, тем, что лицо у неё покрылось совсем особенным, стелным, обветренным загаром. Может быть, тем, что, здороваясь, она по-новому крепко и уверенно пожимает нам руки своей сильной шершавой ладонью. Может быть, тем, что взгляд у неё стал строже, внимательнее и серьёзнее.

На стене висит «Портрет неизвестной» Крамского. На письменном столе, у окна, — горка книг: «Ботанический журнал», несколько агрономических учебников, «Английский язык», два журнала «Октябрь». Отдельно лежит стопочка политических брошюр и последние вышедшие тома подписных изданий Чехова и Романа Роллана. Среди книг — грамота: «Чесноковский ГК ВЛКСМ награждает Чаплыгину Валентину, секретаря комсомольской организации овоще-опытной станции, за активное распространение молодёжных газет среди молодёжи и комсомольцев».

Говорим обо всём сразу. О наших концертах, о засушливом лете, о районном спортивном фестивале и о факультетском смотре самодеятельности, о новом сорте капусты, о московских театрах, о том, что Сергей будет поступать в аспирантуру, а у Лёвы Карпачевского родилась дочка.

— А я знаю. Мы с ним виделись совсем недавно.

— Ну?! Где?

— Здесь. Приезжал за почвенными образцами. Смешной стал, чёрный, весёлый, сейчас где-то по Кулунде странствует.

— А мы, знаешь, кого встретили? Юрку Швецова. Мчался куда-то вместе с солидным начальником. У них где-то здесь экспедиция. Только и успели крикнуть: «Ты

куда?» Он: «Я из Бийска в Кулунду. А вы?» — «А мы из Кулунды в Бийск». Даже поговорить толком не пришлось, разъехались в разные стороны.

— А в Ситниковской МТС Ида Комина работает. Она там на почвенном картировании. Просила тебе привет передать.

— Мне?!

— Конечно, а что ж такого? Мы же знали, что тебя увидим.

— Чудеса! — восторженно говорит Валя.

— Вообще, кто выдумал, что Алтай — край света? — смеётся Лия. — Ничего подобного. На каждом шагу знакомый, даже неинтересно. Я уж удивляться перестала. Собственную маму встречу — и то не удивлюсь. «Мамочка, ты откуда?» — «Из Бийска в Кулунду. А ты, доченька?» — «Из Кулунды в Бийск».

— Товарищи, вы меня здесь подождите, — вдруг встаёт Валя. — Я сейчас, только в клуб сбегаю. Нужно же сказать, чтобы всё подготовили. Я быстро — пять минут.

Валя убегает. Мы берём толстый альбом, лежащий на столе. На первых страницах — несколько семейных фотографий, а дальше до самого конца он забит фотографиями нашего бывшего пятого курса.

— Лийка, смотри — паш курс! — кричит Лёля. — Вот практика, вот валина группа, а вот агитпоход. Ребята, агитпоход!

Альбом тянут друг у друга из рук. На фоне сугробов у запряжённых саней стоят и улыбаются наш командор с лыжными палками, весёлая Лия в пыжиковой шапке и Валя с чемоданчиком в руках. «Уезжаем на концерт», — объясняет Лия. На последней странице альбома — фотография наших выпускников у Царь-колокола на прощальном балу в Кремле: Валя в светлом платье улыбается кому-то, вот кудрявый, почему-то смущённый Лёва, вот самый длинный, как всегда нескладный, Юрка.

В комнате становится совсем тихо.

— Ребята, — Валя стоит под окном, — давайте сюда! Наши мальчики рвутся в бой, уже сетку повесили. Есть у вас волейболисты? Признавайтесь.

— Что за вопрос! Даёшь волейбол! Даёшь матч МГУ — Лебяжка!

Бригада вместе с толпой местных ребят устремляется на площадку. Валя, Лёля и Лия остаются одни.

— Ну вот видите, девочки, — смущённо улыбается Валя, — так и живу...

Медленно, взявшись за руки, они втроём идут по селу.

На крылечке общежития сидят две девушки в пёстрых платьях, загорелый человек лет тридцати пяти в кожаной куртке и сапогах и ещё один — мужчина лет пятидесяти в очках и картузе. Он читает вслух толстую книгу: «Биологические особенности капусты. Капуста относится к семейству крестоцветных...»

— Это слушатели курсов повышения квалификации агрономов. У нас на станции организованы такие курсы по семеноводству, — объясняет Валя тихо.

— Валентина Анатольевна! Можно вас на минуточку? — девушки привстают с крылечка. — Это правда, что самодеятельность из Барнаула приехала?

— Правда. Только не из Барнаула, а из Москвы.

— Ой, правда, из Москвы? А вы нас не разыгрываете?

— Ну, конечно, нет! Из Московского университета.

— Это тот самый, который на Ленинских горах?

— Тот самый.

— Ой! А с каких факультетов?

— Биологи, — гордо отвечает Валя. — Это наш биолого-почвенный факультет. Я ведь тоже его копчала.

Через некоторое время с крылечка снова доносится: «...формула цветка капусты, как представителя крестоцветных, такова...»

— «Валентина Анатольевна», — задумчиво улыбается Лия.

— Смешно немножко, да? — говорит Валя. — Мне сначала самой смешно было, а теперь привыкла. Я ведь всё-таки для них официальное лицо, как ни говори — заведующая курсами.

— Ну? Ты просто молодец, Валушка!

— Завтра курсы кончатся, буду у них экзамен принимать. Вот и учат — в последний день, конечно. Прямо удивительно — взрослые же люди...

Замечательный это был день. По высокой берёзовой аллее, мимо весёлого кудрявого лесочка мы ушли в бесконечные поля селекционной станции. Скажем прямо — необыкновенно приятно вдруг снова, сразу, как никогда во всю поездку, почувствовать себя биологами. Не просто восхищённо ахать над крепкими, толстыми ножками и сизыми головками — шарами семенного элитного лука, над тугими блестящими помидорами и жёлтыми сибирскими дынями, а почувствовать себя если не хозяевами, то уж, во всяком случае, добрыми знакомыми всех этих славных сибирских сортов. Наверное, ни одну экскурсию с такой радостью и волнением не водила по полям Валя.

Восемь часов вечера. Пора начинать концерт. Маленький клуб переполнен. Плотно, как в часы «пик» в трамвае, стоят люди у стен и в проходах. Валю усаживают в первый ряд, но она отказывается и стоит весь концерт у самой сцены, прислонившись к стене, — в нарядном, красном в цветочек, московском платье. Под напряжённым взглядом её влажных глаз мы волнуемся так, как будто это наш самый первый концерт. А он — пятнадцатый!..

Дружные аплодисменты после каждого номера. Только Валя почти не хлопает. Она стоит, стиснув руки, неотрывно глядя на сцену, на щеках у неё красные пятна.

— Наша факультетская песня — «Песня о верном друге». Музыка и слова выпускника нашего факультета Гены Шангина, — объявляет Лия.

Все мы произвольно поворачиваемся к Вале. Это наша песня, песня, которую знают все, которую бережно увозят с собой из Москвы выпускники, по которой можно узнать биологов во всех концах страны. Плотно сдвинувшись, касаясь друг друга плечами, мы поём эту песню Вале в необыкновенной, насторожённой тишине переполненного зала:

Когда тебе взгрустнётся  
Среди твоих забот,  
И всё не удаётся,  
И песня не поётся,  
Когда тебе взгрустнётся,  
Твой друг к тебе придёт.  
А если нет — ты глаза закрой,  
И ты увидишь, что он с тобой  
И о тебе поёт...

Мы видим, как зрители тоже поворачиваются к Вале, как она прижимает руки к щекам, губы её дрожат.

После концерта Валя прибегает в малюсенькую комнату за сценой, где ждёт её бригада, уже складывая для отъезда вещи.

— Ребята, ребята, — тихо произносит Валя, — вы даже не представляете себе, что вы сделали...

За окном настойчиво сигналит наш шофёр — пора! Завтра с утра уедем по горному маршруту.

— Одну минуту! Споём на прощание. Валя же не знает наших последних песен! Снова поём, взявшись за руки, окружив Валю. Удивительно, нам и в голову не приходило, сколько песен сочинили на факультете за год!

Вдруг глаза у командора загораются.

— Внимание, бригада, на торжественную линейку — становись!

Ещё не поняв, в чём дело, мы моментально становимся в шеренгу.

— Смирно! Валя, принимаем тебя в почётные члены нашей концертной бригады!

Сергей снимает с шеи форменный, в разноцветный горох платок и протягивает его Вале. «Ура! — кричим мы. — Ура! Молодец командор!» Миша играет туш. Нам весело и грустно. Валя жмёт командору руку и бросается целоваться с девочками.

И вот уже все сидят в машине, только Лия и Лёля немножко поодаль стоят внизу с Вале. Совсем темно.

— Девочки, — вдруг тихо говорит Валя, — хотите, я скажу вам очень важное... Я ведь замуж выхожу, — и, не дожидаясь расспросов, быстро говорит, сжав подругам

руки: — Его зовут Федя... Его сейчас здесь нет — он в школе механизаторов преподаёт. Вот придет осенью — и будет свадьба. Мы решили 7 ноября.

Грузовик даёт прощальный гудок.

— До свидания! До свидания, Валюша!

— До свидания! Спасибо! — кричат зрители и машут нам руками.

— До свидания! — кричит Валя и так и стоит с поднятой рукой, пока грузовик окончательно не тает в темноте.

А в машине кто-то снова начал песню. Небо — громадное сибирское небо — было усеяно тысячами звёзд. Они спускались вниз, к самому горизонту, так, что даже непонятно было, где кончаются звёзды и где начинаются огни показавшегося впереди Барнаула.

— Всё-таки всё это совершенно необыкновенно, — сказала Лёля.

— Что именно?

— Вот наша жизнь. Захотели — и приехали за тысячу километров на Алтай. Захотели — и нашли Валу. А сама Валюшка — как она изменилась, выросла, сколько сделала... И ведь только год прошёл! Совершенно необыкновенно.

Все стихли и задумались. Хотя, если разобраться, ничего необыкновенного во всём этом, конечно, не было.

## НОВЫЙ КОМАНДОР

19 августа (день, записанный Любой Богдановой). Проснулись рано, в семь часов. Сегодня второй день, как мы высоко в горах. Идёт дождик, и на улице холодно. Наш новый командор, Володя Степаненко, оказывается, уже куда-то ходил, хлопотал, и машина оказалась заправленной бензином. Володю назначили командором на вчерашнем гензасе на один сегодняшний день. Это решил штаб, а мы поддержали — пусть Сергей немного отдохнёт. Вдвоём с Женей мы побежали на ближнюю горку за лишайником. Когда вернулись, то увидели, что все уже сидят в машине. Володя посмотрел на нас злыми глазами и прочитал всей бригаде лекцию на тему «Как надо вести себя в горах»: что нельзя уходить без его разрешения, что «любая оплошность может стоить жизни» и что смеяться тут нечему.

В машине ехать очень неудобно, мокро и душно под брезентом. А главное, из-за этого брезента ничего не видно вокруг, а там очень интересные места — Чуйский тракт, и вообще красиво. Мы с Томой взяли и приоткрыли сбоку брезент. Володя тотчас же велел закрыть, потому что мы простудим всю бригаду.

Потом началась очень плохая дорога. Машина буксовала. Володя вылез наружу, а остальные не разрешил. Они там что-то делали с Сергеем и были потом очень грязными. Дождя, правда, уже не было.

В совхоз мы приехали во второй половине дня. Он называется «Шебалинский мараловсдческий совхоз». Завтра нам покажут настоящих маралов прямо на воле! Здесь ровные зелёные горы, а наверху лиственничные леса, из лиственницы. Мы ели в столовой суп из маралов и маральные котлеты. Гарик начал острить, что до этого всегда ели «аморальные» котлеты.

В совхозе очень хороший клуб, есть даже артистические уборные, а занавес из бархата. Гарик всё ходил по сцене, удивлялся и повторял: «Ну и ну! Чем дальше в глушь, тем лучше клуб! А вот артисты сюда почему-то не ездят».

После концерта мы стояли все за кулисами и услышали вдруг такой спор в расходящейся толпе: «А кто сказал, что они не артисты? Как же не артисты? Конечно, артисты!» — «Да студенты же они, студенты, из Москвы! Поэтому они и денег не берут. А зря, собирали бы хоть по рублю...» Всем, конечно, стало очень весело, а Володька хотел было задрать нос, но сразу вспомнил, что он командор, и строго сказал, чтобы мы скорее собирались и шли танцевать со зрителями, но не очень долго, потому что завтра трудная дорога и надо, чтобы все отдохнули.

После концерта состоялся гензас. Под конец выступил Серёжа и отметил, что Володя Степаненко с обязанностями командора справился очень хорошо, и, главное, он всё время заботится, чтобы каждому из нас было удобнее.

**ВОЛОДЯ СТЕПАНЕНКО — О СЕБЕ***(Из тетради дорожных записей В. Степаненко)*

Поездка обещает быть очень интересной. Для меня она особенно важна. Решил завести особую тетрадь для записи всех личных впечатлений. Однако предвижу, что времени для этого будет недостаточно. Нужно выучить множество песен для концерта, а память на стихи у меня плохая...

Сегодня был первый концерт. Я очень устал: слишком много песен. Может быть, на некоторых концертах можно петь не во весь голос? Если будет не слишком много народу. Надо посоветоваться с Лёлей...

Ох, и влетело мне на гензасе за иждивенчество! Конечно, я неправ. Надо петь всю. Ведь другим не менее трудно, чем мне...

Вчера имел возможность убедиться, что ко мне в бригаде относятся лучше, чем я думал, вернее — просто хорошо. Сергей сказал, что в автомашине всё время беспорядок, поэтому надо выделить человека, который следил бы за погрузкой и разгрузкой. Я думал, что назначат Чепурнова или Бориса, но Сергей указал на меня, а все дружно поддержали. Вообще говоря, это было для меня полной неожиданностью.

Сергей мне нравится всё больше. И как человек и как командор. Он спокойно и правильно делает своё дело, всё самое трудное незаметно берёт на себя, к людям очень чутко подходит. Вот бы такого старшего брата!..

Описывать всё не хватит места и сил. Но о вчерашнем концерте хочется сказать многое. Он запомнится мне навсегда, может быть и потому, что был последним в нашем агитпоходе на целину.

Мы приехали в Бийск.

Перед концертом мы собрались за сценой. Обняв друг друга за плечи, встали в круг и шёпотом спели: «На сцену, товарищи, все по местам! Последний концерт наступает!» Потом Лия сказала: «Ну, ребята, держись!» — и побежала объявлять первый номер. Мне сегодня хотелось спеть лучше, чем всегда.

А вечером был очередной гензас. Подводили итоги, говорили о каждом члене нашей бригады, в том числе и обо мне. Все знали мою историю, но сегодня этой больной для меня темы коснулись здесь впервые. Ведь в бригаде все комсомольцы, а гензас — всё равно что комсомольское собрание. Выступавшие говорили о том, что решение нашей группы об исключении из комсомола вряд ли правильное. Однако мне здорово влетело за грубость и излишнюю самоуверенность. Потом стали утверждать мою характеристику. Слушал как будто внимательно, но многое пропустил. Странно, а я думал, что не волнуясь.

Попросил у Аллы листок с характеристикой, переписал и пока вкладываю сюда.

**«ХАРАКТЕРИСТИКА.** Владимир Степаненко в течение месяца был членом агитбригады биолого-почвенного факультета МГУ, обслуживающей целинные земли Алтайского края. Он принимал участие во всех концертах, большая часть которых проходила в трудных условиях. К своим выступлениям В. Степаненко всегда относился очень ответственно, что в значительной степени обеспечивало успех всего концерта. Кроме участия в концертах, Степаненко по поручению бригады постоянно занимался организацией переездов. Его серьёзное отношение к работе позволило доверить ему руководство бригадой в течение суток на самом трудном участке пути, с чем он справился вполне успешно. Владимир Степаненко иногда бывает резок в обращении с людьми и несколько самоуверен. Но в общем бригада считает его честным и искренним в отношении с людьми человеком».

**НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ**

24 августа. Последний день. Последняя запись. Последний гензас...

Комната еле вмещает обветренную степными ветрами, прошедшую через волнения концертов и радость удач, счастливую и чуть грустную нашу бригаду. Плотнo расселись на кроватях, стульях, прямо на полу, на кадке с фикусом и неизменном футляре аккордеона. Алла читает письмо Алтайского крайкома профсоюзов, адресованное не Ленинские горы, в МГУ.

«...Трудящиеся выражают глубокое удовлетворение концертами культбригады... Крайком профсоюза считает очень полезной посылку культбригад для обслуживания тружеников сельского хозяйства и обращается ко всем студентам с приглашением использовать каникулы 1956 года для поездки с концертами художественной самодеятельности на Алтай».

Последний вечер под низкими голубыми алтайскими звёздами. Командор неожиданно севшим голосом читает проект рапорта Москве:

«За время похода бригадой пройдено 2 300 километров по степному и горному Алтаю. За 18 рабочих дней дано 23 концерта в тринадцати районах края... Наши концерты прослушали в общей сложности 6 300 человек. Мы привезли с собой 124 устных приглашения приехать на будущий год, 18 предложений остаться навсегда на Алтае, большое количество дорогих воспоминаний, пять новых песен, крепкий, дружный, весёлый коллектив и 19 непреклонных решений дать в будущем году втрое больше концертов там, куда пойдёт нас комсомол. Бригада готова выполнить задания любой трудности на любой работе, в любом месте Советского Союза и земного шара».

### С ЭТОГО ВСЕ И НАЧАЛОСЬ

31 августа 1955 года в большой новой факультетской аудитории, где на стенах, на пстолке, на скамьях играют светлые солнечные блики, на самом верхнем ряду расположилась сосредоточенная наша бригада.

Рядом с нами нет Любочки. Она сидит в президиуме и единственная из всей бригады может внимательно рассматривать аудиторию «с лица». Остальным видны только бесчисленные затылки — вихры, шевелюры, бантики и причёски.

Но прежде, чем рассказать о том, что сейчас происходит, — небольшое отступление.

Кто это придумал — неизвестно. Наверное, это пришло в голову сразу многим, всем, кто, придя на факультет, увидел сияющую толпу будущих первокурсников у расписания в коридоре. Во всяком случае, никто не удивился, когда в один прекрасный день Алла объявила нашей бригаде:

— Товарищи, всё в порядке! Нам поручили работать на первом курсе. Это сейчас самое важное — первый курс. Знакомиться с людьми, рассказывать о факультете, о комсомольских традициях...

— Кому «нам»? — спросил Володя Степаненко.

— Как кому? Бригаде, конечно!

— Здрóрово! — воскликнула Лия. — Просто здóрово!

— Итак, наша задача? — деловито спросил кто-то.

Все закричали:

— Правильно! Давайте составим план действия. Командор, открывай гензас!..

Это было на днях. А сегодня...

— От имени комсомольской организации слово имеет Люба Богданова, — говорит декан.

Любочка выходит вперёд. Сейчас она должна рассказать новым членам нашего коллектива о людях, делах и традициях нашей организации. Это первый и самый ответственный шаг в нашем новом большом походе. Любочка очень волнуется. Мы тоже. Нам не видно лиц первокурсников, видны только блестящие любочкины глаза и слышна внимательная тишина аудитории.

Вот прошло по скамьям лёгкое движение. Любочка вдруг весело и дружески улыбулась, и по этой улыбке мы понимаем, что вся аудитория сейчас улыбается так же весело и открыто.

— Товарищи, — говорит Любочка. — здравствуйте, товарищи!..



---

---

ВЛ. НЕМЦОВ

★

## ИНТЕРЕСНО ОБ ИНТЕРЕСНОМ

**О**тъезжая от города, где работает телевизионный центр, видишь, как всё меньше и меньше становится антенн телевидения, похожих на букву «Т». На расстоянии более ста километров они исчезают почти совсем — здесь приём неуверенный, без специальных устройств не обойтись. Поезд идёт дальше, и вдруг вы замечаете, что на крышах домов одного из рабочих посёлков вновь появились антенны, которые поднимаются теперь чуть ли не над каждым зданием. А вон там, на окраине, выросла высокая мачта — это так называемая ретрансляционная установка, её соорудили радиолюбители. Они уже не довольствуются тем, что строят телевизоры дальнего приёма для себя, им этого мало — пусть все жители посёлка пользуются плодами их творческого труда. У радиолюбителей есть хорошие традиции, своя литература, выставки, конкурсы, соревнования. Многие из них стали хорошими специалистами и значительно помогают развитию советской радиотехники.

К сожалению, в других отраслях техники дело обстоит не так. Конечно, радио — одно из самых захватывающих занятий. Но разве, например, электротехника не может быть такой же увлекательной? В наших отдалённых селениях, где нет электричества, вы можете встретить самодельные ветряки с маленькими генераторами, которые используются и для освещения и для питания приёмника. И что особенно характерно — в колхозных сёлах или рабочих посёлках, где совсем не было ветряков, если уж появился один, через полгода вы обязательно увидите рядом с ним ещё несколько. В данном случае действует убедительная сила хорошего примера: сооружение соседа работает, вечерами окна его дома освещены, и, конечно, хочется знать, как построить эту штуку, а узнав — самому осветить своё помещение.

Однажды меня заинтересовала система одного ветряка, очень простая и остроумная, какой я никогда не встречал в технической литературе. Заметив, что я усердно разглядываю конструкцию, из домика вышел хозяин. Это был пожилой человек, который рассказал мне, что с детства занимается всевозможными изобретениями и первым в посёлке поставил у себя ветряк. Это увлекло многих молодых ребят, и сейчас под его руководством они строят большой ветряк, который сможет дать энергию для освещения колхозного клуба и нескольких домов.

Всё это прекрасно. Однако невольно возникает мысль: а если бы здесь, в этом посёлке, не было мастера, давно увлечённого техническими занятиями, кто бы подсказал молодёжи это интересное и полезное дело? Ответ на этот вопрос как будто ясен — книга. И вот об этой книге, о книге по технике, которая будит творческую мысль, воспитывает её, мне и хочется поговорить.

Недавно на Всесоюзном совещании работников промышленности обсуждались серьёзные вопросы о темпах развития индустрии, о внедрении передовой техники, о рационализации и изобретательстве. Всё это

требует многочисленных кадров конструкторов, людей с хорошо воспитанной творческой мыслью, людей, в которых пробуждено и выращено конструкторское мышление. А начинать воспитывать это мышление надо рано, с детства.

Горький утверждал, что с ребёнком надо говорить «забавно». Надо уметь заинтересовать его, поддержать в деле, которое становится для него любимым. Если бы это нам удалось, то многие большие вопросы политехнизации школы решались бы легче, ибо увлечь ребёнка трудом и техникой не так уж часто удаётся с учительской кафедрой.

Далеко не во всех школах есть технические кружки, да и могут ли они существовать без занимательной литературы?

Вот передо мной одна из чудесных книжек, которая вводит ребёнка в незнакомый ему мир творца, создателя машины и делает этот мир его мечтой и целью. Открывается она фантастическим рассказом о путешествии на «геликомобиле», а потом со страниц этой книги, точно ожившие, сходят модели, которые послужили основой пока ещё не существующего изобретения. Эти модели я видел в натуре: простейший автомобильчик из фанеры, аэросани, планёр, пароход. Их было десять. Они созданы детским писателем Александром Николаевичем Абрамовым. Его уже нет среди нас, но книга «Десять моделей», недавно переизданная Детгизом, так же как и другие его работы, продолжает пользоваться неизменным успехом у юного читателя. Абрамов обладал великолепнейшим и редким даром так рассказывать о любой самоделке, что у ребят сразу же начинают чесаться руки и появляется страстное, неистребимое желание поскорее приняться за дело: мастерить, слесарить, клеить и, наконец, увидеть своими глазами, как созданный тобой грузовичок с резиновым мотором в одну пугающую силу помчался по комнате.

Прекрасный педагог, тонко знающий ребячью душу, Абрамов пробуждал в детях творческую мысль, здоровое чувство соревнования, потому что модели, о которых он рассказывает, нарочито упрощены, в них обнажена идея, самое существо вещи, всем своим видом настойчиво требующей совершенствования. Она живёт, двигается. Но этого мало — доработай её, додумай! Теперь ты сам конструктор.

Войдя в редакцию, где работал Александр Николаевич Абрамов, в первую минуту можно было подумать, что ошибся дверью: на рукописях и книгах разместились всевозможные модели. Они заполнили все подоконники. Над головой висят планёры и самолёты, воздушный шар неслышно плавает над шкапами. Щёлкают реле, гудит моторчик, а на столе редактора шипит паровая машина из консервной банки.

Мне помнится одно из выступлений Абрамова в большой аудитории Политехнического музея. До него выступали известные детские писатели, а потом вышел Абрамов со своими моделями. Некоторые из них он строил прямо на глазах у замороженных ребят. Описывали диковинные круги бумажные бумеранги, по столу бегали машины. Это был праздник занимательной техники.

Абрамов искал авторов среди молодых инженеров, студентов, работников детских технических станций. Он искал новые формы занимательного рассказа о технике. В содружестве с другими писателями он придумывал книжки для детского возраста. Так, например, было выпущено интересное издание, в котором рассказывалось о путешествии маленьких героев в электролампе, книжка-фотоальбом с хорошим юмором, с выдумкой.

О том, как построить модель, можно рассказывать по-разному. Как правило, выпущенные за последние годы брошюры в помощь юному технику, сборнички «Умелые руки» содержат рецепты, наставления, чертежи и различный справочный материал. Против такой формы популяризации трудно возражать. Но ведь эта литература рассчитана на чита-



теля, уже успевшего полюбить технику, построившего не одну модель. Его заинтересовывать не нужно.— дай только рисунок, чертёж, сообщи некоторые данные, а там он уж сам разберётся.

У Абрамова другое: все его книжки насыщены познавательным материалом. Тут и беседы конструктора — почему нужно делать так, а не иначе,— остроумные сравнения с настоящими машинами, краткая история машин, мысли об их будущем, и самое главное — всё это подчинено единой задаче: не только приохотить ребёнка к технике, но и пробудить в нём творческий огонёк, дать первые навыки научно-технического мышления, подготовить юношей и девушек к сознательному творческому труду. И как бы хотелось видеть среди школьников побольше «одержимых» ребят, которые опутывают свои комнаты проводами, мастерят приёмники и модели, проводят целые вечера над книгой и чертежом, вместо того чтобы тратить время на ежедневные танцы или бесцельную беготню по улицам.

Велики задачи первых книг по технике, которые попадают в руки детей. Они могут определить всю их жизнь.

Несомненно, что занимательная книжка о самоделках не заинтересует старших школьников. Вряд ли прочтёт её и молодой рабочий или колхозный механизатор. Здесь нужна уже научно-популярная литература.

«Популярная» — в точном переводе этого слова — значит «народная». Однако далеко не все книжки, носящие это название, отвечают своему назначению народной литературы, то есть литературы, доступной каждому грамотному человеку, доходчивой, интересной и понятной.

В одной из заводских библиотек мне пришлось посмотреть формуляры ряда научно-технических книг. Белые листки с редкими двумя-тремя подписями. А книги эти не новые. Они давно лежат перед читателями. Их листают, смотрят и кладут обратно на полку.

В чём же дело? Не увлекают темы? Неверно. Попросту это скучные книжки.

Алексей Николаевич Толстой говорил: «Никогда, никакими силами вы не заставите читателя познавать мир через скуку». И дело не в том, чтобы скучный научный текст расцветить пейзажами или дотошно описать, как выглядел герой в минуты раздумий. Всё это ненужное украшательство. В самом деле, станет ли интереснее книга, если автор напишет: «Глядя на пылающий закат, он думал о химических ускорителях твердения бетона». Пусть этот пример анекдотичен, но я намеренно заостряю вопрос о необходимости создания книг, увлекательных по сути.

Выпуском научно-популярной литературы у нас занимаются многие издательства. Чаще всего попадают на глаза красочные обложки Государственного издательства технико-теоретической литературы. Это небольшие брошюры на самые различные темы. Тут и астрономия: «Как познавалась Вселенная», «Сколько звёзд на небе», тут и техника: «Необыкновенный камень», «Свойства металлов», «О чём говорит луч света», и многие другие. Стоят они дёшево, выпускаются большими тиражами, написаны либо специалистами, либо знающими своё дело популяризаторами, и потому научный материал, помещённый в них, как правило, весьма доброкачественный. Во всяком случае, издание этой библиотечки — явление весьма положительное. Она полезна, как одно из средств естественнонаучной пропаганды.

Но на кого рассчитаны эти книжечки? Привлекут ли они колхозника, молодого рабочего, ремесленника, помогут ли воспитать творческое отношение к своей профессии? Думается — далеко не все. Это тем более обидно, что большинство авторов массовых книжечек библиотеки — учёные, на своём многолетнем опыте познавшие радости и горести творения, люди смелой мысли, которым есть чем поделиться с молодым читателем.

Как хочется, чтобы они рассказали об этом интересно, показали, какие трудности были на пути открытия или изобретения, и не забыли хоть немного заглянуть вперёд, чтобы увлечь читательское воображение!

А что получается сейчас? Большинство этих брошюр нашпиговано формулами, таблицами, столбцами цифр и терминологией, понятной только специалистам. Взять хотя бы «Необыкновенный камень» А. В. Чуйко, в которой повествуется о бетоне. Тема удивительно интересная. Так расскажите о его свойствах как можно ярче, раскройте перспективы, связанные с этим строительным материалом, подскажите, какие изделия из бетона и опыты с ним можно сделать самому, — и любого читателя не оторвёшь от книжки. А здесь — что ни страница, то десяток формул или рецептов. Мы читаем, например: «Для получения бетона прочностью на сжатие на 28-й день в  $170 \text{ кг/см}^2$  на цементе марки «400», имеющего подвижность смеси (осадку конуса — О. к.) 4,5 см, необходимо иметь водоцементное отношение 0,53. Для такого бетона следует взять цемента 290 кг, песка —  $2,34 \times 290 = 678 \text{ кг...}$ » и т. д.

Слов нет, в справочнике строителя-бетонщика всё это необходимо, но при чём тут массовая популярная литература? Кто её будет читать?

Есть книжки, которые отпугивают читателя самым названием, вроде «Органического синтеза» профессора О. А. Реутова, многие страницы которого напоминают учебник для высшей школы. И таких книг большинство.

А вот ещё одна брошюра из той же серии: В. А. Парфёнов. «Редкие металлы». В ней нарисованы «кристаллические решётки твёрдого раствора замещения» и «твёрдого раствора внедрения». Рассказано о них очень невразумительно, как и о других сложных понятиях, мало доступных широкому читателю. О свойствах редких металлов и их значении в жизни человека говорится языком справочника.

И тут невольно вспоминаешь смелые и яркие сравнения Александра Евгеньевича Ферсмана из его книги «Занимательная геохимия». Он придумал для химических элементов точные и броские названия: «Кремний — основа земной коры», «Фосфор — элемент жизни и мысли», «Стронций — металл красных огней», «Олово — металл консервной банки», «Иод — вездесущий», «Фтор — всеядный». Это почти мнемоника, облегчающая запоминание, и в то же время художественный приём. Конечно, А. Е. Ферсман был настоящим художником, без всяких скидок на особенности жанра. Но его работы — отличный пример того, как можно писать о науке и технике.

Научно-популярную книгу нужно изобрести, придумать, найти оригинальный поворот темы. Неудачи многих наших популяризаторов, учёных, инженеров, производственников кроются не в том, что у них нет художественного таланта, а в робости, в скованности мысли и, самое главное, в том, что ещё сильна привычка строить книгу по однажды заданному образцу, по стандарту.

Вот уже сколько лет живут книги Я. И. Перельмана. В них нет особых литературных достоинств, но сколько выдумки, неожиданностей чуть ли не на каждой странице!

Известно, что один из крупнейших мастеров научно-художественного жанра, М. Ильин, был инженером. Как писатель он создал десятки остроумнейших книжек, которые обошли чуть ли не все страны мира. М. Ильин рассказывал в них о том, как автомобиль научился ходить, о солнце на столе, о часах, о том, как печатают книгу. В своей работе он не пользовался проторёнными путями. У него нет действующих героев, но человек, его творческая мысль присутствует на каждой странице. В книжках Ильина нет и острого, увлекательного сюжета, но они так построены, так силь-

на в них композиционная связь между отдельными главами, объединёнными общей идеей, что забываешь о сюжете в обычном понимании этого слова.

М. Ильин изобретал свои книжки. В «Ста тысячах почему» он совершает прогулку по комнате: «Станция первая. Водопроводный кран». «Станция вторая. Печка». Сперва это кажется просто забавным, однако к концу комнатного путешествия мы понимаем, что таким остроумным способом автор приводит читателя к широкому познанию мира.

По-иному задумана книжка В. Орлова «О смелой мысли». В ней есть серия маленьких рассказов под общим названием «Большое в малом»: о дыме, о пузырях, об искрах, о солнечных зайчиках. И читателя любого возраста не оторвёшь от неё. Автор мастерски написал свою книжку: он нашёл новый ключ к теме.

Можно привести десятки таких примеров, когда поиски новых путей решались вполне успешно.

Б. Ляпунов, тоже инженер,— автор нескольких книг, которые пользуются заслуженным успехом у молодёжи. Они интересны не только потому, что, скажем, в книге «Открытие мира» взята романтическая тема — о межпланетных путешествиях или в книге «Борьба за скорость» рассказывается об автомобилях, об электронах и газовых турбинах. Нет, Б. Ляпунов умеет каждый раз по-новому повернуть тему, найти интересный принцип подбора материала; например, он взял за основу скорость, как таковую, и проследил развитие технической мысли в самых различных областях народного хозяйства именно с точки зрения того, как проявляется в них борьба за скорость. Здесь налицо находка, выдумка, и нет никакого сомнения, что если бы большинство авторов научно-популярных книг последовало такому примеру, то число читателей у них возросло бы во много раз.

Академик А. Н. Несмеянов высказал совершенно справедливую мысль, что рост науки часто определяется взаимодействием и взаимным плодотворением наук путём использования в одной из них достижений, приёмов и методов другой. Нам нужна научно-популярная литература, которая раздвигала бы рамки узкой темы, касающейся лишь специальной области. Поэтому каждая книжка широкой темы, как у Б. Ляпунова, несравненно полезнее, чем псевдопопулярные брошюры, похожие на сокращённые учебники или справочники.

Совершенно необходимы книги об изобретательстве, о творческом процессе конструирования. Огромную пользу в развитии технического мышления у нашей молодёжи принесла бы книга о том, как разрабатывалась та или иная машина. Таких книг нужны десятки, и по самым различным отраслям техники. Они уже в самой своей основе будут интересны и занимательны.

Такие две книги, как «Повесть об автомобиле» Ю. Долматовского и «Рядом с водителем» В. Иерусалимского, роднит между собой не только общая тема, но и увлекательность, с какой они написаны. Однако книги эти абсолютно разные. Ю. Долматовский смотрит на автомобиль глазами конструктора и производственника, а В. Иерусалимский посадил читателя рядом с собой за руль. Далеко не всё в этих книгах совершенно. В них много сухих страниц, с трудом воспринимаемых юным читателем, объяснений, порой смахивающих на заводскую инструкцию. Но всё это можно простить, потому что авторы в основном занимательно решили композицию книги. Интересных, доходчивых книг по технике у нас крайне мало. Те, что вышли за последние годы, можно пересчитать по пальцам: «Богатыри полей» А. Казанцева, «Телевидение» К. Гладкова, «Сто послушных рук» А. Дорохова, «Полоса чудес» М. Ефетова... Ну, ещё несколько, и всё.

Поражает крайняя узость тематики научно-популярных изданий. Книг по астрономии много, а о заводе, о цехах, о принципах поточного производства, о станках, о технологии, о том, что является основой будущей профессии миллионов школьников, почти нет. Из многих десятков брошюр научно-популярной библиотеки Гостехиздата лишь одна в какой-то мере восполняет этот пробел. Это брошюра К. И. Погумирского и Б. П. Карелина «Производственный чертёж».

Но разве так нужно рассказывать о технике? Когда-то давно выпускались атласы всевозможных машин, разборные модели паровозов, автомобилей, тракторов. Приподнимаешь листок за листком — и перед тобой последовательно открываются всё новые и новые детали машины, ты проникаешь в самое её нутро, чётко представляешь её устройство и принципы работы. Для авиамоделлистов выпускались чертежи, выкройки разных моделей. К сожалению, всё это забыто нашими издательствами, хотя перед ними и стоят важнейшие задачи технической пропаганды.

Научно-популярная литература должна быть действительно доходчивой, рассчитанной на самого широкого читателя и ни в коей мере не должна повторять учебную и специальную литературу. Об этом наши издательства должны серьёзно подумать.



# ИЗ ПИСАТЕЛЬСКОГО АРХИВА

## РАЗГОВОР О МАСТЕРСТВЕ

*В последние годы творческие семинары, в которых участвуют молодые писатели всех республик и областей Советского Союза, стали хорошей традицией Союза писателей СССР.*

*Будет проведён такой семинар и в декабре 1955 года, когда в Москве состоится пленум Правления ССП совместно с Всесоюзным совещанием молодых писателей.*

*Передача литературного опыта, взыскательный разговор о мастерстве, забота о высокой идейности, строгий, без скидок, анализ творчества молодых литераторов для советских писателей старшего поколения всегда были не только долгом, но и живой потребностью сердца.*

*Редакция «Нового мира» помещает в этом номере некоторые неопубликованные письма и стенограммы из архивов писателей В. В. Вишневского, Б. Л. Горбатова и П. А. Павленко, в которых анализируются произведения их младших товарищей по литературе — профессиональных и начинающих писателей.*

### Из писем В. В. Вишневского

1

И. ЗЕЛЬЦЕРУ<sup>1</sup>

4 февраля 1941 г. Ленинград.

Дорогой Иоганн!

Второй день занимаюсь твоей повестью.

Буду записывать свои замечания, соображения по порядку, по мере развёртывания повести.

Начало более или менее торжественно, но его стиль нарушается неудачным выбором слов: «белёсое сияние». Дальше ещё неудачнее: «белёсое сияние... расцветает беспокойным холодным светом». Сияние — это явление определённое, сияющий свет солнца, сияние расплавленного металла и т. п. Это высокая степень светового воздействия. У тебя она странно возводится в ещё более высокую, но тут же пишется «холодный свет», то есть даётся более низкое качество, ступённое, приглушённое. Таким образом и эпитеты и физическая сторона дела изображены неверно. Поищи более точных, верных определений.

«Не известная никому, кроме Штаба флота, база...» Гм... А самим подводникам? А местному населению? А разведке?

...«Прилёт, как сабельный удар, луч прожектора и, отдохнув, исчез...» Луч, как удар, да ещё отдыхающий, как нечто живое... Это — пардон — заворот весьма оп-

ределённый. Пиши строже, суровее... Временами читай прозу Пушкина, для пользы службы.

«Всё казалось пустынным в этой глуши...» Пустыня сильнее глуши... Два определения, как-то сбивающие друг друга.

«Никогда на острове не жили люди...» Ну, уж и неведомая Арктика получается... Перехватил, Иоганн. В Балтике всё насквозь исхожено и славянами, и финнами, и варягами, и, наконец, нами — русскими...

«Оставляя тревогу и беспокойство...» Ты всё время сам сеешь тревогу и беспокойство: «рискованное крейсерство», «оставляя тревогу», «гиблое место» и пр. и пр. Нагнетаешь несколько нарочито ощущение опасности и риска. И это выпирает. Будь скупее, вводи все эти элементы постепенно, незаметно.

«Приказ был краток и неумолим...» Плохо. Какие-то вырастают в воображении холодные, равнодушные, далёкие, неумолимые люди. Им безразлично всё... Анонимы... Для обрисовки действий и отношений в Красном Флоте это определение неверно. Вдумайся...

«Для строгой блокады...» Есть ещё не строгая, мягкая, приятная? Будь точен, по военному точен. Скуп...

«Приказ, суровый и волнующий». Ты представь волноваться нам, читателям. Пока экспозицию читатель читает ещё без вол-

<sup>1</sup> Писатель, сценарист. Погиб на боевом посту в Кронштадте в 1941 году.

нения. Он не знает толком обстановки, не знает лодки, людей... Ты поищи таких деталей, которые искусно взволновали бы воображение сразу... Что значит «расстрелять мину»? Читатель не знает. Покажи.

«Неизвестность мучила, не давала покоя...» Ты изображаешь людей с подводных лодок, как очень чувствительных. Все волнуется, трепещут, сомневаются при виде чёрного пятна; мучаются при виде самолёта... Дорогой автор, а нельзя ли вернее, привычнее, скупее? Есть же в нашей службе железный закон привычки, чёткости, умения молчать, умения сдерживать свои нервы... Выверяй малейший рефлекс. Будь — как писатель, психолог — абсолютно точен. Ищи военное, специфическое, в службе подводников. Я, читатель, и хочу проникнуть в эту специфику. (Перечти серию мемуаров подводников, немецких и английских... Прочти и о «Барсах»<sup>1</sup> в мировую войну.)

«Кружево невиданной белизны...» Эпитет произвольный. Где-то встречалось это сравнение... Не знаю, пена в холодном море мне не напоминает кружев — вещи приятной, праздничной, бальной, тёплой, женской...

«Ветер мчался, ломая, швыряя всё на своём пути...» Что именно всё? Где именно?.. Автор выше сообщал, что бескрайняя даль пустынна... Выверяй каждый штрих, дорогой мой.

Краснофлотец на койке, торпеда и пр. — хорошо. Это ново, точно. А вот легендарный Кронштадт, строевые занятия и краткий курс в Учебном отряде — плохо. Скомканно, стандартно...

Об английской подводной лодке сказано скомканно, читатель не поймёт. Пиши точно: лодка эта была потоплена в 1919 г. и поднята в 1927 (если память не изменяет).

Описание лодки дано неверно. Опытный «первой статьи электрик» бродит по лодке, как «опупелый»... Дай, наоборот, электрику профессиональную любовь, знание дела. Он ходит и наслаждается новинками — знает многое, а кое-чего не знает и как бы открывает... Дай тему ощущения технического прогресса: мы можем, умеем строить... Мысли о нашей технике, культуре и пр. Думается, что это (в меру) могло бы тут пригодиться.

<sup>1</sup> «Барсы» — тип подводных лодок, действовавших во время первой мировой войны.

...Описание каюты командира надо бы сделать точнее. Её расцветка, запахи, шум... Всё же это так специфично. Габариты... Опиши точнее.

...«Огромные валы и барашки...» Ты не проверяешь смысла, звучания поставленных рядом слов. Суровость, опасность обстановки одним таким «барашком» может быть убита. Это и есть, дорогой, тайны стиля... Флобер сутками искал один эпитет или сочетание двух-трёх слов.

...«Бушующие гребни». Посмотри о физических законах волн. О действиях гребня волны. Помнишь ли опыты Росса и др.?

«Небо — это море, застывшее в безветрии». Образ неудачный. Во время шторма свист ветра, общее движение волн, движение туч и пр. дают и небу своеобразную динамику...

Стр. 10-я — описание опаснейшего дела. Как же ты забыл описать ощущение человека в эти минуты? Писатель обязан вникать во все детали описываемых явлений, изучать их. Открывать новое, сообщать специфическое, типичное...

«Волны начнут с ним опасную игру». Пустая фраза. Сашин уже мокр с головы до ног, устал... А ты пишешь об игре. Не те слова... Если Сашин потерял бы сознание, — его наверняка бы смыло.

«Работает парень упорно...» Но жаль, что выработку этого упорства ты не показал выше... Как от припадков трусости Сашин шагнул к умению владеть собой, мы пска не знаем.

...Текст описания опасностей становится у тебя лучше, проще. Но «зловещие рожки колпаков (мин?) маячат в зелёной воде» — опять красоты стиля...

«Как пройти, пробиться сквозь тонны взрывчатых веществ?» Фраза построена неимоверно неуклюже. Лодка буравит, что ли, сплошную массу тола? Вот куда заводят «красоты стиля»... Проще, по-военному точно.

...Внутренние ощущения и мысли молодых подводников переданы как-то бёгло, скомканно. А ведь наступает «боевое крещение».

Пауза в действиях, ночь, всплытие — всё это живо, интересно. (Ты не думай, что мои замечания всё сплошь зачёркивают, я вещь читаю, слежу за действиями... Тема развёртывается. Я хочу, однако, убрать все стилистические срывы. Надо отработать текст безукоризненно.) Веди всё

время военную линию ощущений, а не «вообще».

...«По спине катился пот...» Гм... Интересно бы спросить подводников. Я лично никогда в бою не потел. Происходит огромная концентрация чувств, внимания. Просыпается атактистическое, звериное. Оно сложно соединяется с рефлексами военного и пр. знания. Всё устремляется на данную цель, на данную задачу...

Лемешев... Опять испуганный тип... Что у тебя за пугливая коллекция подобралась? Уж если и завёлся пуганный тип, — сразу его осадит. «На место, краснофлотец Лемешев...» Увидел, что все стоят на местах. «Есть». Пришёл в себя.

...Несколько странно, что трели звонков и колокола звучат рядом с вражеским кораблём. Продумай... Главная задача: всё сделать тихо, скрытно...

«Лёгкое очертание низко сидящей кормы...» Ничего лёгкого в образе этого пейзажа быть не может — туман, сырость, опасность, холод... Выверяй каждое слово, эпитет.

...Наблюдаемые в перископ объекты надо описывать точнее, острее. Затем надо передать ощущения увеличительных стёкол, оптики. Разве ты в бинокль и т. п. видишь предметы, мир так, как обычным глазом? Передай эту разницу. Это специфика подводных атак. Поищи, подумай, как именно передать эту специфику. А пока ты «мажешь», будто просто глядишь с обычного мостика на встречные суда. Надо больше силы изображения, больше точности.

...Костров уж очень быстро вымотался. Негоже это. «Адская работа...» Перехватываешь... Работа трудная, но ведь Костров — здоровяк. Его готовили к этой работе лет десять. И после первых атак сразу в пот и в дрожь? Не то... Кстати, несколько недостаёт мне поведения краснофлотцев — они как-то безлики... Костров всех засланил... А жаль — коллектив интересный. Впиши сжато о работе торпедистов, о рулевом, о радисте и пр. Дай все элементы в действии. Пока этого нет.

...«Ужас заморозил бы кровь...» Это ссылки писателя. А мне надо видеть все эти вещи. Ищи образного построения, а не прибегай к устрашающим словам...

Темнота... Надо её передать: люди работают на ощупь. Фонарики пустили в ход. Проверка... Донесения краснофлотцев... Пе-

редавай атмосферу явлений. И точные поступки людей, детали.

...«Держится что надо...» Иоганн, простишь ты с этим жаргоном! Актив в стране уже занимается международной дипломатией и историей философии, а ты нет-нет да и скатываешься к умершему жаргону.

...«Усталости как не бывало». Неверно. После трудных боёв, передышка, да ещё при нехватке воздуха, усталость есть. Вот и покажи, как её упорно преодолевают, а не прибегай к лёгкой фразочке.

...О нехватке воздуха, о всех физиологических явлениях надо написать точнее, научнее, образнее. Это процесс острый, удручающий... Поищи материалы («удушь» и т. п.).

...Стр. 47. Приказ об уничтожении лодки вызывает у меня большие сомнения. «Сталинца» пытались спасти до последней минуты. Лучше возможность уничтожения показать как догадку Кострова... Как возможный вариант. А мысль работает: как всё-таки лодку спасти?

...Кончатся повесть на стилизованном письме просто невозможно.

В целом. Использование дел наших подлодок вполне целесообразно. Повесть будет читаться. Но необходимо её немедленно выправить тебе же. Внести необходимые улучшения. Придай больше военной строгости. Несколько углуби характеры. Стил отшлифуй... М. б. тема берега (семья) может сработать к финалу?.. Поищи. Подумай... Посиди день, два в Главной военно-морской библиотеке или библиотеке Морского музея. Почерпнёшь полезнейшие штрихи, детали.

На сем заканчиваю. Разговор вёлся со всей прямой. На этом литература только и может существовать.

## 2

21 апреля 1941 г.

Товарищу Глебу Алёхину<sup>1</sup>.

Привет!

О Вашей книге. Я о ней лишь слышал... Критику не читал, так как, не зная книги, не было смысла читать писания тт. критиков.

Первые общие впечатления. Книга эта — первый, жадный, быстрый, необдуманный разряд Вашей литературной и внутренней энергии, шаг, связанный с надеждами, пол-

<sup>1</sup> Ленинградский писатель. Речь идёт о его книге «Неуч». Гослитиздат, 1938.

ный торопливости, крайней (наивной и подкупающей) откровенности, полемичности... Словом, явление, известное тем, кто «начинал»... Автобиографичность обязывает смотреть на книгу пристально. Это — один из документов о нашей молодёжи... Тема эта меня интересует и литературно и лично.

Что же нужно Вам сказать? Конечно, задумаца книга многопланова. Вы и сами в конце, завершая композицию, раскрываете эти планы... Что мы имеем, что мы получили практически? Молодую, вихрастую, сбивчивую книгу, полную срывов... Увы, это так... Ваших критиков я прочту в ближайшие дни для некоторой сверки. Пишете Вы небрежно, торопливо, несколько монотонно. Есть горячность, рывки, сочетания сказа, поговорок, быта, философии и пр., но всё же вещь идёт по плоскости. Внедрения в душу людскую, в тайны бытия, в подлинную диалектику в книге нет, почти нет... Мир предстаёт в книге Вашей каким-то условным... Я не мог определить: в какие же годы всё это происходит? Наткнулся потом на даты, на исторические детали, но они всё же у Вас вневременные, они не органичны, они «вписаны».

Местами Вы пишете вычурно, видимо, имея замысел: вот мой минимум (жаргон, поговорки и пр.), а вот максимум (рассуждения, отдельные удачные места, цитаты и общий напор, идущий как бы подтекстом от автора, от личности автора...). Манера торопливого, местами экспрессионистского, что ли, письма утомляет. Бессвязность изложения наказывает автора (и читателя)... Сцены пьянства, скандалов и пр. даны в несколько нереалистической манере. Это различаешь вполне ясно, и никакие ухищрения тут не помогают... Мир дан чуть-чуть искажённо, и все эти страшные монстры (семья Верочки), их вещевые склады, ночные совещания на кладбище и пр. — стилизация... Вы выдаёте себя и деталями... Раз так, читатель видит: ага, со мной начали некую игру. Ну, что ж... Отношение к книге, как к документу, как к исповеди, меняется. Нет, автор не пастушок, не прощачок... Вы и теряете и приобретаете в глазах читателя.

Назойливый повтор автора: я-де неуч, от станка и пр. — раздражает... Ибо каждая страница, каждый поворот повести напоминают шумно: нет, культуру беру жадно, показываю всем! (Местами это несколько переходит нормы такта, но любопытно само по себе... Вот, видимо, доку-

мент об эволюции одного из поколения новой интеллигенции...)

В области философской, вернее, литературно-философской, Вы пока не весьма уверены... Вы идёте то путём полуиронии, то путём цитат, то путём явнейших схематических построений, Всё это преодолено нашей литературой. В 1920-х, в 1930-м этим переболели многие писатели... Перелистайте литературные журналы, «Литературную газету» той поры, некоторые книги рапповцев, и Вы потрясётесь сходствами некоторых Ваших положений, мыслей и приёмов с положениями и мыслями в литературе той поры. Местами Вы скатываетесь к символической песне артиллериста, рука и пр. Это вовсе дурно... Люди у Вас принимают тоже некие условные очертания.

...Странный сдвиг чувствуется всё время: конечно, это не 33-й и не 34-й годы... И тут что-то произошло: либо Вы слили в одно более ранние представления с более поздними, либо в чём-то ошиблись.

...Реальный, суровый советский быт, эпически строгий, сложный, подменяется «комсомольско-коммунальной» беготнёй, криками... Повторяю: эти штрихи времени характерны были для 1921—1922 гг., для рабфаков и пр. Тридцатые годы стилированы, совсем ины е... Сделайте проверку: почитайте поэтов и наиболее характерные очерки, повести, написанные о тридцатых годах. Вы же даёте для точности лишь внешние справки: съезд писателей, фильм и пр. О, как этого мало! До выстрела по Кирову была одна эпоха, после выстрела — другая... А этого не чувствуешь...

Местами материал развёртывается у Вас просто сумбурно... Совсем нет Ленинграда, как истории, как поэзии, как пейзажа... Где же краса этого города?.. Нет, лучше мир, краса (включающие диалектику), чем диамат в вузовском разрезе...

Мне показался интересным замысел: параллельно чтению Ленина дать биографию человека, его рост. Замысел не выполнен... Сплетение отдельных тезисов Ленина с событиями повести странно, местами пошло-вато (после 17 тома... фокстрот (?) ...Так ведь получается в монтажном сочетании)... Раскрытия ленинского материала применительно к жизни — мало, почти вовсе нет...

О женщинах написано пошло-вато (стр. 115), только любовь к Лизе написана чисто, хорошо.

Мало юмора, вернее, его нет... Отдельные поговорки явно вставные.



...Местами ленинские положения явно обедняются, сводятся куда-то вниз, в «бытик»... Становится неприятно, больно... Философия наша должна идти вверх, выше.

Поражает отсутствие труда в книге... Люди заняты всем, чем угодно, но не трудом... Горячка соревнования работает, как спортивная тема, пополам с разоблачениями вредителей и пр. Но не как центральная тема нашей жизни, простая, величественная, вечная. Прочтите о труде у Горького, прочтите о простом, нормальном труде в классических книгах. Книга постепенно дробится, делается всё нервознее... Я не могу следить за обществом, а вижу только мельком отдельные лица. Интеллект советских людей от меня ускользает... Что они считают правдой? Как оценивают силы врага? Неужели о врагах они умеют говорить только стёртые, поверхностные термины? Неужели не понимают смысла и масштаба мировой схватки? На эти вопросы ответов нет... А именно после 1 декабря 1934 года мы много думали обо всём этом... Много было народом прочувствовано...

Конструктивная схема — том за томом Ленина, по мере развёртывания книги — идёт холодно, формально... Ни разу нет озарений. Вы пропускаете ленинские пророчества, характеристики, прогнозы, планы, историю, географию... Живой диалог Ленина исчезает, и остаются цитаты, схема. Творчество исчезает...

Место о Сталине написано неплохо... Живое место... И как оно сразу всё освещает! А дальше формальные построения: замысел, раскрытие замысла, полемика «в будущее» и др. Это уже архитектурные украшения...

Что Вам сказать в итоге? Книга разочаровывает... А у Вас, как индивида, есть упорство, стремление, есть своё... Попробуйте дальше. Хотел бы прочесть вторую Вашу вещь. Но только: не торопитесь, не комкайте, не раскрывайте всё наружу, не сообщайте «городам и миру», что Вы вот уже прочли то-то и то-то... Это должно быть молчаливой нормой советских людей... А Вы стремитесь раскрывать мир новой интеллигенции, её мысли, психику... Ищите же высшее, сильное. Сто раз продумывайте, пишите точно, чеканно, просто, — кончайте с жаргоном, с сюжетными приключениями, с остранениями... Идите к настоящей литературе.

## 3

1941 г.

О ПОЭМЕ ЕВГ. ДОЛМАТОВСКОГО  
«СУРОВАЯ ЗИМА»

Я слышал в чтении Е. Долматовского одну главу: осада блиндажа (или дота). Это сильная глава...

Сейчас внимательно прочёл всю поэму. Делал пометки на полях, пометки, непосредственно возникавшие при чтении. Сейчас пробую суммировать.

Как-то мне пришлось говорить с молодыми поэтами: Симоновым, Матусовским и др.: «Придёт ваш час, вы узнаете войну, напишете о ней...» Час их пришёл. Пишут...

В поэме Долматовского всё непосредственно. Это его война, его боевое крещение. Дана кое-где и его биография. В поэме есть чистое чувство, лиризм, звенит романтическая музыка... Много хороших мест, и вновь скажу: лучшая глава — осада блиндажа, оборона трёх наших бойцов.

При простом, ясном товарищеском счёте надо говорить всё прямо и до конца. Тогда будет польза для нас, для поэта, для журнала<sup>1</sup>, для литературы.

Мне кажется, что Долматовский не до конца продумал идейную сторону вещи... Большого значения войну, войну с глубочайшим смыслом (опаснейшая попытка капиталистического мира подломить СССР у северо-западных границ) поэт пока изображает как героинку, несколько отвлечённую и даже окрашенную в тона национальной (только) традиции русско-шведских войн... Была и эта традиция, но она лишь частица явлений неизмеримо более крупных. О сути войны было много сказано, и сказанного ни забывать, ни пропускать нельзя... Дело поэта — по-своему, поэтически, передать правду, «тайну» событий... Докопаться до сокровенного в нашей борьбе, в её всемирно-историческом смысле.

В поэме этого явно недостаёт... Ни поэт, ни его герои не размышляют над проблемой войны. Не размышляют над фактом боевого крещения нового советского поколения. Не вскрывают — в возможных пределах — цепи событий.

Поэма, вероятно, сознательно сведена к событиям личного плана. Рамки, говоря условно, — «дневник одного взвода». Но ведь лет 25 тому назад Барбюс дал в рамках дневника огромный политический раз-

<sup>1</sup> Имеется в виду журнал «Знамя», редактором которого был В. Вишневский.

ворот темы... Кто же мешает новым революционным писателям и поэтам идти по пути широкого охвата событий, даже в рамках «дневника взвода»?.. Допустим, что это тема дискуссионная.

Перейдём тогда к характеру главного героя: к Вячеславу. Он до странности замкнут, эгоцентричен. Его живых связей, его бесед с бойцами, его отношения к миру я до конца не улавливаю. Это беспартийный инженер, его мир: детство, пионерия, комсомол, вуз, девушка, дочь, Ладога... Можно выписать все эти элементы — и невольно всякому захочется задать вопрос: ну, а ещё?.. А мысли о смысле бытия, — посещали они героя? А мысли о природе войны, а мысли о судьбах революции, России, СССР? Мысли о партии, её сущности, требованиях, исторической функции большевизма? О врагах большевизма? Мысли о противнике? О качествах врага, его типе?.. Мысли о характере самой войны, критическом анализе нашего опыта? Ведь каждый из нас прошёл в течение 105 дней войны с Финляндией огромную школу. Всё было продумано, напряжено, порой до страсти остро... Перечитайте наши письма, вспомните наши встречи, беседы... Всё это за рамками поэмы. Герой и его бойцы мало мыслят, мало думают. Они действуют, лирически вспоминают прошлое... Как этого мало!

Каждый день приносил открытия, бои, новые виды борьбы. Соппротивление врага. Знакомство с тем, западным миром. Быт, архитектура финнов. Остатки их библиотек, газеты, журналы... Пленные... Впечатления от боёв... Наша пресса. Политическая работа. Грандиозная работа переподготовки в процессе войны. Фронт и тыл... Революционные традиции Питера-Ленинграда... Какой огромный комплекс!

Вячеслав меня несколько удивляет, несколько разочаровывает. Он суховат. Временами он пессимистичен. Он дрожит, в бою лицо у него искажено.

...Серьёзный этап в жизни героя: вступление в партию перед боем. Вячеслав ничего не может сказать. Он вспоминает лишь мгновения встречи с любимой... Я понимаю мысль поэта: момент высок, как любовь. Но получается сопоставление бытовой встречи с девушкой и встречи с партией. Знака равенства тут ставить нельзя. Ни художественно, ни образно это сравнение не удачно. Worse плохо то, что Вячеслав молчит. Поэт лишь даёт краткий повтор библиографических данных за героя. Коммуни-

сты просто шумят: «Принять!» Так у нас не делают... Это большой мир — мир большевиков! Их требования, мысли, законы, традиции... Разве Долматовский забыл высокие по поэтичности слова Ленина и Сталина о духе, облике партии? А как по-особому прекрасно выглядели многие партийные дела под огнём, на фронте... Как по-особому глубоко продумывали здесь коммунисты многие проблемы нашей жизни, — продумывали и решали...

Вячеслав принёс в партию мало... Мне он непонятен. Я не загораюсь, вдумываясь, наблюдая за этим человеком. Мне почти не в чем его упрекать. (Я не вижу его командирских качеств, но это особая тема.) Но я хочу, требую: открой свой внутренний мир. Кто ты? Что ты знаешь? О чём думаешь? Или ты некий рядовик, с уклоном только в семейную, любовную лирику, в меру исполнитель, в меру аккуратен, в меру служишь, в меру воюешь... В меру — или даже меньше — думаешь. Он ни о чём не говорит с бойцами, кроме «проверки». Ни о чём не говорит в штабе. Как всё это странно! А страна, народ требуют: откройте вы, писатели, внутренний мир современного человека.

Центральное место: оборона трёх бойцов. Она дана на жертвенных, несколько пессимистических нотах...

У Долматовского изображение войны уклоняется в сторону чрезмерно нервного восприятия, смещения норм. Этот нервный тонус и в системе образов и в общей архитектонике вещи. А народ наш, армия наша в целом живут жизнью необыкновенно упорной, трудной, но не нервно-рефлекторной. Психика бойцов в массе — здоровая. Много юмора. А в поэме юмор дан мелко: три-четыре реплики.

Врезаются в память: разбитая почтовая машина, размётанные письма, тёмный Ленинград, отсутствие жены Вячеслава, испуг дочери, нервное напряжение перед бсом («пальцы генерала терзали шнур») и пр. Тонус нервный, местами лихорадочный. Возьмите «Полтаву». Возьмите «Бородино». Возьмите «Севастопольские рассказы». Возьмите русскую военно-литературную традицию... Возьмите Дениса Давыдова и пр. и пр. Вы поймёте органическую линию нашей литературы (её дух, манеру, отношение к войне, к смерти)...

Перехожу к показу бойцов... Они запоминаются слабо. Две-три фамилии. Два-три штриха. Лейтмотив — «проверка». Для ха-

рактеристики, для большого экзамена молодёжи СССР в 1939—1940 гг. этого мало, крайне мало.

Разведка дана расплывчато. Есть ошибки военного порядка. Смысл разведки неясен. Результаты тоже. Бой. Целевые установки взвода, роты неясны. Просто итти вперёд? Этого мало. Есть же определённая цель, задания у наших бойцов. Понимают ли они свой манёвр? (Как замечательно можно решать тему — и политической философии нового поколения, и военного уровня его.) В поэме дан поток... Обезумевший горящий танк. Страх... Лавина. Кровь... И почти незаметно взятие дотов. Анализа борьбы, её деталей, военных, психологических, явно не хватает. Нет разработки отдельных штрихов. Дифференциации людей. Ряд замечаний может вызвать госпиталь... В обоих случаях всё дано на крайнем нерве... Непонятно, почему от комиссара скрывают, кто его спас... Финал весь пронизан странными ощущениями: могила убитого; слабый, раненый Вячеслав, сбежавший из госпиталя; катастрофический пожар Выборга; рывки пехоты вперёд без всякого обозначения цели, смысла операции...

Ощущения вырешенности конфликта не хватает. Нет полного ощущения огромной, исторической победы. О весне говорится, но весны нет... Есть пожары, ужас разрушения, закопчённые бойцы и пр. Не найдены пока нужные переходы — в описаниях людей, природы и пр.

Пожары угасли. Бойцы переоделись... Засияло солнце... Люди осматривали исторические памятники... Хлынули ленинградцы на осмотр взятой линии... Был сильный, резкий перелом.

...Не хватает итогов войны.

О ряде стилистических погрешностей я сделал пометки на полях.

Общее заключение. Долматовский взял большую тему. Это хорошо. Он разработал её с большим чувством, по-своему, субъективно... В поэме, как я писал выше, много лиризма, романтики... Есть отличные места. Но пока не хватает ряда существенных вещей... Речь идёт не о доработках, доделках и пр. Я просто говорю о своих мыслях, впечатлениях, вызванных чтением, — мыслях читателя, участника войны. Мне кажется, я уверен, что Долматовский может решить свою тему, ответить на заданные ему здесь вопросы. Он сам продумывал и ощущал многое на войне, гораздо больше, чем его Вячеслав. Долматовский мог бы раздвигать

рамки поэмы, обогатить её и дать поэму о войне в Финляндии, поэму о сути современных людей, сути, раскрытой смело, кропотливо (если может подойти это слово применительно к романтическому жанру), партийно и по-военному... Решать дело пусть решает сам Долматовский... Мы продолжим с ним дружескую беседу.

## 4

Н. ИМШЕНЕЦКОМУ<sup>1</sup>

Днём 19 августа 1948 года.

Москва.

Уважаемый т. Имшенецкий!

Получил Ваше письмо от 15 августа и подборку стихов. Сегодня (19 августа) отправляю её в «Знамя» с просьбой к Н. Тихонову и другим товарищам из поэтического отдела журнала дать развёрнутый отзыв.

Письмо Ваше прочёл.

...Пока поделюсь некоторыми соображениями о стихотворении Вашем «Кронштадт»...

«Под ударами норд-остов». — Наиболее сильные, неприятные ветры для Кронштадта, если вспомните, — в е с т о в ы е. Они размывали (с петровских времён) кладки, пристани и пр.

«Море врезалось в гранит». — По сути наоборот: человек упорно клал гранит, одолевая природу... (Кладки главным образом XIX века.)

«Всё в нём дорого и свято». — Слишком много. Церкви, тюрьма и т. п. — не святы. Флигелёк у Петровского парка, где жил Вирен<sup>2</sup>, — не свят. И пр. и пр.

«Здесь держался до победы форт бесстрашия Кроншлот». — Намёк на осаду и пр. А там было относительно тихо, под стенками стояли катера... — Пишите точно. Орешек<sup>3</sup> вот держался — это традиционный пример русского упорства!

Хронологию Вы не выдерживаете. От Петра — к Бестужеву, а потом к мореходам различных периодов.

С. О. Макаров не был «вольнодумным адмиралом». Его архивы мы разыскали в Ленинграде и ряд документов напечатали

<sup>1</sup> Военный корреспондент газеты «Красный Флот» на Балтике в Отечественную войну.

<sup>2</sup> Командир Кронштадта в дореволюционные годы, известный своей жестокостью в обращении с матросами.

<sup>3</sup> Старое название крепости Шлиссельбург.

(см. в «Знамени»)... С. О. Макаров был кадровик, умница-изобретатель, службист (с турецкой до японской войны). Делать его неким революционером — к чему же?

О Попове нужно было бы сказать чётче, яснее. «...Поведал миру...» «в эфире»... Эфир — понятие устарелое. Его создали физики XIX века (Гельмгольц и др.), и убрали — учёные современности. Почему радиотехники и прочие применяют этот архаический термин, мне непонятно. Полезно им почитать Эйнштейна и других современных физиков.

«Железняк здесь сражался за Советы». — Ан. Железняков сражаться пошёл как раз в даль от Кронштадта. После нашей операции по разгону Учредительного собрания Анатолий Железняков пошёл со Сводным отрядом в Москву. По пути захватили отрезанный офицерский бронепоезд (у ст. Куженкино). Затем Ан. Железняков был на юге. В 1919 г., когда мы взяли весной Одессу, он сформировал бронепоезд им. Худякова (был такой красногвардеец, погиб). С этим бронепоездом, рядом с нашей Морской Бригадой Бронепоездов и дрался Ан. Железняков. Погиб при прорыве у ст. Верховцево. Всё это описано было в своё время. В «Знамени» я до войны дал подробную историю Железнякова, его гибели, розысков его могилы, нашей находки и пр.

Далее. Не смешивайте матроса Анатолия Железнякова с песенным Железняком поэта Мих. Голодного. Я, кстати, и на это указывал...

Таковы бросающиеся в глаза недостатки первого Вашего стихотворения. Продумайте...

Второе стихотворение. — «Балтийское море...» Нечёткое начало. Далее. «Под тобой играя, звонкопляшущее море». Не верю.

Служу с 1914. Родился на Балтийском море. Вырос тут. Но образ Балтики иной. Смотрите «Лоции», изучите их, продумайте; прочитайте описание Балтики в былинах, исторических песнях, у Марлинского, у Гончарова, у Григоровича и других. Не звонкопляшущее! (Нечто южное)... Совсем иное... У А. С. Пушкина: «На берегу пустынных волн...» См. у живописцев (Перов, Репин и др.)

«Хорошо, как в колыбели, на волне качаться»... А вы посоветуйтесь с товарищами командирами и молодыми балтийцами... Их мнение?..

«О, какое это счастье — покорять пространства!»

Романтично. Но обычные экономические походы, в которых товарищи выполняют плановую учебно-боевую подготовку, разнятся от стихийных выкриков о «покорении пространства». Они покорены, открыты, названы, описаны, эти пространства, и там уже сидит СНИС<sup>1</sup> и прочее. Этим занимались и новгородцы, создавшие былины о мореходах (Садко, Василий Буслаев и др.) в X—XII веках...

Соразмеряйте же свои видения, расчёты, уровень читателей, критиков и пр.

Пока на этом останавлиюсь.

Анализ Н. Тихонова и других поэтов — надеюсь — будет шире и обстоятельнее.

Морская литературная традиция — вещь весьма ответственная. Всё, что мы пишем, должно быть продуманным, прочувствованным, точным, взвешенным... Это ведь обращение к народу — к миллионам, — и тут нельзя позволить ни малейших ошибок, неточностей, неясностей. Советовал бы Вам заняться поглубже русской маринистикой, начиная от былин и до современных произведений.

<sup>1</sup> Служба наблюдения и связи.

## Из стенограммы выступления Б. Л. Горбатова на совещании писателей в Иркутске

Сентябрь 1949 года

Я хотел бы больше всего сегодня поговорить о художественном мастерстве. Что такое художественное мастерство? Я прочёл две книги, изданные здесь. Вот «Даурия» Константина Седых — большая книга, «гора». И вот «Солдат пехоты» Георгия Маркова. Маленькая, тонкая кни-

га — «холмик». Но эту книгу, «Даурию», я прочёл, не отрываясь. Я её прочёл в две ночи, а утром расставался с ней, потому что надо было идти на службу. И расставался с жалостью. Очень хорошая книга. А книгу Маркова «Солдат пехоты» я прочёл с трудом, и больше по службе, потому

что надо было доклад делать. Читать мне её не хотелось.

Как же случилось, что такую толстую книгу легко прочесть, а такую тонкую — очень трудно? Эта — гора; эта — холмик. Но эта гора — настоящая гора, и её, как всякую гору, можно преодолеть даже не альпинисту. А это холмик, но холмик сырой каши, и ни один альпинист через эту кашу не переберётся.

Причина здесь — в различной степени овладения художественным мастерством. Я говорю не о мастерстве ради мастерства, не с формальной точки зрения.

Нам мастерство нужно не для формалистического эффекта. Оно нужно для того, чтобы то, что есть у писателя в душе, что в жизни писатель знает и хочет передать, — чтобы это дошло до читателя и чтобы не горой непропечённой каши лежала книга, а горой ценных пород. Мастерство — это есть умение наиболее выразительно, наиболее эмоционально, наиболее экономно и наиболее благозвучно донести до читателя то, что есть у писателя в душе.

В разное время по-разному говорили о художественности. Что это такое — художество?

Двадцать семь лет тому назад, когда я ещё начинал свою литературную деятельность мальчишкой-комсомольцем, я никак не мог понять, почему Андрей Белый является мастером, как тогда трещали в уши. Я понимал Пушкина, понимал Лермонтова, Гоголя и т. д., но Андрея Белого я понять не мог, и я думал тогда, что я ещё молодой человек, мальчишка с незаконченным низшим образованием, и поэтому мне непонятно. И я был счастлив, когда позже в замечательной статье нашего великого учителя Алексея Максимовича Горького прочёл настоящую оценку произведений Андрея Белого.

Я не могу отказать себе, в память мучений, перенесённых мной в дни молодости, процитировать Андрея Белого.

«Очень немногие терпят стяжанье подтяжек с отбросом ноги, сбросы пепла в штаны, притыканье окурков, прожжение скатерти, ну и так далее, — то, без чего Никанору Ивановичу невозможно общенье с застенчивым полом. И мало его он имел. Но в Ташкенте сходилась с девицею без предрассудков, — в штанах и в очках, — рассыпавшей пепел себе на штаны; он на этом на всём собирался жениться; но раз доказала девица зависимость деторождения

от фактора экономического; тогда с фыркком ужасным поднялся на это на всё; с «извините, пожалуйста» сел, грань увидя меж пеплом, очками, штанами — её и своими; с подёрзом, на цыпочках, чтобы не скрипеть сапожищем, ушёл: его ждали заканчивать спор. Человек с убежденьем, — исчез он навеки. С немногими ладилось».

Максим Горький говорил тогда, что набор нелепейших слов Андрея Белого превращается в набор пошлейших слов.

И такие произведения тогда формалисты-эстеты одобряли. И не только тогда, — ведь и сейчас ещё имеются у писателей и фырки ужасные и сбросы пепла в штаны.

Некоторые писатели — теоретики литературы, а за ними и преподаватели вузов разделяют порой, как скальпелем: отдельно — художественная форма, отдельно — идейное содержание. Я этого не понимаю, потому что такое разделение невозможно. Нельзя отделить содержание от формы. Я не верю в то, что плохо написанная, вызывающая отвращение книга может быть идейно хорошей. Не может быть этого. Недобросовестные или неумелые руки порочат любую великую идею. Я не верю в то, что книга может быть хорошей с художественной точки зрения, если она идейно никчёмна, если она ничего не принесла читателю. Каждое произведение искусства должно делать человека немножко умнее, немножко счастливее, и если оно этого не делает, — это не произведение искусства.

Партия помогла писателям увидеть их пути-дороги. Разбито упадочничество, декадентство. Победил метод социалистического реализма.

...Я привык мыслить конкретно, и вы меня извините, если я вспомню свою книжку «Ячейка», которая не была, как говорят, тогда плохой книгой, и сравню её с книгой своего земляка Попова «Старшина». Насколько эта теперешняя книжка выше старой моей! У меня, когда я писал «Ячейку», уже был какой-то литературный опыт, я раньше начал, раньше вошёл в литературу, а у него это первая книга. Различие в уровнях этих книг выражает движение вперёд общей культуры нашего народа.

Мы говорим: «Человек — это звучит гордо». А буржуазные писатели говорят: «Человек — это звучит подло». Писателю, падающему под такое влияние, кажется не-

верным сказать прямо, что наши люди хороши, хотя у них есть такие-то недостатки. Ему зачем-то хочется сделать людей с плесенью, вот тогда, он считает, это будет художественно.

Есть в повести Ю. Германа «Подполковник медицинской службы» любопытная фраза: спорит русский врач с американским солдатом. Ему хочется сказать американцу: «А мы живём по-своему». Но он постеснялся и не сказал. Это очень интересное выражение: «постеснялся и не сказал». И автор книги, — он тоже как бы стесняется сказать во весь голос о наших людях, о нашем советском принципе жизни, он хочет отделаться недомолвками, уходит от решения главных вопросов — во имя мнимого представления о художественности.

Если вы обратитесь к нашей великой русской литературе, то увидите, что ни один русский великий писатель никогда не боялся прямо говорить о своих убеждениях и взглядах, насколько это позволяла цензура. Вы увидите, сколько у Пушкина, у Гоголя, у Салтыкова-Щедрина, даже у Тургенева, публицистических отступлений, рассуждений на самые острые темы. Публицистика — это свойство нашей великой русской литературы. Русская литература всегда была тенденциозной, или, употребляя наше современное слово, партийной (партийной, конечно, по-своему). Она находилась под воздействием революционно-демократического течения, отражала народное движение, и поэтому она не боялась прямо, в лоб, писать на самые важные темы жизни. Мы, советские писатели, продолжающие традиции наших классиков, — мы тоже стоим за публицистичность нашей литературы, за партийность её, за идейность. Выражается это в творчестве каждого писателя по-своему. Вы видите прямую публицистическую струю у Ильи Эренбурга. Прибегая к памфлету, он продолжает линию Чернышевского.

Совсем другое у Фадеева, у которого публицистический пафос сочетается с лиризмом.

Возьмём Веру Панову. У неё как будто такой публицистики нет, будто автора и не чувствуешь, но присмотримся и увидим, что за портретом героя стоит ясно выраженное отношение автора.

Наш социалистический реализм тем и замечателен, что в приёмах его, в методах могут расцветать самые различные писатели — от Эренбурга до Пановой, от Фадеева

до Каверина. Эти писатели — каждый по-своему — пользуются единым методом. Это — отражение правды жизни, по-партийному идейное, страстное...

Наша литература — новаторская литература, какой русская литература была всегда. В чём же заключается наше новаторство? Во-первых, в том, что героем наших книг стал герой, которого никогда в литературе не было. Горький когда-то говорил, что главным героем литературы девятнадцатого века был человек, который не трудится, а героем нашего времени и нашей литературы является человек, который трудится. Человек труда.

И вот суметь показать этого человека нашей эпохи, советского человека, — это великая новаторская задача. Наш человек — это человек с будущим, это человек, устремлённый в будущее, и в этом красота этого человека и правда этого человека. И писатель должен уметь находить новые черты в нашем человеке и видеть его очень точно.

Вот в книге Г. Маркова «Солдат пехоты» герой попадает на селекционную станцию и замечает следующее:

«Прошло лишь 5—6 лет, как появился в этой таёжной стороне колхоз, а облик мужика переменялся».

Писатель увидел новый облик людей, рассказал о новых машинах, и вдруг первую встречу героя с таёжным крестьянином Марков изобразил следующим образом:

«— Здравствуй, отец, — приветствовал он мужика.

— Здравствуй, бывалый, — ответил мягким, вкрадчивым голосом тот.

— Скажите, пожалуйста, где живёт директор станции?

— А вот домик под зелёной крышей, там они и проживают, — с готовностью ответил мужик...»

«Они и проживают». Кто это сказал? Мужик. «Они». А не «он». И писатель всё сразу смазал. Старый мужик. «Они там проживают». Как писатель не подумал, что этим «вкрадчивым голосом» и этим словом «мужик», а не колхозник он зачеркнул своё наблюдение? Он заметил новую одежду на человеке, а человека в одежде не заметил. Одежда переменялась, а человек остался мужиком.

Как не понять, что так нельзя писать о новом? Чтобы показать нового человека во всей красоте, надо прежде всего его хорошо знать.

Ведь писатель может только тогда убедить читателя, что это новый человек, если он покажет его в новых чертах. Сколько бы писатель ни говорил: «ах, он новый; ах, он хороший», — если он этого не покажет в своих произведениях, то читатель всё равно ему не поверит.

Возьмите отношение к труду у нас и в капиталистических странах. Вспомните, например, английских рабочих, которые ломали станки, машины.

А вот мне недавно пришлось быть в шахте. Привезли горный комбайн. Подъехала полуторатонка, сошёл с неё молодой, весёлый парень и стал рассматривать этот комбайн. Машина ему очень понравилась. И он говорит, что на танке ездил, на полуторке ездил, а на комбайне — ещё нет. И этот шофёр сам стал проситься работать в шахту ради этой машины — так она ему понравилась. И чтобы доказать, что он справится с этим комбайном, он говорит: «Я машину знаю, а горное дело я изучу, ведь я имею образование, семилетку закончил». Вот это и есть новые люди, новое отношение к технике.

Вспомните, как описывали отношение рабочих к труду на фабриках, заводах, тем более в шахтах, Куприн, Серафимович. Ведь там труд был каторгой. Ведь там эксплуатировали рабочих людей.

Сейчас у нас отношение к труду иное. Иные и условия, обстановка труда. Значит, надо и пейзаж создать иной. Любят писать наши писатели о том, как бурундук свистит, как пахнет таёжная падь и т. д. И я с удовольствием читал об этом и в книгах сибирских писателей и в книге «Даурия».

Но я хочу видеть также индустриальные пейзажи — как идёт плавка металла, как дымят заводы и т. д. и т. п. И это не будет выдумкой писателей. Ведь существует же невиданная ранее любовь людей к своему труду, к своему заводу...

...Писатель должен знать о своих героях больше, чем он пишет в книге. Он должен на любой вопрос читателя об этих людях ответить, должен уметь рассказать всю их биографию, которой в книге может и не быть. Писателю необходимо иметь богатые закрома опыта, материалов, воспоминаний, из которых он сможет выбрать ту или другую ситуацию.

Иные писатели думают, что литература — это не жизнь и, значит, можно — для остро-

ты, ради смеха, чтобы покрепче было, интереснее, ради сюжета — сделать то или иное отступление от правды. Утверждаю, товарищи: никогда это не выйдет. Это и есть формализм, когда отступление делается не ради правды, а ради сюжета, ради формы.

Вот у Г. Маркова в «Солдате пехоты»... Я говорю о Маркове больше, чем обо всех других, именно потому, что это один из самых выдающихся писателей Сибири, и роман «Строговы» я прочитал с огромным удовольствием. Но книгу «Солдат пехоты» он написал плохо, потому что не работал над нею так, как работал над романом «Строговы».

Так вот, в этой книге появляется у него такой Соловей. Появляется он как сержант, — красивый, с чубом, танцор. И вдруг этот Соловей неожиданно для читателя бросается с ножом на бойца. Оказывается, что он белогвардеец. И автор думает, что таким эффектом он покори́л читателя. А на самом деле он привёл читателя в недоумение. И весь этот эффект рассыпался, а рассыпался он потому, что не подготовлен, ни из чего не вытекает. Любая ложная ситуация, любая неправда моментально при соприкосновении с живой жизнью рассыпается в клочки, и от неё ничего не остаётся.

...Писатель должен быть необычайно требовательным к каждой детали, к каждому слову своего повествования. Почему? Потому, что у писателя слово — это единственное средство, которым он оперирует. Он не рисует картин, у него нет и актёра на сцене. У него есть слово. И именно с помощью слова он должен уметь показать своего героя таким, каким хочет его показать. А порой бывает, что писатель хочет одного, а получается совершенно другое.

Вернусь к тому же «Солдату пехоты». Один из главных героев этой книги, Филипп Егоров, едет на войну.

Марков показывает нам его внутренние переживания:

«Всё. Всё. Кончено. Всё, — шептал Филипп, уже не видя даже окна, так как слёзы застилали глаза, и на губах от них было неприятно солоно».

И дальше:

«Он и сам не знал, почему плакал. В душе его не было ни горечи разлуки с близкими, ни горя расставания с родным городом, ни страха перед неизвестным будущим. Всё это уже было пережито и перечувство-

вано раньше. Сейчас ему было необыкновенно легко, просто, и тихая, безотчётная радость наполняла его до краёв».

Оказывается, он уже не плачет, а радуется.

Тогда чему же он радовался? Отчего же ему так хорошо? Не оттого же, что он покинул надолго, а может быть навсегда, дорогую семью, оставил любимую профессию и пустился в неизведанное?!

«—А, да, это—предчувствие», — ухватился он за новую мысль. Люди, бывавшие на войне, утверждали, что человек, которому суждено погибнуть, чувствует это задолго до смерти. Чувства же его — Филиппа — были светлыми, какими-то возвышенными, он воспринял это как счастливое предзнаменование».

И дальше: «Он постоял несколько минут у окна, испытывая наслаждение от мысли, что впереди будет день его возвращения домой, и повернулся посмотреть, чем заняты товарищи. Они сидели по полкам, безмолвные, с глазами, взгляд которых был не то что притушен, а как бы обращён внутрь самих себя. Лица у них были задумчивыми, строгими, и печальная сосредоточенность проглядывала в каждой черте. «Да, видно, и они переживают те же чувства, что и я», — подумал Филипп. И мысль о предчувствиях, только что занимавшая его, показалась ему вздорной. «Нет, тут дело не в предчувствиях, — продолжал размышлять он, — люди едут защищать отечество, они берут на свои плечи судьбу народа, а сознание всего этого свято».

В конце концов мы можем ощутить мысль писателя, но высказана она сухими словами, и то, что было наворочено раньше, всё оказалось туманом. Как видите, туманный герой. Смотрю дальше, стараюсь разглядеть его. Вот он сидит в сопках со своими товарищами. «Филипп почувствовал, что его мутит от окружающей обстановки. Он пришёл к мысли, что надо заводить с товарищами дружбу...» Ого, подумал я, значит он не просто идёт к товарищам с открытой душой! Марков хотел написать, что Филипп тянулся к дружбе, но выразил это не теми словами и написал неправильно — и в результате показал человека нехорошего.

Неумение показать своего героя характерно не только для Маркова. Мы все грешим этим недостатком.

Мы живём в коллективе, мы живём в большой стране, живём не одиночками, не индивидуалистами, и было бы странно, если бы наш герой действовал у себя в курятнике. Ему обязательно нужны люди. И поэтому обилие героев в наших книгах закономерно. Но, вводя всё новых и новых героев, надо уметь их всех видеть индивидуально. Надо знать чувство меры, надо уметь отбирать. Надо жилплощадь своей книги заполнять только полезными жильцами — теми, которые помогают рассказывать, раскрывать явления.

У наших авторов бывает, к сожалению, другое. Вот чувствуешь — появляется в книге новый герой, не потому, что он представляет новый тип, новый характер, новую социальную фигуру или новую психологическую проблему, а лишь потому, что писатель как бы исчерпал своего старого героя. «Одна лошадь кончилась, начинается другая». Исчезает один герой, затем появляется другой.

Стать писателем — поначалу это только право на то, чтобы подойти к письменному столу. А дальше начинаются обязанности.

Некоторые наши писатели забывают о том, что обязательным правилом для прозаика является то, чтобы каждую страницу четыре-пять раз переписать, работать над каждым словом, над каждой мыслью, над каждым образом, над композицией, над сюжетом, — работать, как шахтёр, как грузчик, ибо это не только такой же почётный, но и такой же тяжёлый труд.

Быть писателем в нашей стране — это не так-то просто, для этого надо трудиться, не успокаиваться на достигнутом, не зазнаваться и не тешиться тем, что написанное тобой нравится твоим приятелям.

Не о приятелях надо думать, а о народе, о читателе, о великом деле, для которого мы живём и пишем, — о коммунизме.

Давайте же, товарищи, все силы души и разума, весь талант, все знания, все стремления и весь сердечный жар отдадим нашему творчеству, нашей почётной работе для дела коммунизма!



## Из писем П. А. Павленко

1

Уважаемый тов. Мироненко!

На вопросы Ваши чрезвычайно трудно ответить. Во-первых, я не знаю Ваших способностей к литературной работе. Во-вторых, не представляю, что именно Вы задумали написать, а потому не могу и помочь Вам составить план задуманного Вами сочинения.

Но если Вы считаете, что Вам «трудно нарисовать портреты героев и трусов», то это уже само по себе знаменательно. Значит, работа ещё не ясна. Значит, началу сочинения повести должен предшествовать период длительной подготовки, в том числе и технической.

Сейчас, как никогда, велики требования к мастерству. Хорошая тема должна быть и выполнена хорошо. Сам по себе материал ещё половина дела, нужно научиться его запечатлеть.

По своему опыту считаю, что есть единственный путь — писать. Сначала плохо, а потом лучше и лучше. И писать по десяти вещей, одна за другой, а одну писать месяц, год, два, пока не напишется. Это, естественно, означает и упорную работу над собой.

На пустом месте никто не даст Вам никакого совета. Совет можно дать, ознакомившись с рукописью, следовательно, её нужно иметь.

Если же Вы считаете, что можете написать только плохую повесть, то в таком случае лучше и не браться, не причинять себе беспокойства и огорчения. Начинать нужно только тогда, когда Вы твёрдо уверены в необходимости Вашего труда и преисполнены волей написать его, чего бы это ни стоило.

Если бы мы с Вами повидались, вопрос едва ли стал бы яснее. Поговорить о теме — всё равно, что потолковать о ещё не родившемся ребёнке. Потолковать можно, но на будущем ребёнке это едва ли скажется.

Могу одно посоветовать Вам — отберите лучше тему из сегодняшней жизни, м. б., даже из своего врачебного опыта, загляните в завтра и работайте сами до тех пор, пока не почувствуете потребность посоветоваться об уже сделанном Вами.

25.IV.51.

2

Уважаемая тов. Мигунова!<sup>1</sup>

Благодарю Вас за ласковое письмо. Очень я рад, что сумел кое-чем помочь Вам, и ещё более рад тому, что Вы работаете.

Я не знаю, вырастет ли из Вас большой, средний или маленький писатель, но какой-то, безусловно, на мой взгляд, должен вырасти — так подсказывает мне нюх старого редактора.

Что для этого нужно? Труд и вкус. И то и другое вырабатывается годами. Значит — работать, работать и работать!

В том, что по моему совету Вы начали делать, главное — любовь, первое чувство повзрослевшей, но ещё очень молодой души. Это — главное, а в какой школе происходит дело — не важно. Конечно, лучше в совместной, а не в раздельной. И вот возьмите да и будьте храброй — напишите, вопреки всему, совместную городскую школу, которой сейчас нет, но которая должна быть. Не сумеете или побойтесь этого? Тогда напишите о двух школах в одном помещении. Дело не в этом. Это всё фон для Ваших героев, но и только. Вы помните «Девушку с персиками» В. Серова? Найдите монографию Грабаря о Серове и поглядите. Девушка, за ней сад, природа, но Вы чувствуете, что и она, и стол, и веранда, и сад — это одно, это цельное, но что написано всё это только ради девушки с персиками.

Или вспомните репинских бурлаков. Это же коллективный портрет на весьма условном речном фоне, на фоне широкого, пустынного, бескрайнего раздолья, по которому далеко ещё итти бурлакам.

Вы хотите написать не о школе, а о первой любви. Берите обстановку проще, чтобы не выпячивалась, не вылезала, чтобы её было столько, сколько необходимо, — и ни на один грамм больше...

Желаю успеха!..

28.XI.1950 г.

3

Уважаемая тов. Мигунова!

Благодарю за письмо. Решение Вашей судьбы — в смысле оставления в Крыму — корыстно. Хочется, чтобы молодые кадры

<sup>1</sup> Повесть М. Мигуновой «Степная глушь» опубликована в Симферсполе (Крымиздат) в 1952 году.

не сразу разлетались, а оперялись на глазах. То, что Вы мучаетесь над новой вещью, хорошо; нехорошо только, на мой взгляд, что Вы рассказываете о ней. Это ведь всё равно, что сообщать знакомым, как Вы рожаете, что при этом чувствуете и какого ребёнка ждёте. Произведение — плохое и хорошее — рождается в тишине души. Повитуха ещё может знать об этом, знакомым же нечего знать раньше времени. И никогда не пересказывайте задуманного в письмах. Всегда выйдет глупо и пошло. Судить о вещи можно только по материалу её, по тексту. Тот, кто знает вещь по рассказам, ничего не знает о ней. Это чаще всего. С новой вещью не торопитесь. Думайте об экзаменах. А летом вплотную займитесь литературной работой.

Я советую Вам зайти к Евг. Ефим. Поповкину и побеседовать с ним ещё до весны, чтобы он, в качестве зам. отв. секретаря отделения ССП, мог своевременно поставить вопрос о Вашем оставлении в Крыму в качестве спецкора «Красного Крыма». Если я буду в это время здесь, я и сам сделаю это, но боюсь, что могу быть в отсутствии.

Вещь свою пишите так, как будто Вы исповедуетесь передо мною, неторопливо, откровенно, горячо и самозабвенно. Тогда обязательно выйдет. Не мудруйте лукаво. Не пытайтесь, ещё не написав вещи, уже искать ей общих решений. Всё придёт в своё время. Но мучиться надо. Без этого нельзя. Поэтому мучайтесь сколько влезет.

Желаю Вам успеха.  
25.2.1951 г.

## 4

Уважаемая тов. Мигунова!

Слышал я одним ухом, что Вы собираетесь учительствовать в Джанкое. Дело хорошее. Но мне захотелось предложить Вам ещё одно — на выбор.

Не захотели бы Вы поработать над книгой очерков, рассказов или повестью об Артеке, который сейчас фактически становится лагерем для детей почти всех стран народной демократии? Материал огромный и увлекательный. Мы могли бы дать Вам от отделения ССП творческую командировку в Артек на месяц. Но мыслим и другой путь, если работа кажется Вам интересной, — пойти на постоянную службу в Артек в качестве педагога. Я говорил по этому поводу с Антониной Михайловной Шалаевой, замполитом Артека. Она рада

повидаться и познакомиться с Вами и, если Вы, так сказать, «покажетесь ей», ставить вопрос о переброске Вас к ним. Я лично за этот вариант. Вы будете жить и работать среди своего творческого материала. Если нужна будет моя помощь, я всегда готов Вам её оказать. Я дал Ваш домашний адрес т. Шалаевой. Бывая в Симферополе, она хочет там повидаться с Вами. Желаю очень, чтобы Вы договорились.

Напишите мне о данном предложении. Если надумаете написать А. М. Шалаевой, то пишите ей на Артек.  
20.IV.1951 г.

## 5

Уважаемый тов. Пасенюк!

Рассказ Ваш задуман интересно и написан, в общем, неплохо. Я не говорю — хорошо, хотя уверен, что, переписи Вы его ещё раза 3—4, вышло бы намного лучше.

В рассказе мне не всё кажется естественным, правдивым. Сцена на Дворце культуры как раз хороша, но противостоит, что Варя не уходит с завода вместе с Николаем, а остаётся «врачевать» Бунина. Это нелепо. Это от большого ума. Когда же и пойти Варю с Николаем, как не в ночь его успеха, его торжества, его волнений? Уж перековали бы Симу. Пусть бы Сима побежала к Бунину. Парторг, как всегда, как во всех рассказах и романах, ни хорош, ни плох, живости нет, картина — не человек. Хороши, запоминаются «ремеслята».

Есть кое-где в рассказе красоты оборотов, общеупотребительные шаблоны в пейзаже, кстати, весьма скупом, кратком.

А в основном, или, как говорят, в целом, рассказ мне понравился. Уже по этому не совсем удачному рассказу чувствуется, что писать Вы будете, и, вероятнее всего, хорошо.

Я рекомендую Ваш рассказ редакции альманаха «Крым», писателю Евгению Ефимовичу Поповкину.

Но! — подумайте всё же над тем, что составляет идею рассказа: отдых нашей молодёжи — это прежде всего думы и заботы о делах родного завода. Верно ли это для всех случаев? Неверно. Разве, когда спортсмены, футболисты, играют на поле, они думают о заводе? Разве, когда хор самодеятельности выступает перед публикой, все хористы только тем и озабочены, что думают о своих цехах? Конечно, нет. Не следует упрощать, сводить к примитиву

трудоу патриотизм молодых рабочих. Ваш Орехов, в частности, мог бы даже пойти с Варей во Дворец культуры, а затем вернуться. Опушены переживания Орехова, когда Варя уходит, а он остаётся у станка. Забыто и сердце Вари, когда она беседует с Бунными.

Рассказ «худ»: видны рёбра. Надо нарастить на него «мясо» деталей. Психологических.

«Талант — это подробность», — говорил И. С. Тургенев.

Жму Вашу руку. Желаю успеха.

Думаю, что Ваш рассказ понравится редакции альманаха.

13.V.51 г.

Ялта.

## 6

Уважаемый тов. Черевко!

Ваше письмо ставит передо мной вопросы, на которые трудно, а то и невозможно ответить. Судя по письму, Вы ещё не начинали писать, а просите меня сказать, «что испробовать описать из событий моей жизни». Жизнь Ваша, как и жизнь большинства людей, интересна и достойна записи, но описывать ли её всю или только часть её — сказать можно лишь на основании того, как Вы пишете, умеете ли схватывать события, владеете ли словом в необходимой мере.

Вы помните слова Горького, что не столь важен материал, сколь важны руки мастера. Можно испортить замечательный материал, но можно сделать из маленького чудесное произведение.

Ваш концепт огромен. Это по крайней мере на шесть-семь лет упорного труда. Владеете ли Вы литературным мастерством, необходимым для этого? Тут решать должны Вы сами, ибо писать-то придётся Вам самому. Редактор и консультант — только Ваши помощники, акушеры, не больше того.

Мы с Вами так давно не встречались, что я не могу на основании встречи, бывшей в 1934—1935 годах (позже я на Дальнем Востоке не был), определить — писать Вам или отказаться. Тут опять-таки решение зависит от Вас одного. Чувствуете, что справитесь, тогда беритесь.

В русской и советской литературах есть немало замечательных автобиографий, прочитайте их.

Писать для того, чтобы только писать, едва ли есть смысл. Труд, понятно, должен быть освещён большой идеей.

Особенное внимание Вам придётся обратить на языковые средства. Плохо написанная вещь может погубить самый выдающийся материал, а в наше время требования к языку велики чрезвычайно и на неопытность автора скидок не дают.

Мой совет: если приступите к работе, начните с малого, напишите о своих встречах с великими лётчиками (если, конечно, встречи были содержательны). На этом проверьте свои способности писать, без них добиться успеха невозможно.

Вот, к сожалению, то немногое, что я могу Вам посоветовать перед началом работы.

7.V.51.

## 7

Дмитрий Михайлович! <sup>1</sup>

Рассказ «Друзья» начат очень вяло и плохо, но потом он каким-то образом ставится на ноги и заканчивается хорошо. Язык сначала неряшлив, и вообще весь рассказ тороплив, к сожалению. Очень хорош разговор рыбака с лётчиком, корабля с самолётом, но удивительно, что, назвав рассказ «Друзья», т. е. посвятив его рыбаку и лётчику, Вы потом ничего не говорите о последнем, почти ничего или, во всяком случае, весьма недостаточно.

«Друзья» — избитое заглавие, Вы не находите? Рассказ этот серьёзнее тех двух, что я читал, но написан хуже их. Между тем существует закон: «чем тема важнее, тем большего качества она требует».

Стоило бы, пожалуй, ввести больше элементов страха у рыбаков за лётчика. До его появления в небе они боялись за себя, теперь бояться за него и, может быть, даже кричат ему, чтобы он шёл на посадку. Море написано чужими словами — и тоже обидно. В рассказе есть возможность развернуться в этом отношении...

16.I.

## 8

Уважаемый г. Телемаков!

Я прочёл Вашу рукопись. Это, конечно, далеко не рассказ и даже не очерк, а концепт ненаписанного произведения, о котором весьма трудно сказать, чем оно явится, когда будет написано. Читается с трудом: много общих мест и чужих, взятых напрокат из газеты фраз, нет своего отношения к описываемому событию и представленным

<sup>1</sup> Писатель Д. М. Холендро.

людям, нет своего языка, всё очень ученически, школьно.

И естественно, что на основании одной этой крохотной рукописи совершенно невозможно сказать, следует ли Вам дальше писать. Такой вопрос можно задать гадалке, даже не показывая ей своего сочинения.

Вопрос, писать или не писать, сложный. Чтобы ответить на него, надо прочесть горы работы, горы замыслов писателя, а первая проба пера не материал для таких суждений.

Вы пишете, что с 5 лет любите литературу и будете стараться, чтобы в этом году исполнилась Ваша заветная мечта. А почему, собственно, ей надо осуществиться именно в этом году? Вы считаете, что хватит года для того, чтобы вырасти в писателя? Не думаю. По Вашей рукописи пока не видно этого.

Если Вы хотите работать в литературе, не считайте годы, не жалейте времени, тем более, что, будучи десятиклассником и имея

за плечами 17 лет, Вы едва ли обладаете большим жизненным опытом и политическим кругозором. Всё это должно прийти со временем.

Я бы от всего сердца посоветовал Вам учиться языку, наблюдательности, композиции, не только перечитывать классиков, но и изучать их с карандашом в руках, чтобы углубиться в творческую лабораторию мастеров.

И ещё совет — не разбрасывайтесь. Вы не написали и одного рассказа, а уже задумали повесть а также критическую работу. Если и повесть и критический труд будут того же качества, что и присланная Вами рукопись, то, значит, Вы ещё не начинали работать.

Моё письмо — по всей вероятности — обидит Вас, но если судьба Ваша — стать писателем, то обида скоро улетучится, а желание работать всерьёз останется.

Желаю Вам настоящего успеха.

16.IV.51.



# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

М. КУЗНЕЦОВ

★

## ВЕЛИКИЙ ПРИНЦИП

*26 ноября 1955 года исполняется пятьдесят лет со дня опубликования статьи В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература».*

**П**рикоснёмся к истории... Нет, не только, так сказать, метафорически, но и буквально: развернём тронутые временем газетные листы полувековой давности. Октябрь и ноябрь 1905 года — напряжённейший момент первой русской революции. «Война новой, свободной России против старой, крепостнически-самодержавной, идет по всей линии», — эти ленинские слова словно конденсируют в себе самую суть героического периода истории. Позади трагедия 9 января, у всех горит в памяти недавняя легендарная эпопея броненосца «Потёмкин» — непобеждённой территории революции. Но ведь «Потёмкин» был началом вооружённых боёв народа с самодержавием. Шквал революции всё нарастает и вот-вот захлестнёт корабль царизма. Не в силах справиться с могучей силой революции, царское правительство хитрит, лицемерит, маневрирует, отступает, идёт на вынужденные уступки — лишь бы получить передышку и собрать силы для удушения освободительной борьбы. И вот неслыханное стало фактом: в самом сердце империи, в Петербурге, открыто издаётся и открыто продаётся по всей стране первая легальная ежедневная большевистская газета «Новая жизнь». Ленин, вернувшийся из эмиграции, становится редактором этого издания — фактического центрального органа российской социал-демократии. Фактического, ибо центральная большевистская газета «Пролетарий» так и не была разрешена в России, несмотря на лицемерное провозглашение «свободы печати». Да и те крохи «свободы», которым умилялись буржуазные либералы, были вскоре сметены самодержавием.

Репрессии беспрестанно обрушивались на «Новую жизнь». Из 27 номеров 15 было конфисковано и уничтожено, а последний — 28-й — вышел уже нелегально. Развернём же эти исторические, дошедшие до наших дней, страницы боевой газеты...

Она выходит в канун декабрьского московского восстания — наиболее мощного вооружённого выступления русского пролетариата в дооктябрьский период, и отсвет этого грядущего зарева как бы ложится на газетные полосы.

Поистине опалены огнём великих классовых битв эти номера газет. Каждая статья и каждая заметка дышат могучим дыханием революции. Вести о стачках. Сообщения из деревни — крестьянство поднимается против помещиков. Ещё один удар по царизму: восстание в Севастополе. «Восстание Крыма побеждено. Восстание России непобедимо», — страстно утверждает ленинская статья. Солдаты Петербургского гарнизона предъявляют требования — такие, которые мог предъявить только солдат-гражданин, а не «серая скотинка». Статья о реорганизации партии применительно к новым условиям. Статья о союзе с крестьянством. Статья о новых органах народной власти — Советах. Во всей осязаемой, «вещной» конкретности встает картина борьбы упорной, жестокой, требующей высокой идейности, организованности, сплочения партийных рядов, борьбы пролетариата, возглавляющего весь трудовой народ, против самодержавия и буржуазии, борьбы на всех фронтах — экономической, политической, вооружённой, идеологической.

И здесь, на этих пахнущих порохом страницах, 13 ноября 1905 года напечатана

гениальная статья Ленина «Партийная организация и партийная литература», где сформулированы основные принципы новой литературы нового мира.

То, что эта работа появилась именно в разгар первой русской революции, глубоко закономерно.

Марксизм с самого своего возникновения высоко ставил значение передовой революционной теории. Родившись как революционное мировоззрение, дающее возможность с подлинно научных позиций осветить все стороны бытия, марксизм стал не только методом познания жизни, но и методом революционного преобразования мира. Создатель Коммунистической партии нашей страны великий Ленин творчески развил и обогатил марксизм в новых исторических условиях. Впервые в России практика стихийного рабочего движения соединилась с марксистской теорией. Коммунистическая партия нашей страны возглавила революционную борьбу пролетариата и всех трудящихся против реакционных установлений эксплуататорского строя.

В период революционных битв особенно поднялось значение передового мировоззрения, роль прогрессивных идей в общественном развитии. Революционный пролетариат, разрушая старое общество, прогнившее самодержавное государство и антинародную культуру эксплуататорских классов, выступал одновременно создателем нового общественного строя и новой культуры. Марксисты всегда видели и высоко ценили великую общественную миссию передовой литературы и искусства. Для нашей партии, для революционного народа художественная литература — могучее духовное оружие, великая окрыляющая сила, ведущая в бой, вдохновляющая на труд и на подвиг, формирующая души людей. Именно поэтому, в критический момент революции, когда острейшим вопросом был вопрос об оружии материальном, партия, Ленин стремятся вооружить народ и духовно, ибо это необходимо для полной победы, ибо литература нужна революции, как активная общественно-преобразующая сила. В разгар революционных схваток Ленин обосновывает принципы новой литературы, подлинно свободной, открыто связанной со святым и благороднейшим общенародным делом социалистической революции.

Мы видим в этих же номерах газеты имя писателя, чье творчество неотделимо от всемирно-исторического революционного

подвига нашего народа, — имя Горького. Здесь, в «Новой жизни», напечатаны его знаменитые «Заметки о мещанстве» — яркое и гневное обличение буржуазного строя и его уродств. В том же самом номере, где помещена ленинская статья, идет и очередное продолжение горьковских «Заметок». Глубоко символична эта «встреча», Ленина и Горького, на страницах первой большевистской легальной газеты: ленинизм и все самое лучшее и передовое, что было тогда в нашей литературе, выступают здесь в теснейшем и нерушимом союзе.

Литература нового мира родилась в громах и огне великих классовых битв; в пламени революции формировались ее незыблемые идейные основы и рождались ее творения, открывшие новые страницы в художественном развитии всего человечества.

Полвека назад Ленин уже увидел новый тип писателя, вооруженного передовым мировоззрением, открыто вставшего на сторону народа. Уже тогда, в разгар революционных битв с самодержавием, Ленину виделось величественное здание новой, социалистической культуры, литературы социалистического реализма, несущей свет всему миру.

## 2

Статья «Партийная организация и партийная литература» имеет два аспекта: один, связанный с непосредственными задачами конкретной партийной работы и собственно партийной литературы; другой относится к партийности художественной литературы вообще — о месте и задачах писателя в общенародной борьбе, о роли передовых идей в художественном творчестве, о принципах социалистической литературы.

Предугадывая нападки врагов марксизма, Ленин подчёркивал этот первый, совершенно конкретный «адрес» статьи: «Успокойтесь, господа! Во-первых, речь идет о партийной литературе и ее подчинении партийному контролю. Каждый волен писать и говорить все, что ему угодно, без малейших ограничений. Но каждый вольный союз (в том числе партия) волен также прогнать таких членов, которые пользуются фирмой партии для проповеди антипартийных взглядов».

Партия переживала в тот период крутой переход к открытой организации, и это требовало перестройки многих звеньев партий-

ной работы. До революционных событий 1905 года вся легальная печать была по необходимости беспартийна, ибо партийность была под полицейским запретом. Только нелегальная печать могла пропагандировать взгляды партии. В это время неизбежны были всякие уродливые союзы и ненормальные «сожительства», на которые приходилось идти партийным публицистам, чтобы высказаться в легальной печати. На страницах легальных изданий соседствовали и вынужденные недомолвки партийных публицистов, пытавшихся обойти рогатки царской цензуры, и недомыслие и трусость тех, кто не дорос до марксизма, кто не был, в сущности, человеком партии, кто только щеголял модной либеральной фразой, был таким «революционером поневоле», вроде Клим Самгина. «Проклятая пора эзоповских речей, литературного холопства, рабского языка, идейного крепостничества!» — пишет об этом времени Ленин.

Теперь, в момент революционного кризиса, когда партия переходила к открытой организации, когда наметилась перспектива легальной партийной печати, недопустимым, глубоко антипартийным явлением были факты продолжавшегося ненормального «сожительства» литераторов — членов партии с изданиями буржуазными, равно как и пропаганда антимарксистских взглядов на страницах большевистских изданий. Переход к открытой партийной массовой организации предполагал, что в ряды партии войдут и многие непоследовательные, с марксистской точки зрения, люди, заражённые буржуазной идеологией. Особенно это относилось к представителям интеллигенции, часто заражённым буржуазным индивидуализмом. Партия шла на это, твёрдо рассчитывая перевоспитать таких непоследовательных людей. Но для этого необходимо было вести беспощадную борьбу против буржуазной идеологии во всех её проявлениях. Необходимо было, в частности, навести твёрдый партийный порядок среди литераторов социал-демократов, в газетах и журналах, которые являлись органами большевистской партии.

Ведь даже в той же «Новой жизни» — до приезда Ленина — поэт Минский поместил две статьи, в которых пытался «примирить» марксизм с мистицизмом. Понятно поэтому, насколько политически острым, принципиально важным было выступление Ленина против всяческих попыток исполь-

зования трибуны партии для пропаганды антипартийных взглядов, против всяческих проявлений анархизма в деле собственно партийной литературы.

«Литераторы должны войти непременно в партийные организации», — писал Ленин, требуя соблюдения строжайшей партийной дисциплины от публицистов социал-демократов. Важному и принципиальному вопросу внутрипартийной деятельности посвящены и заключительные строки ленинской статьи: «Вся социал-демократическая литература должна стать партийной. Все газеты, журналы, издательства и т. д. должны приняться немедленно за реорганизационную работу, за подготовку такого положения, чтобы они входили целиком на тех или иных началах в те или иные партийные организации...»

Постановка и решение Лениным вопроса о собственно партийной литературе в новых революционных условиях имели огромное значение и для деятельности нашей партии и для деятельности других братских коммунистических и рабочих партий. Но это был только один из вопросов, поднятых в статье. Это гениальное произведение творческого марксизма — блистательный пример того, как можно, обращаясь к конкретным практическим задачам революционной борьбы, ставить глубочайшие теоретические проблемы поистине мирового значения. В статье со всей неотразимостью железной ленинской логики, со всей вдохновляющей силой его мысли сформулированы основополагающие принципы новой эстетики, ныне лежащие в основе всего передового искусства и литературы современности.

### 3

Ленин разоблачил и показал истинную, весьма неприглядную сущность буржуазного лозунга «беспартийности творчества», буржуазного индивидуализма.

Передовые мыслители и художники прошлого активно боролись против реакционной теории «искусства для искусства», лишавшей художественное творчество его души, его существа — служения народу. Пресловутый уход художника в башню из слоновой кости приводел на деле лишь к измелчанию и оскудению искусства. Ленин показал, как в новых условиях великих социальных битв между трудом и капиталом старая теория «искусства для искусства» предстаёт под флагом «беспартийности

творчества» — лозунгом насквозь буржуазным, служащим для защиты грязных интересов господствующих классов. Буржуазия всячески цепляется за лозунг беспартийности, надеясь отстранить от участия в революции значительные силы демократической художественной интеллигенции. Буржуазные газетки и журнальчики в те годы (как, впрочем, и ныне) всячески рекламировали «беспартийность», заманивая в свои сети идейно-шаткие души. Беспартийность, как буржуазный лозунг, означала лишь лицемерное, прикрытое, пассивное выражение принадлежности к партии сытых, партии господствующих классов. Борьба против буржуазной идеи беспартийности в широком плане была борьбой за гегемонию пролетариата в первой русской революции.

Ленин в ряде работ этого периода блестяще показал, что во всех областях жизни беспартийность выступает как идея буржуазная, а партийность — как идея социалистическая. В статье «Партийная организация и партийная литература» Ленин вскрывает всю фальшь и лицемерие буржуазных лозунгов «беспартийности» художественного творчества, разоблачает живые рассказы о существующей якобы в буржуазном обществе «свободе» творчества. «Жить в обществе, — писал Ленин, — и быть свободным от общества нельзя. Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь замаскированная (или лицемерно маскируемая) зависимость от денежного мешка, от подкупа, от содержания».

Ленинская статья срывала фальшивые вывески с мнимой свободы буржуазного строя, разоблачала дешёвую мишуру красивеньких фраз буржуазных индивидуалистов. Ленин определил буржуазный индивидуализм точно и бесповоротно как «барский анархизм». Ленин показал, что сам анархизм есть не что иное, как «вывернутая наизнанку буржуазность».

В противовес лицемерной буржуазной идее «беспартийности» творчества Ленин выдвинул и обосновал принцип партийности литературы. «...Лицемерно-свободной, а на деле связанной с буржуазией, литературе» Ленин противопоставлял «действительно-свободную, открыто связанную с пролетариатом литературу».

Стать вровень с веком, открыто перейти в лагерь революционного пролетариата и всего трудового народа, составляющего

цвет человечества, его надежду и будущее, с передовых идейных позиций эпохи судить жизнь и понимать её развитие, отдать все силы ума и таланта, весь жар сердца благороднейшему делу строительства нового мира — вот чего требовал от художника ленинский принцип партийности.

Прошедшие полвека показали, что подлинным выразителем надежд и веры человечества стала литература социалистического реализма. Знаменем литературы социалистического реализма, опирающейся на ленинский принцип партийности, является жизненная правда. Литература социалистического реализма неразрывно связана с лучшими традициями великого искусства прошлого, в то же время это литература новаторская, прокладывающая новые пути в художественном развитии человечества. Источники расцвета литературы социалистического реализма гениально предугаданы в статье Ленина, это связь с народом, с партией, с борьбой миллионов масс, с передовыми идеями. Принцип партийности, следовательно, есть выражение общественного самосознания, свободная защита самых благородных, самых прогрессивных идей эпохи — идеей коммунизма.

Сила правды непобедима. Понять историческую правду во всей сложности современных условий развития человечества можно, только опираясь на незыблемый ленинский принцип партийности.

Уже в первых ленинских работах поставлена проблема партийности. В книге «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве» дано чёткое отличие объективиста от материалиста-марксиста: «Объективист, доказывая необходимость данного ряда фактов, всегда рискует сбиться на точку зрения апологета этих фактов; материалист вскрывает классовые противоречия и тем самым определяет свою точку зрения».

Объективизм в литературе — это, в сущности, база для бескрылого натурализма, отказ от высокой позиции художника — преобразователя мира. Мнима и беспочвенна претензия объективиста на объективную истину, на изображение правдивой картины мира. Как раз наоборот, глубокое постижение объективных закономерностей жизни — истину в наивозможной полноте — может дать лишь такой писатель, который выступает не пассивным созерцателем, а революционным преобразователем мира. Путь



к постижению исторической правды, «большой правды века», как говорил Горький, лежит не через объективистский пассивизм, а через художественное творчество, открыто связанное с коммунистической партийностью, с кровавым делом миллионов масс — строительством коммунизма. Наша литература, вооружённая великим ленинским принципом партийности, всегда боролась и будет бороться с любыми попытками воскресить безидейность творчества — будь то проповедь убогого объективистского правдоподобия, будь то печальной памяти «философия», отодвигающая идейное содержание искусства на второй план во имя некой абстрактной «искренности».

Партийность литературы не имеет ничего общего и с субъективизмом — с попытками навязать действительности всякие домыслы и схемы. Ленин в своё время ярчайшим образом вскрыл антинаучную сущность народничества, его субъективистских, лишённых связей с действительностью иллюзий. Народники, в частности, требовали от писателей не познания объективных закономерностей развития общества, но призывали предписывать жизни свои собственные законы, по которым она якобы должна развиваться. Ленин писал, что народники вместо реального исторического общественного человека берут некую куклу, которую начинают собственными помыслами и чувствами.

Субъективизм, в каких бы формах он ни проявлялся, есть ложное воззрение, и марксизм всегда непримиримо враждебен ему. Субъективистскими иллюзиями буржуазное искусство пытается обмануть читателя, внушить ему идею «незыблемости» капиталистического строя. Коммунистическая партия всегда решительно выступала против всяческих попыток вульгаризации марксизма, попыток под ультра-«левыми» революционными фразами протаскать субъективистские домыслы. Ленин и Коммунистическая партия резко осудили вульгаризаторские взгляды руководителей Пролеткульта, стремившихся создать некую выдуманную «пролетарскую культуру», начисто оторванную от всего предшествующего культурного развития человечества. В послевоенные годы партия помогла разоблачить антимарксистскую теорию «бесконфликтности», фальшивую тенденцию приукрашивания действительности. «Теоретики» и «практики» бесконфликтности, по сути, порвали с

подлинной коммунистической партийностью, скатились на позиции идеалистического субъективизма, пытались навязывать жизни свои худосочные выдумки.

Искусство сильно только тогда, когда всеми корнями уходит в народ, когда оно, как Антей, обеими ногами стоит на почве народной жизни, когда оно необходимо трудящимся, ибо объединяет их волю, чувства, мысль, пробуждает в них самое святое в человеке — стремление к преобразованию мира. Ленин подчёркивал высочайшую особенность новой литературы — её народность, народность в новых исторических условиях, неразрывно связанную с коммунистической идейностью.

«Это будет свободная литература, потому что она будет служить не пресыщенной героине, не скучающим и страдающим от ожирения «верхним десяти тысячам», а миллионам и десяткам миллионов трудящихся, которые составляют цвет страны, ее силу, ее будущность».

Главными героями советской литературы стали люди труда — гордость и слава социалистического общества. На протяжении всей истории советского общества наша литература служила и служит народу, активно участвуя в кровавом деле трудящихся масс — строительстве коммунизма. Высшей оценкой художественного произведения является его народность. Высшая награда советскому писателю — сказать, что он необходим народу. Писать о народе, для народа, вдохновлять народ на великие свершения — этим живёт и дышит литература социалистического реализма.

Принцип партийности, служение народу — это боевая позиция новой литературы, которую она отстаивала и отстаивает в борьбе за создание искусства жизненной правды, искусства больших мыслей и чувств. Полвека, отделяющие нас от появления ленинской статьи, явились блестящим подтверждением торжества во всей прогрессивной литературе мира бессмертных ленинских идей.

#### 4

Враги ленинизма, враги прогресса немало истратили сил и чернил, клеветнически утверждая, что принципы новой, социалистической литературы якобы уничтожают свободу художника, сковывают его творческие силы. Попытки их были безуспешны, ибо именно новая литература открывает действительный простор возможностям пи-

сателя, даёт ему не мнимую, а настоящую свободу творчества.

Более ста лет назад, в 1843 году, Белинский в статьях «Речь о критике» справедливо утверждал: «Свобода творчества легко согласуется с служением современности: для этого не нужно принуждать себя, писать на темы, насиловать фантазию; для этого нужно только быть гражданином, сыном своего общества и своей эпохи, усвоить себе его интересы, слить свои стремления с его стремлениями; для этого нужна симпатия, любовь, здоровое практическое чувство истины, которое не отделяет убеждения от дела, сочинения от жизни».

Выводы ленинской статьи покоятся на научном обобщении опыта предшествующего развития литературы. Именно на этой твёрдой основе Ленин выявляет ведущую тенденцию развития искусства в современную эпоху. Союз с народом, активное участие в поступательном развитии истории — вот что открывает перед художником безграничные возможности для проявления творческих сил.

«Это будет свободная литература, — прозорчески писал Ленин, предвидя грядущий день социалистического искусства, его нынешний орлиный полёт, — потому что не корысть и не карьера, а идея социализма и сочувствие трудящимся будут вербовать новые и новые силы в ее ряды».

Время — беспристрастный и вернейший судья. На глазах человечества с момента появления ленинской статьи прошло много творческих судеб крупнейших художников века. Есть судьбы трагические, когда многообещающий поначалу талант затем оторвался от народа, захирел, угас в горьком забвении. Но гораздо чаще можем мы видеть, как обращение к передовым идеям эпохи, участие в борьбе многомиллионных масс окрыляет и возвышает талант художника, даёт невиданный простор проявлению индивидуальных творческих возможностей, выводит иных писателей из трагического тупика, куда толкало их воздействие буржуазной идеологии.

Горький, Маяковский, Алексей Толстой, Лу Синь, Барбюс, Роллан, Драйзер — на примере только этих крупнейших писателей, корифеев литературы XX века, всё человечество видит, как расцветает талант, когда он становится в ряды борющегося человечества.

Метод социалистического реализма, метод советской литературы и всей современ-

ной передовой литературы мира открывает исключительные возможности для наиболее свободного проявления индивидуального таланта писателя. Этот метод требует от писателя глубокого изучения жизни, познания объективных законов действительности. Ибо только познание законов даёт возможность использовать их для преобразования жизни, даёт подлинную свободу. Истинно великое искусство возникает лишь на основе глубочайшего проникновения в тайны бытия, отчётливого уяснения закономерностей истории. А именно к этому и призывала ленинская статья.

Только злобствующие враги истины могут утверждать, что принципы социалистической литературы должны якобы обусловить узость, скудость, обеднённость художественного творчества. Литература социалистического реализма свободна, как сама жизнь. Она являет сотни и тысячи примеров смелых творческих поисков, дерзаний, художественных открытий. Опыт советской литературы даёт огромное богатство писательских индивидуальностей, разнообразнейших и глубоко оригинальных творческих решений.

Известно высказывание Энгельса о художественных способах выражения основной идеи, тенденции произведения: «...я думаю, что тенденция должна сама по себе вытекать из положения и действия, без того, чтобы на это особо указывалось, и что писатель не обязан подносить читателю в готовом виде будущее историческое разрешение изображаемых им общественных конфликтов». Противоречит ли это положениям ленинской статьи? Ничего подобного! Ленин говорит об идейных позициях писателя, Энгельс — о способах воплощения идеи. А способы могут быть разные, как глубоко различными всегда будут художественные индивидуальности в искусстве.

Ленин мудро подчёркивает в своей работе всё своеобразие литературного дела, специфику художественного творчества, строго предупреждает против любых попыток вульгаризаторского и примитивного к нему отношения:

«Спору нет, литературное дело всего менее поддается механическому равенению, нивелированию, господству большинства над меньшинством. Споры нет, в этом деле безусловно необходимо обеспечение большего простора личной инициативе, индивидуаль-

ным склонностям, простора мысли и фантазии, форме и содержанию. Все это бесспорно, но все это доказывает лишь то, что литературная часть партийного дела пролетариата не может быть шаблонно отождествляема с другими частями партийного дела пролетариата.

Коммунистическая партия, неустанно заботясь о процветании социалистической культуры, всегда исходила в своей политике в области литературы из этих ленинских указаний. На разных этапах развития советской литературы находились охотники решать творческие дела административным окриком, бездушно, по-чиновничьи, нивелировать развитие литературы, находились талмудисты и догматики, пытавшиеся навязывать художникам свои убогие рецепты. Коммунистическая партия всегда давала решительный отпор подобным вульгаризаторским наскокам, всемерно содействовала расцвету свободного художественного творчества в нашей стране.

Велико счастье подлинной свободы художника, всецело служащего своему народу. Выступая перед своими советскими читателями, Горький по праву мог сказать о себе: «перед вами действительно счастливый человек — человек, в жизни которого осуществились лучшие его мечтания, лучшие его надежды». Маяковский гордо провозглашал: «я ж с небес поэзии бросаюсь в коммунизм, потому что нет мне без него любви». И все тома его «партийных книжек» раскрывали вдохновенную истину этих слов. От всего сердца говорил Алексей Толстой: «Октябрьская революция как художнику мне дала всё». И как горячо всеми заполнившими Колонный зал в дни Второго Всесоюзного съезда писателей были встречены слова Михаила Шолохова: «О нас, советских писателях, злобствующие враги за рубежом говорят, будто бы пишем мы по указке партии. Дело обстоит несколько иначе: каждый из нас пишет по указке своего сердца, а сердца наши при-

надлежат партии и родному народу, которым мы служим своим искусством».

Полвека — срок немалый. Да какие полвека! Полные самых грандиозных событий во всех областях человеческого бытия. Для литературы советской и всей передовой литературы мира эти пятьдесят лет явились блистательным торжеством ленинских идей. Наша страна — родина ленинизма, первой в истории социалистической революции — стала и родиной социалистического реализма. В огне первой русской революции возникли «Мать» и «Враги» — произведения, где впервые новый метод искусства проявил себя со всей определённой и полнотой. «Очень своевременная книга», — сказал Ленин Горькому о повести «Мать». Ленин увидел в этом, вскоре ставшем всемирно известным произведении живой росток той новой литературы, которую требовали время, эпоха, великая революционная борьба народа.

Вся славная история многонациональной советской литературы — это страстная, самоотверженная борьба лучших писателей за утверждение в художественном творчестве бессмертных ленинских идей. В годы Октябрьской революции и гражданской войны, в годы мирного труда, в суровых испытаниях Отечественной войны, в послевоенный период советская литература руководствовалась ленинским принципом партийности, утверждая правду нового мира. Свет, зажжённый советской литературой, привлекает к себе сердца и умы всех передовых и честных художников земли, привлекает миллионы читателей далеко за пределами нашей Родины.

Ныне под знаменем социалистического реализма рядом с советской литературой стоят литературы гигантского лагеря социализма, стоят прогрессивные писатели капиталистических стран. Ленинская правда торжествует: свободная литература, служащая народу, его кровным интересам, несёт людям всех стран свет передовых идей.



Н. ТОЛЧЕНОВА

★

## В БОРЬБЕ ЗА НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

**С**реди великих дел, совершающихся в нашей стране со времени Октября, главным и наиважнейшим является социалистическая перделка самого человека, его сознания, идеологии, взглядов на жизнь.

Под направляющим руководством Коммунистической партии наше общество воспитывает в человеке новые нравственные качества, новую мораль, новое, социалистическое отношение к труду.

Ещё тридцать пять лет тому назад, рассматривая путь, пройденный страной, партией, рабочим классом со дня первого субботника на Московско-Казанской дороге до всероссийского субботника-маёвки, — путь, краткий по времени, но громадный по историческому значению, — В. И. Ленин в однодневной газете «Первомайский Субботник», выпущенной 2 мая 1920 года, писал: «...дело переработки всех трудовых навыков и нравов — дело десятилетий. И мы даем друг другу торжественное и твердое обещание, что мы готовы на всякие жертвы, что мы устоим и выдержим в этой самой трудной борьбе, — борьбе с силой привычки, — что мы будем работать годы и десятилетия не покладая рук»<sup>1</sup>.

Создание нового, коммунистического отношения к труду, новой нравственности, новой морали — воспитание нового поколения людей труда — было немислимо без коренной переработки старых трудовых навыков и нравов, создававшихся веками, без решительной ломки заскоружлых привычек, закоренелых предрассудков, без пересмотра самых взглядов на жизнь, как замечал Ленин, «...надолго загаженных, испорченных проклятой частной собственностью на средства производства...»; без создания иной, здоровой атмосферы жизни, не знающей «...грызни, недоверия, вражды, раздробленности, взаимоподсживания...»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 31, стр. 103.

<sup>2</sup> Там же, стр. 102.

Напряжённая, годами и десятилетиями длившаяся великая и трудная борьба за новую жизнь, за новые душевные качества человека, новую мораль и новый труд неизменно, на всех этапах строительства советского общества находила отражение в художественной литературе, образно преломлявшей огромный практический опыт масс, их поиски в творчестве нового, их достижения и их ошибки, их неизменное поступательное движение, их рост.

Среди множества произведений, рассказывающих о становлении нового человека в труде, право на долгую жизнь получают лишь те книги, где проблема труда не оторвана от общих, широких проблем жизни советских людей, где так называемые производственные вопросы решаются прежде всего как вопросы этические, нравственные.

Незачем перечислять такие книги и такие образы, созданные советской литературой и несущие в себе заряд духовной энергии, рождающие в сердцах читателей могучий ответный отклик; слишком прочно вошли они в жизнь, помогая, как призывал В. И. Ленин, вытравлять в ней «проклятое правило: «каждый за себя, один бог за всех», став подлинным знаменем борьбы за новые человеческие взаимоотношения.

Тема труда, раскрытая как тема воспитания новой, коммунистической морали, и поныне остаётся главной, магистральной темой нашей литературы.

1

«Все за одного и один за всех...»

За десятилетия, что прошли с тех пор, как В. И. Ленин написал эти знаменательные слова, искони выражающие полноту народного стремления к справедливости и счастью, партия подняла к строительству новой жизни миллионные массы трудящих-

ся, научила их жить и работать в едином трудовом коллективе.

Именно так, по принципу «все за одного и один за всех», и складываются взаимоотношения советских людей, когда никто и ничто не стоит на пути человека или целого коллектива, не мешает ему в строительстве передового, нового; когда жизнь человека и жизнь коллектива объединены общими задачами создания коммунистического общества, стремлением к наиболее полному, гармоническому развитию личности, росту её творческих сил, её счастью.

Однако недомыслием было бы полагать, что новое может расти и побеждать само собой, двигаться вперёд по гладенькой дорожке, без всяких помет, препятствий и осложнений!.. А ведь это наивное предположение и составляло сущность бесконфликтных розовых литературных картинок, выдаваемых за самую что ни на есть достоверную правду жизни.

В. И. Ленин недаром предупреждал о силе рутины и косности, о живучести, цепкости привычки к старому во взглядах людей, в их нравственном облике, о том, что борьба за победу нового потребует громадной стойкости и упорства, что она будет длительной и жестокой.

Непрерывно видоизменяясь, выражаясь в самых различных формах, создавая нынче, чем прежде, моральные коллизии, давая о себе знать в иных жизненных противоречиях, эта борьба продолжается и поныне.

Именно поэтому она в большинстве случаев и является главной пружиной, движущей события в современных художественных произведениях, посвящённых теме труда. И чем более органичной, прочной оказывается внутренняя связь и взаимозависимость моральных и трудовых качеств героев, чем ярче выявлены противостоящие друг другу силы, чем глубже раскрыт конфликт, тем активнее участвует книга в «самой трудной борьбе», как говорил В. И. Ленин, «борьбе с силой привычки»; тем действеннее помогает внедрению новых привычек, новых взглядов, нового сознания «в повседневный обиход масс».

Со времени «Цемент» Ф. Гладкова, где героям приходилось бороться за новый труд и новый быт, преодолевая неслыханные трудности гражданской войны и разрухи, ломая злостный саботаж, прямое вредительство, герои нашего времени, воплощённые в литературных образах, уже почти не зна-

ют открытого сопротивления коммунистическим принципам труда. Современная литература показывает другое: как под сближением нового иной раз скрывается старое, как умеет это старое сохранить себя, приспособиться и даже на какое-то время, может быть, заставить новое подчиниться себе; как, не будучи замеченным во-время, оно начинает разрастаться, брать верх, разлагать живые человеческие души...

Давайте перечитаем «Кружилиху».

Страсти, кипевшие вокруг этой книги в момент её появления (и прежде всего вокруг образа директора завода Листопада), улеглись, споры затихли, бои отгремели.. Взглянем на героев, как говорил Гоголь, «свежими и нынешними очами». И, пожалуй, совсем по-новому войдёт в нашу мысль и сознание образ молоденькой заводской работницы Лиды Ерёмной.

В своё время эта хрупкая девичья фигурка осталась для большинства рецензентов лишь «проходным», эпизодическим лицом в романе В. Пановой; иным Лида показала написанной несколько «не так», как требовали того каноны бесконфликтности; было что-то такое в образе, что упрямо не ложилось в схему изображения передовой стахановки! А Лида, как на грех, бесспорно была лучшей стахановкой Кружилихи, об этом настойчиво твердили лидины ежемесячные показатели выработки продукции.

«Норма на закладку капсуля была сперва одиннадцать тысяч за одиннадцать часов, потом, поднимаясь постепенно, дошла до двадцати двух тысяч. Лида делала пятьдесят пять».

В цехе, где работает Лида Ерёмина, никто не может не то чтобы угнаться за нею, но хотя бы даже научиться работать приблизительно так, как Лида,— воспроизвести, повторить её ловкие, молниеносные, неуловимые движения, раскрыть секрет тех особенных «шикарных» жестов, которые она выработала у конвейера и которые невзможно изумляли каждого, кто приезжал в цех подивиться на Лиду.

«Лида сидела у конвейера с повязанной платком головой, чтобы какой-нибудь волосок случайно не выпал и не уколот нежную деталь,— кругом должно быть чисто, никаких лишних вещей, боже сохрани, чтобы были в одежде булавки, иголки! Может быть большая беда... За Лидой сидели два контролёра ОТК... они едва успевали про- верить, так быстро она работала!»

Казалось бы, ну, что может не понравиться в Лиде — ишь какая вся она аккуратная, собранная, подтянутая, чистенькая; но прислушайтесь хотя бы к этому «боже сохрани» — и вас, пожалуй, не столько обрадует, сколько начнёт раздражать педантичная осмотрительность, которая почему-то позволяет вдруг почувствовать, что Лида прежде всего и больше всего заботится о себе самой, что мешанский практицизм — это и есть человеческая стихия девушки, сущность её сердца и её души.

Но, может быть, всё это лишь наши догадки? Нет! В. Панова очень сдержанно рассказывает о Лиде, казалось бы, сообщая читателю одни только факты. Но в авторском повествовании отчётливо слышатся интонации, которые принадлежат самой Лиде. Вот эти-то интонации, — несмотря на всё внешнее обаяние, присущее хорошенькой и такой работающей, как видно, очень старательной девушке, — и делают её неприятной, даже отталкивающей для нас. Мы начинаем не то что ясно ощущать, но словно бы угадывать лидину хвастливость, самодовольство. В цехе, оказывается, «были» женщины, которые пробовали догнать Лиду, но у них, конечно, ничего не получилось! Разве только рывком удавалось какой-нибудь из них вырваться вперёд, но потом любая всё равно не удерживается и обязательно «скатывается» куда-то неизмеримо ниже Лиды: подумаешь, какая выработка — сто двадцать процентов!..

Очень хорошо слышно здесь, что Лида торжествует, кичится своим умением работать так, как не умеет работать никто; злобно-весело ей быть в её роли самой ловкой, самой быстрой, самой удачливой работницы на заводе! И, видно, не знает Лида, что обязанность стахановца — сознательного советского рабочего — не только самому идти вперёд, но и вести за собой других, помогать отстающим вырваться вперёд и добиться общего подъёма.

А теперь, когда мы уже почти поняли Лиду, писательница ясно указывает нам на главное в её облике — на отношение девушки к товарищам по работе, к людям.

«Сначала на закладке капсюлей, кроме Лиды, была ещё одна работница. Но она начала спать. Сидит и дремлет..

— Уберите её, — сказала Лида бригадир, — пусть она спит в другом месте».

И этот — такой короткий — штрих, по сути дела, завершает внутреннюю лепку образа.

Как в прекрасных чертах гоголевской панночки проглянула вдруг безобразная ведьма, так и за обликом юной, старательной, опрятной девушки внезапно выявились черты самые страшные, самые отталкивающие: бездушие, эгоизм, зазнайство, барская спесь..

Уродливые привычки прошлого господствуют в душе «стахановки», которая способна так брезгливо, так бессердечно сказать о своём же товарище, рабочем человеке: «Уберите!..»

Нет, не по основному закону нашей жизни: «все за одного и один за всех» — живёт Лида. Проглядели, не заметили на Кружилых, что поступками девушки руководит отвратительное, как говорил Ленин, «правило» — «каждый за себя, один бог за всех». Впрочем, начальник цеха, где работает Лида, не только мирится с лидиным эгоизмом, зазнайством, но и умеет извлекать из них пользу.

«Пятого марта Лида Ерёмкина постучалась в кабинет Грушевого. Он усадил её. Она села, скромно одёрнула юбочку на коленях и сказала:

— Знаете, товарищ Грушевой, я решила давать шестьдесят тысяч, хотя это очень неважно действует на моё самочувствие.

Грушевой был человек расчётливый. Он насторожился:

— А не может случиться, что вы два-три дня дадите шестьдесят тысяч, а потом скатитесь на тридцать?

— Почему вы так думаете, товарищ Грушевой?

— Вы же сами говорили, что больше двух с половиной норм не можете.

Лида сжала губки:

— Всегда — не могу. Но месяц могу, пожалуйста.. А меня обеспечат капсюлями? Чтобы, понимаете, подавали без перебоев, а то я с темпа сбиваюсь каждый раз..

— Да, да, подачей обеспечим!

— Я могу быть уверена?

— Конечно, конечно..

— Мне можно идти, товарищ Грушевой?

Лида встала, прилично prostилась, наклонив голову, и ушла».

Я решила, моё самочувствие, меня обеспечат.. Совсе не случайно употребляет писательница эту лексику. Самая манера выражаться, присущая Лиде, внешне подчеркнута скромна. Но её внутренняя крикливость выдаёт Лиду с головой.

Благодаря всему образному строю повествования мы чувствуем, как внутренняя

резкость, торжествующее самодовольство Лиды приходят в неразрешимое противоречие с её красивым, худеньким и нежным личиком, пепельными локонами, всеми её «приличными» повадками...

Не порочить бы Лиде гордое звание стахановки, сидеть бы ей в плановом отделе машинисткой, как предлагает лидина подруга: никакой грязи, «кругом интеллигенция», а главное — маникюр всегда будет в порядке!.. Но Лида очень хорошо понимает, в чём её счастье! И хотя перспективы, связанные с маникюром, конечно, кажутся весьма соблазнительными, Лида благовоспитанно отклоняет подружьино предложение. Иначе и быть не может. Лида уверена: ничего нет «мизернее и бесперспективнее работы машинистки!..»

Знавшующую маленькую дрянь, у которой такие ловкие и подвижные руки и такая холодная, мёртвая, неподвижная душа, автор показывает не только в заводской обстановке, но и дома, несмотря на то, что вообще-то Лиде посвящено в романе В. Пановой всего лишь несколько страничек.

Всё тот же мелкий, своекорыстный, депотический характер сказывается в домашней лидиной жизни, в её деловитом, рассудочном решении выйти замуж. «Саша — это была настоящая судьба: прочно, лично, муж будет носить на руках. Он её любит. И очень легко сделать так, чтобы любил всю жизнь».

Ах, как Лиде нравится, чтобы всё было «лично»!.. Прежде она стремилась бы, наверно, накапливая по рублю, по два, завести «приличное» собственное ателье, шляпную мастерскую, цветочный магазин, мало ли что... Теперь ей подобает сохранять приличные манеры, будучи первой стахановкой Кружилых, и иметь «приличного», то есть «прочного» мужа на всю жизнь, чтобы, боже упаси, не бросил, сумел обеспечить достаток в доме!

Авторская речь, опять вплотную сливаясь с внутренним монологом Лиды, даёт отчётливое ощущение непомерно разросшегося мещанского эгоизма, вытеснившего из лидиной души все живые, человеческие чувства.

«— Скажи,— сказал Саша, нежно держа её за плечи и близко глядя ей в лицо,— для чего ты мучила меня, если любишь?»

— Разве ты мучился?

— Очень! — сказал он откровенно и грустно.

Она красиво положила голову ему на грудь».

Как видим, никак нельзя сказать о В. Пановой, что она не проявила своего авторского, ясно выраженного отношения к персонажу!..

Наблюдая какие-то отклонения от трудовой, жизненной морали и этики, В. Панова высказала в «Кружилых» все возникшие у неё мысли в мягкой, ненавязчивой, доверчивой по отношению к читателю манере. Писательнице вообще не свойственны подчёркивания, «нажим» в раскрытии и обрисовке образов, в их расстановке внутри произведения, в их взаимоотношениях с другими героями. И поскольку отношение автора к происходящему вполне «доходит» до читателя, эта художественная манера — в данном произведении, — на наш взгляд, не менее правомерна, чем любая другая!

## 2

Иначе построен образ Рихарда Лутса, молодого бригадира на газовых заводах Суур-Сонда, с которым читатель встречается в романе Г. Леберехта «Капитаны», хотя автор, по сути дела, воплощает в этом образе те же, что и у Лиды, отрицательные человеческие свойства, те же отталкивающие привычки и навыки старого.

Лутс — живое олицетворение принципа «сам за себя, а до других — дела нет»; это — ходячее самодовольство и безразличие к людям, стремление к одному лишь собственному благополучию.

Легко заметить, что отрицательные черты Лутса выступают наружу резче, чем у Лиды Ерминой. И дело здесь не только в своеобразии, различии художественной манеры каждого из авторов и не только в том, что Лутс не умеет так артистически вуалировать, прикрывать свойственный ему воинствующий, наступательный эгоизм, своекорыстие, как это умела делать Лида, с её внешней трогательной беззащитностью, крупкостью и девичьим лиризмом.

Характер Лутса выявляется со всей отчётливостью ещё и потому, что такова была творческая задача, которую ставил перед собой автор. Г. Леберехт стремился показать, как самая жизнь, обрисованная автором в её взаимосвязях, в общем трудовом движении, разоблачает Лутса. Включённый в этот стремительный поток жизни,

отрицательный образ живёт в сюжете, сталкивается или сопоставляется писателем с другими героями романа. Часто он прямо противостоит им в ситуациях, позволяющих автору выявить человеческую сущность Лутса наиболее естественно и правдиво.

В романе Г. Леберехта «Капитаны», так же как в «Кружилых» В. Пановой, обращает на себя внимание немногочисленность подобных ситуаций, свидетельствующая об их художественной целесообразности, о заботливом, тщательном отборе фактов.

Кстати сказать, когда автор того или иного произведения случайно или преднамеренно (ради вящего убеждения читателя в своём замысле) загромождает сюжет множеством мелких, частных, случайных событий и явлений, то убедительность повествования неизбежно исчезает. Белинский, размышляя над этим, писал: «Ежедневная жизнь хотя и имеет своим последним основанием вечные субстанциальные силы, но в своём проявлении случайна и подавлена внешностями, лишёнными всякой значительности (разрядка моя.— Н. Т.). История хотя уже обнаруживает в действительном проявлении вечные законы и разумную необходимость, но в проявлении её факты лишены самосознания и потому имеют вид внешних событий, а притом они вечно перепутаны и переплетены с случайностями ежедневной жизни. Задача романа, как художественного произведения, есть совлечь всё случайное с ежедневной жизни и с исторических событий, проникнуть до их сокровенного сердца— до животворной идеи, сделать сосудом духа и разума внешнее и разрозненное. От глубины основной идеи и от силы, с которой она организуется в отдельных особенностях, зависит большая или меньшая художественность романа».

Основная идея романа Г. Леберехта— высокое счастье и поэзия творческого, социалистического труда, торжество коммунистических принципов труда, побеждающих в ходе самой жизни всё отсталое, ветхое, негодное... И писатель стремится донести до читателя эту идею во всех «особностях» своего романа, в образе Лутса в том числе. Лутс живёт, не ведая ни светлой радости труда, ни настоящей любви и дружбы. Его стихия лишь стяжательство, нажива, деньги.

Духовная нищета «героя», при всём его внешнем жизненном преуспевании, наиболее ярко выступает на первый план, когда автор показывает рядом с пышным, разряженным, самодовольным Лутсом скромного, тихого, бедно одетого Андруса Лаане— мечтательного юношу, только что поступившего на завод, и задумчивую, полную затаённых мыслей и поэтических девичьих переживаний Линду...

Вот они все перед нами в собственной машине Лутса возвращаются из клуба, с заводского вечера.

«Перегруженный «Москвич» медленно двинулся по улицам Суур-Сонда. Короткопалые руки Рихарда Лутса неторопливо крутили баранку руля...

На повороте открылась панорама завода, горевшего тысячью огней. Высоко в небе рдели рубиново-красные сигнальные лампы, обозначавшие расположение гигантских дымовых труб.

— Как огни кораблей на таллинском рейде,— с восхищением сказал Андрус.

— Как звёзды,— тихо сказала Линда, повернув к нему голову; пушистые волосы её коснулись подбородка Андруса.

— Что? Сверкают, а в руки не даются?— Лутс громко рассмеялся.— Да, их нужно ловить уметь. Кому даются, а кому и нет...

Машина остановилась перед двухэтажным белым домом, каких много в Суур-Сонда...

Когда все направились к двери, Лутс остановил Андруса за рукав.

— Пару слов...— многозначительно сказал он.— Ты заметил у Линды брошку?

— Брошку?— не понял Андрус.

— Да, на блузке. Большую серебряную брошку?

— Да, видел,— вспомнил Андрус.

— Так вот...— Лутс поднял толстый палец с выпуклым ногтем и снизил голос до шёпота.— Это мой подарок!.. Понял? Она всегда её носит.

Он кивнул головой, залез в машину и с треском захлопнул дверцу.

Приведённый отрывок характерен для сдержанной и вместе с тем поэтической прозы Г. Леберехта.

Мы впервые знакомимся с новыми для нас людьми. Мы только что встретили их и почти ничего ещё о них не знаем. Но писатель сразу позволяет нам осязать их глубокое душевное различие, показывая, как по-разному воспринимают они жизнь.



О человеческих свойствах Лутса мы можем судить уже по тому, как он грубо и бесцеремонно вторгается в немногословную беседу Андруса и Линды, где каждый говорит о своём самом заветном. Цинично и развязно звучит громкая, даже наглая речь Лутса, наглая не столько по содержанию, сколько по резкому диссонансу со словами Андруса и Линды.

Сверкающая россыпь огней завода нёсомненно представляется Лутсу каким-то обилием сверкающих монет, денег, богатства... И хотя он прямо не говорит этого, мы догадываемся о мыслях Лутса, когда слышим его бесцеремонные, торгашеские, насмешливые слова: «Сверкают, а в руки не даются!.. Нужно ловить умеючи!.. Кому даются, а кому и нет!..» И торжествующий смех, которым Лутс сопровождает свою речь, словно ещё больше подчёркивает его тупое самодовольство: уж кому-кому, а Лутсу-то денежки даются, будьте уверены!.. Андрус, этот парень, у которого покуда ещё ничего нет за душой, должен завидовать ему, Линда — восхищаться им... Он, Лутс, и успех в жизни неразлучны, словно два друга, два брата! И как умеет Лутс хватать высокий заработок, деньги, так схватит он и Линду: «Нужно ловить умеючи!»

Но, видимо, что-то всё же задело, обеспокоило торжествующего себялюбца; может быть, самый инстинкт собственника заподозрил недоброе в тихой и слишком уж интимной для первого знакомства, проникнутой столь явным взаимным пониманием беседе Андруса и Линды. И Лутс на всякий случай рассказывает Андрусу о брошке, подаренной им Линде, — брошке «б о л ь ш о й, с е р е б р я н о й»... Теперь он говорит тихо, почти шепчет, но это только из предосторожности, чтобы Линда не услышала. А смысл его слов всё тот же — безудержное хвастовство самим собой, своими успехами, своей обеспеченностью, да ещё грубый, открытый намёк Андрусу: не суйся к Линде, это — моё!.. И при этом так многозначительно поднимается вверх толстый палец Лутса! В этом жесте — весь Лутс, тут и его убогая чувствами, хвастливая душа, тут и намёк на несуществующую между ним и Линдой связь, тут и скрытая угроза по адресу Андруса...

Так с самого начала романа мы ощущаем скрепящее начало конфликта во взаимоотношениях Лутса и Андруса. И автор не обманывает ожиданий читателя, не ослабляет

нарастающего напряжения. Дальше читатель узнаёт, что высокие заработки Лутса связаны с неполадками на заводе: Лутс наживается на авариях. И именно неприязнь, отвращение к Лутсу, испытываемые Андрусом, заставляют юношу ещё более настойчиво и усердно искать путей к устранению аварий, к обеспечению более чёткой, согласованной работы газовых печей...

Конфликт Андруса с Лутсом помогает автору полнее и убедительнее раскрыть живой, интересный, цельный характер Андруса, который растёт и крепнет в атмосфере всё нарастающей борьбы, в неизбежных острых столкновениях нового со старым.

### 3

Многообразие борьбы за новый труд и новые отношения, обилие жизненных дорог и путей — как широких, многолюдных, так и потаённых, узких, — иной раз где-то в глубине собственного сердца прокладываемых человеком тропинок и дорожек, по которым движется он к общей нашей цели — коммунизму, порождают стремление у писателей создавать произведения многоплановые, с широко разветвлённым сюжетом.

Таковы появившиеся за последние годы «Дни нашей жизни» В. Кетлинской, «Донбасс» Б. Горбатова, «Искатели» Д. Гранина, «Поток» А. Пантиселева и ряд других книг, посвящённых теме труда.

В «Днях нашей жизни» В. Кетлинской прежде всего обращают на себя внимание творческие поиски новой формы выявления и развития характеров.

В. Кетлинская стремится показать читателю всю сложность взаимосвязей, складывающихся между людьми в трудовом коллективе, раскрыть всё богатство духовных возможностей коллектива.

Этот принцип В. Кетлинская последовательно проводит в романе, начиная с самой первой его страницы.

Произведение открывается сообщением о совещании директоров заводов, только что закончившемся в Смольном. «По широким ступеням главного входа шумными группами спускались директора. Обмениваясь впечатлениями и тут же, на ходу, договариваясь о неотложных делах, они на минуту заполнили всю лестницу, и энергичная фигура Ленина на заснеженном пьедестале оказалась как бы во главе их. Так стремительно было запечатлённое скульптором движение, что снег соскальзывал с круто развёрнутых плеч Ильича и вся его

фигура выглядела живой, участвующей в нынешнем дне.

Из гула голосов выделялись обрывки фраз:

— ...освоили три новых прибора...

— ...с тех пор, как я перевёл цеха на хозрасчёт...

— ...сушка токами высокой частоты...

В центре самой оживлённой и многочисленной группы шёл директор крупнейшего машиностроительного завода Немиров...»

Всё здесь — и обрывки доносящихся до читателя фраз, которыми на ходу обмениваются между собой люди, чьи мысли, как видно по этим фразам, ещё целиком поглощены важным совещанием, и заснеженный Смольный, и живой, устремлённый вперёд Ленин, словно смешавшийся с толпой участников совещания, — рассчитано на то, чтобы перед читателем сразу же возникла широкая, объёмная и вместе с тем подчёркнуто-простая картина нашей советской трудовой жизни, включающая в себя самые будничные, повседневные дела, заботы и хлопоты людей, несущих ответственность за судьбы народной промышленности.

И если первым среди этих людей назван Немиров, то это вовсе ещё не означает, что он и есть «главный герой», что деятельность руководимого им завода, его темпы и стиль работы зависят от него одного.

Едва уловимая нотка иронии по адресу Немирова сразу же помогает читателю понять это.

«В лёгком пальто нараспашку, сдвинув набок котиковую шапку, Немиров медленно спускался по ступеням, всей своей непринуждённой осанкой подчёркивая, что вот он молод, спокоен и здоров, что он мог бы и сбежать по ступеням, презрев директорскую солидность, да придерживает шаг из вежливости перед старым толстяком, которому только и остаётся ворчать и страдать одышкой. Конечно, покритиковали сегодня их обоих, каждый получил своё, но его, Немирова, критика не расстроила и не раздосадовала; он уверен в своих силах и сумеет наверстать упущенное, а вот соседу и досталось покрепче, и трудно сказать, сумеет ли он справиться так же быстро и хорошо».

Писательница как будто и здесь продолжает вести начатый ею серьёзный, деловитый, спокойный разговор. Но сейчас за этой внешней деловитостью описания уже скрывается характеристика душевного со-

стояния Немирова. Она-то и позволяет нам угадать, что в молодцеватой, непринуждённой осанке директора есть немножко чего-то показного, рассчитанного больше на внешний эффект.

Немиров скорее старается внушить другим уверенность в своих силах, чем проявляет самые силы. Ведь, по правде-то говоря, он и расстроен и растерян. Возможности роста производства для него совсем ещё не ясны; он ещё пытается «отбиться» от нового, чрезвычайно напряжённого задания... Но пока многие руководители завода колеблются, взвешивают все «за» и все «против», заводской коллектив уже понял, уже подхватил, уже решает задачу, поставленную партией. И по мере того, как именно коллектив становится подлинным героем романа, сюжетные рамки произведения раздвигаются всё шире, шире, шире...

Кажется, писательница стремится показать все коллизии, какие только могут возникнуть среди множества людей, работающих на крупном предприятии, — в том числе и чисто производственные и глубоко человеческие, моральные коллизии. Иногда они сливаются воедино, и, пожалуй, прежде всего именно там, где В. Кетлинская говорит о нравственном облике человека труда, разоблачает рвачей и стяжателей, людей с ленивой и вялой душой, беспринципных, заражённых духом обывательщины. Этим людям только кажется, что они определяют жизнь завода, влияют на неё, руководят ею. Им только кажется, что они — высокие специалисты, мастера своего дела — всегда будут нужными и даже незаменимыми на заводе. Но это совсем не так!.. Нигде так скоро не определяется истинная цена человека, как в коллективе. И будь ты директор, начальник цеха, высокий мастер-специалист, коллектив перешагнёт через тебя, как через ветошь, если ты забыл о главном — о коммунистических принципах труда, перестал считаться с требованиями, интересами, задачами коллектива...

Эти мысли раскрываются у В. Кетлинской совсем иными художественными средствами, чем, например, у В. Пановой. В. Кетлинская подходит к сущности образов, как положительных, так и отрицательных, со свойственной ей манерой — гораздо более деловито и сосредоточенно, гораздо более определённо и ясно. Правда, иной раз эта ясность, как на барометре, переступает какую-то лишнюю чёрточку, одно крохот-

ное деленъице и... вслед за «ясно» начинается уже «сухо»...

Конечно, у цеховых «тузов», рабочих-карусельщиков Торжуева и Белянкина, на лбу тоже не написано, что они отвратительные стяжатели и выжиги. В квартире Торжуева на видном месте висит его собственный фронтальной портрет в лихо заломленной пилотке, с четырьмя медалями на груди. А старик Белянкин и выглядит достаточно «благостно» и держаться умеет со спокойным достоинством, подобающим опытному старому мастеру ещё прежней формации. Однако сущность обоих «тузов» ясна с первого же взгляда, с первого же слова, и разгадывать её читателю не приходится.

Карусельщики ревниво берегут секреты своей профессии не только ради «славы» и «положения», как Лида Ерёмкина, но и ради стяжания житейских благ, как Лутс в «Капитанах» Г. Леберехта. Однако если Лида стояла в стороне от главного течения сюжета, а Лутс, входя в сюжет очень прочно, всё же составлял лишь какую-то — пусть важную — часть замысла писателя, то В. Кетлинская стремится проследить связь и взаимозависимость человеческих, трудовых и нравственных качеств в изображаемом ею коллективе буквально снизу доверху. Отсюда и следует, что невысокий моральный облик «тузов», их некоммунистическое отношение к труду, их рваческие навыки и привычки в конце концов не могут пройти бесследно ни для одного человека в огромном цехе. И когда цех встаёт перед новыми большими делами, новыми большими задачами, «тузы» неизбежно приходят в противоречие с коллективом, превращаясь в занозу, болячку, которая всех как-то задевает, всех касается.

Вот почему В. Кетлинскую интересует не столько поведение Белянкина и Торжуева, не поступки и не психологическая характеристика этих «героев», сколько реакция коллектива на их поведение. И писательница показывает эту реакцию многообразно и многосторонне.

Вот, например, как складываются отношения Торжуева и его подручного Петьки. «Торжуев придирчиво обучал Петьку его непосредственным обязанностям: чистить планшайбу от стружек, смазывать станок, крепить детали, подавать суппорты, крутя на мостике управления маховые колёса, а к сути обработки деталей и близко не под-

пускал... Торжуев только отмахивался от назойливых расспросов ученика:

— Спокойнй, что полагается. Я у Белянкина пять лет под началом бегал, а был по-старше тебя. Что такое уникальнй карусель, ты и понять ещё не можешь, а суёшься!»

По отношению, связывающим мастера и ученика, видно, что важнейшее дело «переработки всех трудовых навыков и нравов», — требовавшее, как говорил В. И. Ленин, десятилетий, — ещё и краем не задело Торжуева, не коснулось его души. Взвзв от нового строя жизни все земные, житейские блага, он взамен не даёт людям ничего. От своего собственного «учителя», старого мастера Белянкина, Торжуев перенял только самые скверные черты, которыми в былые годы отличались люди, владевшие «профессиональными секретами»: грубое пренебрежение к «низшим», желание уберечь от постороннего глаза «тайну» сложного производства, сохранить её только для собственной выгоды, только для себя одного.

Так ли уж трудно разрушить эту допотопную мастеровщину, дурную «монополию» Торжуева и Белянкина, положить конец царству знавшихся рвачей в цехе? Нет, конечно! Но.. рвачами дорожит, их ценит начальник цеха Любимов. А это один из самых близких, доверенных людей Немирова, с которым привычно и удобно работать уже самому директору! Настолько удобно, что Немиров «потянул за собою Любимова с Урала...»

Правда, Любимов и сам начинает понимать, что «нельзя держать цех в зависимости от двух избалованных, заносчивых «тузов», что это становится нелепым пережитком прошлого». Однако начальнику цеха даже в голову не приходит ни расставаться с «тузами», ни готовить на их место новых мастеров-карусельщиков. В глубине души он считает, что «проще всего было бы пойти на незаконную, но такую удобную сделку с «тузами» — приплатить им «аккордно» кругленькую сумму... Но этого делать нельзя: сразу поднимется шум...»

Вот только «шум» и удерживает Любимова от неверных, беспринципных поступков! А если бы не «шум», то есть, иначе говоря, если бы не возмущение и негодование коллектива, то Любимов, конечно, пошёл бы на любую «удобную» сделку!

Незаконность подобных «сделок», как видим, его самого нисколько не смущает!..

Чем же моральные качества Любимова отличаются от душевных свойств, навыков, взглядов «дурной мастеровщины»?.. Что характеризует нравственный облик Любимова, как облик современного передового советского человека?

«В турбинном производстве он работал много лет и любил его. И если теперь он нервничал и порой хотел уйти на преподавательскую работу, виновато было не самое производство, а люди, с их беспокойными характерами, общественными требованиями и неуёмным стремлением к переменам».

Люди с «беспокойными характерами» нервничают Любимова. Он живёт ладком да мирком лишь с такими, как Торжув и Белянкин. И хотя, работая во время войны на Урале, Любимов вступил в партию, однако видно, что в его душе это ничего не изменило. Он остался кем и был — чуждающимся перемен обывателем, специалистом, добросовестным до тех пор, пока эта добросовестность не приходит в столкновение со всем привычным, обжитым. А это означает, что качества коммуниста, как качества бойца за передовое, новое, у Любимова отсутствуют.

Не надо доказывать, что Любимов — один из руководителей производства, именующийся членом партии, — нуждается не меньше «тузов» в коренной, основательной переработке своих взглядов на производство, в пересмотре своих моральных устоев... И к этим серьёзным выводам, касающимся не только облика Любимова, но в какой-то степени затрагивающим и Немирова, нас приводят «ниточки», незаметно проведённые писательницей от «тузов»...

Коммунисты завода — вот сила, которая поднимает коллектив на бой со всем отсталым, застывшим, негодным.

Писательница рисует многих людей, для которых труд — наслаждение, высокая творческая радость, которыми движут не узкособственнические, а подлинно коммунистические, общественные интересы, в которых живёт дух новаторства. Всё это хорошие, смелые и сильные советские люди, люди по-человечески разные...

В. Кетлинская — думается, совершенно сознательно — ни одного из таких людей не ставит над другими, не выделяет особо, как главного героя. И надо сказать, что, исходя из самой нашей жизни, писательница права. Ведь все эти люди, а не один из них, своими общими усилиями определяют исход борьбы со старым на заводе, движут впе-

ред технический прогресс на заводе; не кто-нибудь один, а лишь все они вместе выступают в качестве решающей силы, определяющей дальнейшее развитие коллектива, дальнейший успех борьбы за план.

Но этот настойчиво осуществляемый авторский принцип ведь не означал же отказа от поэтического развития образов, не означал даже в том случае, если в книге оказалось так много «главных героев». А читая роман, посвящённый самой важной теме современности — теме труда, — вдруг иной раз ощущаешь, что героям словно стало тесно, что им негде полностью — широко и ярко — выжить себя.

И невольно хочется увидеть героев «Дней нашей жизни» выведенными на какой-то большой литературный простор, где прекрасные чувства, мысли и дела передовых советских людей получили бы подлинные масштабы прекрасного и развернулись во весь свой могучий размах.

## 4

Одна из самых впечатляющих, самых сильных сцен романа «Дни нашей жизни» — сцена партийного собрания в турбинном цехе.

Коммунисты с трибуны собрания говорят о самом главном, самом важном деле их жизни — о борьбе за выполнение плана, о новых задачах, встающих перед производством, а значит, и перед ними, людьми, отвечающими за непрерывное развитие производства.

Коммунистам ясно, что творческие силы коллектива — вот неисчерпаемый источник технического прогресса.

Но не всегда и не все умеют черпать из этого источника!

«Ведь что получилось, товарищи! — рассказывает инженер Полозов с подкупающей искренностью. — По инициативе стахановца Воробьёва мы начали составлять план организационно-технических мероприятий. Обратились к рабочим, к мастерам. Да мы сами не ожидали такого размаха творчества, такого неудержимого потока мыслей, замечаний, предложений, требований!»

Поток рабочей мысли... Неудержимо хлынувшая, стремительная река инициативы и изобретательности масс...

Этот образ, полный политического, гражданского проникновения в основную, решающую задачу современности, встречается

ещё в одном произведении, посвящённом теме труда.

Приковывая внимание читателей к техническому прогрессу, совершаемому творческими усилиями советского рабочего класса, трудового коллектива, это произведение так и называется «Поток».

Для А. Пантиелева в его серьёзном и злободневном, сегодняшнем произведении главной, решающей силой нового является, как и для В. Кетлинской, весь рабочий коллектив. Силы зла у него также не персонафицированы в одном лишь отрицательном герое; их не вбирает в себя какое-то единственное лицо. В жизни большого цеха автор отчётливо различает процесс наступления нового на старое, и широкие картины успехов, побед в труде, в навыках и привычках, в сознании людей предстают, сменяя одна другую, словно сама жизнь в её неустанном движении.

Сюжет романа — в прямой зависимости от замысла писателя — тоже развивается во многих направлениях. И, однако, мысль читателя не бродит по страницам этого произведения в поисках главного, ведущего, центрального героя, который сумел бы в нужную минуту схватить, связать все сюжетные нити в единый узел, создать драматическое напряжение в развитии событий.

Нет, он виден сразу! Старший мастер механического цеха Павел Алтухов — человек думающий, ищущий. Несмотря на молодость Алтухова, про него уважительно говорят на заводе, что он «воспитывает цеховую, рабочую семью по своему образу и подобию. Если Алтухов заставит весь коллектив искать наравне с собою, это будет благое дело».

Чего же ищет Алтухов, что не даёт ему покоя? Чего добивается герой от себя и от других людей с таким неясным ещё пока нам упорством, вызывая поначалу у одних — открытую или скрытую неприязнь, вражду, у других — сочувствие, желание помочь, товарищескую поддержку...

Суть этих поисков, пожалуй, всегда одна и та же у всех советских людей, имеющих живую, не замаранную собственническими, эгоистическими, корыстными побуждениями душу, честный и прямой характер, а главное — острое чувство долга, партийности.

Эти поиски и оказываются причиной неминуемо развивающейся затем борьбы.

У Д. Гранина эта борьба протекает в лаборатории, у Г. Николаевой — в МТС, у В. Кочетова — в научном институте, у А. Пантиелева — в одном из цехов большого завода.

Но, спросим себя, разве подобное сходство сюжетов и конфликтов хоть в какой-то мере говорит об однообразии тематики, о невольном заимствовании, подражательности?.. Конечно, нет.

Взгляд писателя-современника, устремлённый в самую гущу жизни, видит в ней наиболее существенное, главное — борьбу старого против нового, и отражает это существенное в образах. А разве они повторяются, эти образы?! Разве яркая индивидуальность характера, своеобразие человеческой судьбы, моральных качеств и трудовых навыков, сплавленные в единое целое — в образ героя, — не делают подобный сюжет и подобный конфликт всякий раз живым, неповторимым, особенным?!

Мечтательный, тонко чувствующий Андрус Лаане, упорная и бесстрашная Настенька Ковшова, углублённый в себя, сосредоточенный Андрей Лобанов, резкий и беспокойный Павел Алтухов, добрый, отзывчивый, мягкий Павел Петрович Колосов... Все они — с их собственным миром чувств, мыслей, переживаний, раздумий, событий, показанные в процессе взаимоотношений, складывающихся между ними, их соратниками и их противниками, — создают многоликий, неохватный образ жизни, образ её передовых, наступательных, побеждающих сил. И разве не отражён самый оптимизм истории — оптимизм острой, непрекращающейся борьбы, которую ведёт сама наша жизнь, неумолимо движущаяся вперёд, — в светлом облике людей, озабоченных не своими личными интересами, не своим частным, узким, личным благополучием, а осуществляющих, несмотря на жестокое иной раз сопротивление, священный ленинский завет: «Все за одного и один за всех»?..

Вслед за Воропаевым — а он, пожалуй, первым в послевоенные годы начал воевать за человеческое счастье «в тылу», в мирной обстановке, — на бой под этим великим девизом выходят всё новые и новые герои борьбы. И наша литература стремится, не ставя этих людей на котурны, не приподнимая искусственно, раскрыть их такими, какие они и есть на самом деле — простые, скромные, обыкновенные советские люди наших дней.

Павел Алтухов работает не для того, чтобы жить, он живёт для того, чтобы работать! Его работа — творческий, глубоко захватывающий душу живой процесс поисков и свершений — процесс, доставляющий человеку социалистического труда глубочайшее наслаждение.

Радость труда непременно связана с какими-то открытиями в труде, усовершенствованиями, с глубокоим, осмысленным проникновением в самую душу труда, ничего общего не имеющим с механическим, равнодушным — пусть даже самым ловким, самым быстрым — исполнением «заданной» работы. Вспомним Константина Журбина, электросварщика в романе Вс. Кочетова «Журбины». Костя держался, работая, сказано в книге, «как держится знаменитый скрипач. Он не смотрел в ноты. Он работал легко, свободно. Алексей даже подумал: «С вариациями». За его движениями было невозможно уследить, они не отделялись одно от другого».

И недаром в «Днях нашей жизни» Аня Карцева, наблюдая за работой коммуниста-стахановца Якова Воробьёва, следя за его «лёгкими, быстрыми движениями», видя по яшинутому лицу, что «работа поглощала уже не силу, а мысль», напоминает слова Маркса о том, что «капитализм лишает рабочего наслаждения трудом, как игрой физических и интеллектуальных сил».

Интеллектуальная сила рабочего в сочетании с напористым характером и отмечает начинания совсем ещё молодого мастера цеха — Павла Алтухова, составляя главное обаяние этой своеобразной, одарённой, хотя во многом и противоречивой натуры.

Вернувшись с фронта, Павел сохранил черты командира, вожака.

«Командирские» свойства Павла одновременно и помогают и мешают ему в работе. Ведь на Павла, собирающегося «командовать» в цехе, переустраивать производство, смотрят десятки насторожённых, умных, озабоченных глаз. И это глаза людей, объединённых, организованных социалистическим трудом, — глаза коллектива. Правда, здесь есть и такие, как лодырь Бобков, неряха Лапшина, противник всяких новшества старик Блажнов, но главную массу составляют люди светлые, разумные, которыми вот так запросто не покомандуешь!.. Тем более, что не «командой» может быть вызвано святое беспокойство рабочей мысли, направленное на усо-

вершенствование труда, а каким-то общим порывом, общим интересом, общей большой задачей, которая объединила бы и сплотила всех без исключения людей в цехе, всем им придала бы новые силы...

Решения этой задачи и ищет Алтухов. Он стремится отыскать такую точку приложения сил коллектива, которая — только найди её! — непременно вызовет — не может не вызвать! — кипучий поток рабочей мысли, огромную волну нового. Вернее, Алтухов уже почти нашёл её, эту точку, но он ещё не уверен до конца в точности, правильности своего решения. И как бы желая убедиться, проверить себя, Павел очень осторожно, «издали», советует Лазареву: «приглядишься, как у нас на участке стоят станки...»

«— Постой, постой,— проговорил Лазарев, пряча улыбку.— Ты что же, собрался цех остановить? Мне ещё Меликов говорил, что ты станки с фундаментов срывать надумал... переставлять, как мебель...»

— В том и беда, что ничего я пока не надумал,— сказал Алтухов резко.— Одно мне ясно: увеличение программы,— которое нам задано,— тоже не предел. Это норма, из которой надо выпрыгивать.. Не ждать, пока нам подскажут. Смотреть в завтрашний день... А такого скачка не добиться без коренной перестройки. Надо ломать, передумывать весь технологический процесс...»

Легко сказать — ломать технологический процесс!.. А кроме того, всякое дело, которое делают люди, зависит во многом ещё и от того, как они его делают, какковы сами эти люди. А Павел Алтухов, подобно Андрею Лобанову в «Искателях», не особенно заботится о том, чтобы заручиться поддержкой и сочувствием окружающих. Это резкий и скрытный человек. В свои замыслы, пока они не стали ясны до конца ему самому, он не посвящает даже любимую девушку, Варю Самарцеву, хотя и считает её своим настоящим, добрым другом.

Почему не посвящает?.. Потому, что отнесения с Варей у него трудные, запутанные... Может быть, даже излишне запутанные.

Писатель, стремясь показать становление рабочего человека, его рост, преодоление препятствий в «самой трудной борьбе», в жизни и труде, не хочет скрывать от нас ни слабостей, ни больших возможностей своего героя. А Павел и в своих ошибках, заблуждениях и в своей искренней предан-

ности делу поступает согласно своему собственному, только ему присущему характеру. Самым ценным в образе Павла и кажется то, что поступки, которые он совершает, порождаются в большинстве случаев именно его человеческим, сложным, трудным характером, а не являются результатом обнажённого авторского произвола.

Душу, характер, повадки главного героя романа «Поток» мы хорошо ощущаем хотя бы в следующей сцене. Павел с Варей Самарцевой и её приятельницей — шофёром Анастасией — гуляют в парке культуры; взгляд их рассеянно, бегло скользит по каким-то случайным вещам. Вот возле Зелёного театра на асфальте набережной из открытого люка круглого колодца выглядывает работающий парень; кругом шумят и смеются люди; большая машина, тяжело нагружённая театральными декорациями, подъезжает к Зелёному театру... И вдруг — происшествие! Водитель машины за толпой не видит люка, наезжает прямо на него... Хорошо, что хоть парень-то ещё успел вовремя спрятаться в люк: заднее колесо грузовика глубоко провалилось туда, чуть не по самую ось. Все попытки сдвинуть машину и освободить парня ни к чему не приводят.

«Павел подошёл поближе, заглянул под грузовик, гладкие, русые его волосы рассыпались по лбу. Потом Павел присел на корточки около щитов, лежавших концами на асфальте. Решение напрашивалось единственное: сложить силу машины и силы людей. Ещё секунда размышления — и Павел взбежал по щитам в кузов. Выпрямился...

Наступила тишина.

— Слушайте меня,— сказал Алтухов.— От машины все назад.

Люди, обрадованные его решительностью, послушно отеснились от машины.

— Водитель! — окликнул Павел.— Садись за баранку... — Водитель не отозвался. Алтухов не находил его в толпе: не то он побежал за домкратом, не то не желал подчиняться.

Павел нашёл взглядом Анастасию, кивнул ей. Она тотчас забралась в кабину...

Павел вернулся к мужчинам. Серые холодные его глаза смотрели беспокойно.

— Ну, кто может поднять полторы тонны — шаг вперёд.

Все одновременно придвинулись к машине.

— Товарищи! Кто из вас покрепче... на корточки, на четвереньки — под щиты.

Люди бросились к щитам, со смехом стали залезать под них...

— А вы, товарищи, под кузов, под правую сторону, под рессору,— предложил Павел оставшимся...

— Теперь слушай мою команду,— сказал Алтухов попрежнему без нажима, негромко.— Но помни: команда подаётся один раз. Повторять не буду...— Голос неожиданно сломался. Павел откашлялся.— Водитель!

— Я! — отчётливо отозвалась Анастасия.

— Давай...

Анастасия дала газ. Грузовик задрожал, но не сдвинулся с места...

Тогда Алтухов проговорил в полный голос, протяжно и певуче, сжав кулаки и незаметными мяткими толчками рук словно вколачивая в землю слова команды:

— Под щитами, под кузовом... со-ко-ли-ки! — и резко, звенящим голосом опытного строевика: — Встать!

Это длилось полсекунды, не более. Правый бок грузовика, сдвинутый с мёртвой точки совместным усилием людей и тягой машины, разом поднялся, машина тихо тронулась, колесо выкатилось из люка...

— Стоп. Всё,— сказал Алтухов, повернувшись к кабине.

Анастасия выключила мотор, сжала колёса тормозами.

Из люка вылез бледный, с измазанным лицом парень в комбинезоне и поднял свою расплюсченную кепку.

Заставляя героя совершать те или иные поступки, автор прежде всего выражает своё отношение к герою, а значит, к идее своего произведения, и в то же время стремится найти наиболее убедительную художественную мотивировку этой идеи. Нам представляется, что поступок Алтухова в приведённой сцене служит как бы своеобразной «увертурой» к роману. Этот эпизод задаёт тон всем последующим событиям, помогая читателю разобраться в намечающихся взаимоотношениях героев, глубже понять их поступки; не только даёт ключ к производственной и личной жизни Павла, но и связывает их воедино.

Так, например, становится понятно, почему именно Павел с его недюжинной сметкой сумел добиться организации «потока» и, вместе с тем, почему не сразу нашёл он душевный, сердечный подход к людям, ко-

торые впоследствии стали его активными последователями и помощниками.

Дело в том, что Павел пока ещё строит жизнь по принципу «один за всех». Отсюда и его стремление командовать, неумение и нежелание обратиться к людям за советом, за помощью. И лишь со временем коллектив, поддерживая Павла, приучает его к мысли, что «все за одного» это тоже обязательный закон нашей жизни, притом закон, несколько не обидный для этого «одного».

Павел вовсе не выступает в романе А. Пантелиева как «законченный» идеальный герой. И уж если он чем-то напоминает Андрея Лобанова, то, конечно, в гораздо большей степени отличается от него. Лобанов гораздо честнее, строже, требовательнее относится к себе в своей личной жизни. Иначе складываются у него и отношения с людьми на производстве, хотя он тут тоже не отличается мягкостью, доверчивостью. Андрей, бесспорно, стоит даже не одной, а несколькими ступенями выше Павла как носитель «интеллектуальной силы» нашего общества: он образованнее, культурнее, глубже, чем Павел. Но оба они новаторы, борцы за новое. А читателя как раз и интересует не сходство, а живое различие героев в произведениях, посвящённых теме труда, теме нашей современности, — различие, порождённое многообразием самой нашей жизни, бесконечным переплетением жизненных событий, определяющих и влияющих на судьбу героя, а следовательно, сказывающихся и на особенностях её художественного, творческого воплощения.

## 5

Среди противников важных производственных начинаний молодого мастера цеха Павла Алтухова находятся неприятные, не нравящиеся ему люди. Видимо, они и на самом деле имеют скверные черты, заметнее всего проявляющиеся в процессе труда. Но поначалу Павел почти совсем не знает этих людей. В ходе же борьбы с ними он использует все возможности, чтобы превратить недавних врагов в друзей.

Подобный поворот темы, конечно же, не надуман писателем! На любом крупном заводе найдутся такие люди, числившиеся в своё время противниками передовых методов производства, — лодыри, неряхи, зазнайки, которых перевоспитал, переделал коллектив.

И всё-таки представляется, что переделка сознания подобных людей — в действительности процесс гораздо более сложный и трудный, чем та относительно простая, не потребовавшая серьёзных усилий со стороны Павла, да, пожалуй, и всего коллектива, «перековка», которую проходят на наших глазах Бобков, Лапшина, старик Селифан.

Иначе строится развитие сюжета в романе Д. Гранина «Искатели». Здесь друг молодости Андрея Лобанова — Виктор Потапенко, неожиданно встреченный на работе Андреем, его близкий товарищ по институту, — с течением событий, описываемых в романе, становится самым опасным, самым злым врагом героя.

Образ Виктора Потапенко не только оттеняет положительные черты облика Андрея, но живёт в произведении самостоятельной, активной жизнью, создавая атмосферу борьбы резко противоположных мировоззрений.

Когда Андрей Лобанов впервые появляется в лаборатории, то его будущие сотрудники встречают молодого учёного «в штыхы». Но Андрея поддерживает мысль о том, что он не одинок, что есть здесь у него близкий человек, товарищ, друг, который уж всегда сумеет понять его, поддерживать в научных поисках...

Проходит время, и все недоразумения между Андреем и коллективом рассеиваются. В романе Д. Гранина это действительно с самого начала и были только недоразумения. Просто сотрудники лаборатории привыкли к мысли, что возглавлять лабораторию будет Майя Устинова, которую они хорошо знают и любят, к которой привыкли... Майя и сама неплохой человек. И если вначале у неё тоже живёт в душе чувство обиды против Андрея, то потом, в совместной работе, все обиды забываются.

Так оно и должно быть по замыслу, по самой логике развития событий. То, что Майя Устинова не стала врагом Андрея, нас не удивляет, как не удивляет и вражда, возникающая между Виктором и Андреем.

Закономерно, целесообразно раскрыт писателем образ Виктора Потапенко, который, ставшись врагом Андрея, ищет только одного: путей и средств к устранению бывшего товарища со своей дороги! Если угодно, Виктор тоже «искатель», и очень энергичный, но его искания далеки от всякого новаторства и устремлены совсем



к другой цели. Всяческими путями «подкапывается» Потапенко под своего приятеля, старается напакостить ему, убрать его из лаборатории, понимая, что для него слишком невыгоден контраст между ними: он, Виктор, уже отстал от требований жизни, науки, а Андрей идёт вперёд, только вперёд...

А ведь какой радушной, какой сердечной была первая встреча этих бывших однокурсников на работе и потом дома у Виктора.

«— Так вот какой ты стал, Витька!

— Какой?

— Растолстел, солидный.

— А ты всё растёшь, вымахал с высоко-взлетную мачту. И чего тебя вверх тянет, Андрюха?..»

«Витька», «Андрюха»... Слово воскресли беззаботные студенческие годы, вернулась былая, юная дружба!.. Но это далеко не так! Это только кажется.

Что до Виктора Потапенко, то он, вообще, умеет «казаться», прикидываться, создавать нужную обстановку, принимать соответствующий случаю облик. Чтобы убедить, стоит хотя бы взглянуть на чудесную библиотеку Виктора в его новой квартире. На полках — все новинки по электротехнике, а расставлены книги «по росту» — пользоваться ими трудно, неудобно.

«— Это Лиза хозяйничала», — усмехается Виктор, замечая недоумение Андрея.

Какая короткая и какая ёмкая реплика! Здесь и глубокое пренебрежение, неуважение к жене, бывшей соученице, превратившейся его же, Виктора, стараниями в домашнюю хозяйку, «супругу»; и стремление скрыть за весёлой усмешкой чувство неловкости: вдруг Андрей догадается, что все эти новинки нужны Виктору лишь ради корешков и обложек, придающих такой солидный, такой современный вид кабинету молодого карьериста; тут и желание оправдаться перед товарищем постоянной занятостью в отделе, вечной перегруженностью. дескать, до книг ли ему сейчас, когда он так нужен на производстве!..

Ежедневно сталкиваясь с Виктором на работе, Андрей с грустью, а потом с гневом и презрением убеждается, что бывший его товарищ глубоко безразличен к научным задачам лаборатории, тормозит её развитие, заинтересованный только в своём личном жизненном процветании.

Интересный и психологически верный тип морального уродства рисует писатель,

показывая, что Потапенко, собственно говоря, нисколько не страдает от своего уродства, нисколько им не тяготится. Напротив, ему самому оно даже кажется известным достоинством, «гибкостью» его души. Едва начиная убеждать кого-нибудь ради своих личных целей, Виктор обретает тот внешний темперамент, который, на первый взгляд, вполне может сойти за искренность. С Андреем он вначале рубаха-парень; с Майей Устиновой кажется растроганно-нежным; в горьком партии — патриотически-взволнованным...

«Порой Виктор удивлялся себе — с рабочими он умел быть простым, без наигрыша, с посетителями — внушительно твёрдым, среди детей — мальчишкой, с женщиной — влюблённым (нравится ей решительный — пожалуйста, нравится ей томный — извольте). Ему доставляло удовольствие приспособляться к людям, и он не ощущал никакого неудобства от этих превращений».

В противовес иным писателям, например, В. Пановой, В. Кочетову, Д. Гранин скупится на внутренний монолог героев. Он предпочитает показывать сущность действующих лиц в быстром и кратком диалоге, в стремительно нарастающем развитии событий. Авторская речь, как правило, очень лаконична: только самое необходимое! Но в этом «самом необходимом» в большинстве случаев с достаточной полнотой раскрывается авторская позиция. Самая логика рассуждений автора или героя неизбежно приводит читателя к пониманию психологического содержания образов, открывает ему пути для суждения об их мировоззрении, об их морально-этических нормах.

Всё сказанное легко проследить и на приведённом выше отрывке из романа Д. Гранина. В этих скупых строчках писатель, по сути дела, говорит нам, что сознание, мысль Виктора бедны и убоги. Не напряжённая работа мысли, не сознание помогают перерожденцу в его повседневном и уже привычном «маневрировании», как это характерно, например, для Грацианского в «Русском лесе» Леонова. Там это маневрирование в течение полувековой «деятельности» тёмного, отвратительного человека, олицетворяющего для нас силы прошлого, силы зла, представляет собой сложную психологическую «войну», которую ведёт Грацианский против всех ненавистных ему людей. Там существует своя тактика и стратегия, разрабатываются свои психологические

атаки и контратаки. У Виктора Потапенко ничего подобного мы не наблюдаем. Его маскировка — это скорее какие-то инстинктивные, бессознательные действия. Ведь Виктор даже и не задумывается над тем, откуда взялась у него такая жизненно удобная «разносторонность», что она означает, к чему ведёт. Он улавливает настроение окружающих тонким чутьём приспособленца, развившимся за годы оживлённой карьеристской деятельности, и подлаживается к этому настроению легко и просто. Он будет мил и приятен каждому: «извольте! пожалуйста!» И эти словечки, словно вскользь брошенные писателем, разблачают до конца «мораль» Виктора Потапенко, существующего в нашей жизни «применительно к подлости».

Виктор — беспринципен и жалок в своей беспринципности. Ведь его благополучное существование всё равно обречено на слом — дело только в сроках; но Потапенко даже этого не понимает, воображая, что его пустая душа, его актёрская способность к перевоплощению могут помочь ему уцелеть, карабкаться всё выше и выше, не только сохранить себя, но, может быть, ещё и «выдвинуться»...

И по-своему хорошо, что в романе нет какой-то последней сцены, которая изображала бы изгнание Виктора с его поста или что-нибудь в этом же роде. Автор романа верит в то, что читатель поймёт его!..

Отказ от бесконфликтности в литературе позволил нам воочию увидеть существующие ещё в жизни «человеческие сорняки» самых различных сортов и видов. И отрицательные «герои», пришедшие за последнее время в литературу, свидетельствуют прежде всего о том, что советские люди самым решительным образом стремятся очистить свою жизнь от остатков засоряющей её мерзости, предупредить самую возможность отставания человека от коллектива, превращения человека из передового, активного строителя жизни в трусливого обывателя, гаденького приспособленца...

Следя за поступками и действиями отрицательных героев в литературе, читатель очень часто спрашивает себя, откуда же взялся, какими обстоятельствами и условиями жизни оказался порождённым тот или иной «герой».

Книги о труде, появившиеся за последнее время, не очень-то подробно, к сожалению, отвечают на этот законный вопрос. Писа-

тели, говоря об отрицательном «герое», чаще всего предпочитают показывать сложившееся уже психологическое состояние, рисовать некое застывшее внутреннее обличье старого, чем раскрывать причины падения человека или проследить за этим падением.

Вспомним ещё раз о Лиде Ерёминой. Можно, конечно, вообразить себе тесный, узкий домашний мирок этой девушки, подобный тому, что показал Тендряков в своём произведении «Не ко двору», — мирок ограниченный, идейно убогий, с мелкими представленницами о «прочном», «приличном» счастье, о муже-добытчике...

Можно представить себе всё это и понять, что Лиду Ерёмину, как и Стешу, никогда и никому ещё и не воспитывал по-настоящему, не воевал за них, не старался оторвать их от старого. Они росли, как трава растёт, в условиях и навыках старого, сохранившихся в их семьях, впитывая это старое и являя взору лишь внешнюю, обманчивую свежесть, молодость. Пройдут годы, и Саша, полюбивший Лиду Ерёмину, уйдёт от Лиды, как ушёл Фёдор от Стеши...

Будущее Лиды легко угадать, как и её прошлое. А вот у Виктора Потапенко прошлое не угадывается.

Да, Виктор Потапенко — убедительный, доходчивый, злой образ подлеца. Но как, когда этот человек стал подлецом?..

В романе хорошо видна опора Виктора: такие, как он, не могут существовать без всякой поддержки, без союзников. Оставшись один, он потерпел бы крушение гораздо раньше, а может быть, и не дошёл бы даже до крушения! И — в полном соответствии с жизненной правдой — автор показывает окружение Виктора, его пособников. В нападках на Андрея, олицетворяющего силы передового, нового, силы коммунистической морали, Виктору содействуют махровые подлецы, люди ещё худшие, чем он сам: зажиревший барин в науке профессор Тонков, злобное и мелкое ничтожество Долгин.

Но эти образы отнюдь не помогают увидеть и понять причины нравственного падения Виктора — недавнего советского студента, воспитанного дружным молодым коллективом...

Происхождение характера остаётся тайной для читателя — упрёк, который можно обратить не только к Гранину.

Люди, поддерживающие Потапенку, тоже показаны вне развития, вне становления.

Прав А. Фадеев, говоря, что такие, как Тонков, взяты из самой жизни. Однако же нельзя не заметить, что в беглой обрисовке этих образов уже отсутствует та тонко выписанная, глубокая индивидуальность, какую мы видим в образе Виктора.. Это сравнительно грубые поделки, в которых писательское задание, схема, выпирает на первый план.

Вот выступает на техсовете Долгин. Он обвиняет Лобанова в безразличии к нуждам производственников, в отрыве от масс, в том, что «Лобанов пытается использовать ситуацию в целях получения материальных средств для занятий над локатором. Очевидно, он запланировал докторскую диссертацию, статьи. Вот в чём подоплёка происходящих событий» и т. д. и т. п.

Ну что ж, есть такие «ораторы» местного значения, которые возведут на вас по любому поводу, и даже не имея одного, сто смертных грехов сразу! Используя свой служебный авторитет, — личного у них не бывает! — они дают бесконечными, нудными речами на сознание окружающих, пытаюсь запугать их, нагнетая всяческие ужасы.. Не удастся найти пособников, привлечь других людей на свою сторону, так, может быть, удастся заставить их остаться «нейтральными», отказать от попыток защитить попавшего в беду человека!.. И ведь бывает, что удаётся... По существу всё верно в образе Долгина. Но как невыразительно раскрывается правильная и важная сущность этого образа!.. Автор рисует Долгина посредством одного лишь сухого перечисления «недостатков» Лобанова. Черты характера названы точно и жизненно верно, но не раскрыты глубоко в своих «особностях», как выражался Белинский.

К. Маркс и Ф. Энгельс, показывая в «Святом семействе» образцы глубокого анализа литературных образов, говорят: «У Эжена Сю действующие персонажи (Резака, Мастак) должны выдавать его собственное писательское намерение, побуждающее его заставить их действовать так, а не иначе, за результат их собственного размышления, за сознательный мотив их действия... Так как они не живут действительно содержательной жизнью, то им ничего не остаётся, как усиленно подчёркивать в своих речах значение незначительных поступков...»<sup>1</sup>

Думается, что и в нашей современной ли-

тературе есть образы, которые не живут действительной жизнью, но зато усиленно подчёркивают в своих речах значение различных поступков.

Представляется, что от обилия речей и отсутствия действий пострадали не только Долгин и Тонков, но и многие отрицательные образы романа Вс. Кочетова «Молодость с нами».

Главный герой этого романа, Павел Петрович Колосов, — честный, прямой, открытый человек, настоящий коммунист, чья душевная молодость и противопоставлена писателем старому, то есть моральному разложению, — сталкивается в научном институте, куда его посылает партия, с целой сворой негодяев. И это возможно. Подобная ситуация, будь она раскрыта со всей силой художественных средств, должна бы заставить читателей задуматься над очень важным вопросом о том, что не только один какой-то случайный человек, по недосмотру проникший в хороший коллектив, может оказаться негодяем, олицетворяющим силы старого. Может постепенно подобраться, сложиться — пусть небольшой, но вовсе не пригодный к движению вперёд — «коллектив», в котором немногие честные и мыслящие люди не сумеют поддержать новое в борьбе со старым!

Однако ведь и такой, с позволения сказать, «коллектив» состоит из отдельных, пусть и скверных, людей. Написаны ли образы этих людей с достаточной силой искусства?

Если центральный положительный образ романа показан в движении и развитии, в действиях и поступках, в радостях и горе — как человек неслышимой большевистской закалки, привлекающий симпатии читателя своей нравственной, душевной красотой, — если Колосов, Варенька подкупают нас своей достоверностью, живым движением характера, подлинным выявлением присущих им коммунистических трудовых и нравственных качеств, то отрицательные образы так и остаются неподвижными, застывшими.

Мешает их восприятию, на наш взгляд, прежде всего обилие чёрной краски. А ведь нет сомнения, что не только к актёру, мастеру сцены, но и к писателю, художнику слова, в полной мере применим важнейший творческий совет К. С. Станиславского: «Когда играешь злого, — ищи, где он добрый!»

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 2, стр. 200, М. 1955.

Надо ли пояснять, что совет великого мастера искусства, конечно, не содержит отрицания партийной принципиальности, точности и прямоты в оценке явления!

При условии сохранения этой точности оценки Станиславский призывает к многогранности в отражении явлений, к глубине и разнообразию художественных красок.

В сочетании с соответственной глубиной идейной оценки такое углублённое творческое воплощение и сделает образ крупным, живым, развивающимся. Вспомним Клима Самгина Горького, Грацианского в «Русском лесе» Леонова, наконец, Виктора Абросимова и его злую судьбу — Посвитного из романа Б. Горбатова «Донбасс».

### 6

У Д. Гранина мы искали, но, к сожалению, не нашли, не увидели в его Викторе Потапенко самых «истоков» дурного, не угадали, где и когда сошёл он с баррикады в самой трудной борьбе — борьбе за своё коммунистическое «я», за непрерывный рост и совершенствование лучших сил своей души на благо людям...

Однако в нашей послевоенной литературе есть образы, которые показывают, как происходит такое моральное дезертирство. Оно происходит почти совсем незаметно и для самого человека и для его окружающих... Им всё ещё кажется, что человек такой же, как и был... А тем временем душа его всё гуще зарастает жирной, вязкой плесенью — и вот уже ничто в ней не движется, не устремляется вперёд, не откликается на зов жизни, зов людей... Был человек, и не стало человека!..

Блестящей логикой, точностью идейно-смыслового и художественного развития образа особенно радует у Б. Горбатова Виктор Абросимов.

Здесь мы и находим ответ на интересующий нас вопрос об «истоках» дурного. Причём в обрисовке этого дурного художнику удалось показать непрерывно развивающийся процесс, а не застывшее состояние. Прослеженное почти с самого детства, с первых жизненных шагов Виктора Абросимова, его внутреннее развитие, духовное становление героя достигает во второй книге романа «Донбасс» поражающей силы. Писатель заглядывает словно на самое дно души человека, который с юности и до зрелого уже возраста упорно не хочет понять, что с каждым новым шагом своей

жизни он обязательно, непременно решает какую-то важную морально-этическую проблему, что ни одно, даже самое маленькое, дело, ни одно движение сердца не проходит для него бесследно, — всё кладёт свой неизгладимый отпечаток на настоящее, на будущее...

Безответственность, какое-то моральное самоосвобождение от необходимости расплачиваться за свои поступки — вольные и бездумные порывы движут Виктором. И это видно с самого первого момента нашего знакомства с героем, когда он решает во что бы то ни стало, ни с чем не считаясь, «вырваться» из родного местечка Чибиряки. Здесь ему нет судьбы, здесь ему тесно, скучно, неудобно! Ему кажется, что настоящая жизнь ждёт его где-то далеко отсюда, а здесь, как назло, «всё держит: мать, Андрей, комсомол, каждый знакомый камень на дороге. Так никогда не вырвешься! А надо просто — вот сбежать сейчас с кургана и, не оглядываясь, не прощаясь ни с кем, не раздумывая, зашагать... всё равно куда, всё равно зачем, только бы итти, а не лежать в кладбищенской поляни».

Так он лежит «в кладбищенской поляни», поглощённый самим собой, и злится, этот юный себялюбец, которому ничто не дорого в родном месте, ничто не мило. И вот Виктор говорит Андрею — своему лучшему и единственному товарищу, другу:

«— А может, врозь?»

И когда Андрей удивился, растерялся, не понял, Виктор ещё раз жёстко, отчётливо, резко повторяет:

«— Я говорю... Может, попробовать врозь? Каждый, как сам хочет».

Вот оно — «каждый за себя, один бог за всех»; каждый, как сам хочет, как сам может, как сам умеет, как ему удастся, — всё только с а м...

Таков Виктор Абросимов уже на первых страницах романа.

А теперь вспомним: разве он сам стал шахтёром? Да нет же, вовсе нет! «Прорыв в Донбассе, товарищи!» — Виктор любил такие слова, но когда секретарь райкома комсомола назвал и его имя среди мобилизованных на шахты комсомольцев, в душе Виктора вспыхивает яростная обида. «Куда угодно можно было двинуть Виктора — в небеса и на море, под воду и за Полярный круг. Но в шахту? Просто в шахтёры?.. И он чуть не вскочил с места. Чуть не закричал в слезах: «Не хочу! Не имеете права!»

И лишь когда Андрей просто и негромко сказал первый: «Нет, мы согласны!» — Виктор внезапно возбудился: да, если Родине нужны шахтёры, то он пойдёт...

Писатель рисует характер тщеславный, натуру талантливую, яркую, но способную лишь к недолгим порывам, кратковременным вспышкам, рисует в непрерывном развитии и движении. И это движение, это развитие всё время идёт в одном и том же направлении.

Вот Виктор и Андрей в шахтёрском общежитии. «Андрей выбрал две койки — себе и Виктору. Повесил фотографии... Потому он повесил над карточками рушник с алыми петухами — мать вышла на дорогу — и почувствовал, что устроился. У Виктора никаких карточек с собрю не было».

Казалось бы, совсем незначительный, второстепенный штрих. Но как много говорит он о душевных свойствах обоих юношей, как глубоко раскрывает их внутреннее различие. Андрей пришёл на шахту по велеанию комсомольского долга, и пусть ему пока всё здесь кажется неприветливым, неуютным, ему пока даже страшно думать о спуске под землю, но он устраивается прочно, хозяйственно: вешает над головой материнский рушник, фотографии близких людей. Когда пойдёт на фронт, он и туда захватит, наверное, с собой эту память из родного дома, и даже в сыром окопе почувствует, что «устроился!». Койки он выбирает сразу на двоих. — разве Виктор о себе подумает! А тот уже привык видеть в Андрее заботливую, уступчивую няньку. Выбрали Виктору койку, ну и ладно, ему всё равно, где спать, в шахту итти он не боится, а развешивать всякую ерунду над койкой он не станет, он не такой. Да ему и нечего развешивать: у него нет с собой памяти из родного дома! Недаром он готов был уйти оттуда, не прощаясь, хотя ему неплохо там жилось и все его там любили...

Пустое сердце, холодная душа этого совсем ещё юного человека особенно глубоко раскрываются рядом с простым, тёплым, ласковым и гораздо более сильным, мужественным характером Андрея.

Виктор лишь иногда загорается пышным фейерверком. Андрей же постоянно светит ровным, сильным и горячим душевным пламенем, несущим тепло и радость людям... Добрый, уступчивый Андрей с его разлапистой медлительной походкой, соломенными волосами и простодушным вихром над лбом... Сколько раз в своём простоду-

шии он прощал другу! Прощал, уступал, спасал, помогал... А ведь надо было хоть один раз попробовать не уступить, переломить Виктора!

К этому выводу писатель совершенно незаметно, избегая морализирования, подводит нас уже в первой книге своего романа. Андрей не имел права на свою чудесную доброту по отношению к Виктору, если видел, понимал, как далеко может завести Виктора его тщеславие. Андрей не должен был «уступать» Виктору рекорд в шахте, задуманный и до конца найденный опять-таки не Виктором, а Андреем!

Идя на этот «рекорд», Виктор заранее великодушно обещает Андрею: «Слава нехай обоим». Но Андрей только улыбается: «Что слава? Дружба дороже...»

Испытание славой может выдержать далеко не всякий. Виктор же этого испытания не выдерживает. Только то, что завоёвано настоящим трудом — вдумчивым и тяжёлым, что не «схвачено» с налёту, не добыто случайно благодаря уступчивой и заботливой дружбе, — только то и прославляет людей по-настоящему, делает человека человеком. Вот что хотел сказать Б. Горбатов, наблюдая за Виктором...

Тревожная нотка писательского сомнения нет-нет да и прозвучит в повествовании, даже там, где Виктор изображается уже на вершине своих жизненных успехов, рисуется как знатный стахановец, как человек, теперь уже привыкший к славе, считающий, что она досталась ему в пожизненный удел.

Таким вот и опять встречается он нам во второй книге романа: красуется у окна вагона, в поезде, идущем в Донбасс, — такой заметный, яркий, нарядный, в новеньком, с иголки, светлотабачном костюме и галстучке того же цвета «с искоркой». Называя себя случайному попутчику, он тут же, сейчас же, спешит рассказать, что когда-то его имя и имя Стаханова «назывались рядом».

Славу, полученную в Донбассе, Виктор не забывает подчеркнуть с первых же слов, а в окно смотрит какими-то безразличными, пустыми глазами: «Вечно дымно и вечно пыльно... Таков уж этот неприятный край — Донбасс...»

Виктор хохочет, острит, шутит с женой Дашей, с окружающими. Но как-то словно невесело, нерадостно ему. И читатель понимает, что Виктор сделал в своей душе, в своём сердце ещё один шаг назад. Ведь не так глядит человек на дорогой, люби-

мый, родной край, где прошли его юные годы, где впервые он изведal труд, любовь, узнал радости и горести... Впрочем, что ж! Виктор так же равнодушно прощался с Чибиряками, как встречается с Донбассом!..

И не удивительно, что этого способного, красивого, но испорченного славой человека, возвращающегося на родину с одним стремлением прославиться, — «гремела когда-то слава шахтёра Абросимова, так пусть же теперь загремит слава об Абросимове-инженере», — захватывает в свои руки цепкая, въедливая, ничтожная дрянь — Посвитный.

Молоточки на фуражке Посвитный носил ещё до революции, окончив Лисичанское училище. Потом заведовал шахтой купца Харченко. Потом встретил революцию «со смешанным чувством страха и надежды». С тем же чувством получил партийный билет: теперь-то уж оно придёт — желанное продвижение вверх!.. Но оно не пришло. Так и остался на шахте этот неудачник, завистник. И, видно, что-то общее есть же в этих душах, если так сразу разглядел Посвитный «главное в новом управляющем — нетерпение. Тоскливую жажду скорой славы».

А до славы, оказывается, Виктору ещё куда как далеко: шахты не выполняют плана. И видя, как мучится новый управляющий трестом, пытаюсь сразу же, с налёту, наладить добычу угля, Посвитный услужливо протягивает Абросимову фальшивую карту: попробуй поиграй, стань таким же шулером, как я, мне доставит наслаждение спутать тебя и других, таких, как ты, «новых людей», которых я ненавижу и всегда буду ненавидеть...

В Посвитном много родственного с Грацианским. Неизвестно, как обернулось бы дальше развитие романа, оборванного смертью талантливого писателя, но уже сейчас Посвитный воспринимается как образ врага, образ яркий, впечатляющий, типический, вылепленный во всех деталях уверенной рукой большого мастера.

Для души молодой, нравственно неустойчивой и уже хлебнувшей славы, посвитные означают неизбежную гибель. Вот почему такую умную житейскую, да и моральную, нравственную предусмотрительность, предосторожность проявляет старый Илья Матвеевич Журбин, когда к сыну его, Алексею, пришла трудовая слава. Суровый урок даёт он Алёше, урок, казалось бы, и незаслуженный, но полезный. Припомним

сцену, где потомственный корабельщик, молодой советский рабочий Алексей Журбин ждёт фотокорреспондента в своей новой квартире. Он «разработал целую программу встречи с фотографом. С утра угостит его, потом отправится с ним на стадион, покажет всякие фокусы на турнике и на брусках. После обеда зайдёт в библиотеку — там хорошо сниматься за столиком среди книг. Есть ещё городской Дворец культуры, есть радио, театр... И вот он предстанет на страницах журнала во всех видах, известный всему Советскому Союзу, и пошлёт журнал по почте Катюшке».

Конечно же, Алексей Журбин совсем не таков, как Виктор Абросимов. Есть что-то невинно-простодушное и даже трогательное в этом желании молодого Журбина покрасоваться на страницах журнала ради Катюшки, которую Алексей любит так искренне и горячо.. Пожалуй, ради себя-то самого он и вовсе не стал бы разыгрывать всю эту комедию со съёмкой «выходного дня знатного стахановца...»

А впрочем, ради ли Катюшки затеяна съёмка или просто так собирался уступить Алексей настоящим фоторепортёра, но вряд ли принесла бы молодому Журбину пользу столь широковещательная реклама его успехов, — и стоило бы, кстати говоря, иной раз призадуматься над этим организаторам подобных «съёмок»!

На страже подлинных интересов Алексея, на страже советской трудовой социалистической морали стоит старый Журбин. И он сообща со своим дружкой Басмановым не только срыгает весь намеченный Алексеем «план съёмки», но и устраивает сыну великолепнейшую головоломку.

«Рабочая слава, Алёшенька, — сообщает молодому Журбину не без скрытого ехидства Александр Александрович Басманов, — ведь она как растёт? Её не т о д и о ч к у — с о о б щ а в ы р а щ и в а ю т. Вокруг тебя орлы — тогда и ты орёл... Вот корень славы где сидит!»

Здесь у Кочётова словно идёт своеобразная переключка с образом Виктора Абросимова в романе «Донбасс». Великолепен образ славы, не имеющей корня, не зацепившейся глубоко за родную землю!..

Слава труда всеми своими корнями, всеми побегами, всей листвою выращена, вскормлена и вскормлена народом. Она приходит тогда, когда о ней не думаешь, когда из своих успехов не делаешь секрета, когда ими делишься широко, превращаешь их во

всеобщее достояние!.. Слава труда и принадлежит в нашей стране таким людям, как Илья Журбин. У них должна учиться скромности, преданности труду, моральной чистоте помыслов подрастающая трудовая молодёжь.

## 7

Безгранично широко звучат ленинские слова — «Все за одного и один за всех» — сейчас, когда так необозримо раздвинулись границы демократического лагеря, когда у советского рабочего человека учатся строить социализм, трудиться по-новому передовые, чётные люди многих стран...

«Рабочий класс... корпус корабля всей жизни человечества. Я в международном масштабе объясняю», — с гордостью говорит Илья Матвеевич Журбин. И действительно, эти слова звучат поистине в «международном масштабе»!

«Чем разнообразнее, глубже, шире, — писал А. М. Горький, — связь человека с жизнью вселенского коллектива, тем он духовно сильнее, интереснее для самого себя, красивее и нужнее для всех и энергичнее в борьбе за изменение условий общечеловеческого бытия к лучшему».

Современная советская литература вдумчиво, настойчиво развивает мысли, традиции Горького. Простой трудовой советский человек, ощущая свою связь с жизнью «вселенского коллектива», принимает на себя всё новые и новые моральные, этические обязательства.

Переключка культур, литератур, искусства народов в строительстве новой жизни играет колоссальную роль. Она неценима и с точки зрения укрепления мира, дружбы между народами, и с позиций дальнейшей борьбы за новые принципы труда, за новую, коммунистическую мораль.

«Величие советского человека ты должен понимать», — говорит молодому рабочему Гуренко Герасим Иванович Приходько, старый донецкий, шахтёр, низовой пропагандист, в чудесной очерковой книге писателя Б. Галина, влюблённого, подобно Б. Горбатову, в поэзию горняцкого труда, в замечательных людей Донбасса.

Герой книги Галина «В одном населённом пункте» — рабочий Приходько, горный мастер, — так же как рабочий Илья Журбин, мастер кораблестроения, утверждает, что «на советского человека смотрит весь рабочий мир. Смотрят дальние и близкие народы и дивятся его силе и отважной кра-

соте. Что это за люди, из какого материала они скроены? Как они бесшадно-смело возвышают свой голос правды и светлого разума против лжи и насилия. Смотрят далёкие и близкие народы и думают: да ведь это же наша ударная бригада! Будем у них учиться, будем их поддерживать, будем на них равняться».

В этих простых словах — вся глубина мировоззрения простых советских тружеников. Подлинную красоту, душевное счастье умеют извлекать они из труда, который не балует их лёгкими условиями, требует огромной выдержки, недюжинной силы. И не только привычка, умение, высокие трудовые навыки делают этот труд таким окрылённым, но прежде всего гордое сознание его необходимости для других, для всех!

Жизненный опыт этих простых, хороших людей, их долгая трудовая практика, наконец, их чистая рабочая совесть подсказывают им, что они-то именно и должны быть первейшими помощниками партии в её огромной созидательной работе, в её самой трудной борьбе за человека, за его место в жизни, за все его повадки и привычки, за его взаимоотношения с другими людьми, иначе говоря — за его трудовой и нравственный облик. И, выполняя великие обязанности агитатора партии, Герасим Иванович Приходько наполняет их глубоким смыслом — гуманистической проникновенностью, устремлённостью в светлое будущее.

Слова Приходько, которые мы процитировали выше, были ответом на вопрос молодого рабочего Гуренко «В чём суть життя?», вопрос не простой, как, впрочем, не был простым и ответ на него.

Навалоотбойщик Гуренко получил исчерпывающее, на наш взгляд, разъяснение, но душевно взбудораженный, разволнованный и разгорячённый беседой на такую большую тему, полный новых мыслей и чувств, Приходько теперь сам «жоварно» обращается с этим же вопросом к Афанасьеву — главному инженеру шахты.

Неожиданно заданный вопрос застал враплож главного инженера. И он честно признаётся пропагандисту в этом:

«Смутили вы меня, Герасим Иванович. Отстал, говорит, я от жизни, Герасим Иванович. Нужно, говорит, подковаться. Вы, говорит, задали важный, существенный вопрос, на который не так легко дать ответ. Я — горный инженер. — И пошёл, и пошёл

каяться: — Я, Герасим Иванович, весь ушёл в личную жизнь — шахта да шахта. Даю вам слово, что как только нарежем пятую лаву, так я обязательно побеседую на эту животрепещущую тему. В голове у меня, говорит, сейчас только она. Сплю и вижу её, свою длинную лаву».

В безыскусной передаче слов Афанасьева писателю удаётся выразить чувства, нарисовать душевный облик не одного, а двух замечательных людей — настоящих героев нашей современности. Приходько, как будто даже посмеивающийся над Афанасьевым, — вот, мол, как ловко он его поймал, не сумел даже человек ему ответить, — на самом-то деле очень точно даёт понять, что Афанасьев ответил ему хорошо и правильно. И он гордится своим главным инженером, гордится его преданностью своему делу, которое и составляет, конечно, «суть життя» Афанасьева, так же как «суть життя» самого Приходько и многих других горняков.

«Весь ушёл в личную жизнь», — кается Афанасьев. А личная жизнь для него — шахта да шахта!

И он вовсе не жалуется на такую «личную жизнь» — видно, ему здорово не терпится поскорее нарезать пятую лаву, раз он «спит и видит её во сне».

Не тусклая обездоленность, не унылая жертвенность звучат в этих словах, а живая, творческая заинтересованность человека своим трудом, счастье труда...

Вспомним, как в «Кружилыхе» вели однажды — как раз по этому поводу — свою ночную полемику Листопад и Уздечкин.

«— Ты имеешь счёт на меня, я на тебя, — говорит Уздечкин Листопаду. — Я тебе моего счёта ещё не предъявлял.

— И я тебе тоже!

— Нет, ты предъявлял. У тебя выдержки нет, чтобы держать в секрете. Я всё знаю, что ты обо мне думаешь. Ты думаешь, я мало даю... партии, народу... Ты думаешь, что ты много даёшь, а я мало; и ты на меня смотришь, как на муравья... Не спорь, я знаю...

— ...Так ты считаешь, что много даёшь партии? Что же ты даёшь?

— Всё! — отвечал Уздечкин. — Всё, абсолютно всё, что имею. Последнее понадобится отдать — отдам последнее. А ты сколько даёшь? Три четверти? Половину?

— Я тоже всё, кажется.

— Нет, ты не всё. Разве столько у тебя, сколько ты даёшь? У тебя больше!

— Спасибо на добром слове, разреши считать за комплимент.

— Ты, может, и всё отдаёшь, — сказал Уздечкин, подумав, — так ты этого не чувствуешь. Ты радости много взамен получаешь. Сделаю для тебя выгодная».

Много было споров, на чьей стороне правда. Думается, она не в тоскливой философии Уздечкина, который ханжески осуждает Листопада за то, что тот... получает радость от своего труда. Ведь признал же Уздечкин, что Листопад отдаёт работе, партии, народу всего себя. И если при этом он счастлив, если при этом он ощущает всю полноту жизни, то, значит, труд его прекрасен! И Уздечкин действительно может только позавидовать Листопаду: сам он ещё не научился так понимать и ощущать труд, как понимает и ощущает его Листопад...

Полной мерой черпают счастье труда передовые советские люди, обретшие новое сознание, новую жизнь... Уже не одиночки, а широкие народные массы живут трудом, как говорил И. В. Сталин, «великим и творческим, решающим судьбы истории»<sup>1</sup>.

Перечитывая одну за другой книги последнего времени, посвящённые теме труда, видишь: авторы их стремятся не только показать в образах, отразить то главное, что удалось уже проделать партии за эти годы, но и быть на передовой линии фронта в дальнейших сражениях за новую жизнь.

«Мы сдвинули с места, — писал В. И. Ленин, — глыбу неслыханной тяжести, глыбу косности, невежества, упорства... Мы начали колебать и разрушать самые закоренелые предрассудки, самые твердые, вековые, заскорузные привычки... Мы видели, как «бесконечно слабая» Советская власть на наших глазах, нашими усилиями окрепла и стала превращаться в бесконечно могучую всемирную силу... Мы придём к победе коммунистического труда!»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> И. Сталин. Вопросы ленинизма, изд. 11-е, 1952, стр. 458.

<sup>2</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 31, стр. 103, 104.



---

---

П. АНТОКОЛЬСКИЙ

★

## АЛЕКСАНДР БЛОК

(К 75-летию со дня рождения)

1

**В** одну из послеоктябрьских ночей 1917 года в Петрограде, на Дворцовой площади, а может быть, и на Марсовом поле, у солдатского костра встретились двое. Один был высок и худ, с яркими глазами, горевшими и в темноте. Другой чуть ниже, ещё худее, согбен, с шапкой темнорусых, недавно золотых волос, глаза его смотрели тускло, на лице обозначались следы смертельной усталости. Это были Маяковский и Блок.

Я узнал,  
удивился,  
сказал:  
«Здравствуйте,  
Александр Блок.  
Лафа футуристам,  
фрак старья  
разлазится каждым швом».  
Блок посмотрел —  
костры горят —  
«Очень хорошо».  
Кругом тонула  
Россия Блока...  
Незнакомки,  
«дымки севера»  
шли  
на дно,  
как идут  
обломки  
и жестянки консервов.  
И сразу  
лицо  
скупее менял,  
мрачнее,  
чем смерть на свадьбе:  
«Пишут...  
из деревни...  
сожгли...  
у меня  
библиотеку в усадьбе».

Происходила ли эта встреча на самом деле, или она выдумана Маяковским впоследствии, как характерный штрих эпохи? Судя по тому, что

за шесть лет до того, как была написана поэма, Маяковский вспомнил о встрече в своём отклике на смерть Блока, вспомнил почти в тех же словах, что в поэме, — встреча действительно была и значила она немало для Маяковского. «Творчество Александра Блока, — так начинается он свой некролог, — целая поэтическая эпоха, эпоха недавнего прошлого. Славнейший мастер-символист, Блок оказал огромное влияние на современную поэзию».

Я сознательно начинаю этим отзывом величайшего поэта нашего времени. Признавая «огромное влияние» Блока, Маяковский прежде всего, конечно, признавался в своём личном пристрастии, но, кроме того, он и сверстников и младших современников призывал к столь же высокой оценке великого русского поэта Александра Блока.

Встреча их остаётся навечно одной из важных легенд нашей культуры — так же, например, как знаменитый экзамен в лицее, когда старик Державин «заметил» Пушкина, или как приход Белинского в 1837 году на гауптвахту к Лермонтову. Из этой точки, освещённой языками ночного костра, как-то виднее, физически осязатее значение обоих поэтов.

Маяковский и Блок в нашем сознании стоят на разных берегах истории. Между тем известна их взаимная тяга друг к другу. Этой тяге найдётся много серьёзных свидетельств. И она была не случайной. Маяковский гораздо традиционнее, гораздо глубже вскормлен всеми корнями русской поэтической культуры, нежели это кажется поверхностному взгляду, а Александр Блок гораздо сильнее устремлён в будущее, нежели принято думать по обычным литературоведческим схемам.

Так что, если в самом начале нашей эпохи они дружески протянули друг другу руки у солдатского костра, это рукопожатие должно определить и наше отношение к обоим. Пускай они стоят на разных берегах истории, но они всё же нашли друг друга в ту историческую ночь — два поэта, с наибольшей силой первые встретившие великий Октябрь, с наибольшей силой определившие дальнейшее развитие всей нашей поэзии.

## 2

Блок писал «Двенадцать» в течение двадцати дней в январе 1918 года. Кончив поэму, он записал в дневнике: «Сегодня я — гений». Сейчас же следом за «Двенадцатью» он начинает «Скифов» и кончает их в два дня. Эта творческая лихорадка была равносильна взрыву подспудных сил, дремавших в художнике. Видимо, она была неожиданной для него самого.

Появление в печати этих двух произведений, впечатление от них тоже было равносильно действию разорвавшейся бомбы. От Блока немедленно отшатнулись многие из его недавних единомышленников, ему объявили бойкот, отказывались выступать публично рядом с ним. Его сочувствие большевикам, принятие им пролетарской революции казались не только неожиданными, более того, они трактовались, как измена самому себе. Если и пытались его оправдать, то оправдывали ссылкой на поэтическую невменяемость, на политическую безответственность.

Одному из таких «друзей»-оправдателей Блок писал: «Нас разделили не только 1917 год, но даже 1905, когда я ещё мало видел и мало сознавал в жизни. Мы встречались лучше всего во времена самой глухой реакции, когда дремало главное и просыпалось второстепенное».

Это — важное самопризнание. По сути дела, оно обосновано.

Никакой неожиданности в 1917 году для Блока не произошло. Никакой «измены» с его стороны не было. И «Двенадцать» и «Скифы» подготовлены предыдущей творческой практикой Блока, а также его общественным поведением. Он начал как поэт-символист и не однажды декларировал свою принадлежность к этой поэтической школе. Но диа-

лектика его развития заключалась именно в том, что с 1905 года, если не раньше, Блок только то и делал, что изнутри взрывал символизм.

В нём очень рано и с глубоко осознанной им самим требовательностью проснулась гражданская совесть, чувство связи писателя с обществом, с народом, чувство ответственности писателя. Стихи, написанные в 1905 году, ему диктовала неприкрытая ненависть к сытому мещанству, к капиталистическому строю. В этих стихах нет ни недомолвок, ни тумана. Стихи подкреплены дневниками и письмами, в которых Блок открыто и недвусмысленно резко говорит о своей политической позиции. Она оставалась одной и той же и после трагедии 1905 года, этих «страшных лет России». В 1909 году он писал одному из современников: «Мне неловко говорить и нечего делать со сколько-нибудь важным чиновником или военным. Я не пойду на пасхальную заутреню к Исаакию, потому что не могу различить, что блестит — солдатская каска или икона, что болтается — жандармская эпитрахиль или поповская нагайка. Всё это мне по крови отвратительно». И в другом таком же письме: «Современная русская государственная машина есть, конечно, гнусная, слюнявая, воючая старость: семидесятилетний сифилитик... Революция русская — юность с нимбами вокруг лица... Если есть чем жить, то только этим, и если где какая Россия «мужает», то уж, конечно, — только в сердце русской революции».

Но здесь незачем специально группировать подобные цитаты. Незачем также представлять путь Блока в виде прямолинейной автострады, в виде кратчайшего расстояния между точкой отправления и точкой прибытия. Таких геометрических чудес не бывает в человеческой жизни.

Блок прожил жизнь страстного, впечатлительного художника, и эта жизнь была полна противоречий. Ему было нелегко. Ограниченность дворянской культуры, воспринятой с детства, тяготела над ним. Тонкие, гипнотизирующие влияния отечественной мистики, ещё более гипнотизирующие влияния зарубежного декаданса отравляли его лирику. И недобрая тяжесть, недобрые признаки индивидуализма были ему свойственны. Но он сам говорил о них:

Простим угрюмство. Разве это  
Сокрытый двигатель его?  
Он весь дитя добра и света,  
Он весь свободы торжество.

Промолчать об этих противоречиях было бы недобросовестным делом, да и ненужным. Мы обязаны разглядеть, как он при этом рос, и утвердить органичность пройденного им пути. Недаром он однажды сказал: «Первым признаком того, что данный писатель не есть величина случайная и временная, является чувство пути».

Так возникает задача спокойного, всестороннего, исторического следования.

И если Александр Блок «не есть величина случайная и временная», — а уж в этом нет никаких сомнений, испытание временем уже кончилось для него, — такое исследование должно показать его корни в прошлом, взаимосвязи в собственном поколении.

Исполняется семьдесят пять лет со дня рождения Блока. Со дня его безвременной смерти прошло без малого тридцать четыре года. В условиях нашего бурно летящего времени эти сроки огромны, они более чем достаточны, чтобы для Блока, для его творческого наследия наступила история, то есть необходимость ясной оценки, ясного определения того места, которое Блок занимает в развитии нашей культуры.

## 3

А сам Блок во всём многообразии его лиризма остаётся нашим спутником на всю жизнь.

Можно наугад раскрыть его книги и снова и снова задохнуться от не однажды испытанного, навсегда молодого волнения:

Весна ли за окнами — розовая, сонная?  
Или это Ясная мне улыбается?  
Или только моё сердце влюблённое?  
Или только кажется? Или всё узнается?

Снова и снова услышим мы этот раскованный голос, впервые в русской поэзии настолько раскрепощённый стих:

Всем раскрывшим пред солнцем тоскливую грудь  
На распутях, в подвалах, на башнях — хвала!  
Солнцу, дерзкому солнцу, пробившему путь,  
Наши гимны, и песни, и сны без числа!  
Золотая игла!  
Исполинским лучом поражённая мгла!  
Опалённым, сметённым, сожжённым дотла —  
Хвала!

Вот откуда, вот каким открытым полногласием, каким звоном фанфары на площади начался двадцатый век в русской поэзии! Это было приветом, обращённым в будущее. Мы не должны пройти мимо него.

Но не одним чувством, не одним юношеским волнением богата наша нынешняя встреча с Александром Блоком. Мы вспомним также его горькие раздумья, угловатую, громоздкую постановку им вопросов, основных в русской истории девятнадцатого века: об интеллигенции и народе, о стихии и культуре, о гуманизме.

Мы вспомним его пронзительную любовь к России. Если в ранних блоковских стихах она звучала в подголосках, во внезапно набегающей волне песенного мотива или в образах сказочного фольклора, то в зрелом творчестве эта любовь снова и снова возникает, возвещённая трубами, прокатывается в скрипичном хоре, торжественная, упрямая, требовательная.

Это Россия его мечты, такая, какой она должна быть, загаданная в былинах и сказках, «где разноликие народы, из края в край, из дола в дол ведут ночные хороводы под заревом горящих сёл»... Блок сам ещё неотчётливо знает, что перед ним: «стан половецкий и татарская буйная крепь», как было во времена «Слова о полку Игореве», или это образ капиталистической, современной ему России, «многоярусный корпус завода, города из рабочих лачуг»... Но снова и снова стоит Блок лицом к лицу с вековой историей родной страны, с её необъятными степными и снежными просторами. Снова в русской поэзии ожил обращённый к будущему голос: «У! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле дали!»... «Русь, куда ж несёшься ты? дай ответ. Не даёт ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух...» Но кто же не помнит этих строк! Недаром связывал Блок своё постижение России с тем, что прочёл у Гоголя!

И здесь он вплотную подошёл к эпосу, к центральной своей теме. Она осталась не до конца выраженной, во фрагментах недописанной поэмы «Возмездие».

Как будто прост и однозначен её сюжет, связанный с биографией самого поэта, с отношениями его отца и матери, особенно с фигурой отца. Да, это «коротенький обрывок рода, два-три звена» в смене поко-

лений, семейная хроника, дифференциал истории. «Дроби, мой гневный ямб, камня!» — этим приказом кончается вступление в поэму. Конечно, у приказа есть внутрилитературный смысл: поэту впервые приходится иметь дело с неподатливым, неуклюжим и тяжёлым материалом самой жизни, с её будничной реальностью. Но смысл приказа и шире: поэту предстоит рассказать с том, «как зреет гнев в сердцах, и с гневом — юность и свобода». Это задача обобщения, задача, которая делает искусство народным.

Блок не видел очертаний своей будущей поэмы, он, как Пушкин, «сквозь магический кристалл ещё неясно различал», куда приведёт его работа над ней. Он пробовал себя, нащупывал метод. Но нам теперь ясно, что эта дорога вела к реализму. Любимый спутник Пушкина, «гневный ямб», действительно дробил камень, глубоко в подземных пластах нащупывал рудоносную жилу. И если такой труд понадобился вчерашнему чудачу, поэту Прекрасной Дамы, это и значит, что духовно он был гораздо богаче, нежели даёт о том представление его ранняя лирика.

Когда началась первая мировая война, многие русские поэты — и символисты и прочие — охотно и с большой профессиональной ловкостью рифмовали лозунги царского правительства; прячась от войны в питерских кафешантанах, Игорь Северянин с гусарской лихостью восклицал: «А, воевать! Ну что ж, отлично! Коня! Шампанского! Кинжал!» Голос молодого Маяковского, отрицавшего войну, ещё не мог быть услышан, задушенный военной цензурой. Голос Блока затерялся в шовинистических воплях, а между тем это был достойный и мужественный голос:

Петроградское небо мутилось дождём.  
 На войну уходил эшелон.  
 Без конца взвод за взводом и штык за штыком  
 Наполнял за вагоном вагон.  
 В этом поезде тысячью жизней цвели  
 Боль разлуки, тревоги, любви,  
 Сила, юность, надежда...

И в то время, как многие из отечественных публицистов, глядя в ужасное лицо войны, тешили себя надеждой, что вот она, последняя война на нашей зелёной планете, именно Блок, а не кто другой, оказался свободным от этого оптимистического гипноза. «Разве это последняя в мире война», — прочли мы в его черновиках. Он нашёл в себе мужество прямо смотреть в лицо будущему, его мозга не отравил «грядущих войн ужасный вид».

Это было трезвое и суровое мужество. За ним стояла та самая гражданская совесть, о которой уже сказано. Таким Блок пришёл и к революции.

Колеблющийся, зыбкий пейзаж «Двенадцати» — огромный ночной город и его окраины в сугробах, пронзительная выюга с Балтики, — всё это знакомые образы его ранней лирики, мы помним их и в «Снежной маске» и в других его стихах. Зато новым был народный склад речи и стиха, связь поэмы с солдатским фольклором, с городской частушкой. Двенадцать красногвардейцев, идущих «державным шагом» сквозь метель восемнадцатого года, никогда не забудутся в нашей поэзии.

Никогда не забудется и заклиняющий, суровый, искренний голос «Скифов». В этих мощных строфах наш великий народ, зовущий на братский пир все другие народы мира, противопоставлен Западу, кующему из века в век смертоносное оружие. Ведь и сегодня наша «варварская» лира сзывает народы «на братский пир труда и мира», «на светлый братский пир».

## 4

Мы часто говорим о романтизме в советской поэзии, говорим о нём как о возможности, недостаточно оценённой. В частности, именно так говорил о романтизме в содокладе о поэзии Самед Вургун на Втором Всесоюзном съезде советских писателей в прошлом году.

Представляется полезным и своевременным привлечь высказывания о романтизме Блока. Уж он-то, во всяком случае, кровно причастен к романтизму, так что его голос — не стороннее свидетельство, а очень важное признание.

Будучи уже зрелым и много испытавшим художником, Блок предложил свою концепцию романтизма в докладе, который прочитал в 1919 году для артистов Большого драматического театра в Петрограде. Блок оспаривает школьно-академические определения. Для него романтизм и шире и конкретнее, нежели историко-литературное явление: «Литературное новаторство есть лишь следствие глубокого перелома, совершившегося в душе, которая помолодела, взглянула на мир по-новому, потряслась связью с ним, прониклась трепетом, тревогой, тайным жаром, чувством неизведанной дали, захлестнулась восторгом от близости к Душе Мира». Далее Блок вспоминает гётевского Фауста и видит основную идею Фауста в словах, произнесённых им при виде Духа Земли, когда Фауст «точно пьянеет от молодого вина, чувствует в себе отвагу кинуться наудачу в мир, нести всю земную скорбь и всё земное счастье, биться с бурями и не робеть и при треске кораблекрушения».

Продолжая наблюдения над историей романтизма, Блок утверждает многозначный и противоречивый смысл самого понятия. Он утверждает: «Имя «романтизм» было произнесено именно тогда, когда стихия впервые в новой истории проявилась в духе народного мятежа; новая стихия дохнула со страшной силой во французской революции, наполнив Европу трепетом и чувством неблагополучия». Далее он говорит: «Романтизм есть дух, который струится под всякой застывающей формой и, в конце концов, взрывает её».

И, наконец, следует перечисление, иллюстрирующее тезис Блока историческими примерами: «Романтизм — в первом проявлении любознательности первобытного человека, в радостном крике над изобретённым впервые орудием; романтизм — в восточных культах и мистериях и в христианстве, которое разрушило твердыни Рима; он... в стремлении средних веков подточить коснеющие формы того же христианства, которое он сам создавал; он в духе великих открытий, подготовивших Возрождение; он в Шекспире и Сервантесе».

Так выглядит это перечисление, слишком вольно набросанное, чтобы казаться законченным и обязательным. Но для поэта история не может быть мёртвой книгой за семью печатями. История по-своему пережита опытом поэта, и ему не чужды и первобытный человек с кремнёвым топором и мореплаватель Возрождения, впервые засмотревшийся в океанские дали нашей планеты.

Вот почему блоковское определение романтизма совсем не так уж субъективно. Утверждения Блока сходятся в одной точке, в одном фокусе, и это имеет решающее значение при определении его творческого пути. Это и связывает Блока с сегодняшним днём нашей культуры. Блок утверждает революционную природу романтизма, его взрывчатую силу и направленность. Это утверждение сопровождало Блока при всех его попытках понять законы, управляющие человеческим обществом, понять историю.

В своих суждениях или определениях он может показаться нам (или на самом деле быть) недостаточно последовательным или недостаточно глубоким. Он не был ни философом, ни историком. Он был только поэтом и рассуждал, как поэт.

Однажды он сказал: «Пусть я бездарен, зато тема моя талантлива». И оговорка и энергия этого утверждения очень показательны. Как многим русским людям, Блоку в высокой степени было свойственно «смотреть в корень», не бояться крайних выводов. Это была мысль бесстрашная, без оглядки на традицию, на авторитет, на мнение окружающего большинства.

Всё это даёт нам право назвать Александра Блока и учителем и предшественником.

В своих воспоминаниях об А. М. Горьком К. Федин рассказывает:

«— Вы должны бывать в кругу молодых писателей, — говорит он, когда я собираюсь уходить. — Особенно советую познакомиться с Александром Блоком. Непременно познакомьтесь. Это... это...

Горький замолкает, отыскивая верное слово. Но слово не находится.

Он с нетерпением, но почти беззвучно барабанит пальцами по столу. Вдруг он поднимается и, выпрямившись, — очень высокий, худой, — медленно проводит рукой сверху вниз, от головы к ногам.

— Человек, — произносит он тихо и мгновение стоит неподвижно».

К Блоку-человеку мы и обращаемся в день семидесятипятилетия со дня его рождения.



# КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБЗОРИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Евгений Воробьёв. Ветви зимнего дуба.— Константин Финн. Правдивая повесть.— А. Ложечко. Быть впереди!— Нат. Соколова. Портрет современника.— Б. Эйхенбаум. Сборник воспоминаний или хрестоматия? — Н. Дьяконова. Книга о прогрессивной зарубежной литературе.— Л. Копелев. Проза Эриха Вайнерта.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

Кандидат исторических наук Н. Ершкин. Начало первой русской революции.— А. Ивич. Сегодня и завтра.— И. Иноземцев. «Химик Земли».— Кандидат исторических наук А. Байкова, И. Кремер. Поборник мира и справедливости.— А. Тимашев. География Югославии.

## Литература и искусство

### Ветви зимнего дуба

**Е**щё выходят у нас тощие и пухлые сборники рассказов, которые основательно залёживаются на книжных прилавках, а попав на библиотечную полку, бывают обречены там на ленивый и пыльный покой.

Юрий Нагибин находится в числе тех авторов, чьи книги пользуются неизменным спросом читателей. Ю. Нагибин предан рассказу и вместе с К. Паустовским, С. Антоновым, Е. Дорошем, В. Тендряковым, Ф. Кнорре, В. Дудинцевым, Б. Бедным, В. Лукашевичем, Г. Радовым относится к тем писателям, которые наиболее плодотворно, интересно и содержательно работают в этом трудном жанре.

Сборник рассказов «Зимний дуб» — самый полный и объёмистый из всех вышедших сборников Ю. Нагибина и даёт наиболее точное представление о его творчестве.

Ю. Нагибин ведёт за собой читателя в сельскую школу и на деревенский ипподром, в цыганский табор и на метеостанцию, затерявшуюся в каменном захолустье Памира, на фронт и в курортный городок. Лю-

ди, которые населяют эти рассказы, чаще всего написаны с психологической глубиной, образы их пластичны, и действуют эти герои — пусть это будет даже малыш Комаров — сообразно своим характерам, своему видению мира, своему отношению к окружающему. Поскольку рассказы населены людьми и хорошими и скверными, между ними возникают острые жизненные конфликты, характеры обнажаются, становятся зримыми в своём внутреннем движении, так что читатель следит уже не только за поступками героя, но и за его чувствами.

И насколько ослабляется значимость и ценность рассказа, когда автор затушёвывает конфликт, который рождён самой жизнью, когда у автора появляется, пусть даже не осознанное им, стремление сгладить шероховатую поверхность, придать обтекаемую форму вещам, для которых естественны острые углы.

В этом смысле характерен старый рассказ Ю. Нагибина «Деляги», хотя написан он сочно и выразительно. Автор познакомил нас с двумя демобилизованными сапёрами — солдатом Фёдором и сержантом Степаном Захаровичем. Направляясь из госпиталя по домам, оба решили подработать — благо оба знают плотницкое и столярное дело. А в ком после войны была ещё

Ю. Нагибин. «Зимний дуб». Редактор А. Туницкий. «Молодая гвардия», М. 1955.

Ю. Нагибин. «Подлёдный лов». Рассказ. «Знамя» № 5 за 1955 год.

Ю. Нагибин. «Сын» и «Ночной гость». Рассказы. «Огонёк» №№ 2 и 4 за 1955 год.



в деревнях такая нужда, как в человеке с топором в умелых и сильных руках? «— Поди, знаешь, каково в домах без мужика-то стало? — говорит Фёдору более предпримчивый и жадный до денег Степан Захарович.— Оба мы столяры, а к тому ещё сапёры. Значит, всё сможем. Понятно? С месяц поездим — вернёмся тысячами».

За этот месяц Фёдор обрёл счастье в доме молодой вдовы, сердечной и душевной Маши, которая полюбилась Фёдору и позже стала его женой. Весь месяц Фёдор, скромный парень с добрыми голубыми глазами, работал у крестьян этой деревни, он «продолжал старательно трудиться за одни харчи, сытные или скудные, смотря по достатку заказчика». Но вот подошёл день, когда Фёдор снова встретился со своим властным сержантом. Прежде они условились поделить весь месячный заработок на двоих. Характеры двух этих однополчан совершенно разные. Для чёрствого Степана Захаровича соловей, поющий ночью в роще, всего только «безобразник», и он порывается его поймать или хотя бы спугнуть, он смотрит на мир «светлыми колючими глазами», у него «костистый, острый, как у птицы, профиль». Понятно смятение Фёдора: Степан Захарович «не поверит, что он не брал денег, подумает, что Фёдор не хочет делиться», и вдруг, к радости Фёдора, Степан Захарович предлагает не делиться заработками — «работали мы с тобой врозь, так давай уж и капиталы врозь. Что заработал — твоё, а я при своём». Такого рода предложение было бы естественно, если бы Степан Захарович по жадности или по сварливости не захотел делиться, боясь от этого прогадать. И вдруг оказывается, что и Степан Захарович тоже проработал весь месяц, отказываясь от денег.

«— Да, видать, мы с тобой на одних дрожжах замешаны», — неожиданно заявляет Фёдору внезапно оттаявший Степан Захарович, до того полный душевного холода.

Автор вложил эти слова в уста своего героя, но они звучат ненатурально и не вызывают к себе доверия, потому что вопиюще противоречат характеру и образу сержанта. Нет, герои замешаны на весьма разных дрожжах, по ходу рассказа психологический конфликт между этими двумя героями был неминуем, и автор напрасно, вопреки жизненной достоверности, попытался сгладить то, что сглаживанию не под-

даётся без того, чтобы не деформироваться. Но разве один Ю. Нагибин испытал на себе в прошлые годы влияние теории и практики «бесконфликтности»?

Многие в те годы не избежали этого глетворного влияния. Вот почему ошибка рассказа «Деляги» столь характерна не только и, может быть, не столько для Ю. Нагибина, сколько для многих из нас, писавших или пишущих рассказы.

Даже самые талантливые наши рассказчики не убереглись в иных своих рассказах от сомнительного мягкосердечия и примиренческого отношения ко всем без исключения персонажам своих рассказов. Ах, как нам всем вредит избыток прекраснодушия! А желание всё примирить, всё затушевать, сгладить все острые углы порождает картину унылой идилличности и портит рассказы даже талантливых и популярных авторов. Эти рассказы хороши всем своим колоритом и тонким психологическим рисунком, но плохи тем, что автор подчас искусственно оберегает своих героев от того, чтобы они — упаси боже! — не натолкнулись на серьёзные трудности и препятствия. Из сферы жизни, которую описывают эти рассказы, выселены себялюбцы, пошляки, врачи, трусы, искатели «непыльной работы», мотыльки, летящие на огни тёплых и сытых углов, потребители жизни.

Под рассказом «Деляги» нет даты, но и без того очевидно, что этот рассказ написан Ю. Нагибиным давным-давно. Радостно отметить, что с той поры автор ушёл далеко вперёд, что у него достало умения, творческой смелости и таланта написать ряд рассказов, согретых большим чувством и мыслью, психологически тонких и достоверных, что в его рассказах живут самые разнообразные люди. В несимпатичные или враждебные лица тоже нужно уметь очень пристально всмотреться, а не отворачиваться от таких лиц стыдливо, не потуплять перед ними взор с застенчивостью, которая никак не пристала советскому писателю.

Ценность рассказов «Паук», «Слезай, приехали...», «Ночной гость» и некоторых других заключается в том, что Ю. Нагибин с большой силой нарисовал портреты нескольких весьма антипатичных нам людей, чьи характеры, тем не менее, следует называть ещё в какой-то мере типическими — мало ли у нас ещё холодных эгоистов, пожизненных и убеждённых нахлебников, жадных стяжателей, людей, которые хотят

брать у государства, у общества, у соседей, у знакомых как можно больше, а давать взамен как можно меньше, а если только возможно — не давать взамен ничего.

Таков и хищник-рыболов Готов, прозванный «пауком», который, когда работал в колхозе сторожем, «от себя колхозное добро не уберёт»; такова москвичка — молодой агроном, которая ищет любого повода для того, чтобы не работать в деревне, куда её направили.

Рассказы «Мать колхоза», «Покупка коны», «На покое», «Поздняя осень», «В ночи», «Любовь» и «Зимний дуб», вместе взятые, дают яркую картину жизни сегодняшней деревни. И не потому, что действие в этих рассказах развёртывается во многих местах или потому, что в них много действующих лиц, а потому, что Ю. Нагибин сумел показать характеры людей, поставленных автором в такие жизненные обстоятельства, когда эти характеры проявляются особенно ярко или получают толчок для своего движения, когда автор описывает не только поступки людей, но и проникает в глубину их психологии, сообщает мотивы этих поступков.

Рассказы Ю. Нагибина хороши, помимо всего прочего, и тем, что строго подчинены сюжету и форма их выукла и точна.

Великолепен рассказ «Зимний дуб», где, казалось бы, нет никаких больших событий. Попросту учительница Анна Васильевна и вечно опаздывающий на первые уроки школьник Савушкин идут через заснеженный лес. Но на этой прогулке перед молодой, слегка самоуверенной учительницей в совершенно новом свете предстал недисциплинированный Савушкин. Каким обаятельным стал сразу этот мальчонка с поэтической душой, влюблённый в лес и его обитателей, этот «маленький человек в разношенных валенках, чинёной, небогатой одежде, сын погибшего за Родину солдата и «душевой нянечки», чудесный и загадочный гражданин будущего».

И Анна Васильевна, которая ещё утром была собой довольна и считала себя хорошей учительницей, поняла, что «быть может, и одного шага не сделано ею на том пути, для которого мало целой человеческой жизни».

Да, на поверхности рассказа «Зимний дуб» больших событий не увидеть, сокровенная сюжетная пружинка скрыта глубоко, нет в рассказе нарочитой прямолиней-

ности, которая портит столько рассказов даже весьма маститых авторов.

В рассказе «Зимний дуб» Ю. Нагибин знакомит нас с маленьким Савушкиным. Это не первый малолетний герой рассказов Ю. Нагибина. Автор издавна тяготел к маленьким героям, а в последние годы написал ряд полных лирического тепла и задушевности рассказов, где дети стали главными героями повествования.

Здесь следует вспомнить снова живописную и мастерски выточенную автором «Трубку», о которой уже много написано хорошего, а также рассказы «Комаров» и «Старая черепаха». Ведь что такое, в сущности говоря, рассказ о детях? Если этому рассказу присуща психологическая глубина, то это неминуемо и рассказ о взрослых, которые растут, воспитывают этих детей.

Только тогда, когда писательское умение хорошо видеть сопровождается умением хорошо и образно написать об увиденном, становится впечатляющим, эмоциональным пейзаж в рассказе. Ю. Нагибин умеет нарисовать одно дерево в лесу, одну ветку, даже один-единственный лист, если этот лист входит в образный строй рассказа:

«Листья берёзы опадали в строгой очерёдности как-то сами собой, без помощи ветра. Только что висел лист тихо и прочно и вдруг надумал — дрогнул, полетел. Постепенно снижаясь, он оплывал дерево, словно прощался с ним, затем осторожно ложился на землю.

Ветла отряхивала свои острые, узкие листочки целыми охапками. Подобно перу, обронённому ястребом, вращались они вокруг своей оси и, ввинчиваясь в воздух, падали у самого подножия дерева.

Клён неохотно расставался со своими красивыми, сложного рисунка листьями. Он заставлял ветер потрудиться, прежде чем дарил ему один-единственный лист. Как планёр, набравший скорость, лист долго парил в воздухе, выделявая замысловатые фигуры, отливая мраморными разводами своей рубашки. Наконец он приземлялся, но ветер подхватывал его и зубчатым колесом катил по дороге».

Уже после выхода сборника «Зимний дуб» Ю. Нагибин опубликовал несколько новых рассказов в журналах «Знамя» и «Огонёк». Нельзя признать удачными рассказы «Сын» и отчасти «Подлёдный лов». Здесь автор был недостаточно взыскателен и строг к себе при отборе материала. Он как бы говорит читателю: «Пишу, что вижу», он

предоставляет ему самому разбираться в жизненном материале. Хорошо, что автор не тычет указательным пальцем, не поучает назойливо и скучно. Очень хорошо, что в этих рассказах нет скучных поучений, но плохо, что рассказы эти всего-навсего отображают то, что увидел писатель, и являются лишь зеркалом, хотя должны быть увеличительным стеклом. Автор как бы говорит: «Моё дело рассказать вам такой-то случай, а вы сами разберитесь, что здесь к чему». Но разве всё, что хорошо увидено и интересно написано, есть рассказ? Жизненные явления, описанные Ю. Нагибиным в этих рассказах, не осмыслены глубоко, и поэтому обесценивается и отличная словесная ткань рассказов, хотя они полны метких и тонких бытовых наблюдений, в них звучит живая речь.

Необходимо согласиться с большинством критических замечаний С. Львова и В. Лукашевича, сделанных ими в «Литературной газете» в адрес автора этих рассказов и рассказа «Пустыня», где характер молодого геолога Четунова написан крайне расплывчато и трудно понять, какого же рода эволюцию претерпел этот герой.

Но мне представляется несправедливым, что оба критика не нашли нужным сказать и о большой удаче Ю. Нагибина. Я имею в виду рассказ «Ночной гость» («Огонёк» № 4 за 1955 год). Об этом рассказе была напечатана крохотная заметка в той же «Литературной газете», однако членораздельно о нём не сказал никто. А как хотелось бы, чтобы наши критики, рецензенты и редакторы чаще находили возможность оперативно откликаться на появление в печати отдельных хороших стихов или хорошего рассказа!

Ведь подчас одно стихотворение, один рассказ заслуживает самого обстоятельного разговора, и вовсе не обязательно ждать, когда выйдет из печати толстый сборник рассказов или стихов. Это тем более простиительно по отношению к молодым писателям. Бывает и так, что сборник этот попросту не выходит, и не выходит отчасти по вине тех самых критиков, которые

не увидели большого в малом, прошли мимо одного рассказа или стихотворения, автор которого так нуждался пусть в строгой, но дружелюбной критике!

В рассказе «Ночной гость» Ю. Нагибин нарисовал яркий портрет любителя рыбной ловли Пал Палыча. В начале рассказа, когда в избу, где пашли временное пристанище рыболовы, «будто... порывом ветра внесло его сухощавую, грациозную фигурку в модной курточке и узеньких брюках в полоску», читатель ещё не чувствует к Пал Палычу антипатии. Но постепенно растёт насторожённость читателя к этому случайному ночлежнику. Всё в Пал Палыче как-то неопределённо и не внушает доверия. Автор пишет: «Возраста он был неопределённого — от тридцати до сорока. То ли хорошо сохранившийся зрелый мужчина, то ли несколько поизносившийся молодой человек».

И как хорошо проявлен рассказчиком характер Пал Палыча, который «слишком внимателен к вещам» и так бесцеремонен в отношениях с людьми. Это начитанный пошляк и вежливый нахал, нечистоплотный в мыслях и мелочный в поступках, и весь его скользкий облик оказывается таким чужеродным в избе, где живёт дружная семья бабки Юли, её славные дочери Люба и Катерина — цельные натуры, которые не разменивают своих чувств, которым претит фальшь, дешёвка в личных отношениях, которые строги к себе и требовательны к другим. И очень точно характеризует Пал Палыча в конце рассказа немногословный рыболов Николай Семёнович: «ничтожный, жадный, ласковый паразит...»

Значительный рассказ «Ночной гость» позволяет думать, что неудача рассказов «Сын» и отчасти «Подлёдный лов» — частная. Рассказ «Ночной гость» говорит о движении Ю. Нагибина вперёд по крутому и трудному пути на высоты мастерства. Впрочем, все пути, ведущие на эти высоты, достаточно трудны. Здесь не найти ни одной тропинки «протоптанной и легче».

**Евгений ВОРОБЬЕВ.**

## Правдивая повесть

Прочитав повесть А. Эрлиха «Жизнь впереди», не можешь не задуматься над тем, что же ожидает героев её в будущем.

Герои эти ещё совсем юные, ученики седьмого класса Алёша Громов, Коля Харламов, Толя Скворцов и ученица хореографического училища Большого театра Наташа Субботина. Сюжет повести развёртывается на протяжении меньше чем одного года. Начало её — последний день школьных каникул в одном из подмосковных пионерских лагерей; конец — последние дни учебного года, экзамены, весна.

Сюжет повести прост, несложен. Автор как бы сам и не настаивает на его необходимости. Идут день за днём, месяц за месяцем, идёт жизнь, события которой лишь весьма условно можно назвать событиями, так они обыденны. Прошёл год — кончилась повесть. Почему же читаешь её с таким неслабевающим интересом, а расстаёшься с её героями, как расстаются с полюбившимися тебе людьми, дальнейшая судьба которых не только интересна, но и дорога?

Мне думается, что происходит это прежде всего потому, что писатель, рассказывая о повседневной жизни, о жизни «день за днём», сумел показать и красоту этой жизни, и сложность её, и, самое главное, то, что без упорной борьбы ничего в этой жизни не даётся! Такой правдивый, без утайки, рассказ о жизни и дал возможность писателю убедительно раскрыть перед нами внутренний мир его героев, сделать их близкими нам людьми.

Герои повести — мальчики, девочки, но автор показывает нам, что борьба за свои стремления, мечты начинается вовсе не с какого-то определённого возраста, а с того самого момента, как появляются эти стремления, эти мечты.

Герои мечтают и борются. Борьба эта вовсе не проста! У Алёши Громова, что называется, — золотые руки; он у себя дома устроил мастерскую, чинит электрические звонки, часы, искусно строит модели автомобилей, пароходов. Отец его — старший мастер механического цеха ЗИСа. Всё как будто бы тут просто: пойдёт Алёша по пути отца, станет мастером. К этому он

стремится, об этом горячо мечтает. Ко всему не очень-то даётся ему учёба в школе. И расстилается перед глазами простой и лёгкий путь. Закончить семь классов и — на завод. Но в мечтах всё очень легко и просто, а в действительности путь отца — это сложный и трудный путь. Мастер на советском предприятии — человек, который много знает и неустанно учится. «Пойти на завод» — это, в наших условиях, учиться, учиться и учиться! А учиться-то Алёше именно и не очень хочется. Как же тут быть?! Но Алёша преодолевает своё нежелание учиться, и писатель убедительно показывает, как добивается Алёша успехов в учёбе. Тут совсем нет ничего исключительного. Это происходит со множеством мальчиков, об этом как будто не стоило и писать. Но повесть написана так, что за повседневным, обычным, ощущается упорная и для каждого из нас очень близкая борьба с поражениями и победами.

Прочитав повесть, интересно взглядеться в тех, кто тебя окружает. Разве нет вокруг нас таких мальчиков, как Коля Харламов? В начале повести он лучший товарищ Алёши Громова. Но могла ли эта дружба развиваться, крепнуть? Разве с того самого момента, как Алёша Громов по-настоящему стал бороться за осуществление своей мечты, не предопределён был разрыв между мальчиками? Разрывать дружеские отношения в мальчишеском, в юношеском возрасте едва ли не больше, чем в каком-либо ином, и автор показывает, как в ходе этого совсем не лёгкого конфликта, который втянул в борьбу и педагогов школы и комсомольских вожakov, молодые герои повести накапливают свой первый жизненный опыт. Они делают как бы первый шаг из мечты в жизнь.

Кто же этот Коля Харламов, с которым пришлось порвать дружбу и Алёше Громову и третьему их товарищу, Толе Скворцову? Он мальчик способный, один из тех, про которых с улыбкой говорят, что «язык у него хорошо подвешен». Смысл своей жизни он видит в том, чтобы поражать окружающих своей оригинальностью. Он даёт справки по любым вопросам. Он всезнайка! А это означает, что, в сущности, он толком не знает ничего. Да и оригинальности-то при ближайшем рассмотрении в нём нет никакой! Мальчик как мальчик. Что же даёт основание для такой его самоуве-

А. Эрлих. «Жизнь впереди». Редактор Н. С. Иванова. 289 стр. «Советский писатель», М. 1955.

ренности, нередко переходящей в прямую наглость? Как это так случилось, что по отношению к своим друзьям, Алёше и Толе, он ведёт себя насмешливо, с презрением?

Отец Коли — крупный инженер. Времени у отца мало. Правда, не всё нравится ему в сыне, и он нашёл бы время, чтобы, как говорится, вправить сыну мозги, но мать Коли, неумная, поверхностная женщина, стоит, как ей кажется, на страже интересов сына, энергично охраняет его от каких бы то ни было замечаний отца, от всякой критики кого бы то ни было. У отца Коли не столько не хватает времени, сколько не хватает воли, а главное — нет понимания, что если он сам кое-чего добился в жизни благодаря упорной борьбе, то и сыну его без борьбы ничего не добиться!

Правдиво показывает нам автор Колю Харламова и то, как дружба его с Алёшей Громовым и Толей Скворцовым не только оборвалась, но и перешла в неприязнь, и как при этом было много сделано ошибок и Колей, и Алёшей, и Толей, продиктованных мальчишеским пылом и задором. Только в конце повести, получив немало заслуженных ударов, не амортизированных «любящей мамашей», Коля начинает понимать, что так вот легко и просто, посвистывая и привирая то и дело, не пройдёшь по жизни, а если это и удастся на время с помощью мамы и не слишком мудрых некоторых педагогов, вроде Татьяны Егоровны, то всё же долго фланировать таким образом очень трудно. В дальнейшем такого человека непременно ожидает участь пустоцвета.

Третьему товарищу, Толе Скворцову, пришлось раньше, чем Коле Харламову и Алёше Громову, столкнуться с поистине тяжёлой стороной жизни и пережить в семье отчима, заставляющего его «промышлять музыкой» и играть на аккордеоне для увеселения подвыпивших гуляк, свою первую тяжёлую личную драму. Тонко и убедительно показывает нам писатель, как прекрасный советский педагог — Евгения Николаевна — борется за своего ученика, борется упорно, настойчиво и добивается в конце концов, что и у Толи Скворцова появляются нормальные условия для учёбы, для отдыха.

Несмотря на то, или, может быть, именно потому, что в повести показаны трудные пути, по которым идут её герои, герои эти — счастливые люди. А Эрлих мог бы взять эпиграфом к повести то, что говорит Алёша

Громов: «Сердцу дорого только то, чего добиваешься с большим трудом».

Повествование согрето чувством прекрасной юношеской влюблённости Алёши Громова в Наташу Субботину — семиклассницу хореографического училища. С большой задушевностью обрисована писателем эта девушка, талантливая, скромная, с врождённым чувством справедливости, негодующая по поводу того отрицания дружбы и товарищества, которое проповедует Коля Харламов.

В книге немало ярких эпизодов, хороши страницы школьной жизни, в особенности родительское собрание, удачно показано своеобразие хореографического училища. Тем с большей досадой воспринимаешь то, что в книге не только недописано, но и, как мне представляется, недодумано, недочувствовано.

Весьма традиционно, таким «мудрецом от производства», дан отец Алёши Громова, мастер Пётр Степанович, поминутно оглаживающий усы, покуривающий трубочку. Говорит он хорошо, мысли его правильные, но думается мне, что А. Эрлиху стоит ещё потрудиться над этим образом, вдохнуть в него подлинную жизнь, если он не хочет, чтобы Пётр Степанович воспринимался только как передатчик слов и мыслей самого автора и от этого терял бы, конечно, значительную долю художественной убедительности. Пожалуй, ещё слабее показана Александра Семёновна — мать Алёши Громова; её не ощущаешь отчётливо и ясно, как, скажем, мать или отчима Толи Скворцова. Чрезвычайно необудительно выглядит педагог Татьяна Егоровна. Она очень хорошо относится к Коле Харламову, он, что называется, её любимчик. Поэтому она не склонна замечать в нём недостатки, которые буквально так и выпирают из него. В сущности, Татьяна Егоровна делает всё, чтобы испортить мальчика вконец. В бедах Коли Харламова она повинна даже в большей степени, чем его мать, потому что педагог, не замечающий серьёзных недостатков своего ученика, в сущности поощряет в нём эти недостатки! Попадают ли в жизни такие педагоги, как Татьяна Егоровна? Конечно! А если это так и А. Эрлих ставил своей целью разоблачение вредного явления, то он обязан был отнестись к этому явлению со всей серьёзностью. В книге же Татьяна Егоровна настолько не понимает своих заблуждений по отношению к Коле Харламову, так необоснованно возра-

жает на справедливейшие упреки директора школы Александра Петровича, что выглядит поистине дурочкой. А от этого никакого разоблачения вредного явления и не получается.

Я не скажу, как это иногда принято говорить, что недостатки повести не умаляют её значения. Это было бы неверно. Ведь это книга о простой, повседневной жизни; в ней нет погони ни за какими эффектами, нет

никакой условности, никакой мистификации. Её пафос — в правдивости. Тем более ощутимы в ней все отступления от жизненной правды. Любая условность, любой литературный штамп сразу и резко нарушают строй книги и вызывают досаду у читателя. У А. Эрлиха имеются все возможности, чтобы в новом издании улучшить свою книгу.

Константин ФИНН.

★

## Быть впереди!

### *Проза в альманахе „Молодой Ленинград“*

Вышел первый номер альманаха «Молодой Ленинград» — сборника, созданного руками литераторов, начинающих творческую жизнь. Книга радует обилием имён — в ней участвует свыше 40 авторов; материал её разнообразен как по тематике, так и по жанровым особенностям.

Оправдывает ли альманах своё название? Имеет ли он собственное лицо, отличающее его от других журналов, альманахов и сборников?

Да, большинство авторов альманаха «Молодой Ленинград» обращается к вопросам, близким именно нашей молодёжи. Рассказы и повести, поэмы, стихи и очерки, вошедшие в альманах, преимущественно населены людьми, вступающими в жизнь, — это студенты, школьники, молодые рабочие, призывники. И вполне понятно, что тема становления человека, формирования его души, его убеждений, его отношения к миру проходит красной линией через всю книгу.

Молодой картограф-географ А. Шейкин печатается не впервые. Мы уже знакомы с ним по небольшому прозаическому сборнику молодых писателей, изданному в Ленинграде в конце 1954 года. И здесь А. Шейкин порадовал нас умением проникновенно и тепло рассказывать о фактах, на первый взгляд обыденных.

В новых своих рассказах А. Шейкин сохранил это важное для писателя качество — глубокое, вдумчивое отношение к жизни, поэтическое воспроизведение её.

Вот совсем небольшой рассказ «Навстречу счастью». Герой рассказа, молодой ра-

дист Саша Сибирцев, сначала легко и даже радостно переносил тяготы однообразно размеренной и трудной службы в Заполярье. Но на третьем году он стал чаще вспоминать о скором отпуске, согласился и совсем проститься с зимовкой.

Однако Саша не уехал с далёкого Севера, отказался он и от отпуска. Любовь к неизвестной радистке, работавшей на соседней метеостанции, наполнила для него весь мир новым значением.

Саше помог случай — у второго радиста этой метеостанции кончился срок договора. Перевода на его место Сибирцев добивался, как счастья. Наконец он выехал на новое место работы:

«Лодка тронулась и, выходя на фарватер, пошла от берега дугой. Стоя во весь рост на корме, Саша махал товарищам новой фуражкой. С берега что-то кричали. Слов не было слышно... Стало грустно. Прежнее противоречивое желание — одновременно и уехать и остаться — печалило Сашу. Но вскоре лицо его осветилось улыбкой радостного ожидания...»

Не столько факты, описанные в этом рассказе, затронут какие-то струны в сердце читателя, сколько интонация автора, атмосфера внутренней чистоты, которой проникнут рассказ, поэтичность в изображении духовного мира Саши Сибирцева: перед нами как бы раскрываются новые силы его души.

Особенностью творчества А. Шейкина является способность очень экономными средствами многое сказать читателю. Буквально несколько строк в этом маленьком рассказе уделено начальнику гидрометеостанции Барышеву, но писателю удалось

«Молодой Ленинград». Альманах. Сборник первый. 442 стр. «Советский писатель», Л. 1955.

живо наметить облик этого педантичного, строгого, внешне сухого, а в сущности душевного человека, не лишённого лирического восприятия жизни.

Та же лирическая струя проходит и через второй рассказ А. Шейкина — «Полевая приёмка». Студент топографического техникума Сергей Никитин, во время производственной практики затосковавший по дому, обманул старого преподавателя — закончил съёмку местности без измерений, «наизусть». Обман открылся.

На этом несложном сюжете А. Шейкин создаёт образ преподавателя, старого человека с молодым ещё отношением к жизни. Он вспоминает, как работал в былые времена, выполняя первые подряды по разделу помещичьих и крестьянских земель... Это было старое, давно забытое, но он не научился мечтать. «С какой радостью прошёл бы он с планшетом и кипрегелем по дну будущих морей, по трассам каналов, среди новых лесных полос».

Но теперь слово за молодыми... Вот он, молодой топограф Сергей Никитин, обманувший своего учителя. Однако Семён Алексеевич понимает, какой душевный кризис пережил Сергей за несколько часов совместной работы в лесу.

«Семён Алексеевич подошёл ближе. Сергей всё ещё не видел его. Он похудел за эти сутки. Лицо стало суровым. Всё это хорошие признаки.

— Ну, ладно,— сказал Семён Алексеевич, кладя на плечо ему руку: — Продолжим приёмку...»

Так лаконично, сдержанно говорит А. Шейкин о повзрослении своего героя. И хотя писатель ни словом не упоминает об этом, мы знаем: если Семён Алексеевич стал уже стар, Сергей Никитин пройдёт за него по дну будущих морей и по трассам каналов.

В этом — поэтическое звучание малёнькой, казалось бы, будничной темы.

Мы встретим в альманахе и другие рассказы, сила которых в правдивости и непосредственности жизненных наблюдений автора. Отсюда — верность психологического рисунка, эмоциональность повествований.

Рассказу «Навстречу счастью» очень близок по замыслу рассказ В. Курочкина «Дарья». И здесь речь идёт о том, как любовь пробудила в человеке новые жизненные силы. Правда, любовь менее светлая и менее счастливая, чем у Саши Сибирцева.

Своеобразен по творческой манере небольшой рассказ О. Грудниина «Рождение солдата». Автор несколько необычно подошёл к теме. Не рисуя подробно обстановки, не называя даже своих героев по именам, он намеренно лишает рассказ конкретности деталей. Однако О. Грудниин сумел показать внутреннее состояние паренька, чуть не струсившего, чуть не предавшего собрата по оружию, но во-время остановившегося на краю пропасти. Сначала подчинившись воле умирающего, молодой солдат возвращается, но потом, уже сам раненный, выносит под пулями старшего товарища.

Несмотря на простоту ситуации, рассказ не выглядит схематичным, он трогает, так как автор уловил душевное движение героя, осветившее всё произведение.

Но в том же альманахе, в других рассказах, можно увидеть, как та же тема — становление человека — раскрывается схематично. Сюжетная коллизия в таких рассказах полностью исчерпывает глубину авторского замысла.

Юрий Чернов в рассказе «Медвежий угол» показывает молодую супружескую пару. Несмотря на увещания тётки, Зина и Володя решаются оставить отдельную квартиру, удобства городской жизни и едут жить и работать «бог знает куда», в заброшенное место.

В этом рассказе есть отдельные удачи. Он строен композиционно. В нём удались некоторые образы героев «второго плана», например, образ тётки Владимира, человека с убогой, мещанской психологией.

Но основных героев — Зины и Володи — мы не видим; фигуры их расплывчаты, не ясны. И вовсе мы не разделяем восхищения Ю. Чернова этими супругами. Все их достоинства сводятся к тому, что они не протестуют против отъезда. Однако неизвестно, как повели бы себя Зина и Владимир, если бы они в самом деле встретились в «медвежьем углу» с настоящими трудностями.

Так же внешне решает тему Н. Дементьев в «Рассказе Пелагеи Васильевны». Старая работница, от имени которой ведётся повествование, рассказывает о стахановце, погнавшемся за лёгкой славой. Егор изменил любимому делу, и только случай помог ему осознать глубину совершённой ошибки. И здесь есть отдельные живые штрихи, например, короткая, но динамичная сцена поднятия катера. Однако автор

не проникает в психологию своего героя, ограничиваясь прямыми утверждениями: «Кружит голову Егору внимание общее...», «Егор раза два-три в неделю вместо работы на выступления всё ездит...», «Егор вскоре техникум совсем забросил...», «По утрам Егор с Полей встают поздно, в постели всё болтают...»

В рассказе даны внешние приметы перерождения Егора, но художественно не раскрыто, как этот умный, передовой человек, любящий своё дело, столь легко превращается в обывателя.

Герцем рассказа Евгении Васютиной «День рождения» является юноша, любимец семьи, ставший жертвой обожания матери и невнимания постоянно занятого отца. Избалованный, эгоистичный, он совершает страшное преступление: в пьяном угаре Виктор насмерть задавил машиной знакомую девушку.

В этом рассказе выделены на первый план эпизоды ненужные, да к тому же и искусственные. Например, перед самой катастрофой отец Виктора зачем-то заходит в отделение милиции, ведёт беседу с капитаном о нравственном облике человека, затем вновь встречается с тем же капитаном. Эти подробности отнюдь не способствуют решению темы. В то же время о взаимоотношениях Виктора с отцом говорится вскользь, намёком, одной-двумя фразами, и рассказ, в сущности, сводится к описанию сцены катастрофы.

О несчастном замужестве Милы Смирновой, которая нашла в себе силы порвать с мужем и поехать на освоение целинных земель, повествует А. Володин в «Личной жизни». Удался А. Володину образ мужа Милы — человека ограниченного, чёрствого, фальшивого. Но конфликт между ним и Милой получился мнимым, и прежде всего потому, что внутренний мир Милы остался нераскрытым для читателя.

Произведения Васютиной, Чернова, Дементьева неравноценны по художественному уровню, но их объединяет нечто общее. В них чувствуется заданность — когда не жизнь подсказывает автору тему, а, напротив, автор, отталкиваясь от отвлечённой идеи, развивает сюжет и населяет своё произведение людьми, необходимыми для выражения той или иной мысли.

Есть такие книжки для детей: контуры будущего рисунка нанесены, надо лишь расцветить его. Но как бы старательно ни

подбирали мы краски, настоящая картина таким образом создана не будет. То же самое мы видим и в рассматриваемых рассказах.

В небольшой статье трудно охватить все произведения сборника. Но вот рассказы и повести прочитаны; складывается общее впечатление от прозаической части книги. Надо сказать, что тут возникает чувство неудовлетворённости. Тургенев ровно сто лет тому назад, при выходе первого сборника стихотворений Некрасова, сказал: «Собранные в один фокус, они жгутся».

Здесь — иная картина. Собранные вместе, произведения альманаха проигрывают. Схематичное, прямолинейное, лобовое решение наиболее значительных тем обезцвечивает книгу.

Да, наряду с тонкими рассказами А. Шейкнна, В. Курочкина и некоторых других авторов (заслуживает упоминания маленькая повесть М. Шургина «Зима в Бежице» — о деревенском мальчугане) мы встречаем произведения, хотя и поднимающие вопросы очень важные для нашей современности, однако написанные примитивно, схематично, шаблонно. Никто не усомнится в том, что необходимо писать о родителях, плохо воспитавших сына, о зазнавшемся стахановце или о людях, сумевших покинуть удобства большого города ради любимого дела. Но ведь чем значительнее замысел, тем ярче, глубже, своеобразнее должно быть его воплощение. Хотелось бы увидеть в рассказах, которые по серьёзности затронутых тем могли стать ведущими в альманахе, острые наблюдения, яркие мысли, раскрытие новых сторон жизни. Ведь писатель, особенно молодой, должен быть разведчиком, первооткрывателем.

Альманах «Молодой Ленинград» выдвинул новые имена способных авторов. Пожелаем им на будущее глубже всматриваться в жизнь, вдумчивее осмысливать её, смелее поднимать новые темы.

Здесь невольно на память приходит альманах, также созданный при участии совсем молодых авторов. Он вышел в Петербурге в середине прошлого столетия. «Физиология Петербурга» — так назывался этот сборник. Какой остротой содержания отличался он! Очерк юного Некрасова «Петербургские углы», очерки молодых Григо-



ровича, Казака Луганского (В. И. Даля) и других авторов (не говоря о статьях такого сложившегося уже автора, как Белинский) привлекли внимание общественности к совершенно новым для того времени явлениям жизни. Вот почему альманах пользовался среди читателей большей популяр-

ностью, чем старые журналы, блиставшие именами известных литераторов. Он привлекал свежестью материала, остротой поднятых тем.

Это стоит помнить молодым писателям, вступающим в литературу сегодня.

А. ЛОЖЕЧКО.

★

## Портрет современника

**П**ортрет современника! Вот одна из больших и прекрасных задач, стоящих перед советскими очеркистами, документалистами. Наша жизнь богата интересными людьми, новаторами, передовиками, борцами за новое в сельском хозяйстве, науке, промышленности. Читатель вправе ожидать, вправе требовать, чтобы ему рассказали о работе и жизни, о поисках и борьбе и токаря-скоростника Борткевича, и супругов Лазаренко, создавших новый электроискровый способ обработки металла, и зауральского полевода Терентия Мальцева, успешно применившего новую систему обработки почвы, и ещё многих, многих других советских людей, известных благодаря своему труду, своим исканиям. Дело очеркиста — откликнуться на эту потребность, удовлетворить её, рассказать читателю о новаторстве и о новаторе.

«Раннее утро. Туманная дымка ещё не рассеялась над дальним берёзовым колком. На небе ни облачка. Снова будет знойный день. По узкой пыльной дороге мимо полей, страдающих от засухи, идёт высокий босой человек. Козырёк сплюснутой кепки надвинут на глаза так, чтобы солнце не мешало читать... Уходя в поле, Мальцев часто брал с собой книгу и, вышагивая десятки километров по пыльной дороге, посевам, пашне, жадно читал. Под открытым небом легко дышалось, никто не отрывал от книги, и незаметно протекал час за часом. Весной и летом босой (люблю ногой чувствовать землю!), осенью в высоких русских сапогах, он проходил ежедневно десятки километров». Так пишет Геннадий Фиш, и в этой мимоходом брошенной фразе — люблю босой ногой чувствовать землю! — весь Терентий Мальцев, сибирский хлебороб, который сумел стать настоящим исследователем природы, не отрываясь от родной почвы, который с улыбкой говорит

о себе: «В моём положении есть ещё и то преимущество, что... меня нельзя понизить по должности. Ведь я колхозник».

Одному и тому же человеку — «колхозному учёному» Терентию Семёновичу Мальцеву — посвящены и напечатанный в пятом номере журнала «Октябрь» за этот год очерк Геннадия Фиша «Открытие Терентия Мальцева» и небольшая очерковая книжка Александры Горобовой «В зауральском колхозе». Располагая, по сути дела, одним и тем же материалом, каждый из очеркистов шёл своим путём, решал задачу создания очеркового портрета своими средствами, у каждого оказались свои удачи и просчёты, свои победы и поражения, о которых хочется поговорить, поспорить.

А. Горобова уже не один год заинтересованно следит за работой Терентия Мальцева, за его творческим ростом, за тем, как идут дела в «Заветах Ильича». Книга её выросла из маленького очерка, напечатанного в своё время в альманахе «Год тридцать третий». Хорошо льётся неторопливая авторская речь, есть у очеркистки свой говор, своё отношение к слову. Письмо А. Горобовой, внешне сдержанное, эмоционально; она, зоркая на деталь, памятливая, умеет увидеть, умеет рассказать об увиденном читателю, донести до него своё непосредственное, подчас минутное впечатление нерастраченным, непотускневшим. Вот Мальцев, удаляясь от грузовика, идёт по пахоте ровным шагом, как по тротуару (научился по парам ходить, большая практика!). Вот в знойный день, в тяжёлое, засушливое лето он сжимает и разжимает в пальцах горсть влажной земли с колхозного поля (влажной, не смотря ни на что!) и радуется: «Как творог... Как масло». Вот он задумчиво рассматривает колос, выросший на обочине дороги, — какой крупный, а ведь вырос на земле плотной, непаханной, так, может быть, она и не во всех случаях обязательна, ежегодная-то пахота...

Манера письма А. Горобовой отличается некоторой эскизностью, фрагментарностью.

Геннадий Фиш. «Открытие Терентия Мальцева». «Октябрь» № 5 за 1955 год.

А. Горобова. «В зауральском колхозе». Трудрезервиздат, М 1955.

Книжка построена, как три встречи с Мальцевым, три наезда в Зауралье — в сорок восьмом, сорок девятом и пятьдесят втором году. Очеркистка всё время присутствует на страницах книги, её очерк — это художественный отчёт о том, что она видела и слышала, рассказ скорее о встречах с Мальцевым, чем о жизни Мальцева. В этом и сила книги: сохраняется, особенно в лучших кусках, прелесть непосредственного восприятия, у читателя создаётся ощущение личного, можно сказать, даже интимного знакомства с краем, с людьми. Но это таит в себе и слабую сторону — возможным становится случайное распределение материала, распыление авторского внимания.

Такой подход приводит к тому, что порой (хотя каждая глава в отдельности написана тонко и свежо) целое страдает. Получается неполная, неточная картина — важное опускается, неважное, второстепенное, с точки зрения авторского замысла (зримо написанные зимние пейзажи районного центра Шадринска), а то и вовсе ненужное (бригадир огородной бригады Маша с её серёжками и круглым подбородком) разрастается, уравнивается в правах с основным, во имя чего написан очерк. Получается, что не всегда писательница властвует над своими впечатлениями, подчас впечатления властвуют над ней.

Мальцев предстаёт в очерке чаще рассказывающим, чем действующим. Его рассказ, обстоятельный и деловой, — обращается ли он к многочисленной аудитории в официальной обстановке или к навестившей его очеркистке — это прежде всего изложение доктрины, научных взглядов, популяризация того или иного итога, к которому пришёл Мальцев. Это интересно, это необходимо, но читатель ждёт и другого. Ждёт он, чтобы писательница показала, какой ценой получен этот итог, осветила самый путь исканий, психологию творчества, раскрыла бы драматизм той борьбы, которая всегда присуща жизни новатора, — борьбы с сопротивлением природы и борьбы с сопротивлением людей, приверженных к старому.

Очерк написан ясно, в чистых тонах, но, может быть, чересчур спокойно. Выигрывают те страницы, где ощущаешь остроту столкновения, — так, стычка Мальцева с агрономом из областного управления сельского хозяйства позволяет увидеть в лицо противника, ощутить въяве напряжение борьбы. Хороши главы, посвящённые труд-

ному лету сорок девятого года с его сухими пыльными бурями, они наглядно говорят о тяжести борьбы человека со своей вольной природой.

Переходя к очерку Геннадия Фиша, хочется сказать, что эта работа прежде всего привлекает большим познавательным материалом, умело найденной последовательностью повествования, полнотой и ясностью изложения. Отдельные моменты творческой биографии Терентия Мальцева предстают перед нами как этапы большого пути, пути исканий. Вот они, эти этапы. Селекция, попытка вывести местный сорт, который бы не боялся ни июньской засухи, ни здешних июльских дождей. Вывести такой универсальный сорт Мальцеву не удаётся. Ну, что же, он меняет тактику, но борьбу продолжает. Так рождается мальцевская агротехника, комплекс мероприятий — маневрирование двумя сортами взамен одного в зависимости от того, какова весна, изменение сроков сева с учётом обстановки. И, наконец, смелая мысль о том, что не только многолетние травы, но и пшеница при определённых условиях может наращивать плодородие почвы, что ежегодная пахота полей не является обязательной догмой...

Плотно насыщенный материалом, очерк пронизан борьбой, логикой борьбы определяется самое его построение, продиктован отбор материала. Но жаль, что порой у Геннадия Фиша проявляется досадная суховатость письма, неоправданный аскетизм, когда, увлечённый сутью того, о чём он рассказывает, очеркист не позволяет себе отвлекаться никакими подробностями, отказывается, по сути дела, от образного воздействия на читателя. И тогда вместо живого рассказа идёт деловое, сухое перечисление фактов, скреплённых мыслью автора, но не освещённых эмоцией.

Особенно это даёт себя знать во второй половине очерка, в таких, например, главах, как «Эксперимент и урожай», «Пассивное сопротивление», где очерк растекается вширь, а личность Мальцева оказывается как бы притенённой. Там, где автор теряет своего героя, очерк тускнеет. И, наоборот, хороши те главы, где Мальцев как человек больше раскрывается перед читателем, проявляет свой характер в действии, в борьбе («Вещь для нас», «Разведка боем» и другие).

Геннадия Фиша упрекали одно время в книжности, в том, что он закапывается в

историю, перегружает читателя ссылками, цитатами, воспоминаниями о прочитанном. Сейчас эти упрёки опадают — очерк, напечатанный в «Октябре», рождён живым интересом к живому герою, от его страниц веет свежим дыханием то прогретых солнцем полей, то глубоких пуховых снегов Зауралья. Это — горячее слово очевидца и участника событий. Пусть будет так! Ведь А. М. Горький (если задуматься поглубже над его формулировкой, что очерк лежит между исследованием и рассказом) понимал под очеркистом-исследователем в первую очередь не книжного, кабинетного изыскателя, но исследователя жизни, современной ему действительности. Можно смело сказать, что не только герой очерка, но и сам очеркист должен уметь «босой ногою чувствовать землю», стоять на ней прочно, всей ступнёй.

Однако в очерке, ладно и крепко сбитом, на отлёте стоит глава «Голоса истории». Можно согласиться, что образ И. Овсинского, талантливого агронома прошлого века, заслуживает отдельного исследования, но к очерку «Открытие Терентия Мальцева» он ничего не прибавляет, глава кажется чужеродным телом, только мешает, отвлекает от основного, того, на что нацелен очерк.

Значит ли это, что в очерке о современности прошлое под запретом? Проверже-

нием может служить хотя бы глава «Напутствие Горького» (о том, как Алексей Максимович в первом номере журнала «Колхозник» напечатал статью неизвестного полевода из Шадринского района Терентия Мальцева), глава, тоже обращённая в прошлое, тоже связанная с розысками в архивах и представляющая притом несомненную удачу автора. Она рисует нам истоки творческой биографии Мальцева, обогащая его образ. Нашёл в очерке место и рассказ о прошлом Шадринского края. Надо только, чтобы цитата, ссылка на источник, картинка прошлого возникала не по воле случая, а в силу необходимости и служила бы общему замыслу.

Две очерковые работы, о которых шла речь в статье, не лишены, как мы видели, недостатков. А. Горобова, выигрывая в яркости отдельных картин, подчас проигрывает с точки зрения стройности и полноты целого. Геннадий Фиш, построив здание с прочным каркасом, грешит порой суховатостью рассказа. Но, несмотря на это, читатель с интересом, с пользой для себя прочтёт оба эти очерка — они непохожи друг на друга, каждый привлекает своим, интересен по-своему. Не совпадая при наложении, эти две работы в сумме дают запоминающийся портрет нашего современника.

Нат. СОКОЛОВА.

★

### Сборник воспоминаний или хрестоматия?

Выпускаемую Гослитиздатом серию литературных мемуаров надо всячески приветствовать: она интересна и широкому кругу читателей и специалистам. В ней наметилось два одинаково нужных типа: один — отдельные «памятники» русской мемуарной литературы (как, например, изданные в 1950 году «Литературные воспоминания» И. И. Панаева), другой — избранные воспоминания разных лиц об отдельных писателях (вышли сборники воспоминаний о Гоголе, Чехове, Горьком). В первом случае задачи и обязанности редактора ясны и определённы: он должен дать хорошо проверенный по первоисточникам текст публикуемого материала и сопроводить его основательными примечани-

ями. Во втором случае дело обстоит несколько сложнее: редактор должен быть составителем сборника, а для этого ему надо сделать большую предварительную работу по отбору материала. Какой принцип положить в основу этого отбора? Мало того. Как расположить отобранный материал, чтобы была своя логика, своя композиция? Вряд ли можно найти для этих задач и вопросов вполне бесспорные и неизменные решения; отсюда, однако, не следует, что самое верное — вовсе их не ставить и не решать.

Не так давно были в большом ходу (и, несомненно, принесли немалую пользу) биографические «монтажи»; в них вопросы отбора и композиции решались как бы сами собой, поскольку всё подчинялось простому принципу хронологической последовательности фактов. Личность мемуариста не имела при этом никакого значения: материал дробился на куски и цитировался в соответствующих местах книги как

«Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников». В двух томах. Подготовка текста и комментарии Н. Н. Гусева и В. С. Мишина. Предисловие К. Н. Ломунова Государственное издательство художественной литературы. Серия литературных мемуаров, М. 1955.

биографический документ наряду с письмами и дневниками самого писателя. В итоге получалось нечто вроде биографического сценария: жизнь писателя проходила перед читателем в виде быстрой смены последовательных кадров. Иное дело — нынешние сборники воспоминаний. Мемуары здесь не дробятся, а даются в целом виде или только с некоторыми купюрами; тем самым хронологический принцип должен отпасть. Какая же может быть хронологическая последовательность, если мемуаристы большей частью рассказывают о событиях разных лет? Да и к чему она в таких сборниках? Здесь — иная тема, иной сюжет и жанр.

Мемуарная литература о Толстом чрезвычайно обширна, многообразна, противоречива и пестра. Очень нелегко произвести отбор этого материала так, чтобы избежать случайности или односторонности, трудно его сокращать (а не сокращать невозможно) и всего труднее расположить. Составители книги «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников» почему-то не поделились своими соображениями и принципами; между тем все поставленные выше вопросы относятся к этой книге в полной мере. Может быть, составители рассчитывали на то, что обо всём этом скажет автор предисловия? В таком случае произошло досадное недоразумение: под заголовком «Предисловие» в первом томе помещена пространная вступительная статья, в которой говорится о чём угодно, кроме вопроса о том, как составлена эта книга, каковы были принципы отбора и расположения материала. Автор сообщает, что воспоминания современников о Толстом «доносят до потомков живые черты одного из величайших художников слова», что они «содержат богатейшие материалы, освещающие его взгляды на искусство и литературу», что книга эта «помогает полнее и отчётливее представить себе живой образ великого писателя» и т. д. и т. п. Всё это очень красноречиво, но и без того ясно, а вот о принципах сделанной работы — ни слова. Чем же руководствовались составители?

В книге нет никаких частей или разделов, но материал расположен явно по хронологическому принципу. Сначала напечатан кусочек из воспоминаний сестры Толстого (в изложении А. Хирьякова) о его детстве, потом — запись С. А. Толстой о его юности, потом — отрывки из разных

воспоминаний, в которых говорится о жизни Толстого в пятидесятых, в шестидесятых годах и т. д. Первый том составители решили посвятить жизни и деятельности Толстого до начала девяностых годов (то есть примерно за 50 лет); второй отведён последним пятнадцати годам. Итак, сборник построен, видимо, по принципу биографического «монтажа» — с той разницей, что материал не дробится на мелкие куски. Тем самым монтажный принцип сталкивается с собственно мемуарным, и никакой хронологической последовательности не получается. Например, отрывки из дневников С. А. Толстой помещены по их начальной дате (1863 год), однако дневниковые записи следуют дальше — вплоть до 1910 года. После дневников напечатаны её же «записи разные для справок»; начатые в 1870 году, они заканчиваются 1881 годом. Далее следуют отрывки из воспоминаний Т. А. Кузминской о яснополянской жизни шестидесятых годов; однако они тоже заканчиваются событиями, относящимися к восьмидесятым годам. Затем — «Очерки былого» С. Л. Толстого: сначала речь идёт о семидесятых годах, а потом автор вспоминает, как Толстой работал над «Воскресением» (1898—1899 годы). Что же это за скачущая вперёд и назад хронология и какая же это композиция? В предисловии сказано, что эта книга «даёт представление об основных этапах жизненного и творческого пути Толстого». Пустые слова и совершенно неправильная установка! Разве может сборник воспоминаний претендовать на такую сложную задачу? Представление о жизненных и творческих «этапах» Толстого может дать только научная монография.

Хуже всего то, что эта неправильная установка привела к одностороннему и даже тенденциозному отбору материала, особенно в первом томе. Например, о жизни Толстого на Кавказе говорится всего несколько слов в очень наивной записи С. А. Толстой: «Он часто говорил мне, что лучшие воспоминания его жизни принадлежат Кавказу», — и тут же прибавлено, что он вёл там «самую чистую, спокойную, нравственную жизнь». Вместо этих ничего не значащих общих фраз надо было поместить хотя бы письмо В. Фаусека, в котором довольно ярко описана бурная жизнь юного Толстого среди терских казаков: «Уже и тогда видно было, что биток будет». Или это недостаточно почтительно? О севасто-

польском периоде нет ни слова, как будто составители забыли о существовании мемуаров И. Андриевского, Н. Кашкина, Ю. Одаховского, П. Глебова. В предисловии сказано: «То немногое, что сообщили очевидцы о Толстом — участнике севастопольской обороны,— не затемняет его облика храброго, передового офицера-патриота, воспевшего в своих рассказах бессмертный подвиг защитников Севастополя». Так почему же не дано слова ни одному из этих очевидцев? Почему вообще молодости Толстого отведено так непропорционально мало места? Почему некоторых интересных воспоминаний и дневников нет совсем, а наряду с этим напечатан совершенно бесцветный материал?

Вся беда в том, что в основу книги положен формальный, не соответствующий природе материала хронологический принцип. В сборниках такого типа (в отличие от биографических монтажей) первостепенное значение приобретает самая личность мемуариста — его общественная позиция, его отношение к данному писателю, его профессия и т. д. При составлении сборника воспоминаний о Толстом главная установка должна была быть на характер и качество мемуаров. Из всей массы воспоминаний и дневников надо было прежде всего отобрать наиболее достоверные и содержательные, а затем группировать их не по «этапам» жизни, а по авторам: в одной группе — члены семьи, в другой — близкие друзья и помощники, в третьей — писатели и общественные деятели и т. д. Книга не производила бы впечатления механического собрания отрывков — числом поболее, а по существу без всякого принципа. В нынешнем своём виде сборник кажется сделанным торопливо, необдуманно и не вполне профессионально. Кстати, в таком издании надо было дать библиографию мемуарной литературы о Толстом — и не только русской, но и зарубежной.

Остаётся сказать о редакторских примечаниях. Они сделаны старательно, но с тем же механическим подходом к тексту воспоминаний, как и отбор. Например, когда И. Л. Толстой вспоминает о сцене свидания Анны Карениной с сыном, редактор поясняет: «Свидание Анны с сыном описано в главах ХХІХ—ХХХ пятой части романа», хотя вряд ли читатель нуждается в такого рода справке; но вот в тех же мемуарах говорится, что «при французе Nief'e» дети читали Дюма. Естественный

вопрос: кто такой этот француз? Редактор молчит. А между тем вот случай, когда примечание редактора было бы очень уместно. «Француз Nief» был гувернёр, которого Толстой привёз в январе 1878 года из Москвы в Ясную Поляну; в воспоминаниях С. Л. Толстого о нём сказано следующее: «Пока он у нас жил, я не знал, что он совсем не Nief, а Jules Montel, из старой французской фамилии, чуть ли не виконт. Он был коммунаром и скрывался в России под псевдонимом. Может быть, он сказал об этом моему отцу при поступлении, но я узнал об этом только тогда, когда он от нас уехал» («Очерки былого», 1949, стр. 48). Интереснейший, заслуживающий специального внимания факт — особенно если учесть, что в это же время Толстой взял домашним учителем В. И. Алексеева, «прожившего два года в Канзасе в Америке в русской колонии коммунистов» (как сообщал Толстой Н. Н. Страхову в письме от 3 января 1878 года). Ньеф прожил в Ясной Поляне до октября 1879 года. «Коммунары были амнистированы, и он уехал во Францию», — говорит С. Л. Толстой. Обо всём этом в примечаниях к сборнику воспоминаний нет ни слова — и даже в указателе имён фамилия Ньеф отсутствует.

Это не единственный случай, когда обходится молчанием именно то, что должно бы быть разъяснено. С. Т. Семёнов вспоминает, как в беседе Г. А. Русанова с Толстым речь зашла о повести Чехова «Моя жизнь»: «Мне думается,—сказал Русанов,— она навеяна историей князя Вяземского, вот этого чудака, что жил под Серпуховом». Редактор молчит, а между тем «история» помещика В. В. Вяземского, «опростившегося» ещё в пятидесятых годах, очень интересна — и отчасти именно по связи с Толстым. П. И. Чайковский вспоминает, как Толстой залился слезами, слушая *andante* из его квартета; примечания нет, а следовало сказать, что это произошло в концерте из произведений Чайковского, устроенном Н. Г. Рубинштейном (в 1876 году) специально для Толстого. Ещё пример. В дневнике В. Ф. Лазурского от 11 августа 1894 года записано, что была прочитана вслух повесть Ольдена «Женитьба Кнауза» (перевод с немецкого), напечатанная в августовской книжке «Северного вестника»: «Вещь эта всем мало понравилась, хотя Лев Николаевич сказал: «Недурно». Редактору не мешало бы навести справку о

писателе Юлиане Ольдене и заглянуть в августовскую книжку «Северного вестника», чтобы сообщить в примечании, что это за повесть. Ничего этого не сделано, а в именном указателе стоит коротко и неясно: «Ольден» — без имени, без годов и даже без сопроводительного указания на профессию. Иной редактор поинтересовался бы и картиной Бастьен Лепажа «Деревенская любовь», о которой художник М. В. Нестеров говорил с Толстым. «Картина эта по сокровенному, глубокому смыслу более русская, чем французская», — пишет Нестеров. Читатель был бы очень благодарен, если бы в примечании было сказано, что это за картина и где её репродукция. Такого рода пожеланий можно собрать много. Дело не в отдельных пропусках (они всегда могут быть), а в общем стиле комментария: он носит мелочно-биографический характер.

Отметим, наконец, что сборник иллюстрирован более чем странно — так, как будто под рукой у редактора не оказалось ничего, кроме пяти общеизвестных фотографий (на 1000 страниц текста!). Фронтиспи-

сом к первому тому дан Толстой 1910 года; естественно было бы поместить здесь его портрет эпохи «Войны и мира» или «Анны Карениной». Дальше — фото 1909 года: Толстой и Репин. И всё. Нет ни членов семьи, ни друзей, ни писателей. Во втором томе — три фото: Толстой в Гаспре, Толстой и Мечников, Толстой и Чехов. Почему же так бедно и так случайно? Лучше было бы не иллюстрировать вовсе.

В целом эта книга должна вызвать у читателей некоторую досаду. Это не сборник наиболее ярких и содержательных мемуаров о Толстом (как можно было ожидать), а нечто вроде биографической хрестоматии, составленной не без скучного намерения обойти все острые углы и сгладить «кричащие противоречия» его сложной жизни и личности. А читателю нужно другое — то, чего в биографиях не найти: он хочет представить себе живого Толстого, каким его нарисовали современники в ряде талантливых воспоминаний. Надо было ориентироваться не на количество мемуаров, а на их качество.

Б. ЭЙХЕНБАУМ.

★

### Книга о прогрессивной зарубежной литературе

Важность и актуальность проблем, связанных с изучением современной зарубежной литературы, заставляют приветствовать инициативу молодых учёных МГУ, опубликовавших сборник статей о выдающихся мастерах прогрессивной литературы стран Западной Европы и Америки. Но именно важность этих проблем заставляет нас с особенной требовательностью оценить труд молодых авторов, задуматься над тем, насколько им удалось разрешить поставленные перед собой задачи.

Основной заслугой рецензируемой книги мы считаем её политическую остроту и актуальность, пронизывающий её общественный пафос. Все статьи написаны на основании изучения не только художественных, но и публицистических произведений писателей с привлечением обширного материала современной демократической печати.

«Современная прогрессивная литература зарубежных стран в борьбе за мир». Сборник статей под редакцией проф. Р. М. Самарина. Авторы: И. Грикина, Е. Простакова, Н. Рачинская, Н. Козлова, Ю. Уваров, Т. Ланина, Л. Касаткина, А. Бельский, И. Дубашинский. Издательство Московского университета, 1954.

В этом смысле обращают на себя внимание статья А. Бельского «Американская прогрессивная литература в борьбе за мир», где даны сведения не только о писателях, но и о передовой журналистике, статья И. Грикиной «Генрих Манн — боец против империалистической реакции». Хорошо, что художественные произведения рассматриваются на широком фоне публицистической мысли и, что особенно важно, на фоне питающих эту мысль политических событий и социальных явлений. К достоинствам рецензируемого сборника следует отнести и попытку некоторых авторов подробно раскрыть эволюцию изучаемых писателей, показать эту эволюцию как процесс трудный и длительный. Такую попытку делает, например, Н. Козлова в статье «Поэзия Арагона в борьбе за мир и независимость Франции». Интересный материал содержат также другие статьи сборника.

Однако при несомненных достоинствах сборника, и несмотря на ценность самого его замысла, в целом он оставляет читателя неудовлетворённым, вызывает в нём чувство разочарования.

Важнейшим недостатком книги нам представляется то, что в ней мало учтено и

упрощённо трактуется многообразие современной прогрессивной литературы. Ведь понятие «прогрессивная литература» охватывает сейчас очень широкий круг разнообразных явлений, а молодые критики либо считают за неудачу писателя всё то, что склоняется от их представления о социалистическом реализме, либо в своём анализе игнорируют все такие отклонения со стороны писателя.

В этом смысле характерна статья о Говарде Фасте. Всё, что не укладывается в схематическую концепцию автора, И. Дубашинского, попросту отбрасывается. Видя в книге «Пикскилл, США» вершину эволюции Г. Фаста (а эту эволюцию автор стремится представить как прямую линию к совершенству), критик ничего не говорит о более поздних — весьма трудных для анализа — исторических романах Г. Фаста. Игнорирует автор также и многие сложные творческие приёмы писателя. Как известно, Г. Фаст неоднократно показывал в своих романах, что личная порядочность и мягкосердечие бесцельны и ничёмны, а иногда превращаются в свою противоположность, когда обладатель их служит неправому делу. Г. Фаст даже подчёркивает эти «добрые» стороны в характере своих персонажей для того, чтобы тем яснее раскрыть неправоту их дела, которое не спасает их долбота. Это имело место в «Последней границе» и в «Американце», в частности в изображении Питера Альтгельда. Критик же снимает всю сложную проблематику построения образа у Г. Фаста и, явно наперекор фактам, утверждает, что Альтгельд «субъективно оказался в некоторой степени честным человеком» (разрядка моя.— Н. Д.). Неуместность этой «осторожной» формулировки очевидна: ведь весь замысел романа держится на том, что при всём своём личном благородстве Альтгельд был бессилён против монополистов и оказывался их орудием.

Характерный пример догматической узости в оценке писателя представляет утверждение И. Грикиной, что одной из важнейших идей романа Г. Манна о Генрихе IV является мысль о народе, массах, как прогрессивной движущей силе истории, и что эта идея «по существу осталась декларацией». Критик обвиняет писателя в неумении показать силу народа, недооценивая при этом важную, новую для творчества Г. Манна проблему изображения личности передового деятеля-гуманиста, опирающе-

гося на народ. А ведь именно в этом заключается движущая сила романа!

Упрощённый подход к материалу сказывается и на методе анализа художественных образов. Пример тому — центральные образы романа «Дипломат». Критики Т. Ланина и Л. Касаткина напрасно отрицают всякое личное обаяние реакционера Эссекса, старательно подчёркнутое Олдриджем, и недостаточно раздумья сложного раздутья противника Эссекса, Мак Грегора, долгое и трудное формирование его личности, очень важное в замысле Олдриджа. Аналогично этому при рассмотрении романа Гейма «Крестоносцы» критик А. Бельский наивно полагает, что бегло очерченный образ Ковалёва более достоин высокой оценки, чем образ центрального героя, Иетса, потому только, что, в отличие от Иетса, «его не мучают внутренние сомнения».

Естественным следствием догматической постановки вопросов явилось невнимание к художественной стороне анализируемых произведений, неумение раскрыть творческий метод писателей.

Разумеется, мы не вправе ждать от авторов сборника полной, всесторонней характеристики Генриха Манна, Г. Фаста или Арагона: ведь авторы — в соответствии с темой сборника — хотели изучить этих писателей прежде всего как борцов за мир. Однако молодые критики должны были показать, как это участие передовых художников в борьбе за мир осуществляется специфическими средствами искусства.

В статьях сборника сплошь и рядом стирается грань между идейным замыслом произведения и творческим воплощением этого замысла. Авторы как бы не дают себе отчёта в том, что идея становится эстетическим фактом только в том случае, когда она приобретает плоть и кровь художественного образа. И, конечно, нельзя в оценке произведения исходить только из его тематики.

Забывая об этих простых истинах, И. Дубашинский утверждает, что «Кларктон» Г. Фаста по сравнению с предыдущими романами «свидетельствует о возросшем мастерстве писателя». Так ли это? Разве, например, «Последняя граница» не вызывает ненависти к свиному мерзостям капитализма — ненависти отнюдь не менее сильной, чем способен вызвать «Кларктон», тематически более актуальный? Разве не

очевидно, что неукротимая страсть к свободе, которая в «Последней границе» наша забываемое поэтическое воплощение, может воспитать борцов за свободу человечества отнюдь не в меньшей мере, чем «Кларктон», где реализм Г. Фаста проявился не в полную свою силу?

Сформулировав какую-либо из существенных мыслей анализируемого писателя, авторы в большинстве случаев считают свою задачу выполненной. Они не показывают, как именно, какими средствами та или иная мысль, идея доводится до сознания читателя. Так, автор статьи о Г. Фасте полагает, что если Фаст «доказал историческую правоту» героев (рабочих Парсонаса, Дебса и других в романе «Американец»), то тем самым он «приводит читателя к неизбежному выводу», что они «одержали моральную победу» над судом. Это положение правильно, но всё же недостаточно: ведь всё дело в том, какими художественными путями ведёт нас Говард Фаст к этому выводу. Одно утверждение «исторической правоты» здесь мало, нужно ведь показать, как историческая правота претворяется у писателя в благородные героические образы.

Общо, декларативно раскрываются в статьях творческие пути писателей. В частности, эволюцию Вилли Бределя Е. Простакова и Н. Рачинская усматривают в том, что образы революционеров-антифашистов сменяются у него положительными героями, изображёнными в «условиях мирного свободного труда на благо народа». Такая смена героя сама по себе ничего не говорит о развитии Бределя. Даже если бы Бредель не перешёл к темам мирного труда и продолжал бы в условиях мирной демократической Германии разрабатывать тему антифашистской борьбы, то можно было бы говорить об эволюции его творчества в случае изменения его подхода к изображаемому им людям и отношениям.

Слабой стороной сборника в целом является, с нашей точки зрения, и его эмпиричность, то есть, иначе говоря, весьма невысокий научный уровень. Авторы забывают о том, что главная задача исследователя новейшей зарубежной литературы — определение общих принципиальных закономерностей её развития, теоретическое обобщение её завоеваний, серьёзное, продуманное истолкование её неудач. Они не смогли показать ни трудностей рождения нового демократического пути в искусстве,

ни особенностей метода социалистического реализма в зарубежных литературах; они не смогли раскрыть героические, романтические черты новой демократической литературы, её борьбу за непроторённые пути в искусстве, её связи с классической реалистической традицией.

Всё то, что составляет главный, принципиальный, научно-исследовательский интерес при изучении современной прогрессивной литературы, остаётся за пределами и внимания авторов. Анализируя, например, книгу Бределя о Тельмане, авторы ограничиваются пересказом её и вовсе не ставят интересной проблемы героической художественной биографии. Так же эмпирично пересказываются один за другим ранние рассказы Стиля.

Случайный, сбивчивый характер носит большая часть замечаний относительно стилистических особенностей анализируемых произведений. Фантастика и символика рассматриваются как экспрессионистические приёмы, похвала Бределю за обреченную насыщенность его публицистики сочетается с одобрением по поводу отсутствия у него «иносказаний», как будто образность языка не есть род иносказания! Андрэ Стиль порицается Ю. Уваровым за... импрессионизм, который проявляется в рассказе «Антуан», построенном «на первом впечатлении мальчика». Такой «импрессионизм» есть в «Детстве» и Л. Н. Толстого и А. М. Горького, и он нисколько не противоречит реализму.

Похвалы авторов сборника заслуженным писателям и борцам нередко звучат как снисходительное поощрение (например, «Фаст написал нужное и интересное произведение»), а иной раз так же мало обоснованы, как и порицания. Странно звучат слова о глубоком художественном обобщении, заключённом в образе Жерома из рассказа Стиля, если единственным аргументом в пользу этого положения является авторская декларация о прекрасных организаторских способностях и авангардной роли героя. Можно ли в одном этом увидеть художественное обобщение?

Чрезвычайно путаны эстетические наблюдения Н. Козловой в статье об Арагоне. Стараясь (и в этом заслуга статьи) раскрыть идейную и художественную эволюцию поэта, автор усматривает её только в движении Арагона от сложности поэтической формы к простоте. В самом общем виде это, может быть, и справедливо. Но всё дело в том, от какой сложности к



какой простоте развивается поэт, в каких формах проявляется та и другая.

Оставляет желать лучшего и язык, каким написаны статьи в сборнике. Попадают неудачные формулировки, извращающие мысль: Генрих Манн «апеллирует не к трудящимся массам, а к интеллигенции». Есть и просто неряшливые выражения: «Генрих Манн обращается к более близкому знакомству к СССР» или «В основе идейного содержания трилогии (Бределя.— Н. Д.) лежит стремление отобразить...» Неприятное впечатление на фоне не всегда правильной речи производят и выражения штампованной поэтичности, такие обороты, как «гневный пафос... злободневен» или «могучая сила в области отрицания».

★

### Проза Эриха Вайнерта

Само это словосочетание кажется необычным: Вайнерт и проза.

Мы знаем и любим Вайнерта-поэта, поэта-трибуна, автора боевых массовых песен, героических революционных баллад и бичующих стихотворных сатир, поэта-переводчика, познакомившего миллионы немецких читателей со стихами Лермонтова, Потье, Мицкевича, Шевченко, Франко, Блока, Маяковского, Хикмета, Джамбула, Стальского, Суркова, Симонова, Маршака и других поэтов.

О том, что Вайнерт много и талантливо писал прозой, успешно разрабатывал своеобразный жанр драматических миниатюр, знали только его друзья и товарищи—представители старшего поколения немецкого рабочего класса. Рассказы, очерки, драматические миниатюры и репортажи Вайнерта, которые печатались в передовых немецких газетах и журналах в двадцатые годы и начале тридцатых годов и в подпольной печати в годы гитлеровской диктатуры, прежде никогда не были собраны, не выходили отдельными изданиями.

Стихи Вайнерт считал своим главным, проверенным боевым оружием. Стихами он откликался на все события международной политической жизни.

Ещё в годы Веймарской республики, когда в немецких городах появлялись плака-

**Erich Weinert. „Prosa. Szenen. Kleinigkeiten“. Verlag „Volk und Welt“, Berlin, 1955 (Эрих Вайнерт. «Проза. Сцены. Мелочи». Издательство «Народ и мир», Берлин, 1955).**

Подведём итоги: несмотря на старания авторов изобразить «в картине верной» главные явления современной литературной жизни за рубежом, картина эта вышла обеднённой и обесцвеченной.

Сборник свидетельствует о том, что у нас выросли молодые кадры критиков, хорошо знающих и любящих прогрессивную зарубежную литературу. Но эти молодые критики смогут успешно работать лишь в том случае, если отрешатся от схематических, упрощённых представлений, разовьют в себе чуткость к художественному слову, научатся анализировать произведения зарубежных друзей серьёзно, вдумчиво, творчески.

**Н. ДЬЯКОНОВА.**

ты-афиши: «Erich Weinert spricht» («Говорит Эрих Вайнерт»), извещавшие о выступлениях поэта, в те районы, где он читал свои баллады и сатиры, стягивались усиленные наряды полиции. «Охранители порядка» отлично знали, что после встреч с Вайнертом его слушатели уходят с усиленным зарядом революционной отваги, забастовщики становятся упорнее, участники запрещённых демонстраций — настойчивее, изобретательнее...

Во время гражданской войны в Испании Вайнерт — комиссар батальона имени Тельмана, а затем политработник интернациональной бригады — слогал боевые песни, писал сатирические куплеты. Во вторую мировую войну стихи Вайнерта в миллионах листовок проникали в окопы и походные колонны немецких войск, звучали из рупоров наших окопных «звучунок» и агитсамолётов в Сталинграде и Корсунь-Шевченковском, на Днепре и на Одере... Поэзия Вайнерта — «пролетарского Беранже» — давно перешагнула рубежи его родины. Песни «Красный Веддинг», «Песня о Тельмане», «Песня о Коминтерне», «Песня о едином фронте» и другие были переведены на многие языки и звучали в Москве и Мадриде, в Нью-Йорке и Мексико.

Вайнерт издавал свои стихи и не находил времени для собирания и выпуска отдельных изданий сзонх прозаических произведений. Если не считать прежних очерковых сборников, «Сталинградский дневник» и «Камарадас», то только теперь впервые собрана и опубликована часть про-

заических работ Вайнерта в первом томе его избранных сочинений (собрал и прокомментировал Эрвин Райхе).

Открывая эту книгу, невольно испытываешь тревожное чувство. Не окажется ли «новый», почти не изученный до сих пор раздел творчества Вайнерта ниже его поэтической славы, не случайные ли это плоды будничной литературно-пропагандистской работы? Но, прочитав уже первые страницы, убеждаешься, что все опасения напрасны. Даже по этому первому и далеко не полному сборнику прозы Вайнерта можно составить вполне определённое представление о высокой идейной и художественной ценности, о замечательном мастерстве и своеобразии авторского почерка и, наконец, о неразрывном единстве поэтического и прозаического творчества Вайнерта.

Это единство не только в тождестве идей и в общности тем его стихов и прозы, но и в подлинно поэтической гармоничности построения большинства его прозаических произведений. Более всего эта органическая родственность прозы и поэзии Вайнерта проявляется в средствах образного решения избранных им тем. Вайнерт-рассказчик и драматург, так же как Вайнерт-поэт, чаще всего плакатен в самом лучшем смысле этого слова. Он мастер широкого, яркого мазка, резких, отчётливых контрастов. Смело и безоговорочно, но вместе с тем с безупречным художественным тактом, ни на миг не теряя чувства меры, нигде не преступая границ жизненной правды, он противопоставляет, сталкивает силы света и мрака, героев и негодяев, друзей и врагов... Он не знает «полутон» и предельно откровенен в любви и ненависти, в восхищении и презрении.

В этом первом сборнике прозы Вайнерта представлено несколько различных жанров. Первый раздел, озаглавленный «Пародии — сатиры — шутки — анекдоты», составляют главным образом произведения двадцатых годов. Образцами блестящей политической и, так сказать, эстетической сатиры могут служить пародии: детективный роман, роман «из общества», радио-оперетта, переписка бывшего кайзера Вильгельма со своим сыном и др. Наблюдательный, остроумный и беспощадный сатирик обнажает растленную пошлость «духовной пищи» буржуазного обывателя и вскрывает убожество его политических идолов. К сожалению, это, пожалуй, самые трудно пе-

реводимые из произведений автора. Обилие намёков, понятных далеко не всем, обыгрывание диалектизмов и многообразные формы «игры слов» требуют при переводе на любой язык пространных комментариев и справок.

Во втором разделе — «Сцены» — представлен своеобразный литературный жанр, который можно было бы определить, как драматические очерки, драматические памфлеты и драматизованные баллады. Этот вид искусства, незаслуженно забытый в последние годы, впервые возник в нашей стране в постановках «Синей блузы» и других «живых газет». Этот революционный по происхождению, по содержанию и по форме жанр быстро распространялся во многих странах. У Вайнерта мы находим несколько замечательных образцов таких драматических миниатюр. «Пятиминутная остановка» — сценка на вокзале немецкого провинциального города, где весной 1917 года останавливается поезд, в котором едет в Россию Ленин. «Именем святой короны» — казнь венгерских коммунистов Шаллаи и Фюрста. «Кёльн 30 ноября 1933 года» — две сцены (в великосветском ресторане и в квартире матери казнённого рабочего), посвящённые казни шести кёльнских коммунистов.

В этих различных и по содержанию и по общему колориту драматических миниатюрах характерным общим является удачное применение своеобразного творческого приёма. Величие и доблесть героев, которым они посвящены, раскрываются не в непосредственном изображении их действий и даже не в рассказах о них друзей и сторонников, а прежде всего в поведении и отзовах врагов и посторонних случайных наблюдателей.

Остро отточенными, разящими являются драматические памфлеты Вайнерта, такие, как «Воспитатель». В короткой сцене беседы директора гимназии — бывшего социал-демократа, ставшего истовым гитлеровцем, — со своим учеником и его матерью автор наносит двойной сатирический удар: обличает тупое варварство нацистской педагогики и лицемерное предательство социал-демократических руководителей.

Новеллы, рассказы и беглые зарисовки-очерки, собранные в третьем и четвёртом разделах книги — «Рассказы» и «Короткие истории о проклятой войне», — объединяет общность антивоенной и антифашистской тематики; Вайнерт — отличный рассказчик,

мастер стройного, последовательного и динамичного развития фабулы даже в самых лаконичных формах. Но в этом сборнике не всё равноценно. Во вторую мировую войну Вайнерт вёл большую плодотворную работу по антифашистской пропаганде среди немецких войск, писал листовки и тексты звуковых передач... Он работал самоотверженно, напряжённо, не зная ни отдыха, ни покоя. Поэтому писать иной раз приходилось наспех.

В последнем разделе книги — «Репортажи» — наряду с двумя беглыми зарисовками-очерками (о Тельмане и о первых примерах сближения коммунистических и социал-демократических рабочих). главное место занимает вдохновенная поэма в прозе «Фите Шульце. Пересказ беседы с его дочерью». Это, пожалуй, самое значительное из всех прозаических произведений Вайнерта. Повествование ведётся от имени дочери Фите Шульце — одного из руководителей гамбургских коммунистов, казнённого гитлеровцами в 1935 году. Большую

часть его составляет рассказ о судебном процессе — о мужественном единоборстве обречённого на смерть коммуниста с фашистским судом, который продолжался больше месяца. Строгое, на первый взгляд чуть суховатое изложение, взволнованная речь молодой, но серьёзной и вдумчивой девушки, описывающей свои встречи с отцом, создают светлый, обаятельный образ революционера без страха и упрёка, любимца гамбургских пролетариев, беззаветно отважного, весёлого и глубоко человеческого...

Прозаические произведения Вайнерта хотелось бы поскорее увидеть в переводах. Они помогут нам лучше и ближе узнать жизнь, мысли и чувства немецкого народа, познакомят нашего читателя с малоизвестной частью творчества Эриха Вайнерта — замечательного мастера слова, верного друга нашей Родины, пламенного борца за мир и счастье трудящихся всех стран.

Л. КОПЕЛЕВ.

★

### Политика и наука

#### Начало первой русской революции

**М**ного волнующих мыслей, глубоких раздумий, а подчас и непосредственных воспоминаний вызовут у советского человека материалы этой книги. С каждой прочитанной страницей вновь воспринимаешь не только факты, происшедшие тогда, пятьдесят лет назад, но прежде всего ещё и ещё раз сознаёшь всё огромное значение тех исторических дней для судеб целых народов.

Сборник документов, относящихся к революционным событиям в январе — марте 1905 года, — первая публикация юбилейной серии, подготовленной к печати Институтом истории Академии наук СССР совместно с Главным архивным управлением. Этот обширный том включает 476 документальных материалов, извлечённых главным образом из центральных и местных архивов, а также из большевистской печати того времени.

В книге собраны интереснейшие документы самого различного происхождения. На-

ряду с политически острыми листовками и прокламациями местных комитетов РСДРП, статьями газеты «Вперёд» в сборнике приведены и тенденциозные, враждебные революции «всеподданнейшие» доклады министров царю, сообщения полицейских чинов, рапорты воинских начальников и т. п. Все эти материалы, большая часть которых публикуется впервые, позволяют воссоздать яркую картину многих событий первых месяцев буржуазно-демократической революции 1905—1907 годов, явившейся, по выражению В. И. Ленина, генеральной репетицией Октябрьской революции 1917 года.

К началу XX века Россия стала центром революционного движения. В отличие от буржуазных и буржуазно-демократических революций в странах Западной Европы, революция 1905—1907 годов в России была подлинно народной революцией эпохи империализма. Руководителем и главной движущей силой её выступил самый революционный в мире русский пролетариат, который сплотил вокруг себя массы крестьянства. Народные массы возглавила созданная В. И. Лениным Коммунистическая партия — партия нового типа.

«Начало первой русской революции. Январь — март 1905 года». Под редакцией Н. С. Трусовой (ответственный редактор), А. А. Новосельского и Л. Н. Пушкарёва. 960 стр. Издательство Академии наук СССР, М. 1955.

Революция в России потрясла основы самодержавного строя и пробудила к политической жизни и борьбе миллионы рабочих и крестьян. В те грозные дни они приобрели огромный опыт борьбы, использованный впоследствии в победоносной Октябрьской социалистической революции.

Материалы первого раздела сборника связаны с событиями 9 января, знаменовавшими начало революции в России. В. И. Ленин писал, что «революционное воспитание пролетариата за один день шагнуло вперед так, как оно не могло бы шагнуть в месяцы и годы серой, будничной, забитой жизни». Ещё недавно верившие в царя отсталые народные массы осознали необходимость борьбы с самодержавием.

Привлекают внимание документы, характеризующие общую стачку в Петербурге, подготовку рабочей демонстрации 9 января и «Кровавое воскресенье». Впервые воспроизводится полный и точный текст петиции рабочих и жителей Петербурга царю с изложением ряда политических и экономических требований. Многочисленные документальные материалы свидетельствуют, что расстрел безоружного и мирного шествия питерских рабочих был подготовлен царскими властями по заранее разработанному плану. Столица была разделена на восемь боевых участков, мобилизованы войска всех родов оружия, разработана их дислокация.

Несмотря на это, воинские начальники, полиция, охранка и различные должностные чины всё же пытались оправдать свои преступные действия, свалив вину на... самих рабочих. Так, директор департамента полиции А. Лопухин в записке министру внутренних дел А. Булыгину 1 февраля объяснял действия войск 9 января тем, что рабочие якобы «стали сами нападать на воинские части».

В этом же разделе приведены очень важные партийные документы — листовки Петербургского комитета, призывавшие трудящихся к активным формам борьбы с самодержавием. В одной из первых листовок Петербургский комитет писал: «Товарищи! Кровь пролилась, она льётся потоками. Рабочие ещё раз узнали царскую ласку и царскую милость. Они шли искать правды у царя и получили от него пули. У Нарвской заставы, у Троицкого моста, на Невском, — везде десятки убитых, сотни раненых. Стреляли без предупреждения. Вы видите, что значит просить царя, что значит на-

деяться на него. Так научитесь же брать силой то, что надо, научитесь надеяться только на себя». Листовка заканчивалась призывом к всеобщей стачке и вооружённому восстанию.

Второй раздел сборника освещает революционное движение по всей стране после 9 января: стачечное движение в Петербурге и Москве, в различных губерниях как центральной России, так и на её «окраинах» (Украина, Прибалтика, Польша, Закавказье и т. д.), а также крестьянские волнения в центре России, на Украине, в Прибалтике и на Кавказе. Все эти документы свидетельствуют о более широком размахе революционного движения в России, чем это было известно до сих пор.

Многочисленные листовки Петербургского, Московского и ряда других местных комитетов РСДРП наглядно показывают роль Коммунистической партии в руководстве массами с первых же дней революции. Некоторые документы вскрывают неуклюжие попытки царизма лавировать уже в условиях начала революции. Об этом говорит формирование рабочей «депутации к царю», создание особой комиссии сенатора Шидловского «для выяснения причин недовольства рабочих г. С.-Петербурга и его пригородов» — этой «комиссии государственных фокусов», в оценке большевистской печати. В заключении раздела приведены обзорные материалы «властей предрежащих» о революционном движении в стране в январе — марте. Это главным образом еженедельные инструкционные записки директора департамента полиции начальникам охранных отделений, где с плохо скрываемой тревогой говорится о нарастании революции по всей стране.

В сравнительно небольшом третьем разделе приведены сведения, извлечённые из депеш, донесений и телеграмм представителей царской дипломатии об откликах за границей на события 9 января.

Сборник снабжён обширными приложениями (примечаниями, хронологическим, географическим и другими указателями).

Даже этот краткий обзор содержания сборника даёт представление об исключительно большом значении приводимых в нём документов, дополняющих и расширяющих наши знания об отдельных важных моментах первой русской революции и обо всём революционном движении в стране в целом.

Остановимся теперь на некоторых недостатках этого ценного труда.

С первых же строк введения к сборнику подчёркивается всё огромное значение первой буржуазно-демократической революции 1905—1907 годов не только для народов России, но и для народов всего мира. Однако раздел «Отклики за границей на расстрел рабочей демонстрации 9 января в Петербурге» почти полностью состоит из документов одного лишь типа — корреспонденций царских дипломатических представителей за границей, преподносивших отклики в различных странах мира на события 9 января как результат действий «подстрекателей» и «крикунов», как «сборища» и т. п. Редакции и составителям сборника следовало бы привлечь также иные документы, например, корреспонденции и статьи из заграничной демократической и буржуазной печати.

При всей широте тематики сборника в нём отсутствуют документы, освещающие некоторые важнейшие мероприятия, предпринятые царским правительством вскоре же после «Кровавого воскресенья». К таким мероприятиям относятся назначение 12 января петербургским генерал-губернатором свирепого царского администратора Трепова, «высочайший» рескрипт 18 фев-

раля министру внутренних дел Булыгину с обещанием создать «представительное учреждение» и др. Опубликование этих документов ещё глубже показало бы размах революции, вынудившей царское самодержавие лавировать между карательными мерами и куцыми «уступками».

Некоторые документы сборника нуждаются в более обстоятельных примечаниях и пояснениях. Так, читателям, заинтересовавшимся корреспондентом В. И. Ленина из России С. И. Гусевым (документы №№ 7, 78), мало что даст такое «пояснение» в именном указателе: «Гусев С. И. (Нация)». Документ № 42 — текст письма, принятого собранием в Вольно-экономическом обществе с требованием конституции для России, нуждается также в более основательных комментариях.

Внешне том оформлен хорошо, но огорчает в таком солидном издании обилие опечаток. Перечень даже важнейших из них занимает целую страницу.

Публикация документов по истории первой буржуазно-демократической революции в России — важное и полезное дело. Материалы сборника, несомненно, вызовут живой интерес у читателей.

*Кандидат исторических наук*  
**Н. ЕРОШКИН.**

★

## Сегодня и завтра

**Н**ередко чувствуешь потребность в книге, которая обобщила бы, свела воедино наши разрозненные знания в той или иной области жизни, науки, техники.

Мы изучаем важнейшие решения партии о развитии сельского хозяйства, о его механизации. Мы читаем художественные произведения, посвящённые колхозной жизни, и видим, как идёт борьба за изобилие, вникаем в конфликты, в радости и тревоги людей, отдающих силы новому подъёму сельского хозяйства.

Но для того, чтобы глубже понять решения партии, полнее ощутить атмосферу колхозной жизни, с которой нас знакомят писатели, нужно достаточно полно и конкретно представить себе, что такое механизация сельского хозяйства.

Тем, кто ощутил такую потребность, много может дать книга Александра Казан-

цева «Богатыри полей». В основе её лежит произведение того же автора «Машины коммунизма». Размах механизации, её задачи так возросли в связи с новым подъёмом сельского хозяйства, что автору пришлось вместо переиздания писать новую книгу, используя только часть материала прежней.

«Богатыри полей» — книга, написанная о машинах, определяющих сегодня характер сельскохозяйственного труда в нашей стране. Но это не беллетризованный справочник или учебник, а произведение писателя, взволнованного огромным сдвигом в нашем сельском хозяйстве.

Рассказывая о машине, автор говорит не только о её достоинствах, но и о том, как можно улучшить её впоследствии. Речь идёт то о принципиально новой конструкции, то о частных усовершенствованиях.

Тут нам приходится войти в суть споров, иногда драматических, борьбы взглядов, в которой теоретические исследования про-

**Александр Казанцев.** «Богатыри полей». Научный редактор В. Краснов. 224 стр. «Молодая гвардия», М. 1955.

вероятся на опытных конструкциях и победа в споре той или иной группы учёных определяется на колхозном поле.

С одними машинами Казанцев знакомит нас в день их испытания или в обычный рабочий день в поле, с другими — в конструкторском бюро, в научно-исследовательском институте.

Это не только способ разнообразить повествование. Такой метод даёт автору возможность показать социалистический характер создания и эксплуатации машин: постоянный обмен идеями и требованиями между учёными, конструкторами и практическими деятелями сельского хозяйства.

Хлопководы требуют от конструкторов высокопроизводительной уборочной машины. Инженеры просят селекционеров вывести сорта хлопчатника, с которого было бы удобно снимать урожай машинами, — собранные, поджатые кусты. Так обмен требованиями перерастает в творческое соревнование.

Семена сорняков ухудшают посевной материал. Нужно довести чистоту зерна до 99 процентов. Старики колхозники рассказывают конструкторам о «кружалыщиках», в старое время виртуозно очищавших зерно по методу промывки золота: вращая семена в тазу, они разделяли зёрна по удельному весу. Конструкторы используют народный опыт, создают машину, сортирующую посевной материал по удельному весу.

Существующие у нас типы сеялок устраивали всех — колхозников, конструкторов, заводских технологов. Но они перестали удовлетворять учёных. Исследования показали, что более равномерное распределение семян увеличивает урожай на два-три центнера с гектара. Выгода огромная, но надо перестраивать всё заводское производство для выпуска новых сеялок. Общими силами учёные и колхозники нашли выход из положения: проходить поле сеялками два раза во взаимно перпендикулярных направлениях, высевая каждый раз вдвое меньше семян, чем прежде.

С таким решением не захотели мириться инженеры: удваивается расход горючего и время работы трактора. И они сконструировали сеялку нового типа. Она не требовала перестройки производства.

Социалистический характер общего труда учёных, инженеров и колхозников по механизации сельского хозяйства выражен в книге многообразно — и в основных

принципиальных чертах и в запоминающихся выразительных деталях.

Существуют, например, отряды лётчиков, ведущих борьбу с сорняками. Они распыляют над полями ядовитые вещества. Каждый лётчик отряда обязан не только выполнить свою основную профессиональную работу, — он должен отправиться в колхоз, чтобы рассказать о помощи, которую может принести самолёт сельскому хозяйству, и о том, как надо обращаться с ядами, с обработанным ими полем. Так у лётчиков появляется вторая профессия — пропагандиста.

Казанцев не ограничивается простой задачей: вывести на смотр современный парк сельскохозяйственных машин. Он показывает технику в непрерывном движении, совершенствовании, показывает, как много нужно ещё сделать и в каком направлении идёт работа для завтрашнего дня.

Завод конструирует рисовый комбайн на гусеницах, а практики сельского хозяйства используют его и для уборки зерновых в ненастье: такой комбайн может пройти там, где увязнет обычный. Это даёт конструкторам идею — для некоторых районов нужно создать зерноуборочные комбайны на гусеницах.

Заводы выпускают первые комбайны специальной конструкции для уборки кукурузы; их ещё мало. А ростовский комбайнер изобретает приспособление для уборки кукурузы к обычному комбайну, и его машина оказалась производительнее специально кукурузного комбайна.

Рассказ обо всей этой разнообразной, огромного размаха работе не только даёт читателю достаточно широкие знания, — он воздействует эмоционально, возбуждает воображение. Иными словами, книга организована, как художественное произведение.

Задачи и возможности завтрашнего дня очерчены в книге интересно и отчётливо. Это в немалой мере определяет воспитательную роль книги. Всё настойчивее становится потребность в произведениях, помогающих молодёжи сознательно и уверенно выбрать профессию, жизненный путь. У нас иногда появляются книги, посвящённые описанию той или иной группы профессий. Но их мало и, к сожалению, они не всегда успешно выполняют свою пропагандистскую роль: об интересном деле пишется подчас скучно.

Когда писатель темпераментно и глубоко раскрывает творческое содержание труда в той или иной области, показывает, как много сложных проблем предстоит решить, устремляет свой рассказ о настоящем в будущее, книга его становится пропагандистской, ратует за участие в труде, о котором она повествует.

Так написана, например, одна из последних книг М. Ильина — «Завод-самород», так написаны и «Богатыри полей» А. Казанцева.

Есть в книге главы — их немного — чисто информационные (например, «В степи»),

которые оставляют читателя равнодушным, оказываются вялыми, многословными. Иной раз огорчают банальные сравнения (колхозное поле — поле боя, совет МТС — боевой штаб, руководящий сражением), недостаточно выверенный язык. Это, несомненно, следствие некоторой торопливости — та же книга доказывает, что Казанцев умеет находить неожиданные, впечатляющие сравнения, писать лаконично, языком выразительным и точным. Недостатки эти особенно досадны, потому что книга в целом — несомненная удача писателя.

А. ИВИЧ.

★

### „Химик Земли“

В этом году исполнилось десять лет со дня кончины Александра Евгеньевича Ферсмана — «химика Земли», как сам он иногда себя называл. В памятную годовщину вышла новая биография учёного, написанная О. Писаржевским.

Работа О. Писаржевского интересна прежде всего тем, что жизнь Ферсмана показана автором в её сложном, противоречивом развитии, отразившем в себе характерные черты времени. Из «мира прекрасного камня», в котором, искусственно отгораживаясь от действительности, жил молодой учёный в дореволюционные годы, жизнь привела его к пониманию огромного общественного значения его науки, заставила его пройти трудный, но благородный путь, окончить как бы новый университет — университет социалистического самосознания.

Этот путь преодолевался им не без колебаний. В суровой правде, с какой рассказывает О. Писаржевский о внутренней борьбе, из которой учёный вышел победителем, — новизна книги и существенный вклад, сделанный её автором в изучение и популяризацию биографии А. Е. Ферсмана.

Хорошо известно, какую важную роль сыграл в жизни советской науки знаменитый ленинский набросок плана работ Академии наук, вооруживший учёных ясностью цели, поставивший перед ними задачи подлинного служения Родине. В книге О. Писаржевского появление этого исторического

документа становится как бы фактом личной биографии её героя, освещает один из самых решающих моментов в становлении его как советского гражданина и советского учёного. Следя за изложением событий, мы наблюдаем, как растёт в сознании Ферсмана искреннее желание работать с народом и для народа, приложить методы геохимического исследования к изучению объектов, которые должны обогатить нашу промышленность ценнейшими запасами минерального сырья.

Ферсману довелось встречаться с М. И. Калининым, беседовать и работать с С. М. Кировым. Эти выдающиеся деятели партии и Советского государства помогли учёному глубже узнать действительность, отказаться от красивых, но бесплодных иллюзий и понять новую романтику — романтику трудовых будней советского народа.

Писатель глубоко и разносторонне подошёл к своей задаче — показать Ферсмана как одного из виднейших советских естествоиспытателей. Он чувствует себя уверенно в сложном переплетении научных, исторических и философских проблем, связанных с кипучей деятельностью его героя.

Органичным, естественным выглядит в книге рассказ о делах больших людей русской науки, делах, на первый взгляд, как будто бы и не имеющих прямого отношения к биографии Ферсмана. Но не личная жизнь учёного, а история развития его научных взглядов — главное в книге. Вот почему органичны для книги размышления о менделеевском законе, благодаря которому стало возможно предвидеть пространственное распределение минералов и химических

О. Писаржевский. «Александр Евгеньевич Ферсман (1883—1945)». Редактор Н. Филиппова. 454 стр. «Молодая гвардия», М. 1955.

элементов в земной коре, о работах Докучаева, давших толчок для разработки учения о биосфере, о космической роли живого вещества.

Этот широкий исторический фон не мешает, а, напротив, помогает читателю яснее представить себе значение того нового, оригинального и существенного, что было внесено в науку трудами героя книги. О. Писаржевский даёт нам возможность проследить, какими тонкими ассоциациями, какими смелыми обобщениями от более простого к более сложному шла мысль учёного, связывая наблюдения натуралиста с выводами физики и химии.

Способность к неожиданной остроумной догадке, блестящая игра воображения, искусство подмечать такие связи между явлениями, мимо которых, не задерживаясь, пройдёт недостаточно пронизательный наблюдатель,— все эти черты талантливости, свойственные облику Ферсмана-учёного, умело отражены в книге. Но существенное всё же не в них. Гораздо важнее то, что рост Ферсмана как создателя научной школы, неуклонная эволюция его взглядов убедительно показаны в неразрывной связи с его участием в практике строительства социализма. Высших взлётов своей неутомимой творческой фантазии Ферсман-натуралист достигает именно в те дни и часы, когда как разведчик недр, с группой друзей и учеников он бродит в горах Урала, в тундрах Севера, в каракумских песках.

Широко пользуясь неисчерпаемым богатством фактов, заключённым в трудах Ферсмана, его биограф убедительно показывает, что именно решение народнохозяйственных задач, порождаемых практикой, помогло учёному и в разрешении самых сложных, отвлечённых вопросов естествознания.

Книга О. Писаржевского не легка для чтения, и молодому читателю, для которого она предназначается, не так-то просто будет вслед за автором подняться на высоту, с которой открываются наиболее широкие и влекущие дали. Вводя своего читателя в круг новых для него явлений, в область мысли, возбуждающей фантазию, говорящей о том, какой беспредельной может быть власть человека над веществом, над скрытыми силами природы, автор нигде не делает скидок на недостаточную, может быть, подготовленность читателя и ведёт его трудной дорогой, требующей неустойчивого внимания и умственного напря-

жения. «Наука,— пишет он,— это не живописный пейзаж, по которому можно пробежать скачущим взором из окна вагона». Но в тех же главах, где он рассказывает о буднях науки, о сухих колонках цифр и чертежах на ватмане, без которых любой, самый смелый технический замысел никогда не мог бы выйти из стен лаборатории, в этих же главах рассыпаны блёстки идей, и по сегодняшнему дню обогащающих советскую науку.

О. Писаржевский сравнительно редко обращается к цитатам из книг А. Е. Ферсмана, зато он часто прибегает к разнообразным, порою уникальным по своему значению источникам: то это беседы с людьми, хорошо знавшими учёного или работавшими с ним, то страничка из личных воспоминаний, то вырезка из старой газеты или научного журнала, сразу переносящая нас в атмосферу давно замолкших споров. Замечательную находку удалось, например, сделать автору, разыскавшему на оттиске статьи Ферсмана из «Русской мысли» сделанную его рукой выписку из знаменитой работы Герцена «Письма об изучении природы», и как живо, современно звучит на страницах книги сегодня герценовская мысль: «Совершенная отрезанность естествоведения и философии часто заставляет целые годы трудиться для того, чтобы приблизительно открыть закон, давно известный в другой сфере». Биографу удалось, таким образом, установить, что близкие своим собственным мысли о взаимосвязи и дружбе наук Ферсман находил уже у предшественника русской революционной демократии.

Не все стороны многогранной и деятельной личности А. Е. Ферсмана нашли достаточно полное отражение в книге О. Писаржевского. Так, например, глубокий и постоянный интерес Ферсмана к камню как материалу для художественной обработки, как предмету материальной культуры отражён в ней довольно слабо. А патристический труд Ферсмана-историка, автора замечательного исследования о культуре камня в России, несомненно, заслуживал в его биографии самостоятельной главы.

Явно недостаточно внимания уделил автор многолетней деятельности Ферсмана как популяризатора научных знаний, талантливого педагога, автора замечательных книг для юношества. Эта сторона его жизни и работы, которую, как известно, высоко оценил А. М. Горький, очень важна для



понимания творческого пути Ферсмана, она характерна для него как общественного деятеля и человека.

Нуждается книга и в некоторой редакционной доработке. Порой автор слишком мало считает с тем, что читатель его — молодой человек, которому не всегда и не обязательно должна быть знакома и понят-

на любая мелочь из культуры прошлого. О. Писаржевский пишет, например: «Кто-нибудь из гостей садился за рояль и ребиковские диссонансы облетали сидящих», или ещё: «город Кируна — владение северного «канифферштана» новой формации». Писать следует яснее, проще, в особенности для молодёжи.

И. ИНОЗЕМЦЕВ.

★

### Поборник мира и справедливости

В старейшей церкви Англии, Кентерберийском соборе, на кафедре стоит седой худощавый священник. С гневом и болью протестует он против массовых убийств и неслыханных жестокостей, творимых колонизаторами в Африке и Азии. Он требует покончить с эксплуатацией негров, индейцев и других народов Британской империи. Завтра прогрессивные газеты Англии напечатают эту речь. Она заставит задуматься не одну сотню читателей.

Уже более полувека Хьюлетт Джонсон, черпая силы и уверенность в поддержке простых людей, продолжает настойчивую и энергичную борьбу за мир, за дружбу между народами, борьбу против гнёта и насилия.

Этому благородному делу служит и новая книга Хьюлетта Джонсона «Восточная Европа в социалистическом мире», недавно выпущенная прогрессивным лондонским издательством Лоуренс и Уишарт.

В новой своей работе Джонсон отводит большое место социальным проблемам и вопросам, связанным с религией. Почти каждая из глав книги содержит специальные разделы, при чтении которых виден прежде всего Джонсон-проповедник, и, надо сказать, проповедник блестящий, с огромной эрудицией и широким философским подходом к проблемам.

Среди священников, отражающих в своих выступлениях стремление людей к миру и справедливости, одно из первых мест принадлежит Х. Джонсону. Интересны его высказывания о капитализме и социализме. Капитализм, говорит Джонсон, базируется на эгоистическом принципе. Пока существует эксплуатация, неизбежны несправедливость и войны.

Hewlett Jonson. „Eastern Europe in the socialist World“. London, 1955 (Хьюлетт Джонсон. «Восточная Европа в социалистическом мире», Лондон, 1955).

Джонсон с сочувствием цитирует отдельные места «Коммунистического манифеста» и одобряет принцип коммунизма — «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Хьюлетт Джонсон выступает от имени той части священников, которые убедились в вопиющей несправедливости старого строя и «видят в социализме новую надежду».

Джонсон сурово осуждает служителей церкви, использующих своё влияние для помощи реакции. С глубоким возмущением рассказывает он о направляемых Ватиканом заговорщиках в рясах — в Венгрии, Польше и Румынии. «Ватикан,— пишет он,— объединяется с реакционерами для того, чтобы нанести поражение каждому новому прогрессивному движению. Так было с советской революцией 1917 года, так обстоит дело в Восточной Европе сегодня... Историческая роль Ватикана заключается в поддержке эксплуататорского меньшинства».

Человек большой и трудной жизни — инженер и философ, священник, один из руководителей всемирного движения сторонников мира, — Хьюлетт Джонсон ещё в довоенные годы стал известен и за пределами Британских островов как страстный защитник социального прогресса, искренний друг Советского Союза. Его книга «Социалистическая шестая мира», вышедшая в 1939 году, помогла десяткам тысяч соотечественников Джонсона объективно и трезво оценить великие преобразования, совершившиеся в нашей стране. В годы войны Хьюлетт Джонсон — неутомимый руководитель Объединённого комитета помощи России. Он неизменно верил в победу Советского Союза над тёмными силами фашизма. Когда же освобождённые народы Восточной и Центральной Европы начали строить новое общество, Хьюлетт Джонсон стал верным другом молодых социалистических государств.

Книга «Восточная Европа в социалистическом мире» призывает к международному сотрудничеству, к активной защите стран народной демократии от всяких наскоков реакции. «Если мы хотим,— говорит автор,— чтобы коллективная безопасность заняла место политики силы и частной наживы, если мы желаем сделать ООН настоящим представителем наций мира, мы должны действовать, и действовать теперь же».

После окончания второй мировой войны Х. Джонсон почти ежегодно посещает страны Восточной Европы. Он встречался с людьми самых различных профессий, глубоко ознакомился с жизнью заводов, школ, кооперативных товариществ.

«Огромная скала,— пишет Джонсон,— возвышающаяся между Пекином и Прагой, является неприступной. Власть капитала уступает место для эры более гуманной, с более широким будущим, чем все предшествовавшие ей».

Автор не только повествует о чертах нового в жизни свободных народов,— обобщая факты, он показывает источник силы и могущества социалистического строя. Во всех главах книги последовательно проводится мысль о том, что залогом процветания демократических государств является передача средств производства в руки народа.

Джонсон смело вступает в борьбу с буржуазной реакцией. «Ничего подобного!» — уверенно звучит его ответ тем, кто пытается отрицать успехи экономики в странах народной демократии, построенной на обобществлении средств производства.

В Восточной Европе, рассказывает автор, ныне осуществляют своё законное право на труд все рабочие, в том числе и шестнадцать миллионов ранее «избыточных» сельскохозяйственных рабочих.

Джонсон видел в 1945 году мёртвый Гданьск. Спустя пять лет город был возрождён самоотверженным трудом народа. Он стал одним из крупнейших портов Балтики, городом передовой индустрии, одним из центров национальной польской культуры. Автор пишет также о заводах Шкода, разрушенных во время войны американской авиацией. А теперь чехи с гордостью говорят: «Нет таких машин, которых бы не могли изготовить заводы Шкода».

С большим увлечением рассказывает Джонсон о высоком достижении техники — «Мосте мира» — крупнейшем мосте через Дунай. Он был сооружён совместными усилиями болгарского и румынского народов,

объединённых общей идеей борьбы за мир, демократию и социализм.

Проникновенные строки посвящены советскому народу, совершившему подвиг в годы второй мировой войны и оказывающему теперь бескорыстную помощь странам народной демократии. Во всяком крупном начинании — будь то стройка, подобная Новой Гуте в Польше, или прославленный румынский комбинат «Скынтейя», или первенцы тяжёлой индустрии в Болгарии,— повсюду ощутима поддержка могущественного друга, страны Советов.

Джонсон прекрасно понимает колоссальную силу примера СССР — станового хребта социалистического мира. Каждый шаг вперёд, к коммунизму, каждая новая домна и электростанция, каждая сотня гектаров поднятой целины, новые открытия научной мысли в Советском Союзе вызывают огромный подъём во всех странах народной демократии.

В центр своего повествования Джонсон ставит простого труженика, так как видит, что именно в судьбах рядовых людей наиболее рельефно отражаются перемены, происшедшие во всех восточноевропейских странах. Достойна восхищения, замечает автор, забота о человеке нового общества.

Румынская Народная Республика начинает забывать о быче прошлого — «рекордной» детской смертности. Чехословакия стала «одной огромной школой. В той или иной форме,— пишет Джонсон,— просвещение проникает во все сферы жизни». Закон о всеобщем обучении детей не остаётся на бумаге, и переполненные университеты, в отличие от буржуазных стран,— нормальное явление. Автор не может без волнения вспомнить о том, чего лишён рабочий Запада,— о массовом профессиональном обучении, которое в странах народной демократии доступно каждому.

Вместе с Хьюлеттом Джонсоном читатель верит, что странам Восточной Европы «чужда политика войны и военные приготовления», что именно «из социалистического лагеря звучит призывный клич к миру между народами». Книга Джонсона наносит серьёзный удар по проповедникам «холодной войны». Основное, к чему стремился автор, принимаясь за свой труд, без сомнения, достигнуто им.

*Кандидат исторических наук*  
**А. БАЙКОВА,**  
**И. КРЕМЕР.**

★

## География Югославии

Трудно найти для географа, изучающего страны Европы, другую, столь же интересную тему, как тема, посвящённая Югославии. В этой сравнительно небольшой по территории стране перед глазами наблюдателя проходят картины природы, отличающиеся удивительным разнообразием и резкими контрастами.

Широкие и плавные, слегка волнистые дунайские долины с тучными чернозёмными почвами и богатыми нивами на западе и юге сменяются холмами и низкогорьями, древними вулканическими конусами, котловинами и террасами.

Чем дальше к югу, тем мозаичнее становится земная поверхность. Вот Македония с её горами, плоскогорьями, глубокими ущельями и котловинками — своеобразная область, столь непохожая на среднюю Европу. Летом в Македонии — чуть ли не тропическая жара, зимой дует пронизывающий ветер, «вардарок», несущийся с севера к Эгейскому морю.

Без искусственного орошения долины Македонии превращаются в полупустыню. Земледельческие участки зелёными пятнами вкраплены в серые пространства выжженной солнцем степи. «Воды, скорее воды!» — как бы вызывает к пронозящимся облакам иссушенная зноем почва.

А совсем неподалёку картина резко меняется. С Адриатического моря доносятся тёплые влажные ветры. Небо покрыто густыми облаками, которые окутывают снежные вершины гор. Дожди обильны. Озёра и реки полноводны. «Поменьше облаков и дождей, побольше солнца!» — словно слышится призыв природы.

А между тем мы и не выезжали из Македонии.

Но если мы покинем эту область и перенесёмся на запад, то увидим местность опять новую, особенную. Известняки, суровые безводные равнины с островками зелени, с бурными речными потоками, внезапно исчезающими в глубоких подземных пещерах, чередуются с лесистыми горами, хмурыми и синими.

А ещё дальше на запад узкой полосой вдоль лазурного Адриатического моря вытянулось Далматинское побережье — западнобалканские субтропики с их ориги-

нальным пейзажем: то изумрудно-зелёные, то безжизненно-серые островки отделены друг от друга тёплыми водами моря. Маленькие участки виноградников, оливковых и citrusовых рощ, крохотные поля в «оазисах», защищённых от жестокого ветра — «бора». Земледелие на полях, почва которых принесена населением в мешках и сыпана на заранее подготовленные, тщательно выравненные каменные площадки...

И, наконец, на крайнем северо-западе Югославии — в Словении, то похожей на известняковые полупустыни Боснии и Герцеговины, то приветливо-зелёной, одетой лиственными и хвойными лесами, богатым травяным покровом, мы снова встречаемся с контрастами природы: серые известняковые плоскогорья на юге — и синие лесистые словенские Альпы на севере, с их горными пастбищами, несколько месяцев в году лежащими под снегом.

О своеобразной природе Югославии рассказывает нам деловая и обстоятельная книга А. Н. Грацианского. Автор немало потрудился над физико-географической характеристикой всей Югославии и описанием отдельных её районов.

Всё же приходится сказать о том, что книга написана суховаато, определения автора зачастую очень осторожны, а потому неполны. В книге много деталей по отдельным местностям, микрорайонам, но мало обобщений. Бросается в глаза недостаточное использование югославских источников, не только новейших, но и старых. Это относится, например, к знаменитому многолетнему коллективному труду «Населья» (населённые пункты), изданному сербской Академией наук, а также к книгам и статьям классиков югославской географической литературы, в частности великого сербского географа Йована Цвиича.

Книга «Природа Югославии» побуждает нас поставить один принципиальный вопрос. Допустимо ли выпускать книгу по географии какой бы то ни было страны, где описание природы было бы оторвано от её хозяйства, основных экономических центров, где природные ресурсы были бы рассмотрены вне связи с развитием производительных сил и производственных отношений? Можно ли дать правильное, даже с узкой физико-географической точки зрения, описание реки, не сказав ни слова о воз-

А. Н. Грацианский. «Природа Югославии». Под редакцией Е. Н. Лукашевой. 244 стр. Географгиз, М. 1955.

двигнутых на ней гидротехнических сооружений?

Примером для высказанных соображений может как раз служить книга А. Грацианского.

Несомненно, советский читатель не меньше, чем природой Югославии, интересуется её населением и современной экономикой. Когда знакомишься с природой Сербии, невольно хочется узнать и о новых предприятиях тяжёлой индустрии, возникших в Белграде, Раковице, Лознице и других городах.

Более подробно хотелось бы узнать о строительстве в Боснии самой крупной из югославских гидроэлектростанций — Ябланицкой, оснащённой почти целиком отечественными, югославскими машинами. Ей в книге А. Грацианского посвящены только четыре строки, а о ряде других новых электростанций, в том числе о замечательной гидроэлектростанции в Трибалье (Винодол), не говорится вовсе. Эту участь разделил большой металлургический комбинат в Зенице (Босния). А разве он не использует природные ресурсы, о которых говорится в рассматриваемой книге?

В Словении — «мастерской Югославии» — с её многочисленными мелкими предприятиями возникает крупное машиностроение,

ещё раньше ставшее в Сербии и Хорватии одной из ведущих отраслей хозяйства. Недавно в Югославии возникли новые промышленные центры. В тихой Любляне раздаются гудки мощного завода «Литстрой». Изготавливаемые им турбины идут в Турцию, а портальные краны — даже в далёкую Индию. Бурная Сава обуздана плотной новой гидроэлектростанции. Безводная Черногория стала обладательницей крупного водохранилища, у неё новая благоустроенная столица — Титоград, вырастающая на руинах старинного городка Подгорицы.

Хочется пожелать, чтобы вслед за хорошей, но узкой по тематике книгой А. Грацианского была издана более разносторонняя работа — комплексная страноведческая характеристика Федеративной Народной Республики Югославии.

Ещё одно замечание — об оформлении книги. Жаль, что в ней нет цветных карт. Фотоснимки воспроизведены технически слабо. А в хорошем оформлении географическая книга особенно нуждается. Подчас только специалисты и могут разобраться во многих тусклых и невыразительных иллюстрациях, помещённых в книгах, выпущенных Географгизом. Но книги эти рассчитаны ведь не только на специалистов.

**А. ТИМАШЕВ.**



# РЕПЛИКИ

художественная самодельность и очень хорошие политехники, которые проводят интересные беседы и доклады в своих коллективах.

## ПОЛЮС И МУЗЫКА

Четырнадцать артистов, режиссёров, лекторов, входивших в творческую бригаду Центрального Дома работников искусств, были очень горды: нам выпало счастье оказаться первыми в мире музыкантами, певцами и чтецами, которым привелось ступить на Северный полюс. Мы провели в Арктике 33 дня, преодолели 27 тысяч километров, пробыли 100 часов в воздухе. Приезд мастеров искусств был для людей дрейфующей станции истинным праздником; и в том, как нас встречали, с какой жадностью нас слушали, как просили остаться «ну, ещё хоть на один день», ощущалась огромная потребность в искусстве.

Советские полярники имеют всё необходимое и самое лучшее в смысле материального снабжения—от новейшего и совершеннейшего оборудования арктических станций и факторий до великолепного рациона питания, тёплой, удобной и лёгкой одежды. Но есть одна сфера если и не забытая вовсе, то суженная до такой степени, что это бросилось всем нам в глаза сразу же по прибытии в Арктику. Я говорю о сфере искусства. Конечно, люди Арктики слушают радио, у них есть книги и журналы (очень немного), им забраывают кинофильмы (правда, в ограниченном количестве), у них есть своя

Может быть, этого не так уж мало? Пожалуй. Но с нашей, советской точки зрения, с позиции людей, которые привыкли даже хорошее очень часто расценивать как только удовлетворительное, всё, что есть в Арктике в смысле художественного обслуживания людей, представляется более чем недостаточным.

Не говоря уже о полюсе, где мы как артисты были пионерами, в Арктике мы оказались первой за последние пятнадцать лет группой столичных работников искусства, добравшихся до этих областей вечной мерзлоты и вечных снегов (впрочем, «добираться» нам было совсем не трудно: самолёт доставил нас на дрейфующую станцию и перевозил с места на место в Арктике). Между тем наша «культурная разведка» показала, что музыка, как и всякое другое настоящее искусство, здесь необходима. Хочется верить, что столичные мастера сцены станут столь же частыми, сколь и желанными гостями северян, а Министерство культуры и Гастрольбюро окажут им в этом содействие.

Весьма печален и тот факт, что на всю Арктику, где большие населённые пункты, благоустроенные посёлки, зимовки, станции, где живёт много, очень много людей, нет ни одного учителя музыки; ни в одной из школ, включая самые лучшие — просторные и хо-

рошо оборудованные, — нет даже уроков пения, хотя желающих постичь основы вокальной, инструментальной культуры здесь предостаточно.

Я думаю, что не так уж невозможно в семилетках и в полных средних школах Амдермы, Тикси, бухты Провидения, Игарки, Дудинки организовать специальные музыкальные классы; в детских интернатах, где живут сыновья и дочери местных колхозников и зимовщиков, приезжающие учиться за тридцать—сорок, иногда сто километров, — ввести преподавание пения. Я уверена, что если министерства культуры и просвещения вкупе с Главсевморпути рассмотрят эти предложения, то они найдут способ их осуществить.

Много лет ведя класс арфы в Московской консерватории, я хорошо знаю наше студенчество и не сомневаюсь, что среди него нашлись бы энтузиасты и просто желающие поехать в Арктику для того, чтобы учить там музыке детей, чтобы играть для взрослых, читать им лекции.

*Заслуженный деятель искусств*  
**В. ДУЛОВА.**

★

## СОКРОВИЩА РУССКОЙ ДРЕВНЕЙ ЖИВОПИСИ

С тех пор, как по решению Правительства Московский Кремль открыт для обозрения, многие и многие тысячи зрителей ознакомились с замечательными творениями поколений русских мастеров, с богатейшими собраниями прикладного ис-

кусства во дворцах, соборах, в Оружейной палате. Внутри соборов их восхитят, безусловно, изумительные произведения великих русских мастеров. Большая часть этой живописи столетиями была скрыта под позднейшими грубыми наслоениями.

К настоящему моменту очень многие создания старых мастеров восстановлены, прекрасно реставрированы и представляют образцы искусства мирового значения. Такова например, живопись Архангельского собора.

Мы всё ещё недостаточно изучили древнее искусство нашего народа. Между тем ознакомление с древней живописью Московского Кремля, а также с живописью, сохранившейся в наших старинных городах — Новгороде, Пскове, Киеве, Владимире, Ярославле и во многих других, — где работали русские мастера во главе с великим Рублёвым, показывает, что мы обладаем сокровищами древней народной живописи, равными по достоинству живописным памятникам раннего итальянского Возрождения, ценность и значение которых известны культурному миру.

Наш народ любит и ценит искусство и живо им интересуется. Это показывают хотя бы многотысячные посещения Третьяковской галереи и выставки картин Дрезденской галереи в Москве.

Нужно подумать о том, как приблизить зрителя и к древней живописи нашего народа.

Необходимо организовать осмотр этих произведений непосредственно на местах, где они находятся (организовать экскурсии с лекция-

ми и объяснениями). Следовало бы издать альбом хороших цветных репродукций этих работ.

Недавно мне довелось видеть бельгийский цветной фильм «Золотой век» в постановке Поля Хасара, где блестяще показана фламандская живопись XV—XVI веков. Кино обладает (при умелой режиссуре) сильным средством выразительно донести до зрителя изобразительное искусство.

Наша прекрасная древняя живопись имеет все основания для того, чтобы ей был посвящён цветной кинофильм. Пусть наш народ узнает и увидит, каким великим наследием он обладает.

*Народный художник  
РСФСР*

Сергей ГЕРАСИМОВ.

★

## О МУЗЕЕ НОВОГО ЗАПАДНОГО ИСКУССТВА

Я вспоминаю Музей нового западного искусства в Москве, на улице Кропоткина. По качеству произведений, по богатству и численности коллекций он по праву считался первым и, пожалуй, лучшим в Европе собранием французского искусства.

Неспроста было сказано Роменом Ролланом, что «в эту суровую погоду в Москве» он увидел «солнце Франции». Недаром оставили свои восторженные отзывы в книге впечатлений музея Бернард Шоу, Анри Барбюс и многие другие.

«Пробегая залы этого замечательного Музея (речь идёт о Музее нового западного искусства в Москве.— А. Д.), я был удивлён и растроган, увидев вновь некоторые прекрасные полот-

на, которые очаровывали меня в молодости: Ренуар, Клод Моне, тогда только начинавший, и Сезанн, которого Воллар ревниво прятал в своих магазинах. Я жил в этот богатый период французского искусства, который был одним из наиболее главных периодов в истории живописи», — читаем мы запись Ромена Роллана.

Наряду с любимыми полотнами наших соотечественников, так или иначе связанных с импрессионистскими течениями в живописи, — Коровина, Серова, Крымова, Сарьяна и других — нас всегда привлекали замечательные творения нового западного искусства: «картины с вечно изменяемыми эффектами воздуха и света», глубокие человеческие страсти, выраженные Родэном в мраморе и бронзе, наивный, непосредственный Руссо, перекликающийся с Нико Пироманиншиви!

Импрессионизм во французской живописи впервые открыл в живописи новый колорит, новые качества цвета и красок, и это нашло своё выражение в сказках о Танти Гогена, в «Тополях» и «Стогах» Клода Моне, портретах девушек Огюста Ренуара, «Оперном проезде в Париже» Камилла Писарро, «Прогулке заключённых» Винченца Ван-Гога, произведениях Сезанна и Дега, цветowych коврах Анри Матисса, убегающих улицах Мориса Утрилло, лучших творениях активного борца за мир, коммуниста Пабло Пикассо.

...Но закрытый в годы войны Музей нового западного искусства не открыл до сих пор. Непростительно, когда только незначитель-

ной части экспонатов этого музея уделены две тесные комнаты в ленинградском Эрмитаже и в Московском музее изобразительных искусств имени Пушкина.

Думаю, что не ошибусь и выражу мнение многих и многих советских людей: необходимо выделить если не отдельное здание, то хотя бы несколько комнат в том же Пушкинском музее либо в каком-нибудь дру-

гом музее, где могут быть полностью экспонированы все имеющиеся у нас образцы нового западного искусства.

Пусть для импрессионистов искусство являлось самоцелью, пусть суживали они задачи искусства — это дела минувших дней, — но в живописи они раздвинули границы мастерства, и нашим молодым художникам есть чему научиться у

них в области использования цвета, краски, в области мастерства. Импрессионизм как течение давно стал историей искусства, а историю надо знать и изучать.

Я уверен, что желание многих советских людей будет удовлетворено и богатая коллекция нового западного искусства в своём полном составе будет иметь постоянное место для экспозиции.

**А. ДИКИЙ.**

★

## ЧИТАТЕЛИ О РЕПЛИКАХ

(Обзор писем)

*Свыше трёх десятков заметок помещено в новом разделе нашего журнала «Реплики». В этом разделе с замечаниями и конкретными предложениями выступают писатели, художники, артисты. Они высказали уже немало интересного, затронув вопросы эстетического воспитания советских людей, издания книг, подготовки журналистов и многие другие существенные проблемы.*

*Читатель не оставил эти реплики незамеченными. Он живо откликнулся на них и в свою очередь дополнил высказывания деятелей советской культуры своими любопытными и в ряде случаев очень ценными соображениями. В этих откликах на опубликованные в журнале материалы видна прежде всего горячая заинтересованность советских людей в дальнейшем подъёме социалистической культуры.*

*Редакция «Нового мира» считает нужным и полезным делом ознакомить читателей с отдельными письмами, поступившими в журнал.*

«Как готовить журналистов?» — так называлась реплика писателей Е. Успенской и Л. Ошанина. Над этой проблемой задумались и многие читатели. Большинство из них согласно с авторами реплики, которые считают возможным и необходимым организовать специальные кафедры журналистики в ряде технических, сельскохозяйственных и прочих негуманитарных вузов. Специалист агроном или инженер, любящий и занимающийся журналистикой, — это прекрасное сочетание! «Ведь если бы журналисты сами были специалистами того дела, о котором пишут, — замечает студент Одесского политехнического института М. Эльяш, — то действенность га-

зет повысилась бы во много раз».

Некоторые читатели сомневаются: а найдутся ли нужные преподавательские кадры для новых кафедр журналистики? Найдутся, убеждённо заявляет читатель Бронислав Якубовский (Смоленск). Во многих университетах есть факультеты или отделения журналистики. Они несколько не пострадали бы, если бы часть преподавателей перешла в другие вузы. К тому же можно найти преподавателей, руководителей семинаров среди наиболее талантливых выпускников университетов. А видные работники газет! Ничего, что у них нет опыта преподавания, зато есть

немалый опыт журналистской работы.

Читатели справедливо замечают, что человек, идущий в журналистику, непременно должен обладать литературными наклонностями. Знание — дело наживное, а вот если нет таланта, способностей к журналистской работе, — то тут что ни делай, а хороший журналист не выработается. И потому читатель Н. Родин, заведующий сельхозотделом касимовской газеты «Звезда», предлагает: «На существующие ныне факультеты журналистики надо принимать лиц, имеющих, кроме дипломов об окончании средней школы, свои печатные или рукописные работы — корреспонденции, зарисовки, фельето-

ны и т. д. Целесообразность представления этих «вещественных доказательств» подтверждается тем, что, например, в музыкальные учебные заведения принимаются только те, кто обладает музыкальными способностями. То же можно сказать об училищах художественных, о Литературном институте имени М. Горького». Это мнение поддерживает и читатель М. Колесов (Москва).

Н. Родин законно ставит вопрос: а как быть с журналистами, уже давно работающими в местной печати? Многие из них «варятся в собственном соку». И Родин предлагает создать журналистскую школу по типу Высших литературных курсов. Может быть, следовало бы организовать и в республиках курсы по повышению квалификации журналистов. В свою очередь читатель М. Колесов считает необходимым организовать заочные курсы журналистов.

В своей реплике «Эти книги нужны» критик И. Эвентов поднимает вопрос об издании нового библиографического справочника советских писателей. Читатели согласны с ним. А. Трофимов из села Перво-Чурашево, Октябрьского района, Чувашской АССР, прямо пишет: «Совершенно прав И. Эвентов, говоря о том, что имеющиеся справочные сборники о писателях сильно устарели, да и достанешь их только в крупной библиотеке. Следовало бы без промедления подготовить и издать библиографический сборник». Развивая мысль критика, А. Трофимов предлагает издавать такие сборники периодически, через

несколько лет, с тем чтобы в них включались новые данные о творчестве писателя, новые имена. Он же советует нашим издательствам помещать в книгах краткие биографические справки об авторе, как это, скажем, делает библиотека «Огонька». Тогда, и не имея справочника, читатель в любом уголке страны составит хотя бы беглое представление о писателе.

Реплика критика И. Гринберга «Драгоценные черты» была посвящена публикации воспоминаний об ушедших из жизни выдающихся мастерах советской литературы. И журналы и издательства делают в этом направлении ещё очень и очень немногое. Пенсионер В. Хохлов, соглашаясь с И. Гринбергом, указывает дополнительный источник мемуарных произведений — областные альманахи. В них систематически печатаются воспоминания о писателях, судьба которых в той или иной мере связана с данной областью или краем. В качестве примера В. Хохлов приводит интересные записки И. Арамилева о Новикове-Прибое, появившиеся недавно в Калининском альманахе. Издательству «Советский писатель» можно было бы собрать такого рода воспоминания и выпустить их отдельной книжкой. Ведь альманахи издаются небольшими тиражами и за пределы области выходит лишь незначительное количество экземпляров.

Откликнулись читатели и на реплику А. Морозова, отмечавшего отдельные недостатки в пропаганде искусства — русского и зарубежного. «У нас мало издаётся книг по искусству,—

пишет читательница И. Михненко (Киев), — не удивительно, что книга «Сокровища Эрмитажа» мгновенно разошлась, хотя (я согласна с т. Морозовым) она очень плохо издана». Кандидат биологических наук А. Семёнова (Ленинград) замечает: «Ведь до сих пор на вес золота ценятся монографии о таких художниках, как Серов, Левитан и др. под редакцией И. Э. Грабаря, изданные до революции! Очень жаль, что «История русского искусства», которую начала издавать Академия наук, имеет тираж всего 20 тысяч экземпляров».

А. Семёнова попутно говорит о таком важном деле, как экспонирование самих произведений. Здесь действительно ещё есть, по меньшей мере, странности. Эрмитаж, например, открыт лишь с 11 до 5 часов вечера. Трудящиеся Ленинграда, как правило, работают до 6 часов и могут попасть в музей только в воскресенье, когда идёт масса экскурсий и перед многими картинами создаётся толкучка. «Надо продлить, — пишет она, — часы работы музеев — Эрмитажа, Русского и др. (в Москве, Ленинграде и других городах), как это сделано в единственном музее страны — Третьяковской галерее».

Поэт А. Жаров выказал мнение о необходимости выпуска короткометражных фильмов-песен. Читатели дополняют поэта. В. Самойлова (Свердловская область) считает, что исполнение песен в этих фильмах следует поручить известным артистам. Тогда зритель может не только прослушать песню, но и увидеть на эк-



ране любимого артиста — Лемешева или Козловского, Бунчикова или Нечаева. Эта же читательница сетует на то, что киностудии давно не выпускают новых кич-концертов. Старший лейтенант С. Папков, присоединяясь к реплике А. Жарова, считает, что хорошо бы выпустить фильмы со строевыми песнями. Это поможет воспитанию и обучению молодых воинов. Он же удивляется, почему до сих пор не экранизировали ни одной постановки популярнейшего в народе хора имени Пятницкого, нет и не было на экранах ни одной постановки ансамбля песни и пляски Советской Армии имени Александрова. В самом деле, почему?

Много откликов вызвала заметка К. Симонова «Без принудительного ассортимента», в которой говорилось об издании современной поэзии. Читатели не без основания протестуют против того, что в новых книжках стихов слышно и рядом мало действительно новых стихотворений. К старым, и подчас малозначительным стихам, напечатанным в предыдущих сборниках, приплюсовывается десяток (а иногда и меньше!) новых — и сборник выдаётся за оригинальный. Кроме обмана читателей, тут ничего нет.

Читатели приводят примеры.

«Вот у меня под руками книга стихов И. Молчанова «Золотой полдень» («Советский писатель», 1954 год), — пишет из г. Алексина, Тульской области, М. Давшан. — Я купил эту книжку, надеясь, в соответствии с её новым названием, прочесть новые стихи поэта. Но меня ожидало разочарование... В книжке 56

стихотворений, и среди них я обнаружил только 6 действительно новых, датированных 1953—1954 годами. Остальные стихи — старые, относящиеся главным образом к 1927, 1928, 1930 годам и неоднократно переиздававшиеся в сборниках поэта под разными названиями. Выходит, И. Молчанов, издав свой «Золотой полдень», ввёл в заблуждение читателя: выдал старое за новое. Не честнее ли было бы назвать новый сборник просто «Стихи разных лет?»»

Как тут не согласиться с М. Давшаном, озаглавившим своё письмо: «Читатель ждёт новых стихов». Его претензии — претензии читателя — основательны. Тем более, что о подобного рода сборниках пишут и Куденко из Краснодара, и слушатель облпартшколы В. Бахмут из Саратова, и студент Вологодского пединститута Л. Фролов, и майор запаса И. Слободенко из Хабаровска, и медсестра одного из вологодских леспромпхозов Е. Радина... Они приводят всё новые и новые примеры «принудительного ассортимента» и высказывают при этом ряд интересных мыслей-предложений. К ним стоит прислушаться.

Л. Фролов согласен с предложением К. Симонова издавать новые стихи тоненькой тетрадкой. При этом он советует издавать их небольшим форматом, чтобы книжечку удобно было носить с собой. «Вот у меня есть старое издание стихов Маяковского. Размер его страниц невелик: 5 см × 8 см. С ним можно не расставаться никогда». Читатель идёт дальше. На его взгляд, небольшими

книжечками нужно выпускать не только стихи, но и прозу. Действительно, так ли уж обязательно писателю, работающему в жанре рассказа или очерка, не печататься до тех пор, пока у него не накопится материал для «полнометражного» сборника? Важно, чтобы новые хорошие произведения распространялись возможно быстрее, а не лежали в писательских или издательских столах.

Другой случай: молодой, начинающий прозаик написал хороший рассказ. Рассказ напечатан на страницах журнала или газеты, и, конечно, не все смогут его прочитать. Пусть даже прочитают. Но через год захотят перечитать, а газета затеряна. Как быть? Нельзя ли издать такой рассказ отдельной брошюрой? Ко всему прочему, это творчески воодушевит молодого писателя.

О необходимости издания маленьких, дешёвых книжечек пишет Е. Радина. Она предлагает выпускать миниатюрные сборники разных поэтов. Каждый поэт будет представлен в таком (лучше всего тематическом) сборнике одним-двумя стихотворениями. Естественно, что представление о поэте по такому сборнику не получишь. Но если этот сборник будет тематическим, то он сможет сыграть весьма положительную роль.

Эта же читательница предлагает выпускать книги поскромнее, подешевле, но более массовыми тиражами. «Не всегда ориентируйтесь, — обращается она к издательствам, — на читателей с дорогими книжными полками или шкафами, где часто коллекции книг стоят

вместо украшений. Нужно выпускать книги дешёвые, чтобы любой читатель мог их купить».

Одновременно Е. Радица защищает «Роман-газету», выпускающую «дешёвые романы». Читательница спрашивает тут же «Роман-газету», почему она до сих пор не выполнила обещанного — не выпустила сборника лучших стихов 1954 года. В чём дело? Ведь уже кончается 1955 год...

О художественной открытке писал в своей заметке Вадим Лукашевич. Он предлагал организовать подписку на эти открытки, упорядочить их выпуск, сделать репродукции с картин, хранящихся в областных музеях. Читатель И. Сливянюк из Харькова солидарен с В. Лукашевичем: достать нужную открытку действительно не так-то легко. «Года два назад, — сообщает он, — я затеял переписку по этому поводу с издательством «Искусство», но так ничего и не добился». А разве издательство не могло бы заранее извещать в специальных рекомендательных списках, что издано и что будет издаваться? Правильно поступило издательство «Советский художник»: оно сочло возможным пойти навстречу желаниям своих потребителей, организовав заказы на высылку открыток наложенным платежом.

Матрос В. Зимин (Тихоокеанский флот) предлагает расширить ассортимент открыток: неплохо бы наладить выпуск открыток с памятников русской культуры и национальных культур народов СССР, нужны серии открыток, посвящённые художественному творчеству народов, населяю-

щих наши национальные республики. Вместе с другими товарищами В. Зимин надеется, что Изогиз и торговые организации упорядочат продажу открыток.

Читатели поддерживают реплику Льва Кассила, предложившего организовать постоянную выставку работ безвременно погибшего, ярко одарённого юноши художника Коли Дмитриева. Такая выставка могла бы воспитанию молодого поколения, замечают они. «На показе картин талантливое сверстника, — пишет читательница А. Бедусенко из г. Майкопа, — можно было бы сделать большое воспитательное дело». Но многие ли смогут посетить выставку, если она даже будет устроена?.. Нельзя ли организовать, спрашивает А. Бедусенко, передвижную выставку, с тем чтобы она побывала не только в городах, но и в сельской местности? Можно выпустить и репродукции с картин и рисунков Коли Дмитриева. Имея их, педагоги в силах будут смонтировать стенды, посвящённые творчеству замечательного юноши.

Отличительной чертой отзывов читателей на реплики является то, что они ставят вопросы широко, смело раздвигая рамки предложений, высказанных авторами реплик. И в этом сказывается не только заинтересованность читателей в осуществлении насущно необходимого, но и государственный, хозяйский подход к решению многих жизненно важных проблем.

Читательница А. Бедусенко права, когда она заявляет о том, что следовало организовать (конечно, в репродукциях) передвиж-

ные выставки картин Третьяковской галереи, Эрмитажа и других подобных музеев. Пусть эти выставки побывают на самых глубинных «окраинах». Неужели это трудно организовать? Нет, конечно. А какая будет от них польза! «Нет ничего равного, — восклицает читательница, — тому высокому, глубокому, неизъяснимому наслаждению, которое даёт созерцание красоты, прекрасного!»

Читатели не только откликаются на реплики, но и присылают в редакцию свои замечания, предложения. Эти читательские реплики заслуживают самого серьёзного внимания.

«Получив очередной номер журнала «Библиотекарь», — пишет из г. Канаш, Чувашской АССР, директор средней школы № 59 Н. Каргин, — читатели обнаружили в нём маленькую книжечку, представляющую собой макет обложки книги Н. Бендер «Имена русских людей на карте мира». Оформление этого макета привлекает внимание своим изяществом и миниатюрностью. Внутри книжечки даются сведения о книге и краткая (мы бы сказали, очень краткая!) аннотация. То, что «книжечка» издана бесплатно и тиражом в сто тысяч экземпляров, не может не радовать читателя, истинного книголюбца».

Н. Каргин поднимает значительный вопрос — книгу нужно пропагандировать! И он справедливо сетует на книготорговые организации, которые занимаются пропагандой книги вяло, кустарно, без надлежащего размаха и выдумки. Хорошие, красочные рекомендательные листки издаёт, напри-

мер, Отдел детской и юношеской литературы Государственной ордена Ленина библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Но почему эти листки издаются тиражами — в пять тысяч экземпляров? А Дом детской книги Детгиза издаёт рекомендательные списки по различным отраслям знаний и непривлекательно и так же мало (десять тысяч экземпляров). Попадут ли они, скажем, в отдалённое село? Сомнительно.

А между тем, замечает Н. Каргин, польза от такого рода рекомендательных списков большая. Ученики второго и третьего классов школы после получения рекомендательного листка «Мамин-Сибиряк — детям» стали усиленно читать детские рассказы и сказки этого автора. Учащиеся шестых—седьмых классов, увидев листки «Читайте книги о заповедниках нашей Родины», задавали многочисленные вопросы: «Где достать эти книги?»

Пропаганда книги — важное дело. Читателя радует не только хорошая книга, но и умелая рекомендация её. Об этом должны позаботиться не одни книготорги, но и печать, радио. По радио, например, сообщается о выходе очередных томов подписных изданий. Но почему бы не делать этого применительно и к другому рода изданиям, давая при этом слушателям краткие аннотации? Почему наши издательства так редко печатают на последних страницах уже вышедших книг сведения о произведениях, готовящихся к выходу в свет? Ничего плохого не будет, если эти сведения будут напечатаны

даже на обложке книги. Это в традициях нашего издательского дела. Вспомним, что в сборниках «Знание», издававшихся в начале века под руководством М. Горького, подробной и обстоятельной рекламе книги отдавалось до пяти-шести последних страниц.

Вопросы языка, в частности произношения слов, волнуют инженер-капитана Ю. Студенцова.

Ссылаясь на опыт Всесоюзного радио, Ю. Студенцов вносит предложение. Года два назад группой дикторов был составлен словарь наиболее «спорных» слов. Разве нельзя издать подобный сборник массовым тиражом? И отчего бы не привлечь к работе над таким сборником известных учёных-языковедов, крупнейших писателей?

В августе этого года газета «Вечерний Ленинград» напечатала статью профессора Ф. Филина, заведующего словарным сектором института языкознания Академии наук СССР. В ней сообщалось, что в настоящее время ведётся работа по составлению двух словарей русского языка: большого — четырнадцатитомного — и малого — четырёхтомного. «Нам кажется, — замечает Ю. Студенцов, — что, кроме этих словарей, нужен небольшой, удобный в обращении словарь «трудных» слов». Против этого предложения едва ли можно возразить.

Поддерживая писателя Вл. Лидина, выступившего недавно на страницах «Литературной газеты» с предложением о переиздании многих незаслуженно забытых, не переиздаваемых книг русских писателей, читатель А. Роббин (Москва)

расширяет список таких книг. Почему бы не издать избранные произведения таких известных в своё время и действительно интересных писателей, как Л. Андреев, Б. Зайцев, Е. Чириков, И. Шмелёв, В. Муйжель, С. Гусев-Оренбургский? В их творчестве немало ошибочного, неверного, с нашей точки зрения. Но есть у них и отличные, реалистические произведения, которые встречали сочувствие, например, столь квалифицированных читателей, как Максим Горький. Дефицитен приключенческий жанр, столь любимый молодёжью. Но почему же наши издательства не издают великолепную приключенческую повесть К. М. Станюковича «История одного матроса»? Почему почти забыты поэты Я. Полонский, А. Майков, К. Фофанов, С. Надсон? Следовало бы подумать об издании и других поэтов и прозаиков.

О судьбе одной серии пишут кандидаты исторических наук А. Варшавский и Ю. Шарапов (Москва). С 1933 года стала выходить серия книг «Жизнь замечательных людей». По замыслу А. М. Горького, эта серия должна была дать советскому читателю представление о жизни и деятельности замечательных людей прошлого народов всего мира. С тех пор вышло немало выпусков. Были они неравноценными. Наряду с интересными, глубокими исследованиями выходили и поверхностные книги. Но серия жила. До войны в иные годы выпускалось до двадцати, а в другие — до семи-восьми книг. Поинтому сложилась судьба этой серии в послевоенные

годы. Выпуск её передали издательству «Молодая гвардия». И правильно! Кому, как не молодёжи, должны быть в первую очередь адресованы книги о выдающихся людях прошлого!

Но вот беда — серия «Жизнь замечательных людей» перестала быть серией. В 1946 году вышло всего три книжки, в 1951 — четыре. После довольно значительного перерыва в этом году залпом вышли сразу три книжки: Н. Богословского «Чернышевский», О. Писаржевского «Ферсман» и М. Новосёлова «Бабушкин». Издательство улучшило оформление книг. На обложках — цветные портреты. Книги иллюстрированы, снабжены библиографией, датами жизни и деятельности замечательных людей.

«Но, — справедливо пишут А. Варшавский и Ю. Шаратов, — возникает вопрос: каковы дальнейшие планы издательства, каковы

перспективы издания этой серии? Когда-то, на заре её существования, в каждой книжке сообщалось о будущих выпусках. Нынче этого нет. А жаль. Это приехало бы читателя к серии, руководило бы его чтением. Следовало бы, на наш взгляд, вернуться и к нумерации книжек. Это только упорядочило бы издание серии.

Ранее в этой серии вышли книги о таких замечательных людях, как Франклин, Джон Браун, Данте, Коперник, Мольер, Микельанджело, Марк Твен, Бетховен. Эти книги рассказывали о замечательных людях прошлого народов Европы и Америки. За последние годы книг о таких людях в этой серии почти не вышло. А разве Гюго, Аристофан, Шиллер, Мицкевич, Авиценна, Андерсен, чьи памятные годовщины по призыву Всемирного Совета Мира отмечало всё передовое человечество, не могут

стать героями увлекательного научно-популярного повествования для нашего юношества?

Тем для книг из серии «Жизнь замечательных людей» много. Хотелось бы знать, какие из них в первую очередь намерено выпустить издательство «Молодая гвардия». Это не праздный интерес. Тематические планы серии «Жизнь замечательных людей» не должны оставаться достоянием редакторских кабинетов одного издательства. Они представляют интерес для широких кругов нашей общественности».

Мы видим, что читатели активно отзываются на реплики, вносят свои дельные, полезные предложения. Эта активность — одно из многочисленных свидетельств хозяйской заинтересованности советских людей в дальнейшем процветании нашей литературы и искусства, нашей культуры.



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**АНТОН ТАМСААРЕ.** Избранные произведения. Гослитиздат. М. 1955. 376 стр. Цена 6 р. 30 к.

В Эстонии, в деревне Альбу, стоит памятник. У его подножия всегда лежат цветы, венки — дань уважения и любви эстонского народа к своему классику — писателю-демократу Антону Тамсааре.

За свою творческую жизнь писатель создал пять романов (наиболее значительный из них — «Истина и справедливость»), более тридцати повестей и рассказов, написал много статей. Некоторые из этих произведений и составили сборник «Избранное».

Во вступительной статье к книге Ганс Леберехт называет своего знаменитого земляка искателем справедливости. Лишь в советское время эстонский народ нашёл то, что так долго, упорно искал его любимый писатель. Недаром колхоз, близ которого сооружён памятник Тамсааре, носит название «Истина и справедливость».

**СТИХИ ПОЭТОВ ВЬЕТНАМА.** Государственное издательство художественной литературы. М. 1955. 256 стр. Цена 4 р.

Огромной любовью к родной стране, к завоеванной свободе дышит каждая страница этого сборника. Современная вьетнамская поэзия народна в самом глубоком понимании этого слова. Она опирается на народные песенные традиции, она отражает чувства, стремления, чаяния народа. Стихи вьетнамских поэтов необыкновенно точные, ясные и простые, полны высокой поэзии.

По дороге среди спелого риса,  
Сиянем зари залитой,  
По дороге среди спелого риса  
Прыгает дождь золотой.

(Нгуен Дин Тхи. «Рис»).

В сборнике опубликованы стихи 45 крупнейших поэтов Вьетнама, а также народные песни и стихи. Советский читатель впервые получил возможность ознакомиться с вьетнамской поэзией на русском языке.

**М. КОЧНЕВ.** Цвет зари. Сказы о 1905 годе. Гослитиздат. М. 1955. 228 стр. Цена 5 р.

Заглавием для этой книги послужил одноимённый сказ. В нём говорится, как во время первой русской революции ребята нашли в лесу спрятанное там красное зна-

мя. «Это знамя алое Зорька соткала», — объясняет детям старый ткач.

Герои сказов М. Кочнева — потомственные пролетарии: ткачи, красильщики, прядильщики. Их борьба с толстосумами-хозяевами, их духовное пробуждение, стремление к свету и свободе и составляют содержание сказов.

Произведения расположены в книге в определённой последовательности. Сначала идут сказы, связанные с зарождением и подготовкой революционного движения 1905 года, затем в сказах говорится о нарастании и силе этого движения: «Растхлестнулася эта волна шире полей, равнин, выше гор-лесов». Заканчивается цикл своего рода обращением к молодому поколению, призванному нести дальше алое знамя революции.

**М. ВОДОПЬЯНОВ.** Гордое слово. «Молодая гвардия». М. 1955. 80 стр. Цена 1 р. 45 к.

Как-то пионеры одного подмосковного лагеря пригласили М. Водопьянова в гости. У костра зашёл разговор о дружбе, товариществе. После этого каждую неделю в течение лета прославленный лётчик бывал у пионеров и беседовал с ними.

Эти беседы у костра положены М. Водопьяновым в основу книги. Некоторое представление о ней дают подзаголовки: «Человек человеку — товарищ!», «Друзья познаются в беде», «Сам погибай — товарища выручай», «Добрый товарищ — половина дороги», «Один за всех — все за одного», «Нет друга, так ищи, а найдёшь, береги» и т. д.

**ПОЭТЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ.** В переводах Ю. Верховского. Гослитиздат. М. 1955. 290 стр. Цена 5 р. 20 к.

В книгу вошли переводы поэтов эпохи Возрождения, созданные Ю. Верховским на протяжении многих лет. Первые несколько сонетов Петрарки были переведены им ещё в 1903 году. Последние переводы сделаны в 1947 году.

Наиболее крупное произведение, вошедшее в сборник, — поэма Боккаччо «Фьезоланские нимфы». В книге мы найдём также сонеты, канцоны, мадригалы Петрарки, произведения Саккетти, Буркелло и др. Поэты французского Возрождения представлены переводами из Клемана Маро. С поэзией Испании читателя знакомят стихи Гарсиласо де ла Вега, Луиса де Леоне и переводы стихотворных отрывков из «Дон Кихота» Сервантеса.

**САБАХАТТИН АЛИ.** Дьявол внутри нас. Роман. Государственное издательство художественной литературы. М. 1955. 252 стр. Цена 5 р. 60 к.

«Дьявол внутри нас» — первый переведённый на русский язык роман выдающегося турецкого писателя, о котором Назым Хикмет писал: «Сабахаттин Али — один из самых честных, самых верных, самых талантливых сыновей турецкого народа». И автора и его книгу постигла трагическая судьба: в 1944 году книга была сожжена на костре на одной из центральных площадей турецкой столицы, а в 1948 году Сабахаттин Али был предательски убит агентом охранки.

На первый взгляд «Дьявол внутри нас» — психологический роман о неудачной любви двух молодых людей Омера и Маджиде. Но писатель наполнил обычный сюжет новым социальным содержанием, отразил в нём острейшую идейную политическую борьбу, происходившую в канун и в первые годы второй мировой войны. Это роман о судьбах турецкой интеллигенции.

**Г. ГОР и В. ПЕТРОВ.** Василий Иванович Суриков. «Молодая гвардия». М. 1955. 222 стр. Цена 8 р. 90 к.

«Суриков для нас больше чем замечательный мастер, больше чем выдающийся живописец-колорист. Он прежде всего гениальный художник-мыслитель, сумевший глубоко понять и с необычайной силой изобразить творца и героя истории — народ», — говорится в книге Г. Гора и В. Петрова. Именно эта сторона и привлекает более всего авторов книги. В ней авторы стремятся раскрыть духовный мир замечательного художника, подробно дают историю создания его гениальных картин.

В книге много репродукций с картин Сурикова.

**ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН.** Избранное. Перевод со словенского. Государственное издательство художественной литературы. М. 1955. 128 стр. Цена 1 р.

Велика роль Франце Прешерна (1800—1849) в развитии словенской литературы. Прешерн горячо любил родной язык и писал стихи и песни о свободе, дружбе и братстве славянских народов. Он черпал в сокровищнице народной поэзии чудесные образы, мастерски используя их для выражения высоких и чистых человеческих чувств. Стихи его, особенно лирика, пользуются большой любовью словенцев.

В «Избранное» вошли лучшие песни Прешерна, его баллады и романсы, поэма «Крещение при Савице» и «Венок сонетов».

**ЯРОСЛАВ ГАШЕК.** Рассказы. Фельетоны. Государственное издательство художественной литературы. М. 1955. 228 стр. Цена 2 р. 60 к.

Увидев в оглавлении сборника названия фельетонов и рассказов «Из дневника уфимского буржуа», «Дневник попа Малюты», кое-кто изумится, пожалуй. Ведь не каждому известно, что автор популярного сатирического романа «Похождение braveго солдата Швейка» во время гражданской войны был корреспондентом

и редактором советских фронтовых газет и журналов, прошёл с Красной Армией от Симбирска до Иркутска, выполняя различные партийные и административные задания, и некоторые свои фельетоны этой поры писал по-русски.

В книге собраны рассказы и фельетоны разных лет. Это острые памфлеты и рассказы, обличающие лицемерие буржуазных порядков, мещанство, пошлость.

**И. КОЗЫРЕВ.** Борьба большевиков за армию и флот в период революции 1905—1907 гг. Госполитиздат. М. 1955. 180 стр. Цена 2 р. 20 к.

**Ю. КОРАБЛЕВ.** Военная работа петербургских большевиков в революции 1905—1907 гг. Госполитиздат. М. 1955. 160 стр. Цена 1 р. 95 к.

Работе среди войск партия большевиков всегда придавала большое значение. Рабочий класс России не мог добиться своего освобождения от буржуазно-помещичьего гнёта без привлечения на свою сторону значительной части войск. «...Если революция не станет массовой и не захватит самого войска, — писал В. И. Ленин, — тогда не может быть и речи о серьёзной борьбе».

О революционной работе большевистской партии в армии и флоте накануне и в период революции 1905—1907 годов рассказывается в книге И. Козырева. В ней подчёркивается, в частности, роль ленинской «Искры», помогавшей солдатам разбираться в происходящих событиях, а также большевистской военной печати, которая была важнейшим орудием революционирования царских войск. В качестве автора статей, прокламаций и листовок часто выступал Ленин, а также его ученики и соратники — Сталин, Дзержинский, Фрунзе, Ярославский и другие.

В системе вооружённых сил царизма видное место занимали войска Петербургского военного округа. Документы и материалы, собранные в книге Ю. Кораблёва, показывают характер и конкретное содержание военной работы петербургской большевистской организации в революции 1905—1907 годов. В книге использованы архивные источники, а также воспоминания некоторых большевиков — участников революции.

**Г. ЕФРЕМЦЕВ.** Рабочие Коломны в первой русской революции (1905—1907 гг.). «Московский рабочий». М. 1955. 80 стр. Цена 90 к.

**П. БЕРЕЗОВ.** Предвестник грозы. Профиздат. М. 1955. 136 стр. Цена 2 р. 60 к.

**ДОНБАСС В РЕВОЛЮЦИИ 1905—1907 ГОДОВ.** Сборник документов и материалов. Сталинское областное издательство. 1955. 84 стр. Цена 75 к.

Главной движущей силой и руководителем первой русской революции был пролетариат. Эта мысль чётко проведена во всех трёх книгах. Их герои — рабочие Коломны, Иваново-Вознесенска, Донбасса.

В брошюре Г. Ефремцева рассказывается о тесной связи рабочих Москвы и Колумны, об их совместной борьбе против царского самодержавия в 1905 году. Коло-

менские паровозостроители и станкостроители свято хранят память о героических делах своих земляков.

Очерк П. Берёзова посвящён одному из знаменательных событий 1905 года — многодневной стачке иваново-вознесенских текстильщиков. В ходе этой стачки зародились Советы уполномоченных — прообраз Советов рабочих депутатов. Стачкой руководили большевики. Автор рисует запоминающиеся портреты: «Отца» — рабочего Фёдора Афанасьева, пламенного оратора Евлампия Дунаева, юного М. В. Фрунзе, стоявших во главе стачечников. Показано движение солидарности рабочих России с иваново-вознесенцами.

Сборник «Донбасс в революции 1905—1907 годов» открывается перепечаткой сообщения из ленинской газеты «Вперёд» о забастовках в Донбассе в январе 1905 года. Документ за документом рисуют величественную картину нарастания революционных событий.

**К. Н. БЕДРИНЦЕВ, Б. А. ДЕСЯТЧИКОВ.** Промышленность Узбекистана за 30 лет. Издательство Академии наук Узбекской ССР. Ташкент. 1955. 76 стр. Цена 1 р. 20 к.

Путь, проделанный молодой индустрией Узбекистана, — этой страны «белого золота», хлопка — отражён в ярких фактах и цифрах, приведённых в книге. Мы узнаём, что электроэнергии в республике ныне производится на душу населения в 32 раза больше, чем в Индии, в 16 раз больше, чем в Египте, во много тысяч раз больше, чем в Афганистане и Иране, вдвое больше, чем даже в такой высокоразвитой стране, как Дания.

Другой наглядный показатель — наличие мощного машиностроения: в Узбекистане работает свыше 450 предприятий машиностроения и металлообработки. Авторы показали тесную связь промышленности с основной отраслью сельского хозяйства республики — хлопководством: в Узбекистане производятся сложные хлопкоуборочные и другие сельскохозяйственные машины.

Нет сомнения, что книга К. Бедринцева и Б. Десятчикова нашла бы читателя далеко за пределами Узбекской ССР. К сожалению, даже в Москве трудно найти, к слову сказать, очень немногочисленные книги, которые выходят в республиках и областях. Министерству культуры СССР следовало бы подумать о том, как открыть этой литературе путь к широкому читателю.

**Г. В. ПЛАТОНОВ.** Климент Аркадьевич Тимирязев. Сельхозгиз. М. 1955. 208 стр. Цена 2 р. 75 к.

Автор этой книги не впервые обращается к образу Тимирязева, мыслителя и неутомимого борца за передовую биологию,

бескорыстного служителя «науки для народа». На этот раз он достаточно подробно рассказал также о жизненном пути учёного, о его новаторских идеях и достижениях в области агрономии (книга вышла в серии «Деятели русской агрономии»).

Читатель получает достаточно отчётливое представление о том, насколько современно — в соответствии с мичуринской наукой — звучат и сейчас его высказывания о природе наследственности и изменчивости организмов, о взаимодействии организма и среды.

Как и другие передовые русские учёные-агрономы, Тимирязев, по его собственным словам, стремился научить крестьянина «выращивать два колоса там, где раньше рос один». Раскрывая огромное значение трудов Тимирязева, академик Т. Д. Лысенко пишет, что для работников советской агробиологии они являются «глубоким, всесторонним наставлением в искании наиболее плодотворных методов и способов работы в направлении развития теории, помогающей увеличению урожая, увеличению производительности труда в колхозах и совхозах».

В книге Г. В. Платонова показан необычайно широкий круг научных интересов Тимирязева, его непревзойдённое искусство популяризатора.

**С. А. КОТТ.** Сорные растения и меры борьбы с ними. Сельхозгиз. М. 1955. 384 стр. Цена 6 р. 20 к.

Специалисты подсчитали, что в нашей стране встречается до полутора тысяч видов различных сорняков. В прежние времена борьбу с ними вели примитивными механическими способами: производили ручную прополку, выкапывали и уничтожали корни многолетних сорняков и т. д.

Советские учёные предложили способ «химической прополки» — опрыскивание полей губительными для сорняков химическими препаратами — гербицидами. Машино-тракторные станции располагают сложными зерноочистительными машинами отечественного производства, в том числе и электромагнитными. Семена «опудриваются» порошком, содержащим железо; порошок задерживается на шероховатой поверхности некоторых семян многолетних сорняков, они притягиваются электромагнитом и удаляются.

Изучив биологию наиболее «злостных» сорняков, наши специалисты предложили такую систему агротехники (и в первую очередь обработки почвы), которая позволяет не только уничтожать и подавлять сорняки, но и предотвращать появление их в посевах.



# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

## ГОСПОЛИТИЗДАТ

**Большевики Белоруссии в первой русской революции.** 132 стр. Цена 2 р. 20 к.

**Избранные общественно-политические и философские произведения украинских революционных демократов XIX века.** 688 стр. Цена 9 р. 20 к.

**История русской экономической мысли.** Том 1. Часть 1. 756 стр. Цена 13 р. 45 к.

**Критика и самокритика в советском обществе.** 240 стр. Цена 3 р.

**Рабочее движение в России в XIX веке.** Том 1. Часть 1. 1800—1825. 928 стр. Цена 15 р.

**Давид Рикардо.** Сочинения. Том 1. 360 стр. Цена 6 р. 75 к.

**И. В. Спиридонов.** Всероссийская политическая стачка в октябре 1905 г. 200 стр. Цена 2 р. 40 к.

**В. А. Фомина.** Философские взгляды Г. В. Плеханова. 344 стр. Цена 5 р. 75 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**А. Абрамов.** Поэма Маяковского «Владимир Ильич Ленин». 220 стр. Цена 5 р. 25 к.

**Павел Антокольский.** В переулке за Арбатом. Поэма. 22 стр. Цена 3 р. 30 к.

**А. Гитович.** Под звёздами Азии. Стихи. 184 стр. Цена 3 р. 30 к.

**И. Жига.** А. М. Горький. Воспоминания. 156 стр. Цена 2 р. 55 к.

**И. Козлов.** Жизнь и борьба. Воспоминания. 304 стр. Цена 5 р. 55 к.

**Р. Мессер.** Советская историческая проза. 304 стр. Цена 7 р. 50 к.

**Мирсанд Мирмухсин.** Стихотворения и поэмы. Авторизованный перевод с узбекского. 150 стр. Цена 2 р. 90 к.

**Анатолий Рыбаков.** Екатерина Воронина. Роман. 372 стр. Цена 6 р. 35 к.

**Владимир Ставский.** Кубанские записки (Очерковые повести). 446 стр. Цена 7 р. 95 к.

**Павел Сычѳв.** У Тихого океана. Повесть. Книга 1. 404 стр. Цена 6 р. 80 к.

**Ан. Тарасенков.** Сила утверждения. 420 стр. Цена 9 р. 5 к.

**Виталий Федорович.** Рассказы. 340 стр. Цена 6 р. 50 к.

**Николай Чуковский.** Балтийское небо. Роман. 576 стр. Цена 9 р. 95 к.

**Иван Шутов.** Горные вершины. (Лето). Повести. 238 стр. Цена 4 р. 35 к.

## ГОСЛИТИЗДАТ

**В. Г. Белинский.** Избранные письма в двух томах. Том 1. (1829—1839). 340 стр. Цена 8 р. 85 к. Том 2. (1840—1848). 532 стр. Цена 11 р. 30 к.

**Петрусь Бровка.** Стихотворения и поэмы. Перевод с белорусского. 408 стр. Цена 10 р.

**Б. Горбатов.** Собрание сочинений. В пяти томах. Том 1. Моё поколение. Роман. Алексей Гайдаш. Роман. 704 стр. Цена 11 р.

**Кристионас Донелайтис.** Времена года. Перевод с литовского. 108 стр. Цена 1 р. 20 к.

**Г. Квитка-Основањенко.** Пан Халавский. Роман. 236 стр. Цена 4 р. 65 к.

**Н. А. Островский.** Собрание сочинений. В трёх томах. Том 1. Как закалялась сталь. Роман. 416 стр. Цена 8 р.

**Д. И. Писарев.** Сочинения в четырёх томах. Том 1. Статьи и рецензии. 1859—1862. 391 стр. Цена 12 р. Том 2. Статьи. 1862—1864. 432 стр. Цена 12 р.

**С. Г. Скиталец.** Избранные произведения. 624 стр. Цена 11 р. 20 к.

**В. А. Соллогуб.** Тарантас. Путевые впечатления. 152 стр. Цена 2 р.

1905 год. Рассказы. 516 стр. Цена 9 р. 25 к.

**А. П. Чехов о литературе.** 404 стр. Цена 6 р. 20 к.

**Тарас Шѳвченко.** Собрание сочинений в пяти томах. Перевод с украинского. Том 1. Стихотворения и поэмы. 1837—1847. 528 стр. Цена 10 р.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Воспоминания о В. И. Ленине.** 215 стр. Цена 4 р.

**Воспитание в труде.** 200 стр. Цена 3 р. 80 к.

**Олесь Гончар.** Пусть горит огонѳк. Перевод с украинского. 112 стр. Цена 1 р. 60 к.

**В. Каверин, Н. Карастоянов.** На алтайской целине. Повесть. 104 стр. Цена 1 р. 10 к.

**Павел Лукицкий.** Путешествия по Памиру. 504 стр. Цена 14 р. 35 к.

**О долге, дружбе и любви.** Рассказы и очерки. 232 стр. Цена 5 р. 65 к.

**Борис Стрельников.** Сто дней во Вьетнаме. Из путевого дневника. 168 стр. Цена 2 р. 85 к.

**З. Чалая.** Лѳтчик Серов. Биографическая повесть. 216 стр. Цена 5 р. 75 к.



## ДЕТГИЗ

**И. Вольпер.** Клад под землёй. 112 стр. Цена 2 р. 60 к.

**Б. Горбатов.** Избранное. 560 стр. Цена 9 р. 70 к.

**Н. Григорьев.** Бронепоезд Гандзя. Повесть. 224 стр. Цена 4 р. 35 к.

**Н. Дубов.** Сирота. Повесть. 328 стр. Цена 8 р. 55 к.

**Н. Емельянова.** Родники. Повесть. 240 стр. Цена 5 р. 45 к.

**Е. Ильина.** Это моя школа. Повесть. 468 стр. Цена 10 р. 85 к.

**О. Лутс.** Весна. Картинки из школьной жизни. Перевод с эстонского. 328 стр. Цена 6 р.

**А. Маяковская.** Детство и юность В. В. Маяковского. Из воспоминаний матери. 96 стр. Цена 2 р. 25 к.

**М. Муратов.** Юность Ломоносова. 160 стр. Цена 3 р. 55 к.

**А. И. Ульянова.** Детские и школьные годы Ильича. 40 стр. Цена 1 р. 20 к.

**Г. Фиш.** Открытие Терентия Мальцева. Очерк. 128 стр. Цена 2 р. 55 к.

## ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Из истории науки и техники Китая. Сборник статей. 182 стр. Цена 7 р. 75 к.

**Ж. Б. Ламарк.** Избранные произведения (в двух томах). Том I. 968 стр. Цена 37 р. Литературное наследство. Герцен и Огарёв. Том II. 900 стр. Цена 52 р. 60 к.

**И. В. Маковецкий.** Памятники народного зодчества русского Севера. 182 стр. Цена 14 р. 10 к.

**В. В. Марковников.** Избранные труды. 926 стр. Цена 35 р.

**Л. А. Потков.** В мире незримых существ. 332 стр. Цена 3 р. 40 к.

## ГЕОГРАФИЗ

**А. А. Борисов, А. А. Долинин, Л. И. Дорошкевич, Н. В. Николаева.** Финляндия. 144 стр. Цена 2 р. 20 к.

**Ф. Н. Мильков, А. Н. Краснов** — географ и путешественник. 174 стр. Цена 4 р. 75 к. **Последняя экспедиция Р. Скотта.** 406 стр. Цена 9 р. 55 к.

**Я. М. Свет.** По следам путешественников и мореплавателей Востока. Очерки. 184 стр. Цена 3 р. 30 к.

## ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

**Б. Бьярнсон.** Философские этюды. Перевод с английского. 98 стр. Цена 3 р. 10 к.

**Карло Леви.** Христос остановился в Эббли. Очерки. Перевод с итальянского. 230 стр. Цена 6 р. 5 к.

**Д. Путнам, Б. Бруйетт, Д. Керр, Дж. Робинсон.** Канада. Географические районы. Сокращённый перевод с английского. 578 стр. Цена 41 р. 55 к.

**Восстановление и развитие народного хозяйства Корейской Народно-Демократической Республики.** Сборник материалов. Перевод с корейского. 186 стр. Цена 5 р. 35 к.

**Сулвей Хауган.** Из земли ты вышел. Роман. Перевод с норвежского. 227 стр. Цена 6 р. 10 к.

## «МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

**И. Васин.** Социал-демократическое движение в Москве (1883—1901 гг.). 70 стр. Цена 80 к.

**Б. Гаврилов.** Московские большевики в борьбе за армию в 1905—1907 гг. 168 стр. Цена 3 р.

«ЗАРЯ ВОСТОКА»  
(Тбилиси)

**Г. Бебутов.** Ученические годы Владимира Маяковского. 148 стр. Цена 5 р. 35 к.

## ТУРКМЕНГОСИЗДАТ

**Беки Сейтаков.** Рассказы. 132 стр. Цена 4 р.

**Таушан Эсенова.** Женщинам Востока 108 стр. Цена 4 р. 45 к.

---

Главный редактор **К. М. Симонов**

Редакционная коллегия:

**Б. Н. Агапов** (зам. главного редактора), **С. Н. Голубов,**  
**А. Ю. Кривицкий** (зам. главного редактора), **Б. А. Лавренёв,**  
**М. К. Луконин, А. М. Марьямов, Е. Успенская, К. А. Федин**

---

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).  
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

---

Сдано в набор 27/IX-55 г.

А 05336. Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 140.000. Заказ № 2015.

Подписано к печати 27/Х-55 г.

---

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
имени **И. И. Скворцова-Степанова.** Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 7 р.

# ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА



НА **1956** ГОД

НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ

**НОВЫЙ  
МИР**

Журнал „Новый мир“ выходит  
в переплёте и без переплёта

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на 1956 год:

	12 мес.	6 мес.	3 мес.
В переплёте	108 р.	54 р.	27 р.
Без переплёта	84 р.	42 р.	21 р.

**ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:**

„Союзпечатью“, всеми почтовыми конторами, уполномоченными железнодорожных издательств на транспорте, а также всеми общественными распространителями печати на предприятиях, в учреждениях, организациях и учебных заведениях.